

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Бурого О «СОТАХ» И НЕ ТОЛЬКО...	5
Алексей ЗАРАХОВИЧ СТРАННЫЕ ЭТО БЫЛИ ВРЕМЕНА	8
Борис ЧИЧИБАБИН Я ГРУЗ НЕБЫТИЯ ВКУСИЛ СВОИМ ГОРБОМ	9
Лилия КАРАСЬ-ЧИЧИБАБИНА ВОСПОМИНАНИЯ О ЕВГЕНИИ ЕВТУШЕНКО И БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ	23
Ирина ЕВСА ХОР НЕСОГЛАСНЫХ	30
Алексей ЗАРАХОВИЧ ГЛИНА	39
Елена БУЕВИЧ ЯВЛЕНИЕ ЦВЕТУЩЕГО АБРИКОСА	43
Олександр КАБАНОВ ТОСКНО МЕНІ В РАЮ	50
Еліна СВЕНЦИЦЬКА МИ ПОВІРИЛИ В СЛОВО	55
Анатолій МОЙСІЄНКО ТІНЬ	62
Наталя ПАСІЧНИК СВІТЛО У ЧАЩІ ГАСНЕ	71
Семен АБРАМОВИЧ СЮИТА ОТСТРАНЕНИЯ	77
Елена ШЕЛКОВА ОБРЕЧЁННАЯ РЕЧЬ	81
Сергей ГЛАВАЦКИЙ ОЗИМАЯ ПЛАНЕТА	85
Татьяна АИНОВА ХРАНИТЕЛЬ ФОРМУЛ	91
Игорь ВИНОВ МОЙ АНГЕЛ ИНОГДА ЧИТАЕТ ГУССЕРЛЯ	106
Игорь ЛАПИНСКИЙ ПИНИИ РАВЕННЫ	119
Дмитрий БУРАГО СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА	123



Главный редактор:
Дмитрий Бурого

**Редакционный совет
выпуска:**
*Наталья Бельченко
Сергей Главацкий
Ирина Евса
Алексей Зарахович
Марианна Кияновская
Игорь Лапинский
Владимир Пучков
Дмитрий Стус
Елена Шелкова*



**Издательский дом
Дмитрия Бурого**
Свидетельство о внесении
в Государственный реестр
Серия ДК № 2212 от
13.06.2005 г.
тел.: (044) 227-38-28,
227-38-86;
e-mail: info@burago.com.ua
www.burago.com.ua
Адрес для переписки:
04080, г. Киев-80, а/я 41

Подписано в печать:
27.02.2018.
Формат: 70x100/16.
Гарнитура
Franklin Gothic Book.
Уч.-изд. л. 16.
Усл.-печ. л. 38,35.
Заказ №1639

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

НОВЫЕ КОРИДОРЫ 129**ПТИЧКА** 131**ДЫРКА В СЕРДЦЕ** 133**НАШИ ДОСКИ** 134**БЕДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ** 136**ТАРАКАНЫ НОЧЬЮ** 137**РАССКАЗ, НАПИСАННЫЙ НА ГРУДИ** 139**ВЫВОДЫ** 141

Сергій ГРАБАР

БАНДЖО 144**БАНДОНЕОН** 146**БАРАБАНЩИК** 147**ДУЕТ** 148**КАРАВАН** 150**ПОТВОРА** 150**13-Й РЯД – 13-Е МІСЦЕ** 152**ТРУБАЧ** 157**«TAKE FIVE»** 158

Светлана КЕКОВА

ВЕСТНИКИ ВЕЧНОСТИ 160

Ефим БЕРШИН

ТРИПТИХ 175

Евгения Джен БАРАНОВА

ПОЭЗИЯ ЕСТЬ БОСХ 183

Михаил ДЫНКИН

ЧТОБЫ СОЧИНИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ 187

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ 194

Амирам ГРИГОРОВ

МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И МУЗЫКОЙ 202

Олеся НИКОЛАЕВА

МЕМУАРИСТКА 209

Игорь КАРАУЛОВ

ЧУДНЫЕ ОТКРЫТИЯ 220

Юлия БЕЛОХВОСТОВА

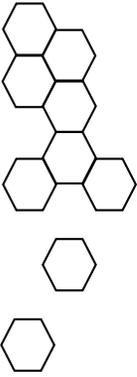
ПАПИНА ЯБЛОНЯ 228

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

НОЧНОЙ СМОТРИТЕЛЬ 235

Мария ВАТУТИНА

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ 242



Александр ГАБРИЭЛЬ	
28 КАПЕЛЬ КОРВАЛОЛА	260
Елена ИГНАТОВА	
12 СТИХОТВОРЕНИЙ	266
Андрей ДМИТРИЕВ	
КРАСОТА УХОДИТ – ДА ЗДРАВСТВУЕТ	
КРАСОТА	273
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА	
ВЕСНА НАС ДОГОНЯЕТ...	291
Владимир ВАСИЛЬЕВ	
1916-Й ГОД	303
Марина ГАРБЕР	
С ЛЕДЯНОЙ ИГОЛОЧКОЙ В БОКУ	309
Герман ВЛАСОВ	
МЕЖДУ СТРАНИЦ ПОСЕЯННАЯ ПАМЯТЬ	321
Феликс ЧЕЧИК	
ЖИЗНЬ – ЦВЕТНАЯ КИНОПАНОРАМА	328
Анна МАРКИНА	
СТОЯНКА ДИРИЖАБЛЕЙ	334
Санджар ЯНЫШЕВ	
ТВОЕ СЕРДЦЕ	340
Сергей ШЕСТАКОВ	
16 СТИХОТВОРЕНИЙ	343
Олеся РУДЯГИНА	
ТАЙНОЕ	351
Лев ЛИБОЛЕВ	
НЕОДОМАШНЕННОЕ ЖИВОЕ	356
Татьяна НЕКРАСОВА	
НАПОЛНЕННОЕ	361
Юрий СМИРНОВ	
ИНДЕЙЦЫ	366
Ирина РЕМИЗОВА	
Я ЗДЕСЬ	375
Сергей ПАГЫН	
НАЧАЛО	381
Ольга АНДРЕЕВА	
СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД ПОД КОРКОЙ	
ГРАНАТА	391
Олег СЕШКО	
ЛЁТЧИЦА	403



Наталья НОВОХАТНЯЯ**ОЧНУТЬСЯ В СВЕРКАЮЩЕМ**..... 411

Бах АХМЕТОВ

ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЗ..... 414

Олег ЗАЙЦЕВ

ОКТЯБРЬ ЗАЛИЗЫВАЕТ РАНЫ..... 420

Вячеслав ШНАЙДЕР

ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ЕВРЕЯ (ОТРЫВКИ) 423

Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ

МАСЛЕНИЦА-МОКРОХВОСТКА 439

Дана ПИНЧЕВСКАЯ

ПРОГУЛЯНКИ І ЇХ ВРАЖЕННЯ 453

Владислав КУРАШ

ОСОБО ОПАСНЫЙ 460**ОБ АВТОРАХ**..... 467

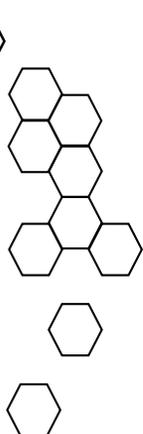
О «СОТАХ» И НЕ ТОЛЬКО...

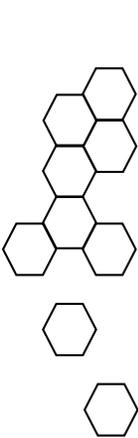
Дмитрий БУРАГО

Юбилеи, годовщины, памятные даты ритмизируют нашу жизнь. Мы откликаемся на эти условные сигналы, чтобы оглянуться, попробовать осознать себя во времени, проанализировать происходившее за тот или иной период. Вот и сегодня, просматривая первый номер литературно-художественного издания «Соты», вышедший 20 лет тому назад, в 1998 году, есть повод подвести предварительные итоги нашей издательской деятельности.

Девяностые годы для Киева стали временем самосознания и переосмысления своего места в мире, в том числе и в литературном пространстве. Читатель, внимательно следивший за публикациями в толстых журналах и отлавливающий новые издания на книжных развалах конца восьмидесятых, был уже пересыщен художественной словесностью, отступая от литературных мифов под натиском разваливающегося быта и подступающей нищеты. При этом именно в это время стали возникать новые издательства, выходить сотни книг пока еще незнакомых широкому читателю авторов, на различных сценах стали происходить литературные чтения и поэтические вечера. Киев стал буквально бурлить различными литературными студиями и объединениями. Появляются десятки литературных журналов и альманахов: «Новый круг», «Коллегиум», «Самватас», «Византийский ангел», «Ренессанс», «Зоил», «Соты», «Крещатик», «Юрьев день», литературная газета «Ковчег», культурологический вестник «Граффити» и одноименный литературный альманах. Они выходят нерегулярно, порой совсем мизерными тиражами, но именно в них оказывается запечатлен насыщенный художественный мир Киева.

В 1991 году Сергей Борисович Бурого организовал и провел первую международную научную конференцию «Язык и культура», на которую были приглашены не только филологи, но и поэты со всего распадавшегося Советского Союза. Это было время, когда рушились казавшиеся незыблемыми научные и культурные связи, а в аудиториях решались проблемы лингвокультурологии и задержанной литературы. Эпоха умирающего автора предвещала гибель и его Величеству читателю, а в Киеве кандидаты с докторами внимали авангарду и верлибру на палубе теплохода, поднимавшегося вдоль киевских склонов к устью Десны. Это было время большого энтузиазма. И в результате, С.Б. Бурого регистрирует международный научно-художественный журнал «Collegium», объединяя на его страницах материалы филологов,





философов, искусствоведов с рубрикой «художественная словесность». В нем публиковались работы А.А. Билецкого, А.Ф. Лосева, В.Л. Скуратовского, М.С. Петровского, С.Б. Крымского, Ю.В. Павленко, самого С.Б. Бурого, наряду с художественными произведениями В. Кривулина, И. Жданова, П. Грушко, И. Лапинского, И. Винова, А. Зараховича, Л. Тышковской, С. Шаталова. Журнал «Collegium», по определению И.М. Дзюбы, был тогда самым интеллигентным журналом Украины и, само собой, стал образовываться круг единомышленников, где и зародилась идея литературно-музыкальных вечеров, которые с легкой руки Ю. Зморовича получили прописку в Доме актера и определение жанра как «журнал на сцене». Так, в Киеве с февраля 1994 года каждый последний четверг месяца в Доме актера журнал на сцене «Collegium» собирал полный зал, и его бесменным ведущим вплоть до конца века (последний выпуск состоялся 28.10.1999 года) был, конечно, Сергей Борисович Бурого. Тематика вечеров была необычайно разнообразной, но каждый раз они становились местом встречи киевской интеллигенции.

С одной стороны – нерегулярность выхода бумажной версии журнала «Collegium» (порой уже сверстанный номер ждал своего часа не один месяц), а с другой – насыщенная ежемесячная программа вечеров в Доме актера подтолкнули к идее создания культурологического вестника «Граффити» (1995 – 1999). Огромный вклад в его издание внесли Элеонора Рахлина, замечательный краевед, искусствовед и экскурсовод, дочь легендарного киевского дирижера Натана Рахлина, и Игорь Дыченко, художник, искусствовед, выдающийся коллекционер.

В 1996 году мы выпустили два номера литературно-художественного альманаха «Граффити», который и стал прототипом «Сот». В аннотации к первому выпуску было отмечено, что альманах «Граффити» целью своего существования видит отражение именно сегодняшнего дня литературной жизни Киева, объединяя под одной обложкой киевских авторов, многие из которых, по иронии судьбы больше известны на других широтах... Академик Д.В. Затонский так охарактеризовал его выход: «Спору нет, грустное чувство порождает этот номер «Граффити». Но что же делать, если жизнь киевских поэтов грустна, ибо живем на развалинах собственной культуры. Это как бы «жестяной век». Но если бы сегодняшние поэты не объединились вокруг «Граффити», было бы еще грустнее. Ибо угасла бы и последняя надежда». Кончился сегодня этот «жестяной век» или нет, но слова вашего покорного слуги, кажется, звучат более чем современно в этом издании: «Культура стала военным лагерем. Но мы не окопались в подполье, в родном городе один на один со временем, честь не теряя, не подлаживаясь, граждане языка, ваятели слов и пауз, про-из-но-сим, вы-го-ва-ри-ваем слог за слогом, стих за стихом без поправки на историко-филологический фарш, одобренный цитатами на потребу сейчасности. Нам чуждо соответствие, но в наших разностях мы несем ответственность, мы отвечаем перед Словом за прошлое и будущее и, конечно, за нынешнее».

С этим настроением и состоялся в 1998 году выпуск литературно-художественного издания «Соты». Задача первых номеров была достаточно скромной: представить тот литературный город, в котором мы сами существовали. В дальнейшем круг авторов, конечно, расширился за пределы Киева, но при этом внимание было сосредоточено на авторах из Украины. Была надежда составить литературную, поэтическую карту нового государства, пусть в той или иной мере субъективную. Нам казалось, что в многонациональной стране, где говорят и пишут на разных языках, необходимо провести не только инвентаризацию поэтического наследия, но и затеять переключку современных поэтов. С этой целью мы начали издавать серию книжных миниатюр поэтического наследия «Поетичні свічади України» и провели совместно с Юрием Капраном первый киевский поэтический

фестиваль «Гилея», объединивший литераторов почти из всех областей Украины. Эта идея не оставляет нас и теперь, когда «Соты» выходят уже в книжном формате.

С большой благодарностью нужно отметить подвижничество и участие в судьбе «Сот» Игоря Лапинского, Алексея Зараховича, Натальи Бельченко, Марианны Кияновской, Елены Шелковой, Ирины Евсы.

С удовлетворением и даже радостью можем заметить, что практически все наши начинания имеют продолжение и сейчас. Проводится ежегодная международная научная конференция «Язык и культура», уже теперь носящая имя своего основателя Сергея Бурого, продолжает выходить после некоторого перерыва научно-художественный журнал «Collegium», собираются зрители на вечерах одноименного журнала на сцене в Доме актера. А в нашем издательском доме, наряду с научной литературой, выходят книги современных поэтов и писателей, в чем можно убедиться, заглянув на сайт: burago.com.ua

Настоящий же выпуск открывается стихами Бориса Алексеевича Чичибабина, которые возможно считать и камертоном, и эпиграфом не только к собранию текстов под этой обложкой, но и ко всему нашему времени, в котором неумолимо продолжаются опасные опыты над культурой.



Алексей ЗАРАХОВИЧ

СТРАННЫЕ ЭТО БЫЛИ ВРЕМЕНА

Странные это были времена. Как говорил покойный друг Гриша Хорошилов: «Ни черное, ни белое – одно сплошное серево». Вернее не скажешь – «серево» – так запомнились 90-е. Точнее, только так они могли запомниться, если бы не отдельные вспышки, огоньки посреди морочности, нелепости происходящего.

И вот я вижу Дом Актера, сцену, которая стала главной для многих из нас. Даже если мы не осознавали этого. А еще журналы «Самватас», «Крещатик», газета «Ковчег»... и, конечно, журнал «Соты».

20 лет прошло со времени выхода первых «Сот». Можно сказать – целых 20 лет или же – всего 20. У Давида Бурлюка есть замечательная мысль: «Если идея не реализуется в течение 20 – 25 лет, она умирает».

За эти 20 лет сотни стихотворцев опубликованы на страницах журнала. Сколько из них поэтов? Важный вопрос, но, думается мне, не ко времени. Мы – современники друг другу, а, значит, умеем отвечать на вопросы «что?», «как?» и только. Что пишется, как пишется, а вот главное вопрошание остается за скобками: «О чем мы?» О чем наша жизнь, как спрашивают о книге – о чем книга – о чем наша жизнь? Лет через 50 все пазлы сойдутся и станет ясно, о чем было это время, что было действительно важным, что второстепенным, а чего, по сути, и вообще не было – морок разветится, проступят черты человека, который в одночасье и «мера всех вещей» и «по образу и подобию Божьему». Но это будет потом, возможно, действительно лет через 50 – 100. А если так, то в не столь далеких временах уже написаны и даже прочитаны книги о том, что нынче является предметом наших споров, ссор, наших смыслов и нашего безумия. Со многими оценками мы не согласились бы, но у них, живущих после нас, есть одно преимущество – они знают, что было дальше.

А пока наше время тикает, пока так важно кто, что и как сказал, займемся привычным делом – снова страницы журнала «Соты» наполнятся стихами, снова на сцену Дома Актера поднимется Дима Бурого, чтобы поприветствовать не аудиторию, нет – современников. Да, как ни странно, прошло 20 лет. Осталось совсем немного ждать, чтобы понять много это или мало.



Я ГРУЗ НЕБЫТИЯ ВКУСИЛ СВОИМ ГОРБОМ

Борис ЧИЧИБАБИН

* * *

Ф. Кривину

Я груз небытия вкусил своим горбом:
смертельна соль воды, смертельна горечь хлеба,
но к жизни возвращен обыденным добром —
деревьями земли и облаками неба.

Я стер с молчащих губ отчаянья печать,
под нежной синевой забыл свои мученья.
Когда не слышно слов, всему дано звучать,
все связано со всем и все полно значенья.

И маску простоты с реальности сорвав,
росой тяжелых зорь умыв лицо и руки,
как у священных книг, у желтоглазых трав
играючи учусь безграмотной науке.

Из кроткой доброты и мудрого стыда
кую свою броню, трудом зову забавы
и тихо говорю: «Оставьте навсегда
отчаянье и страх, входящие сюда вы».

На благодарный пир полмира позову,
навстречу счастью засвечу ресницы, —
и ничего мне больше не приснится:
и ад, и рай — все было наяву.

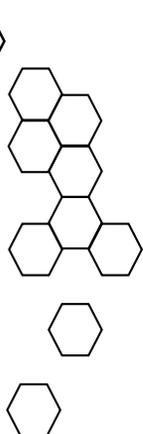
1968

КИЕВ

Ю. Шанину

Без киевского братства
деревьев и церквей
вся жизнь была б гораздо
безродней и мертвей.

В лицо моей царевне,
когда настал черед,
подуло Русью древней
от Золотых ворот.



Здесь дух высок и весок,
и пусть молчат слова:
от врубелевских фресок
светлеет голова.

Идем на зелен берег
над бездной ветряной
дышать в его пещерах
святою стариной.

И юн и древен Киев —
воитель и монах,
смоловший всех батыев
на звонких жерновах.

Таится его норов
в беспамятстве годов,
он светел от соборов
и темен от садов.

Еще он ал от маков,
тюльпанов и гвоздик, —
и Михаил Булгаков
в нем запросто возник.

И, радуясь по-детски,
что домик удался,
строитель Городецкий
в нем делал чудеса...

Весь этот дивный ворох,
стоцветен и стокрыл,
веселый друг филолог
нам яростно дарил.

Брат эллинов и римлян,
античности знаток,
а Киев был им привран,
как водится, чуток.

Я в том не вижу худа,
не мыслю в том вины,
раз в киевское чудо
все души влюблены.

Ведь, если разобраться,
все было бы не так
без киевского братства
ученых и бродяг.

Нас всех не станет вскоре,
как не было вчера,
но вечно будут зори
над кручами Днепра.

И даль бела, как лебедь,
и, далью той дыша,
не может светлой не быть
славянская душа.

1972

ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОГОЛЮ

1

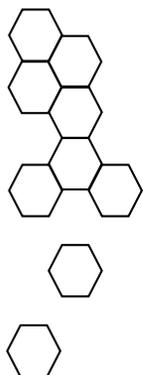
Как утешительно-тиха
и как улыбчиво-лукава
в лугов зеленые меха
лицом склоненная Полтава.

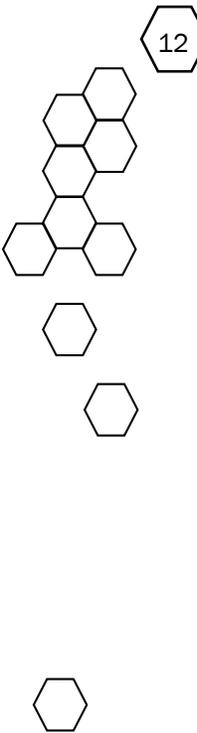
Как одеяния чисты,
как ясен свет, как звон негулок,
как вся для медленных прогулок,
а не для бешеной езды.

Здесь Божья слава сердцу зрима.
Я с ветром вею, с Ворсклой льюсь.
Отсюда Гоголь видел Русь,
а уж потом смотрел из Рима...

Хоть в пенье радужных керамик,
в раю лошадок и цветов
остаться сердцем не готов,
у старых лип усталый странник, —

но так нежна сия земля
и так добра сия десница,
что мне до смерти будут сниться
Полтава, полдень, тополя.





Край небылиц, чей так целебен
спасенный чудом от обнов
реки, деревьев и домов
под небо льющийся молебен.

Здесь сердце Гоголем полно
и вслед за ним летит по склонам,
где желтым, розовым, зеленым
шуршит волшебное панно.

Для слуха рай и рай для глаза,
откуда наш провинциал,
напрягшись, вовремя попал
на праздник русского рассказа.

Не впрок пойдет ему отъезд
из вольнопесенных раздолий:
сперва венец и capitoлий,
а там — безумие и крест.

Печаль полуночной чеканки
коснется дикого чела.
Одна утеха — Вечера
на хуторе возле Диканьки...

Немилый край, недобрый час,
на людях рожи нелюдские, —
и Пушкин молвит, омрачась:
— О Боже, как грустна Россия!..

Пора укладывать багаж.
Трубит и скачет Медный всадник
по душу барда. А пока ж
он — пасечник, и солнце — в садик.

И я там был, и я там пил
меда, текущие по хвое,
где об утраченном покое
поет украинский ампир...

2

А вдали от Полтавы, весельем забыт,
где ночные деревья угрюмы и шатки,
бедный-бедный андреевский Гоголь сидит
на собачьей площадке.

Я за душу его всей душой помолюсь
под прохладной листвой тополей и шелковиц,
но зовет его вечно Великая Русь
от родимых околиц.

И зачем он на вечные веки ушел
за жестокой звездой окаянной дорогой
из веселых и тихих черешневых сел,
с Украины далекой?

В гефсиманскую ночь не моли, не проси:
«Да минует меня эта жгучая чара», —
никакие края не дарили Руси
драгоценнее дара.

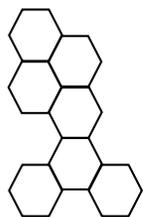
То в единственный раз через тысячу лет
на серебряных крыльях ночных вдохновений
в злую высь воспарил — не писательский, нет —
мифотворческий гений...

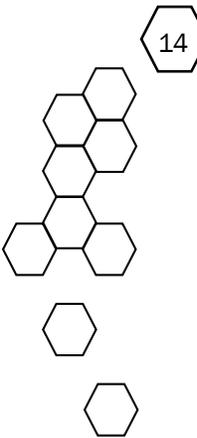
Каждый раз мы приходим к нему на поклон,
как приедем в столицу всемирной державы,
где он сиднем сидит и пугает ворон
далеко от Полтавы.

Опаленному болю, ему одному
не обидно ль, не холодно ль, не одиноко ль?
Я, как ласточку, сердце его подниму.
— Вы послушайте, Гоголь.

У любимой в ладонях из Ворсклы вода.
Улыбнитесь, попейте-ка самую малость.
Мы оттуда, где, ветрена и молода,
Ваша речь начиналась.

Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой.
Разбегаются люди — смешные козявки.
Сам Сервантес Вас за руку взял, а другой
Вы касаетесь Кафки.





Вам Италию видно. И Волга видна.
И гремит наша тройка по утренней рани.
Кони жаркие ржут. Плачет мать. И струна
зазвенела в тумане...

Он ни слова в ответ, ни жилец, ни мертвец.
Только тень наклонилась, горька и горбата,
словно с милой Диканьки повеял чабрец
и дошло до Арбата...

За овитое тернями сердце волхва,
за тоску, от которой вас Боже избави,
до полынной земли, Петербург и Москва,
поклонитесь Полтаве.

1973

* * *



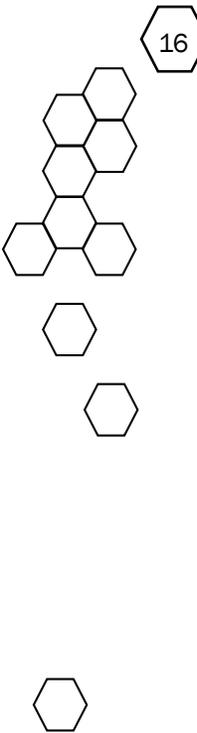
Я плачу о душе, и стыдно мне, и голо,
и свет во мне скорбит о поздней той поре,
как за моим столом сидел, смеясь, Мыкола
и тихо говорил о поправном добре.

Он — чистое дитя, и вы его не троньте,
перед его костром мы все дерьмо и прах.
Он жизни наши спас и кровь пролил на фронте,
он нашу честь спасет в собачьих лагерях.

На сердце у него ни пролежней, ни пятен,
а нам считать рубли да буркать взаперти.
Да будет проклят мир, где мы долгов не платим.
Остановите век — и дайте мне сойти.

Не дьявол и не рок, а все мы виноваты,
что в семени у нас — когда б хоть гордый! — чад.
И перед чванством лжи молчат лауреаты —
и физики молчат, и лирики молчат.

Чего бояться им — увенчанным и сытым?
А вот поди ж, молчат, как суслики в норе, —
а в памяти моей, смеющийся, сидит он
и с болью говорит о поправном добре...



Хоть Бог и всемогущий, беспомощен мой Бог.
Я самый неимущий и телом изнемог,
и досыта мне горя досталось на веку,
но, с Господом не споря, полвека повлеку.

Под хаханьки и тосты, под жалобы и чад
мне в душу светят звезды и тополи молчат.
Я самый иудейский меж вами иудей,
мне только бы по-детски молиться за людей.

Один меж погребенных с фонариком Басё,
я плачу, как ребенок, но знающий про все,
клейменный вашим пеклом и душу вам даря.
А глупость верит беглым листам календаря.

Вы скажете: «О Боже, да он — без головы?..»
А я люблю вас больше, чем думаете вы.
Пока с земли не съеду в отдохновенном сне,
я верю только свету и горней тишине.

Да прелесть их струится из Вечности самой
на теплые страницы, возлюбленные мной.
И я скорблю и горблюсь, и в думах длится ночь.
А глупость верит в глобус. И ей нельзя помочь.

1978

ЧЕРНИГОВ

Воробьи умолкли, прочирикав.
А про что? Наверно, про Чернигов,
монастырский, княжий, крепостной.
С этим звездам впору целоваться.
Это воздух древнего славянства.
Это наше детство над Десной.

Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
Он стоит, не зная о Батые,
смотрят ввысь холмы его святые,
золотые реют купола.

Это после будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле:
хошь — молись, а хошь — иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.

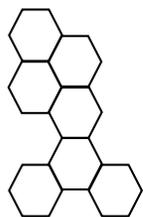
От земли веселия и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума, —
но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудут пчелиные дома.

Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пишем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.

Тени душ витают на погосте,
и горят рябиновые грозди,
и течет под берегом река,
и покой от веры и полыни.
Никакой Империи в помине.
Это просто Средние века.

Для того чтоб речь была хорошей,
надо б горстку соли скоморошьей,
да боюсь пересолить в летах,
потому что — верьте иль не верьте —
будут жарить черти после смерти
скоморохов на сковородах.

И смотрю с холмов на храмы Божьи,
проклиная все, что будет позже:
братний спор, монголов и Москву, —
и люблю до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву.



* * *

Я почувал беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу, —
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети, — словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.

О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.

И меня обижали — безвинно, вздохом, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренья берез, и склоненных небес тишина.

И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через тернии за ним, —
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.

Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.

1978

ОДА ОДУВАНЧИКУ

В днях, как в снах, безлюбовно тупящих,
измотавших сердца суетой,
можно ль жить, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой?

Хорошо, если пчелки напьются,
когда дождик под корень протек, —
только, как ты его ни напутствуй,
он всего лишь минутный цветок.

Знать не зная ни страсти, ни люти,
он всего лишь трава среди трав, —
ну а мы называемся люди
и хотим человеческих прав.

Коротка и случайна, как прихоть,
наша жизнь, где не место уму.
Норовишь через пропасти прыгать —
так не ври хоть себе самому.

Если к власти прорвутся фашисты,
спрячусь в угол и письма сожгу, —
незлюбив одуванчик пушистый,
а у родичей рыльца в пушку.

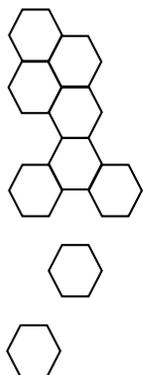
Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других.

У того, кто ломает и слижет,
светлым соком горча на губах,
говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.

Ты его легкомысля не высмей,
что цветет меж проезжих дорог,
потому что он несколько жизней
проживает в единственный срок.

Чтоб в отечестве дыры не штопать,
Божий образ в себе не забыть,
тем цветком на земле хорошо быть,
человеком не хочется быть.

Я ложусь на бессонный диванчик,
слышу сговор звезды со звездой
и живу, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой.



* * *

Сколько вы меня терпели!..
Я ж не зря поэтом прозван,
как мальчишка Гекльберри,
никогда не ставший взрослым.

Дар, что был неждан, непрошен,
у меня в крови сиял он.
Как родился, так и прожил —
дураком-провинциалом.

Не командовать, не драться,
не учить, помилуй Боже, —
водку дул заради братства,
книгам радовался больше.

Детство в людях не хранится,
обстоятельства сильней нас, —
кто подался в заграницы,
кто в работу, кто в семейность.

Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен,
между родиной и небом.

Убежденный, что в отчизне
все напасти от нее же,
я, наверно, в этой жизни
лишь на смерть души не ёжил.

Кем-то проклят, всеми руган,
скрючен, согнут и потаскан,
доживаю с кротким другом
в одиночестве бунтарском.

Сотня строчек обветшалых —
разве дело, разве радость?
Бог назначил, я вещал их, —
дальше сами разбирайтесь.

Не о том, что за стеною,
я писал, от горя горясь,
и горел передо мною
обреченный Лилин образ...

Вас, избравших мерой сумрак,
вас, обретших душу в деле,
я люблю вас, неразумных,
но не так как вы хотели.

В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца.

Поменяться сердцем не с кем,
приотверзлась преисподня, —
все вы с Блоком, с Достоевским, —
я уйду от вас сегодня.

А когда настанет завтра,
прозвенит ли мое слово
в светлом царстве Александра
Пушкина и Льва Толстого?

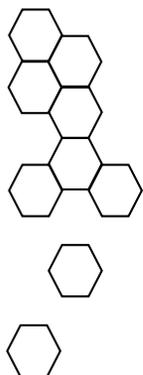
1986

* * *

Мы с тобой проснулись дома.
Где-то лес качает кроной.
Без движенья, без желанья
мы лежим, обнажены.
То ли ласковая дрема,
то ли зов молитвоклонный,
то ли нежное касанье
невесомой тишины.

Уплывают сновиденья,
брезжут светлы, брызжут звуки,
добрый мир гудит как улей,
наполняясь бытием,
и, как до грехопаденья,
нет ни смерти, ни разлуки —
мы проснулись, как уснули,
на диванчике вдвоем.

Льются капельки на землю,
пьют воробышки из лужи,
вяжет свежесть в бездне синей
золотые кружева.



Я, не вслушиваясь, внемлю:
на рассвете наши души
вырастают безуильно,
как деревья и трава.

То ли небо, то ли море
нас качают, обнимая,
обвенчав благословеньем
высоты и глубины.
Мы звучим в безмолвном хоре,
как мелодия немая,
заморожены мгновеньем,
друг во друга влюблены.

В нескончаемое утро
мы плывем на лодке утлой,
и хранит нас голубое,
оттого что ты со мной,
и, ложаь зарей на лица,
возникает и творится
созидаемый любовью
мир небесный и земной.

1989



ВОСПОМИНАНИЯ О ЕВГЕНИИ ЕВТУШЕНКО И БОРИСЕ ЧИЧИБАБИНЕ

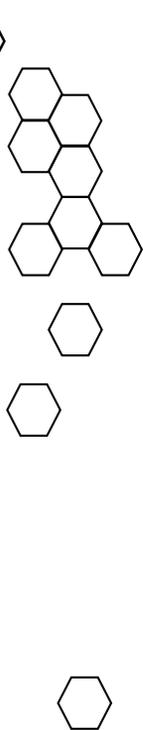
Лилия КАРАСЬ-ЧИЧИБАБИНА

Скончался Евгений Александрович Евтушенко. Многие современники восприняли его уход как глубоко личную утрату, и я в их числе. Я хочу рассказать о нем не как о выдающемся поэте, поэтическом трибуне своего поколения, а о его умении влюбляться в талант другого поэта, тем более, если он близок ему своей гражданской позицией: я имею в виду Бориса Алексеевича Чичибабина. Назвать это дружбой было бы преувеличением, хотя в интервью, данному журналистке студии «Лад» после кончины Чичибабина, он именно так обозначил их отношения.

На самом деле, Евгений Александрович «незримо» участвовал в судьбе харьковского поэта: от первого посещения чердачной комнатухи на улице Рымарской, 1, в 1959 году и до последних дней Бориса Алексеевича. (Некролог, опубликованный в «Литературной газете» тоже был им дополнен отдельным текстом). Свое знакомство с Чичибабиным он описал в статье, предназначенной для антологии «Десять веков русской поэзии». Сначала статья была опубликована в московской газете «Новые известия» 14 февраля 2012 г. под названием «Учивший кротостью и мощью». Для уточнения некоторых фактов Евгений Александрович позвонил мне из Америки, подробно расспрашивал о жизни на ул. Рымарской, где впервые встретился с Чичибабиным. Поскольку тогда я еще не знала Бориса Алексеевича (далее Б.А.), то переадресовала его к другу Чичибабина Марку Богославскому – живому свидетелю тех лет. Приведу отрывок из статьи Евтушенко.

«В 1959 году, когда я впервые собрался в Харьков, Борис Слуцкий, сам харьковчанин, сказал мне, что первый человек, с кем я должен там познакомиться, — это Чичибабин, и в подкрепление своих слов прочел его четыре строки: «Лестницы, коридоры, / хитрые письма... / Красные помидоры / кушайте без меня». В них была та необъяснимость, которая и есть поэзия.

Тогдашний студент театрального училища Сережа Новожилов, ныне петербуржец, народный артист России, помог мне в первый же день разыскать дышавший на ладан домишко на Рымарской с водопроводной колонкой во дворе. Мы поднимались по деревянной лестнице, ведущей, похоже, на чердак. Шли на песню, раздававшуюся сверху под гитарные струны. Дверь не была заперта. За столом, на котором стояла полупустая бутылка водки, банка килек и пара граненых стаканов, сидели двое: тот,





что с гитарой, — помоложе, другой — постарше, худущий, изможденный, из чьих глаз на меня польхнула жгучая синева. В нем я сразу признал Чичибабина. Мы раньше не встречались, но и он догадался, кто я, приложил палец к губам, чтобы не прерывать песню, подвинул нам с Сережей по табурету и тихонечко плеснул остатки водки в чайные чашки. Когда песня кончилась, крепко пожал мне руку своей костистой сильной рукой лагерного землекопа.



— Ну, здравствуй, Евтушенко.



Парень с гитарой, угольно косматый, с такими же угольными глазами, представился кратко: «Пугачев», словно вынырнул из метельного месива «Капитанской дочки», затем добавил: «Леша», и продолжил пение собственных, надо сказать, отчаянно удачных песен. А потом Чичибабин скомандовал:

— Ну, теперь читай, Евтушенко.

И впился в меня недоверчивым пронзительным взглядом, словно выпытывал: что ты за человек и способен ли ты выдержать славу, которая на тебя свалилась?



Одно никак не сопрягалось с его могучими глазами, с его буйной не по возрасту копной волос: он был одет во всё советско-усредненное, учрежденческое, нечто заготзерновское, жэковское, счетоводческое, как будто его насильно запихнули в эту смирительную одежку. Потом я узнал, что он на самом деле работает в конторе грузового автопарка.

А когда он начал читать стихи, расправив плечи и наполнившись неизвестно откуда взявшейся мощью, в нем проглянуло что-то древнерусское, что-то от вольных новгородцев, собиравшихся на вече. Он читал, рубя голосом ритм, а ладонью воздух:

«Как будто дело всё в убитых, / в безвестно канувших на Север — / а разве веку не в убыток / то зло, что он в сердцах посеял? / Пока есть бедность и богатство, / пока мы лгать не перестанем / и не отучимся бояться, — / не умер Сталин».

Стихи звучали как анафема, заклинание, клятва. Я не мог оторвать глаз от него, совершенно замороженный, а когда пришел в себя, то увидел, что комнатенка наполнилась людьми, явившимися на его голос, как на звук набатного колокола. Помню прекрасную исполнительницу стихов преподавательницу Сашу Лесникову, будущего режиссера Валю Ивченко, который подарил мне из своего рассказа изумительную строчку «Крокодил, потрескавшийся от обид», поэта Марка Богославского, художников, студентов, ученых, инженеров. В Харькове голос Чичибабина будил совесть. Ранним утром меня провожала в гостиницу целая толпа «чичибабинцев». Они и спасали его своей любовью, когда ему приходилось худо...».

И это чувство почтительного уважения к старшему собрату по поэтическому цеху сохранилось у Евтушенко на всю жизнь.

* * *

В 1969 году Чичибабин и Евтушенко вместе выступали в Подмосковье в научно-исследовательском институте, где работал наш приятель Володя Нузов, устроивший эту встречу. Приведу отрывок из его статьи: «Это был Институт горного дела имени Скочинского в городе Люберцы, ближайшем пригороде Москвы... Огромный, человек на 600, зал был полон, поэтому собранных за входные билеты денег хватило и на дорогу Б. А. и его жены Лили от Харькова до Москвы и обратно, и на гонорар Чичибабину. Конечно, это стало возможным, благодаря в первую очередь тому, что от своего гонорара Евтушенко отказался в пользу Чичибабина. Так в первый, но не в последний раз я понял, что Евгений

Александрович Евтушенко не только прекрасный поэт, но и щедрый, все понимающий человек».

Володя запомнил: я тогда не смогла поехать, так как была в командировке в Попасной. Зато Б.А. прислал прямо на завод телеграмму, где были такие слова о Евтушенко, что он «хороший, настоящий».

После этого совместного выступления оба поэта участвовали в вечере, посвященном юбилею «Таганки», куда пригласил Чичибабина Евтушенко.

В 1972г. в московском «самиздате» вышел сборник стихов Чичибабина, собранный и отредактированный Леонидом Ефимовичем Пинским, известным литературоведом, на которого стихи Б.А. произвели сильное впечатление. Прочитав сборник, Евтушенко незамедлительно откликнулся на него восторженной телеграммой, восхищаясь уровнем поэтического мастерства (телеграмма была послана на адрес Марка Богославского, так как адреса Б.А. он не знал).

Шли годы, и регулярного общения между поэтами не было, да и не могло быть: уж слишком разные они люди, и в совершенно разных жизненных обстоятельствах они существовали и творили. Не знаю, дошла ли до Евтушенко эпиграмма Чичибабина (на него и А. Вознесенского), но, как говорится, зла на Б.А. он не держал, по крайней мере, ни в чем это не проявилось. Помню, что несколько раз он присылал по почте листочки с ужасно неразборчивым почерком, и было досадно, что прочесть их основательно так и не смогли. Я сомневалась, надо ли давать в этих воспоминаниях текст эпиграммы, и все-таки посчитала, что так будет правильнее:

*«Эпиграммы провинциала»**

Я честь бесчестию воздам.
Способны русские пророки,
одной рукой казня пороки,
другой подыгрывать властям.

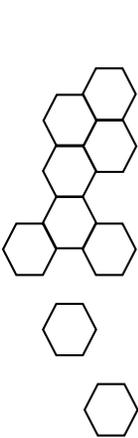
О, Разнесенский, Петушенко,
джамбулы атомных времен,
между витийством и враньем
не ведающие оттенки!

С позором родины в родстве,
вы так печетесь о величьи,
но нет величия в двуличьи,
как нет геройства в шутовстве.

1970

* Под таким названием существуют в рукописном чичибабинском тексте две эпиграммы (другая – на Ираклия Андроникова). Обе опубликованы в книге «Собрание стихотворений». Харьков, Фолио, 2009, с. 754.

Впервые эпиграмму Чичибабин послал в письме Григорию Померанцу. (3-х томное издание. Книга «Письма», Харьков, Фолио, 2002, с. 80).



С годами становится всё труднее передать атмосферу тех лет. Мы и наш круг друзей, половину которого составляли харьковские диссиденты (некоторые уже отсидели сроки), жили ежедневно в тревожном ожидании вызовов в КГБ или обысков. Приходилось где-то прятать привозимый из Москвы самиздат и «Хронику текущих событий». Знаю, что также жила и московская «антисоветская» интеллигенция и такие же «отщепенцы» в других городах нашей необъятной бывшей Родины. Чичибабин не считал себя диссидентом, хотя писал стихи, отвечающие настроению диссидентской среды. Он спорил с ними и считал, что их «революционный» настрой может принести немало социальных бед. Но как сказано: «... и куда податься кроме них». Он всегда говорил и писал, что жаждет преображения, раскаяния во всех грехах советской власти, а не разрушения.

Я ушла в сторону от эпиграммы. Поэты, фамилии которых явно прочитываются, были как бы официально разрешенными и одновременно служили «Богу и маммоне», что не одобрял не только Чичибабин, но и многие почитатели их поэзии. Кстати, творческие удачи одного и другого, безусловно, радовали его, как человека больше всего на свете любящего стихи.



Наступили перестроечные времена: стихи Чичибабина стали появляться в периодической печати, и ему со всех сторон советовали восстановиться в Союзе писателей (в частности, уважаемые им Александр Володин, Булат Окуджава и не только). Но Борис Алексеевич отказывался этим заниматься.

И тут неожиданно к нам домой позвонил Евтушенко. Он обратился к Чичибабину с аналогичным предложением (возмутился, когда Б.А. назвал его по имени-отчеству и на «вы»), и сказал, что собирается звонить в киевскую писательскую организацию и напомнить им о поэте Чичибабине, исключенном из СП в 1973 году (там, в самом деле, забыли о таком поэте). Б.А. начал возражать, ссылаясь на то, что он уже старый и ему это ни к чему. Но Евтушенко, все-таки, позвонил в Киев. Постепенно «машина закрутилась», и в октябре 1987 г. Чичибабина восстановили в харьковском отделении Союза писателей. (За восстановление проголосовали те же, кто голосовал за исключение). Тогда еще существовал единый Союз писателей с главным Правлением в Москве. И на одном из выступлений Чичибабина в Москве, в Доме культуры медиков, Евтушенко вручил ему новенький членский билет под одобрительные аплодисменты присутствовавших на вечере. Правда, в билете была неправильно указана дата вступления в СП – 1988 г. Когда мы это заметили, Евгений Александрович очень огорчился, но всё исправил: позвонил в секретариат Союза, и Б.А. выдали членский билет с правильной датой – 1966 год.

Более теплое дружеское общение с Евгением Александровичем наладилось, когда он приехал в Харьков баллотироваться в Верховный Совет СССР. Члены общества «Мемориал», председателем которого был университетский преподаватель, историк Валерий Федорович Мещеряков выдвинули кандидатуру Евтушенко в народные депутаты Верховного Совета от Дзержинского избирательного округа города Харькова. Мещеряков, друживший с Евтушенко, уговорил известного во всем мире поэта участвовать в акции «Выборы-89» от нашего города. Думаю, что многие харьковчане помнят это волнующее событие. Евтушенко попросил Чичибабина быть его доверенным лицом, и не участвующий в публичных мероприятиях Б.А. согласился. Незабываемый грандиозный митинг прошел в парке им. А.М. Горького. Перед многотысячной аудиторией, кроме самого Евтушенко, выступали приехавшие из Москвы Татьяна и Сергей Никитины, харьковские барды, читал стихи Борис Чичибабин. В эти же дни Б.А. вместе с Евтушенко выступал на площади Поэзии возле памятника Пушкину. Вот как Евтушенко вспоминает об этом в

предисловии «Кротость и мощь» к книге стихов «Колокол», за которую Чичибабин получил Государственную премию СССР.

«...Я попросил Чичибабина прочесть стихи, и пока харьковчане аплодировали, радуясь его появлению, он неловко вытискивался из толпы и шел по единственно свободному месту – по краю клумбы возле памятника, стараясь не повредить цветов, оступаясь в жирном черноземе, держа в руках хозяйственную кошелку, выдававшую то, что он вовсе не собирался выступать. Но, знаете, и с этой кошелкой, и с этой неуклюжей застенчивой походкой он был совершенно естествен возле Пушкина. Представьте, например, возле Пушкина Грибачева – это будет вопиющее несочетание. А вот Чичибабин – сочетается. И благородством облика и благородством стиха.

Думаю, что он постепенно выработался в одного из крупных современных поэтов. Дело не только в таких шедеврах, как «Красные помидоры кушайте без меня...», или «Сними с меня усталость, мать смерть...». Без этих стихов невозможна отныне ни одна настоящая антология русской поэзии. Дело и в судьбе, соединившейся с даром. Судьбу я понимаю не только под фактами личных трагедий Чичибабина – он и сидел, и был исключен из Союза писателей за защиту им Твардовского, и жил долгое время в неизвестности и полунищете. Основное слагаемое судьбы, гораздо большее, чем самые трагические обстоятельства, – это характер. Самое замечательное в Чичибабине – его характер. Характер очень русский, очень славянский, именно по восприимчивости к боли и бедам не только русского, но и всех других народов. Говоря словами Достоевского, «всемирный всеотклик». Это одно из тех качеств, благодаря которым Чичибабин так естественно выглядит рядом с памятником Пушкину <...>. Если бы учить нравственности по стихам Чичибабина, то попрание свободы, глумление над людьми были бы невозможны...».

Авторство вступительной статьи, написанной Евтушенко, тоже стало возможным благодаря «Выборам-89». После блестящей победы на выборах он пригласил Б.А. и, естественно меня, поехать с ним в харьковское лесничество «на шашлыки». Кстати, возил нас на своем стареньком авто ректор Международного славянского университета Христиан Валерианович Раковский, внучатый племянник известного политического деятеля Христиана Георгиевича Раковского. В ходе дорожной беседы, узнав, что в Москве готовится к публикации книга стихов Чичибабина «Колокол», Евтушенко предложил написать к ней вступительную статью, и Борис Алексеевич дал свое согласие.

В стихе, начинающемся строкой: «Когда стихотворенье заперто...», Евтушенко посвятил Чичибабину несколько строф:

....Но лучше начерно и набело
писать себя, писать судьбу.
Люблю Бориса Чичибабина
за рукопись Руси на лбу.

Мне Чичибабин – это Родина,
Последний нынешний святой,
И смотрят глыбко и колодезно
его глаза с живой водой.

Люблю я пьющих полной чашею
отравленное бытие,
когда поэт – он величайшее
стихотворение свое.

(1993)

Последний раз они встретились в Москве на вечере «Литературной газеты» – «Автограф», проходившем в кино-концертном зале «Октябрь». Это было 12 ноября 1994 года. (Первое и последнее выступления Чичибабина состоялись именно в этом зале). Из приглашенных участников вечера он был один не москвич. Выступали: Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Рейн, Искандер, Поженян, Жигулин и другие известные поэты. Татьяна и Сергей Никитины предваряли выступление каждого поэта песней на его стихи. Перед выступлением Чичибабина они исполнили «Давайте что-то делать...».

После вечера мы с Фазилем Искандером и его женой ожидали машину, на которой нас должны были развезти по домам. Мы стояли возле выхода в пустом вестибюле, и вдруг неожиданно появился Евгений Александрович в окружении почитательниц, которым он, по-видимому, подписывал свои книги. Увидев Чичибабина, он устремился к нему, чтобы попрощаться, и Борис Алексеевич перекрестил его, как делал всегда, прощаясь с близкими людьми. Евтушенко обрадовался и сказал, что завтра он улетает и собирался пойти в церковь, но теперь может не ходить: так много значило для него «чичибабинское благословление».

Еще помню, как в 1998 году июньским солнечным днем он вместе с Валерием Мещеряковым посетили кладбище, где похоронен Борис Алексеевич. Это был год 75-летия со дня рождения Бориса Чичибабина. Наверно, Евгений Александрович скупил все ромашки, которые продавались у кладбищенской ограды, и эту огромную охапку цветов положил к надгробному памятнику. Я подарила ему фотографию: молодой Женя Евтушенко с Борисом Чичибабиным. Редкая фотография 60-х годов, на которой они запечатлены в момент разговора; на снимке очевидна разница поколений. Евгений Александрович очень обрадовался фотографии.

Запомнился мне один казус. На кладбище пришли и друзья Чичибабина. Один из них, отозвал в сторонку Евтушенко и предупредил его, чтобы тот был осторожней на Украине «с Чичибабиным», дескать, он был против независимости Украины. Я случайно услышала, и мне стало очень горько. Во-первых, потому что предупреждал наш близкий друг, а во-вторых – это было неправдой: Чичибабин голосовал за независимость, мотивируя тем, что Россия первая объявила о своем выходе из Союза. Не знаю, принял ли к сведению совет Евтушенко, но то, что Чичибабин трагически переживал разрыв между Украиной и Россией еще тогда в 90-годы – это факт, нашедший отражение в стихах. Трудно представить, что чувствовал бы Борис Алексеевич в наше безумное время.

На канале «Культура» в 1998 г. в серии фильмов о поэтах (авторская программа Евгения Евтушенко) им был снят фильм о Борисе Чичибабине. Надо видеть, с какой любовью он преподносил материал о поэте.

Евтушенко неоднократно выступал в Харькове и всегда собирал полные залы. На моей памяти его выступление в 2003 году в Большом зале ХАТОБа (Харьковского академического театра оперы и балета). В первом отделении Евтушенко читал стихи, а во втором – исполнялась Симфония №13 Дмитрия Шостаковича на его стихи. После выступления, во время небольшого фуршета, я обратилась к нему с просьбой написать несколько

напутственных слов к книге «И возвращусь опять...» об Ольге Берггольц харьковчанки Ольги Максимовны Оконевской. Книга должна была уйти в печать, но редколлегия захотела заручиться именем известного литератора. Евтушенко сказал, что сам писал о Берггольц и очень ценит ее как поэта и героическую личность. Попросил чистый лист бумаги и быстро написал сопроводительный текст, начинающийся словами: «В любое уважающее себя издательство от Е.А. Евтушенко ...». Вскоре книга была напечатана в ленинградском издательстве. Знаю, что на его счету ни мало добрых дел. В тот же день, уже поздним вечером, зашли в Чичибабин-центр и он захотел приобрести какую-нибудь книгу Чичибабина. Я предложила ему 3-х-томник, недавно изданный «Фолио», и, конечно, хотела подарить. Но он решительно отказался и заплатил. Бережно храним подписанный им буклет: «Чичибабин-центру в память об этом дивном поэте и человеке. Е. Евтушенко. 19. X11-03».

В 2015 году в издательстве «Время» в Москве была издана книга стихов Чичибабина «Сияние снегов». Я попросила разрешения у Евгения Александровича в качестве вступительной статьи поместить его текст о Чичибабине, написанный для антологии, и он дал свое согласие.

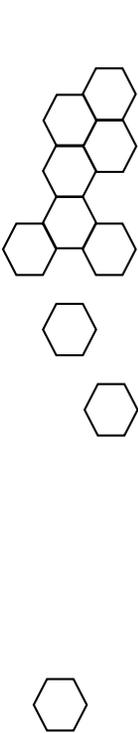
С тех пор не было с ним никакого общения. Несколько раз видела по телевизору передачи с его участием. Больно было смотреть, как он изменился, хотя оставался по-прежнему активным и темпераментным...

Случилось непоправимое: 1-го апреля 2017 года ушел из жизни поэт Евгений Евтушенко, оставив современникам и потомкам многогранное творческое наследие.

С благодарностью и любовью 30-го мая в Чичибабин-центре прошел вечер памяти Евгения Евтушенко. Зал не вместил всех желающих: люди стояли вдоль стен, в дверях. Выступали дружившие с Евтушенко харьковчане, тепло вспоминали о нем, не забыли как он добросовестно относился к своим депутатским обязанностям. Звучали стихи поэта, удачно подобранный видеоматериал представил его творческий путь: было ощущение, что он сам присутствовал среди нас.

май-июнь 2017г.





Ирина ЕВСА

ХОР НЕСОГЛАСНЫХ

ГЮЛЬЧАТАЙ

За идею? Вряд ли. Даже – не за еду.
Но мечтала с детства в райском летать саду.
Тут – чумичка, косая челка.
А там – райская птичка, майская пчелка.
Повстречались добрые люди,
пожалели ее, холопку,
сообщили добрую весть:
мол, пояс волшебный есть:
нажмешь на кнопку –
и вот тебе рай на блюде.
И когда мобильник ей приказал: пора! –
из нее на волю брызнули (как с утра
толпы из электричек)
сотни пчелок, птичек:
все багряные – земным не чета,
каждая – Гюльчатай.

ЭВРИДИКА

Он видит стен шершавую белизну,
пустую койку, немолодой четы
фото и – чуть левее – свою жену:
в платье из темно-серого полотна
она сидит на стуле спиной к окну.
Он видит контур, но не её черты.
«Это не тот, не тот! – говорит она. –
Где, недоумки, родинка возле рта?»
Ей говорят: «Вот».
Она кричит, раскачиваясь: «Не та!
Пусть он уйдет!»
Грачи в больничном вспархивают дворе.
Не тот стоит и думает: «Помнит хоть
родинку. Это, вроде бы, добрый знак».
Жидкую прядь сдувает с виска сквозняк.
Врач говорит вполголоса медсестре:
«Надо бы уколоть».

И он выходит, чтобы не видеть, как,
дернувшись, словно сбитое на лету,
тело не той обмякнет в чужих руках,
из оболочки высвобождая ту,
что всякий раз беззвучно за ним скользит,
растерянно тормозя
у двери, где светящееся «exit»
читается как «нельзя».

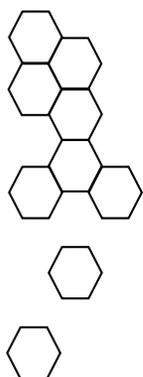
* * *

Верка ропщет, ропщет: «Надо же так суметь!
Ты за что, Господь, ему уготовил смерть?
Он же был непьющий,
в хоре Твоем поющий,
сроду не делал зла.
А этого Ты козла,
за которым три ножевых,
оставил в живых».

Надька ропщет, ропщет: «Что-то я не пойму:
Ты зачем, Господь, упек моего в тюрьму?
Нож из руки не выбил.
Видел же, что он выпил.
Сам, что ль, до крови лаком?
Может, в петлю прикажешь мне?
А семерых по лавкам –
раздать родне?»

Ропщет Любка: «Планов не угадать Твоих:
дал сперва двоих, потом отобрал двоих.
Один – смирный, смурной.
Другой – шальной, заводной,
лют бывал после водки,
но со мной – теплел.
Все эти цацки, шмотки –
к чему теперь?»

И гуськом плетутся, охая, бормоча.
Слева и справа густо цветет бахча,
перекликаясь пчелами. У развилки
озадаченно тормозят.
Одной – к тюрьме. Другой – прямиком – к могилке.
А третья хлебнет из пластиковой бутылки –
и назад, назад.



* * *

Юность одержима, как мятеж.
Всё в пандан – бандана, балаклава,
всё зачтется, чем себя ни тешь:
свергнутый родительный падеж,
смертью перекормленная слава,
бытие, обернутое в трэш.

Пуля – дура. Комп с разбитым ртом.
Врассыпную – треть клавиатуры.
Шрам зарубцевался на плече.
Под штормовкой – маечка с принтом
Че Гевары или Че Петлюры –
не имеет, собственно, значе...

– Что трясешься? Хватит – о тепле.
Я вчера – пошарь, короче, в сумке –
стырил в супермаркете коньяк.
Мяч у нас. Оле-оле-оле!
Если окружили эти суки,
есть, чем отстреляться, на крайняк.

Нам придется встать спиной к спине.
С тылом в этот раз не подфартило.
Гребаный не сбился Голливуд.
Ты чего, чувак, повис на мне?
Как всегда, патронов не хватило.
Хоть сказал бы, как тебя зовут.

* * *

Уделал потому
он этого козла,
что муха по столу
прилипчиво ползла;

что бутерброд был черств,
а штоф не запотел,
что шел обычный чес
сюда забредших тел;

что этот шаровик,
освоивший притон,
жрал водку за троих
и лыбился притом;

что правда – в черепки,
как девушка с веслом;
что Пашке полбашки
под Марьинкой снесло;

что хоть он – ВСУ,
но все ж – надежный друг;
что бешеному псу
и сорок верст – не крюк,

а не подпер плечом
его дешевый гроб;
что треп ваш – ни о чем.
и ваш безбожен стеб.

* * *

О чем говорят бараны,
бессмысленную гурьбой
бредущие на убой?

Слева у них и справа
овчарки крутого нрава –
боевики охраны.

Бараны в первом ряду
восторженно блеют: «Слава
Дарующему Еду!»

Хором баранья масса
вторит: «Отстой – на мясо!
Врагов – на сковороду!»

Над ними – блакитный свод.
За ними – родной лубок.
Впереди – врата.

Кто в силе, тот и войдет.
Иначе – рогами в бок.
Толкотня, суета,



где сбившиеся в середку
трубят: «Идем на таран!»
А последний баран

траву обмарал,
вотще надрывая глотку
воплем: «Я – ветеран!»

ЛЮБОВЬ

И она лопочет, не поднимая глаз,
к мусорному ковыляя баку:
«Не посылай мне, Господи, в этот раз
ни кота, ни собаку,
ни мужика: всё спать бы ему да есть.
Дай управиться с тем, что есть».
Огибает лужу с голубем по кривой
И видит его.

Он ворчит, к помойке яростно волоча
сдохшую батарею:
«Запadlo платить врачам этим сволочам.
К яме бы поскорее
без прибудных тварей и сердобольных баб
самому доползти хотя б!»
Отдышавшись, в бак закидывает старье.
И видит ее.

– Нет, не может быть, чтоб это была она –
в заскорузлой шапке, в тапках, дугой спина!
и ползет зигзагом, словно с утра под мухой.
К слову, я частенько ей наливал вина,
в угловом раю на улице Веснина,
ну, когда она еще не была старухой.

А она, забыв про свой сколиоз, артрит,
по двору плывет, точней говоря, парит
(подбородок вздернут, плечи – назад), срывая
с голубых кудряшек вязаную фигну,
потому что может, ясно же и коню,
не узнать ее, как позавчера в трамвае.

ГОСТЬ

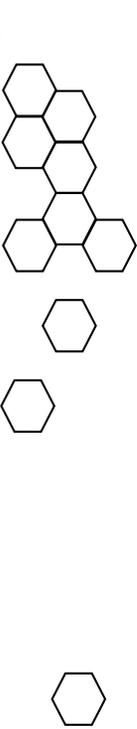
Не собирался – его попросили: сфоткай – чего там! – так, чтоб вместился дельфиниум синий, льнувший к воротам, или выюнком оплетенная сетка, жимолость, или из белогорского камня беседка в греческом стиле. Он, между тем, закипал, презирая кнедлики с водкой, сад как сиротскую копию рая, пошлое «сфоткай», сих болтунов, с кругозором козявки, склонностью к ляпу и на бедре белозубой хозяйки хамскую лапу. Брезговал каждой ухоженной грядкой, каждо соткой, пьяного бабника мордю гладкой. Надо же: «сфоткай!» Но попросили – и сдался, гоня их от сарая к бане, намеренно фон оголяя: вот вам – сырая, в пятнах стена, неприглядная груда утвари ржавой, словом, – задворки удачи, откуда все вы, пожалуй. Злился, что лавку поставили криво, сели неловко. И сгоряча не смахнул с объектива божью коровку.

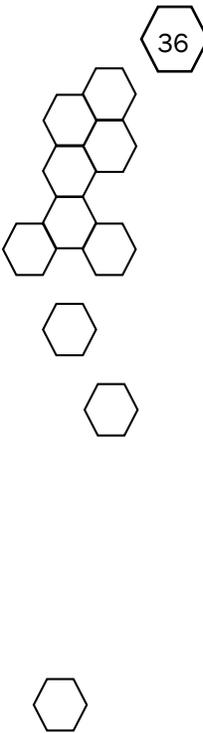
ПОДРУГИ

...а Людмила теперь – улитка. Во тьме ночной по бетонке ведет узор слюдяной слюной, вычисляя дневное сальдо, на бескостной спине качая свой сундучок: вдруг какой-никакой приклеится слизнячок, невзыскательный бомжик сада?

...а Марго – не жена ни разу, а стрекоза. У, зараза! Опять с утра залила глаза: на шиповник садится косо. Проползают по стеблю глянцевого жуки. Но зачем ей сиюминутные мужики, их щипки, если есть «колеса»?

...а Настюха мухой носится по двору, прибирая к лапкам вкусное, подобру-поздорову слинять не хочет. Увернувшись от настигающего шлепка мухобойки, под холку лающего щенка занырнув, – дребезжит, щекочет.





...а вдоль крыши горизонтальные кружева
растянув, из дыры выходит чернеть вдова
(мол, арахна я, ну и ладно!),
и тринадцать пунцовых клякс предъявляет на
опустевшем брюшке, не ведая, что она –
урожденная Ариадна.

Все четыре привычно день обживают врозь.
Но как только последний луч попадает в гроздь,
в тын, что жимолостью исколот,
тени женских фигур к некрашеному столу –
волоска не сронив, следов на сыром полу
не оставив – текут из комнат.

«Где Людмила? – Бурчит Марго. – Эта шлендра где?»
Черепками закат горит в дождевой воде.
Ариадна бесстрастно вяжет,
языкатой Настюхе делая знак: молчи!
Точно зная, кем хрустнул мокрый башмак в ночи.
Но, сглотив, ничего скажет.

* * *

«Не бросай меня, – прижимается, – будь со мной.
Будь моей опорой, крышей, моей стеной...»
Он кривится: «Боже,
поменял бы Ты назойливый звукоряд!
Столько баб на белом свете, а говорят
все одно и то же».

Тьма слетает в сад бесшумно, как нетопырь.
Отсыревший воздух, резкий, как нашатырь,
заползает в окна,
и зрачками волка
две звезды горят, насаженные на штырь.

Он снимает ее ладонь со своей груди.
ну давай: обличай, долдонь, городи, гунди –
все равно уеду
из югов твоих – горели б они огнем!
Под кроватью – сумка, паспорт на дне, а в нем –
мой билет на среду.

«Ха! – глумится она, – твой паспорт и впрямь на дне.
Тащит краб его в зубчатой, кривой клешне,
а билет мурена,
не икнув, сглотнула. Спи, болтовней не мучь.
На крючке – халат. В кармане халата – ключ.
Дверь снесешь? А хрена!»

Так полвека они, уставившись в потолок,
продолжают в ночи мучительный диалог,
губ не разжимая.
И когда она вдруг смолкает часу в шестом,
он толкает ее, спеша убедиться в том,
что она – живая.

АРБУЗ

Прижимает к арбузу ухо, вслушиваясь: трещит?
То подбросит его, как мяч, то к сердцу прижмет, как щит.
Простукивает бока:
не сорвался бы кайф с крючка. Иначе зачем – подшит –
лихо стольник стянул с лотка?
Подгребают, спеша, к пивной базарная шантрапа.
У татар перерыв дневной: бурлит в казане шурпа.
– Нож дадите? Галдят: уйди!
Разбивает арбуз о камень. Лучший берет кусок.
Грязноватыми ручейками липкий стекает сок
по его расписной груди.
Обогнув лежаков ряды, где дремлет народ, сопя,
или режется в дурака, –
он врывается в твердь воды, впускает ее в себя:
он хочет – наверняка.
Пролетая, монетка света, вдруг подмигнет, слепя,
и нырнет в глубину зрачка.
Никаких уже либо-либо. В логове бытия
он лежит у придонной глыбы, чистенький, как дитя,
ловит время открытым ртом.
А над ним проплывает рыба с розовым животом,
влажно семечками блестя.



* * *

Жжет, истерит, надравшись, блюет в порту,
«на» энергично перетирает в «дай!»

Лето – диджей в любовном поту, в тату.

Осень – джедай.

Лето грызет початок, упав плашмя
на парапет, бубнит имена светил
в чье-то ушко, не веря, что жизнь прошла
и белозубый лайнер уже свинтил.

Осень бесшумно пересекает вброд
всякую воду, тенью скользя по дну,
в гору ползя, легко маскируясь под
красный шиповник, черную бузину.

«Сядь, – говорит, – на камень, глаза разуй.

Я подымлю пока за твоей спиной».

Сел и увидел: золото и лазурь.

Вздрогнул. И снова – золото и лазурь.

«Вот, – говорит, – а как ты гнушался мной!

Зря не канючь: в какую, мол, почву лечь?

Вышли в тираж твои васильки и рожь.

Там, где взметнется мой светоносный меч –
там и замрешь».



ГЛИНА*Алексей ЗАРАХОВИЧ***1**

Август, что ли? Искрят и гудят невода
Спотыкаются лодки, весла цепляют тину
А вдоль берега глина, вода, и солома
Кажутся, навсегда. Не вода и солома –
Первой сломается глина

Бесхребетное счастье, жилище без позвонков
Но зато эти плоские рыбы, зато эти рыбы пивные
И рыбак-человек на краю деревянных мостков
Неподвижнее глины

Или так: нет ни хат, ни гончарных печей
И река наконец-то пребудет ничьей
От болот до Ничейного моря

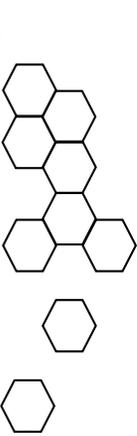
– Что же дальше, кто оттиск оставит в воде
Чьи, спрошу, невода. Или рыбы в гнезде
Тишину переспорят?

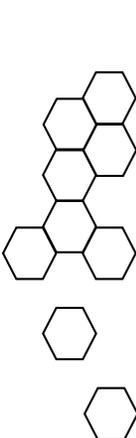
2

Мы солнечный хвост сложили в углу
Мы — солнечный хвост, что спит на полу

— Послушай — я слушаю — Нет, ты послушай
Внутри тишины громко хлопают уши
Как будто бы крылья летучих мышей
Как будто бы мыши, надевшие крылья
Обычные мыши, обычные крылья
Что сделать легко из обычных вещей
...Что сделать легко из летучих мышей

Слоняется окнами темный огонь
Рука истончается — шире ладонь
Которая, разве что, может тянуться
И тянется кожа, и пальцы легки
И пальцы взлетают, как птица с руки
...Не верь, что вернуться





— Закончилось «мы», начинается «я»
 О чем ты живешь, в чем радость твоя?
 О чем ты? — как спросят о книге —
 О чем эта книга, о чем твоя жизнь
 От вещего дара до сдвига отчизн
 В крысиную яму
 ...В несчастную яму

— Как если б летание легких мышей
 И солнечный хвост людей и вещей
 Всему — оправданье.

3

Эта сухость стоячей воды
 Чередуются дни, словно весла,
 Гребут; но как прежде
 Прошлогодного солнца
 По краям розовеют следы
 Мы всё там же, где были
 И наши надежды
 С нами –
 Ветхие наши надежды

Но если их взять – отряхнуть
 Чуть подкрасить, поставить заплаты
 То станет уместным
 Разговор о реке,
 По которой под парусом рыбы идут
 И восходит окно над построенным лесом

Как по темному небу течет голубая вода
 А на Нижних ни капли
 и Верхние сохнут сады
 Перевернуты лодки на зиму ... Кружится моя голова
 У замерзшего голубя в клюве –
 круги от воды



МЕД**1**

Так что же еще получает без спроса
Веселое время и горькое время
Как будто мы пчелы высокого роста
В саду воскресенья

Какие-то буквы, – ты скажешь, –
Возможно, идеи, причуды
Как если бы время, поставив треножник
Рисует с натуры

Не человека, но быстрые взмахи
Руки или скрипки
...Как будто бы жизнь только музыкой пахнет
И сладкой и липкой

2

Внесли цветок, и начался цветок
Еще живой и цвет его глубок
Еще есть радость узнавания места –
Вот эти стены, стол и потолок
Не окончательность, но доброе соседство
Что запасает свет и воздух впрок

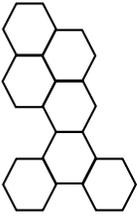
Еще вода прозрачна и глоток
Впадает в детство

...Что видел ты? увидел ты – смотрел
На жизнь себе подобных. Их удел
Воображал, как водится, без толку

Вот девы, говорю, стоят рядом
Подсвеченные поздним фонарем
Ни дать ни взять – хор мальчиков – и только.

3

Мне нравятся простые города
Бессмысленные, даром расписные
Как будто воду ловят невода
И сохнут рыбы плоские, пивные



Где реки только по́ слуху сльвут
Речь об утопленнике разом переполнит
Сухое русло. Дно топтавший тут
Вернется в омут

Вдоль берега две хаты и причал
И в подстаканнике узорном, словно чай
Стоит церквушка темная, густая
Как небо, что под вечер сбилось в стаю
...Как слух о человеке, что пропал

4

Дней прошедших не лучше, зато и не хуже, поверь,
Хоть бы вместе считать наши дни или порознь
...Вдоль окраины неба бежит перепуганный зверь
И кусается больно

Как по осени вымолвишь: В реках темно от воды
Отраженья деревьев и птиц неглубоки, летучи
...Зацепившись за небо в садах догнивают плоды
И не то, чтобы сорванных хуже, но жаль, что не лучше



ЯВЛЕНИЕ ЦВЕТУЩЕГО АБРИКОСА*Елена БУЕВИЧ***1**

Он первый, он самый отважный,
он чует, что будет теплей,
и шмелик однофюзеляжный
поверил ему, дуралей.

И бабочка, la mariposa,
не зная прогноза вполне,
мерцает в столпе абрикоса,
на светлой его стороне.

Все вместе они обязались
втянуть меня в эти дела —
летать, любоваться на завязь,
сулить наступленье тепла.

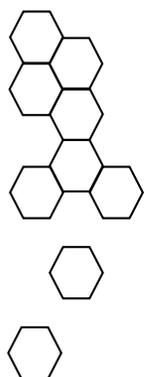
2

К старости становишься японцем.
И стоишь под солнцем, чуть раскос,
и глядишь: с тишайшим перезвонцем
помавает веткой абрикос.

Обогнал он яблоню с черешней,
посетил на миг земную клеть,
чтоб воздушной радостью нездешней
окатить, утешить, облететь.

Будто растворились двери рая,
и стоит в пристанище добра,
на тебя, заблудшего, взирая, —
дерева цветущая гора.

А вокруг — ристалища и квесты,
песий лай и человечесий бег.
И летят, как «капельки» челюсты,
абрикоса радость, сладость, снег...



3

иногда ветка абрикоса —
это хокку

иногда —
пара строф

порой
встретишь дерево
которое тянет
на полноценное
стихотворение —
строф на пять
или даже
на семь

но что же тогда,
абрикос-поэма?

дорога ли это
под абрикосовой сенью?

или абрикосы-ворота
в дивный новый мир?

или просто крона,
опрокинутая в небо —
космос цветущий?

но никогда
знаете, никогда
мне еще не попадался
абрикос-верлибр

такой где всё
с маленькой буквы
почти без знаков препинания
строка — два-три слова

неужели он не существует

КУРОРТНОЕ

Как в фольге обёрточной —
в памяти блестящая,
словно бы отвёрточкой
в городишко вкручена, —

улочка-улиточка,
вся в ухабах, та ещё.
Проскрипит калиточка —
вот оно, пристанище.

После пляжа пришлым нам
и курятник — теремом.
На море, под крышею —
как в раю под деревом.

Здесь была уступчивой,
здесь была доверчивой.
Сядем на приступочку,
просидим до вечера.

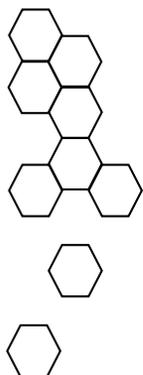
Вечерок учкуевский...
Ладили обычно мы.
Злящийся, взыскующий,
ты такой... забывчивый!

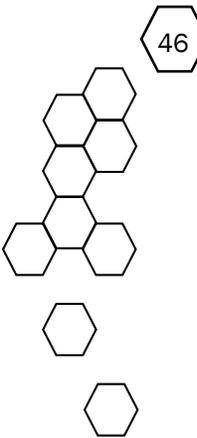
ЛИСТ КЛЕНОВЫЙ

Лист кленовый безголовый,
свежий, юный, неземной.
Ах, с какой надеждой новой
увязался он за мной!

И летает, и сияет,
и спасает, и поёт,
будто больше не зияет
смерти выход (или вход).

Неужель, бежавший тленья,
будет счастлив индивид?
Нету летоисчисленья,
как Георгич говорит?





Только жду не без опаски,
с непонятною виной,
что иссякнут эти сказки,
эти танцы под Луной.

Есть невидимы законы,
по которым навсегда
мрак бездонный законный
позовёт меня туда,

где заждавшуюся лодку
обнимает старый Стикс,
где найдёт свою находку
каждый игрек, всякий икс.

СЕНТЯБРЬСКОЕ



Средь хаоса, гари и дрожи,
в преддверии Мировой,
болтать о сердечном негоже
и так любоваться тобой,
случайный попутчик, с которым,
не помня о том, что вдали,
сюжеты мешая с кагором,
мы лето пересекли...

Там август — выдавший виды
вокзал без толпы у касс, —
запомнится тем, что видел
ещё не расставшихся нас.

* * *

Сентябрь, сентябрь, как плотен твой помянник!
Среди полян, затопленных слюдой,
о всех ушедших грезит конопляник,
о всех, утекших за водой седой...

Теплы их руки, бывшие оплотом,
нежны объятья, хоть и не видны.
Навстречу им — в стремлении бесплотном —
срываюсь, преисполнена вины.

И замечать так странно потому-то,
что ничего смертельный миг не стёр,
что не о них вздыхаю поминутно
и разжигаю мысленный костёр,

в котором не для них горят поленья,
а для тебя, — ушедший, но живой.
Да молишься и ты — вне озлобленья,
в душе не опустевшей и жилой.

ТО, ЧТО С НАМИ

Случилось так, что ты невидимо,
остался в комнате предутренней,
и нескончаемое видео —
как целый миг к тебе бреду по ней.

Не укоряют нас святители,
с икон глядящие в небесное,
и два торшера и светильники
высвечивают путь над бездною.

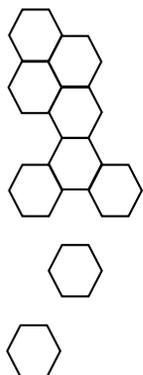
Из жизни новой и нечаянной
не выпадаем, ведь и дверцы нет,
и то, что с нами — не кончается,
не престаёт и милосердствует.

ПОБУДКА

Утро. Звук. Свет.
Опять эта жизнь...
Надо собирать себя по кусочкам.

Вот ноги —
они будут бежать.
Вот руки —
они помогут отстреливаться.

Желание и боль —
так, не сильные пока,
только чтобы отметить, что в наличие.
И почему-то — всегда вдвоём...



Воспоминания...
О, здравствуй, сердце,
значит, ты на месте!

И лицо тоже,
это — самое важное.

Это оно будет стараться,
чтобы никто не заметил,
как мне трудно
изображать
человека...

* * *

Убегает, изворачивается, а ты её —
за цветной уголок выскальзывающего платья,
за дубовый лист, за воздух, за ё-моё —
восклицание, восхищение без понятия.

(Ухватить ненадолго, держать на весу
и рассматривать, словно бабочку, уважая
её мир цветочных полян в лесу,
а потом всё равно отпустить: чужая).

Что же жалко так, что же трудно так —
расставание не превращая в драму?
Люди — ласковы, воздух — масляный, что коньяк,
а пейзажи вокруг — хоть каждый в раму.

Но не всё ли равно, когда, — отпусти,
не скули, что, мол, не всё рассмотрелось...
Тяжела полнодушность, легка пустотелость,
край Отцовой ризы уже в горсти.

«CON TU MIRAR»*

Это действует время,
которого, в общем-то, нет, —
замираешь вдруг, внемя:
что тебе говорит э т о т свет?

* Вальс Енрике Родригеса

Знак ли — эта картина:
с двух сторон календарь стенной?
На одной — Аргентина,
Швейцария* — на другой.

На одной — всё портеньо,
тангеросы и фокстрот,
на другой — ты гортанью
грабастаешь кислород.

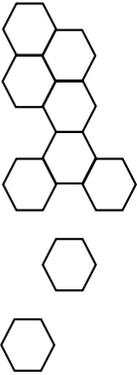
Ах, когда бы так статься,
чтобы это было одно —
эвтаназия с танцем.
И чтоб разрешено!

И тогда в путь неблизкий
поведут тебя на поклон
Иоанн Сан-Францисский
и Матронушка, и Спиридон...

У дороги там чибис,
угол дома, куртина, бар.
И играет Родригес
свой отрывистый «Con tu mirar»!



* Швейцария, страна, где разрешена эвтаназия.





Олександр КАБАНОВ

ТОСКНО МЕНІ В РАЮ

* * *

Юрію Володарському

Тисне на мене tesla, тоскно мені в раю,
крісло моє воскресло, я перед ним стою.
слухаю та не бачу, вірую знов і знов –
в мову свою собачу, серед телячих мов.

Рис полюбляє ризику, наголос – локшину,
гойдає, як колиску – вітер мою труну,
musk відкидає маску, і затікає кров
в мову мою, як в пастку, серед телячих мов.

Рима – коханка Рима, там, де горить Дніпро,
радісний присмак диму, не переймайся, бро:
плине по хвилях кача, воля – понад усе.
мова моя собача вас від вовків спасе.

30.06.2017

* * *

Не відпускає, оточує, відволікає, спливає –
наче отруєний час, відзеркаля криве,
наче кілки у смарагдове небо вбиває,
коли вбиває – живе.

В пазурах травня черешня, як м'ясо – розквітла,
червень червивий назустріч не поспіша,
птахонько-рибонько, де твої крила та ікла,
пахне лускою душа.

Сонце зі хмарою, наче барига з барсеткою,
ходить по колу і п'є кока-колу бузка,
потім сидить за обідом з ножем та абеткою,
бавиться, не відпуска.

Знову оточує, пестує, вабить, а після –
мовчки зриває побачення, як відкриття,
не відпускає, отак, перед стратою – пісня
не відпускає життя.

30.06.2017

* * *

Степ вистукує step by step:
крок до зради та крок до змови,
як шахід – підриває опору ЛЕП,
та зриває зі хмар підкови.

То – на щастя, то хвиля твоїх хвилин,
то не серце, а сірий шматок тротилу,
step by step бере у полон полин,
ковилу, нагадуючи Аттілу.

Буде вечір з тишею на бобах,
де зірки, як чумацькі суші,
хто врятує нас, ветеран-бабак,
чи шокастий актор Белуши?

01.07.2017

* * *

Сер Ветка, де твої гілки, де твоє коріння,
паперове тіло, одноразові слова,
ти відчуваєш жіночих колін горіння,
плутаєш лихо і келих, не розбива.

У випадкових краплях кетчупу або супу –
ти дуже схожий на герб, родовий реглан,
добре, хоча б тобою – не підтирають дупу,
що на тобі не креслять підступний план.

Сер Ветка, шолом тобі, любий арій,
осінь іде вечеряти, пекельна її хода:
всіх нас збере до купи безжалісний гер Гербарій,
і до кісток зігріє товариш Скворода.

02.07.2017



* * *

Ще молоко по вусах ледве встигає збігти
в джезву порозуміння, де википає суть:
що у кохання довгі, білі та чорні нігті,
злива – пішла наліво, сніг – у труні несуть.

Правда живе у скроні, куля живе у скроні,
кров, обминає вуса, скручується в слова:
що у кохання зябра – від самоти – червоні,
кожен своє повітря – хрестиком вишива.

А під плащем у бога – вітер і площа Ринок,
ти збережи на щастя, наче бракує зла –
тільки один жіночий, не родовий – відмінок,
щоб чоловіча рима поруч із ним лягла.

02.07.2017

* * *

Друга – це мова друга, а перша – це мова бога,
третя – відлуння тиші, четвертої мо – нажаль –
виключно не існує, зникла, як римська тога,
стерлася, наче пам'ять чи на зубах емаль.

Травень – твоє майбутнє, те, що бере за комір:
бачиш, Дніпро впадає в Стікс, оминає Тібр,
навіть смішний колібрі має гібридний колір,
навіть поет Гарматкін має страшний калібр.

Світло – частина світу, буде вона – військовою,;
спробуй у самоволку чи назавжди залиш,
вибач, мені – однаково: де і якою мовою
ти про війну не чуєш, ти про війну мовчиш.

03.07.2017

* * *

Пошук вай-фаю – це пошук китайського мудреця:
там, де лі бо, конфуцій, як на закланні вівця,
роумінг дуже слабкий, початок тунелю – в кінці,
там, де із буддою відпочивають мерці.

Роумінг дуже слабкий, та у чорній печері чернець,
чорного-чорного півня веде під вінець,
там, у слизькому, як вкрадена нафта, човні –
вічність плисти доведеться тобі і мені.

Що це, про що це, – питає сльоза на щоці,
падає гривня, коли гомонять гаманці,
порох і цукор завжди довіряють піску,
тільки між нами ніколи не буде зв'язку.

03.07.2017

* * *

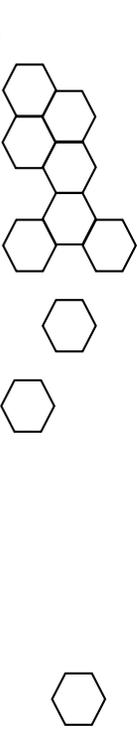
Я – остання надія сучукрліту,
все так складно, наче любов – нудьга,
йде війна у В'єтнамі, Набоков пише «Лоліту»
мовою ворога, перепрошую, ворога.

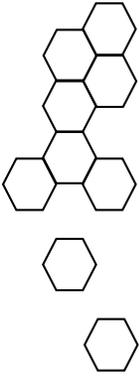
Я остання надія для Хо Ши Міна,
все так складно: Забужко живе в Твері,
десь, у хмарах, блукає піхотна міна,
міна при поганій грі.

А так – все тіп-топ, нічого серйозного,
волохаті хати, вишні та куркулі,
...Полозкова Вера – вбивця Івана Грозного,
ще Сергій Жадан – новий президент Балі.

О, моя львівщина, мій франківськ, моя коломия,
дія перша: Тарас Кабанов та ходоки,
сучукрліт, я – остання твоя надія,
як Надія Савченко, але навпаки.

04.07.2017





* * *

На небі – розпродаж, знижка,
повітря в комах комах,
а серце, як чорна кішка,
по сходинках, по складах.

Мій янголе, твої крильця –
підсмажило барбекю,
а серце – стукач і вбивця,
в якого низький айк'ю.

Склотара пляшки приймає,
та кращий портвейн – п'їтьма,
а серце – його немає,
бо пам'ять твоя – німа.

09.07.2017

* * *

Говорив мені синуля: знають всі ссавці,
що у мамі в грудях – куля, куля в молоці,
проковтнувши цей смаколик з келихом вина,
смерть твоя бронює столик, бо іде війна.

За картоплею в мундирах, в шкірці маячні,
смерть живе, як той кадиров, президент чечні,
в судний день пливе судома по її вустах,
запах диму, присмак бромю, буде саме так:

зрада та погром в китаї чи байкал в біде,
все стоїть, повзе, літає, а війна – іде,
в камуфляжі, з бородою, половина, чверть...,
наче хресною ходою – подолаєш смерть.

09.07.2017



МИ ПОВІРИЛИ В СЛОВО*Еліна СВЕНЦИЦЬКА*

* * *

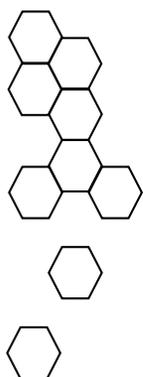
Що там плаче, ридас, реве,
Шарудить, шурхотить до нестями?
Ми повірили в слово. І все
Почалося, що сталося з нами.
Перетворена кров на вино,
Закривавлена твердая криця.
Кажуть, слово спочатку було,
Та й початок нарешті скінчиться.
Ще не вмер автор — п'яний заснув,
Ось Пегас — і брудний, і шалений —
Нахиляється й п'є досхочу
Самогон з джерела Іпокрени.
І хитається п'яна сльоза...
Простір, сповнений смертного дзвону...
Тихі Музи в віночках лежать
У холодних хатинках з картону.
Це не стіни з каміння — слова,
Непохитні, байдужі, пихаті.
А навколо, як квіти, стоять,
Білі вогники. Треба звикати.

* * *

О мій даре даремний, твоя випадковість —
Це просте випадіння життя в глибину
Крові чорної та каламутної ночі,
Чи то входження в світ кольорового сну.

Над землею течуть темні води закуті,
Сонце світить в обличчя безруких богинь,
Сторінки пожовтілі книжок позабутих,
Мов обірвані крила, летять в височінь.

Ми — останні метелики. Вирвані крила,
Коливаються в небі — врочисті, малі,
І повзуть хробачки на тонюсіньких ніжках
До землі дорогої, до злої землі.



* * *

Я – війна.

Я прийшла до тебе.

Мої трави – руки померлих –

Хочуть до світла, до сонця.

До сонця течуть мої води –

Загуслі, теплі, червоні.

Я – твій брат.

Я прийшов до тебе,

Бо наша любов – до смерті.

Знаю – в кожного є вітчизна.

Хто мені ця розрубана туша?

Я – твій дід.

Я прийшов до тебе.

Та хіба ти мене впізнаєш?

Посивіла моя покрівля,

До кісток протерта дорога,

Переплутані пил і попіл

Від твого життя й чужого,

І вже час канаву копати,

Головою в землю лягати,

І, розкинувши руки, спати,

Землю-матінку обіймати,

Брата рідного обіймати...

* * *

У повітрі лихому святкове ганчір'я,

Серед вулиці кинутий, мотлох палає.

Там чекає на мене моя тінь божевільна,

Тільки мене немає.

Її руки розкинуті, жовте волосся,

Її очі в повітря розкриті –

Це ганчір'яна лялька, м'яка і безноса,

Йде шляхом, де розкидані квіти.

Скаженіє насіння і бігає лісом,

Там ножи гострозубі з землі виростають.

Козенятка біленькі схопили рушниці –

Собі вовка шукають.

Позалазило в нори життя волохате,
І солдати колишні
Матерів своїх попіл в циберця збирають –
Бо нема кому більше

А повітря наповнюють іграшки й тіні,
Ця – з ножем, інша – з бритвою, ще – просто п'яна.
Вурдалаки похнюплені сплять на калині,
Що робити їм з нами?

Чорний кінь на колесиках з'їхав із неба,
Кінь блідий на колесиках – там, на цімбоці.
І над часом новим, над новою землею
Наче жовтий ведмедик, покотилося сонце.

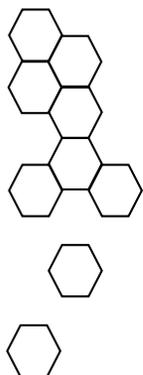
ПМК

Поети, наче кошенята,
з чужого голосу нявчать,
набігли лагідні, хвостаті –
малий покоцаний Торквато,
смаглявий вишуканий Дант –
і, врешті, в кожного талант.

Та все одно, хоч голос мій – чужий,
а далі кут і сором там кромішний,
там тільки квіти горілчані пишні
і світ хитучий і пустий.

І ніхто вже нам не допоможе,
бо крутий ми обрали маршрут –
хтось до Риму, до Криму, до Польщі,
а хтось має загнутися тут.

Талант народжує сміття,
з якого вірші виростають,
мов синій і масний бур'ян, –
і пам'ять.
А пам'ять народжує мишу,
а миша життя жере,
і нещастя сяє, мов зірка,
і відомо все наперед.





* * *

Через весняну пущу
Чорні летять чорти.
Мене знайшли в капусті,
А могли б не знайти.

А могла б заховатися
Й жити собі сама.
Тут розкриває пащу
Тепла моя земля.

Тільки пекельна спека,
Тільки запах біди...
Мене приніс лелека –
Нащо приніс сюди?

А я невідома комашка,
Літера без письма,
А ще я – сонячний зайчик,
Якого ніде нема.

* * *

Де ти, де ти, моє повітря?
Хвилями накрили хвилини,
І стоять, як сестри нерідні,
Вишні дві, посаджені батьком.
Стала ніч, немов полонянка.
Ти скажи, де моє повітря?
Шар вугілля в наших судинах
Залишився – чого ще треба?
Повернутися – а навіщо?
Залишатися – а як жити?
Коридор лікарні і світло –
Хробачок в кінці коридору.
Пам'ятаю, як пахне небо
І як пахне пил пам'ятаю,
І як пахла моя кімната –
Тінь моя там плаче за мною.
Де ти, де ти, моє повітря,
Рідна жужелка, зла й блискуча,
І яка нам велика воля,
І яка велика задуха.

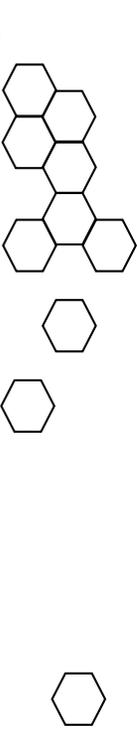
* * *

Впала тиша залізна,
Впала тиша проклята.
Пам'яте моя бідна,
Де тебе заховати?
В снах – в них душі похилі
Вповзають, немов в печери,
Туди убігають криси –
Ті, з кораблів померлих,
Що простягнуті в чорних водах,
Скільки років вже не потопають –
Тільки тануть і тонуть,
Тільки тонуть і тануть.
А криси несуть валізи,
Рятують задрипані шати,
А криси в усьому винні,
А криси всім винуваті.
І море провину сповзає
На землю, тиху й безвидну.
Де тебе заховати,
Пам'яте моя бідна?
Чи між корявих будинків,
Що вибігли на узлісся?
Чи то на кладовищі,
Де мій батько лишився?
Там тільки дерева чорні,
Палають хижі заграви –
В серця, розчахнуті болем,
Впливають міста-пароплави.

* * *

І білуга реве над руїною світу мого,
І ридають шакали, і зашморгом воля на шиї.
Розкажіть мені, звіри, навіщо потрібно ніщо –
Те відро, що розчавлену землю накриє?

Обривається все. В один день обривається все.
Ми пакуємо речі, ми завжди пакуємо речі.
І наш човен дірявий не вітер у море несе,
Його кидає в небо якась божевільна малеча.



Приповзайте до мене, тваринки нечисті й хисткі,
Винуваті до неба, залиті сльозами і слизом,
Засинаймо разом – у землі, в кучерявій п'їтмі,
Карколомні казки про війну не почуємо знизу.

Що робити нам з пам'яттю, звіри? З нічних баговинь
Вона сходить до нас замордованим левіафаном,
Хочеш плач, хочеш спи, хочеш криком кричи –
Весь просякнутаий світ її подихом рваним.

А під сонцем чужим зграя душ у сирітство летить,
У часи золоті божевільних круків і пророків.
Нас ніхто не позбавить повітря – о ні!
Скільки років хитається вже, скільки років...

* * *

Ми з тобою з п'їтми і води,
Неживі ми з тобою й маленькі,
Тільки сходинки в небо криві
І душа, що зіщулилась в жменьку.
Знаєш, все ж таки – всюди життя,
Все собі намалюємо знову,
Аби смуга червона пройшла,
Тільки б сходи скінчились на сході.
В тому дивному місті, де жаж –
Чорним стовбуром в оці,
І висить по собачих кутах
Шмаття нашої плоті.
І відкриється звалище мрій,
І життя зашкарублі прикраси,
І земля, з якої колись
Наші душі вирвали з м'ясом.
Мертві бджоли над містом летять,
Відрізаючи землю від неба.
Ця розкрита і чорна земля –
Окрім нас їй нічого не треба.
Ось і нас, мов безкрилих комах,
Вже збирають до кучі...
І ніяк не приспати, ніяк
Цих мерців балакучих.

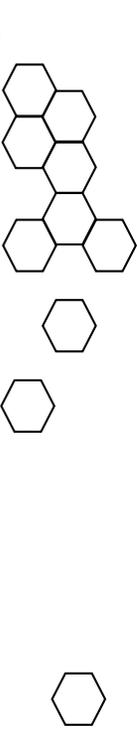
* * *

Пережити життя – наче плівка, що рветься
щохвилини – і все починається знову.
Ти зі мною назавжди, в півночі і тривозі,
моя пам'яте – дерево мертве!

Розкажи мені сон,
 той, що там, на дні ока,
той, де мама цілує й співає жорстоких пісень,
це шершавий пісок проміж пальцями сиплеться, це –
світло берега твого.

Але всі наші рани – від раю.
Через сморід і гамір, і щем
твоя доля, немов божевільний з ножем,
білим світом блукає.

І не дзеркало б'ється – обличчя...
Тільки хвилі морські шурхотіли в судинах,
і уламки минулого твого летіли
в незнайомі зелені зіниці.





Анатолій МОЙСІЄНКО

ТІНЬ

* * *

Тінь, що на сонці розплескано в пляму,
В пляму без жодних малих предтеч...
Давні предтечі її у плавнях
І в середмісті, де сонця картеч
Цілить з-за кожної очеретини,
З-за кожної вежі, хреста і шпиля.
Тінь, що тіка бігома від людини,
Тінь, що і тінню комусь дошкуля.
Тінь, що на сонці розплескано в пляму,
Знає стільки чеснот й нечестивих пригод,
Що по тілу аж дрозж пронесе горами,
Що за голову вхопиться навіть Господь,
Зрікши лиш: – Амінь, і амінь, і амінь...
Тінь, що на сонці розплескано в пляму...

* * *

Ця рання паска – зовсім без тепла.
І без тепла моя німа зажура...
Мій давній вірш примерзлий до підмурку,
Мов до лєтовища аероплан.

І щиро в очі небу зазира,
І на мою німує безнадію...
Мовчить заобрій, і мовчить зоря,
І я мовчу... Й нічого вже не вдію.

Тут холодина... Споконвічний піст.
Спокутуй кожен гріх – за цілу вічність.
Хай інший паску запахушу їсть.
Хай інший келих підійма зазвично.

Ні відчаю в душі... Лише оскома.
І скуті кригою мої аеродроми.

* * *

І перший сніг – ні радощів, ні втіхи
На чорногруддя дум моїх і днів.
Нудні поради і слова нудні...
І лихом не розрадити вже лиха.

Ні крихти за душею в крамаря.
Розпродано товар увесь до крихти...
Спіткатися... і знов спіткатись... й бігти –
Допоки день, допоки ще зоря.

Світ за очі – за гори і моря.
Але не сніг, а біг, а чорногруддя...
Де по вдяганці зустрічають й судять,
Й поради тичуть, наче хабара.

А лихо поганя вже інше лихо...
І перший сніг – ні радощів, ні втіхи.

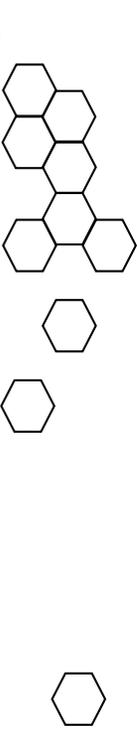
* * *

Опівночі зима до вуст лягає,
Не шелесне надії промінець,
І ти серед боргів, наче вдівець,
Покинутий всіма, усіх благаєш.

І знає тільки слово: тих благань
І тих боргів на світ на всенький стачить.
Серед боргів, де не ступи нога, –
Серед богів неумоленних наче.

Борги-боги, з шапками набакир,
Здається, вже й не збутись їх ніколи.
Вже й обступають із усіх боків,
Вже й замикають непроглядне коло.

Та зблиск зорі – і світанкове соло
На цілий світ, всьому наперекір.



* * *

Змішались люди й коні... Сором
За соломиночку вхопивсь.
Тверезий глузд й сумління хворе –
Змішалось все... І небовись

В дощах пекельних і слейних,
І твердь земна, і моря гладь,
Хула й непотріб, й благодать,
Придворний тать, потворний геній,

Шалений гендер, модний бренд,
І секс, і секанс, й секонд хенд –

Змішалось все до тла, до змори
У морі втіх і морі сліз...
Змішались люди й коні... Сором
За соломиночку вхопивсь.

* * *

Отак і юна дума скощавіє,
І день скощавіє і мертво хлюпне в ніч...
Мій Боженьку, чи зможу, чи зумію
Знести цей біль, цей дикий параліч?

Навстріч веснінню – снігопади й зими,
Назустріч дню – гундогий Дива клич...
Немовби із печерних потойбіч –
Новітніх діб Гомори-Хіросіми.

А ти один, як перст... А всі – Месії,
І Месінги усі із ніг до пліч,
Й до мізків хворих ... І усі *Осію*
Співають хором під Врховний спіч.

Мій Боженьку, чи зможу, чи зумію
Знести цей біль, цей дикий параліч?

* * *

Із вродливого дерева, із вродливої крони
Та й напитися дзбаном у півнеба у березні,
Та й зніміти потому на тисячі літ...
Аби чутно було крізь німоту одвічну,
Як і очі, і душу чиюсь омиває березовий сік
Із вродливого дерева, із вродливої крони,
Як згусає вино, не розбавлене йотою заздри,
Як гірчить хлорофіл,
не розмитий кислотним дощем...
Але, друже, зажди. Бо спеклися вуста,
Бо знімили вуста, не допивши набгом,
Провалились зіниці у ніч напролом,
Покотилася доля Чумацьким Шляхом,
Як війнуло над Прип'яттю, ...
квіт-первоцвіт оббивши
Із вродливого дерева, із вродливої крони.

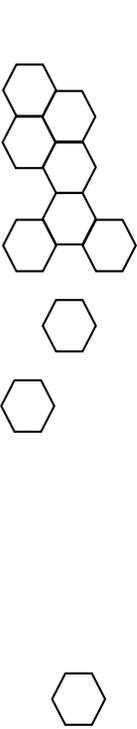
* * *

Аж гнуться хмар важезні мажі
Й за Перекоп уже риплять...
І серпень нам про осінь каже,
І наші думи нам болять.

Мов тать, принишк за дальнім кряжем
Вітрище й ніздрі роздува...
І серпень нам про осінь каже,
І наші нам болять дива.

Сова у ніч – самотнім стражем...
І сум туманом огорта.
І серпень нам про осінь каже,
І наші нам болять літа.

Болить крута нам доля наша...
І серпень нам про осінь каже.



* * *

За сотню кілометрів... й ні струмочка.
І мовчки, чую, лається водій.
Спекотний степ. І де тій будь воді.
Вбирає піт моя шорстка сорочка.
І мовчки вкотре лається водій...
І лише я ураз інтуїтивно
Відчув мов холодок, мов світлотінь,
Немов надії голубе світання...

І по хвилині, либонь, по хвилині
Моє томління вже спадало з уст.
Бриніла вдаль туга каналу лінія...
І пив шофер, і я пив Дніпрову,

Мов добрий трунок, мов терпкий бальзам,
Мов щедру радість й смуток пополам.

АРТЕК

Згадаю: море – як моріг
Від Аю-Дагу до Алупки...
І мов моріг, дитячий сміх,
Що огорта маленьку шлюпку.

Згадаю: хвиля шаленіла...
В облозі думного хмариння
Душа пеклась, німіло тіло...
Скрипіла вежа старовинна...
Об берег билась чайка біла,
І співчувало їй каміння.

Згадаю: урвище круте,
Тінь кипариса, чайки блискіт...
І «обчеруський» цей «Артек»
Під сивим сонцем українським.

ЮНУСОВІ

*Пам'яті мого друга,
кримськотатарського поета
Юнуса Кандима*

Відколи ми – пекельне це ускелля
Під стелею Алаха і вітрів,
Де сонце – навіть в непроглядних келях,
Стікає сонцем Кара-Даг згори.

Допоки дах дощів'я нас розчавить,
Ще стільки поту витече в огонь...
Усоте вмерти, втисячне здичавить,
Та не зректись імені свого.

Чого ж вогнями і чого льодами
Обпалені-ошпарені стократ
На цій землі приходим знов до тями...
Тече Салгир поміж камінних лат.

І доля нам стезю сталену стеле
На цілу вічність – між цього ускелля.

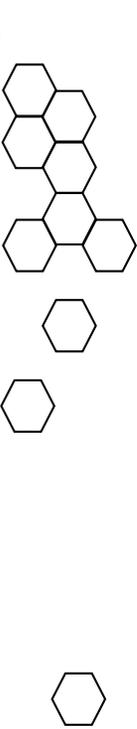
* * *

Трави нескошені квартали
Стояли в небі голубім.
Та десь уже підспудно грім
Гострив косу на краснотали.

Мені убогі співчували,
У співчуття не гралась ти...
Душі нескошені квартали
Сягали сонцевисоти.

І ти мені тоді казала
Про душ зрідненність і мети.
Віковно зчовганий возами,
Чумацький Шлях удаль летить.

І ми летім! Щоб і в летінні
Земного не зректись тяжіння.



* * *

Трава траві легенько гладить гриву,
Громи далеко, аж ген-ген з узвиш,
Озвались буркітливо, ніби в вірш
Спроквола й довго добирають риму.

І знову на півсвіту стане тиш.
Й травя траві легенько гладить гриву...
Та раптом характерником грайливим
З розгону вітер полосне спориш.

І буде вись – від щастя чи розпуки –
Ламати блискавок тонюні-руки.

І грім ураз високий над лозою
І над стежками, що біжать за гать,
На цілий світ розродиться грозою,
Якої вже ні з чим не зримувать.

* * *

На вітах вітру – юна вітровінь...
Немов пагіння молодого саду.
Прийду до тебе й тихо поряд сяду,
Щоб не сполохать яблука в траві.

І твій тугий відчую поряд стан,
Де дроз солодка спрагло причаїться...
І юна вітровінь, як юна птиця,
Нам буде ніжно цілувать уста.

І станемо ми птахами в траві.
І цей достиглий сад, де гнуться віти,
Коханням нашим буде довго снити,

Аж поки серпень не обтрусить віти
І молоді, немов вино, громи
Не бризнуть соком у гаряче літо.

* * *

Ви мені наснилися в Варшаві.
Дві свічі, ще й лампа при вікні.
І пречисто-білий-білий сніг
Замітає путівець іржавий.
Ви до шибки носиком... І сніг
Вже фатою ніжно Вам на плечі.
Вже і всю Вас огорта до ніг
Та предивна сніжно-біла клечінь.
Аж мені, у мій короткий сон,
Ніжністю війнуло іздалека.
...Тут вітрів непогамовний клекіт
І набридлий сніг, немов шансон,
На уста, на думи сніг іржавий...
...Ви мені наснилися в Варшаві.

ЖІНКА У ЧОРНОМУ

Жінка у чорному чари свої вечорові
Мовби боїться розхлюпати в морі облич...
Вечір сузір'ями жінку вчаровує,
Вечір зваблює жінку у ніч.

Жінка іде. Юна жінка у чорному,
Погляду навіть не зронить навбіч.
Вечір, сповнений буйства мажорного,
Срібно-вуально перетікає в ніч.

Жінка іде, вся у чорному-чорному.
Душу мов присок обпік.
Жінка печальним вінцем коронована...
Хто вона? Хто вона? Хто вона? Хто вона?
Вії опущені – мов заграбовано
Погляд навік.



СОНЕТ ПРОЩАЛЬНОЇ ВЕСНИ

Я заповів тобі, моя прощальна весно,
Свою любов і пісню по весні.
І, може, всоте вмру – утисячне воскресну
З сумлінням чесним і чолом ясним.

І крізь літа, крізь літавицю літа,
І крізь старечу кволість навісну
Барвінковим промінчиком світитись
Чийсь спомин буде у мою весну,

В ту голосну та нерозважну пісню,
Де стільки рим було не в унісон,
Стільком співзвуччям не стачало кисню...
І все ж, повік хай буде благовісна
Весна та, що торкнувши й сиву скронеь,
Збурунить душу спалахом осонь.



СВІТЛО У ЧАШЦІ ГАСНЕ

Наталя ПАСІЧНИК

ГІМН МОНАРХІЇ

в сутінках синіх провінція сонна
місяць лежить на дротах електричних
я перед люстром вдягаю корону –
личить вона мені а чи не личить

нікому тут дорікнути мені за
повну оцю узурпацію влади
тільки приймач із пластмаси й заліза
тихо віщує прихід снігопаду

справа буденна – усе зачинити
і збудувати окрему державу
поки вирішує хтось угорі там –
маю я право – не маю я права

поки душа наче скельце прозора
не піддається найбільшій спокусі –
зранку о шостій повіє із моря
випаде сніг і тоді я зречуся

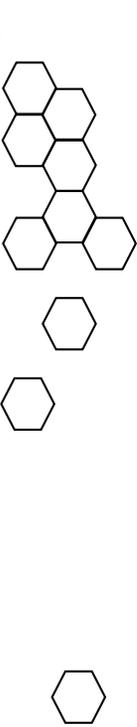
ХУЛІГАНСЬКЕ

жовте віконце сніжка в долоні
білка гризе задубілу кору
довгих бурульок ряд на балконі
телефонують – я не беру

баба з мітлою – зла і холодна –
поглядом пильним сніг стереже
статися може все що завгодно –
сплутаю вікна – влучу в чуже

може й не варто наступом брати
мури високі горе-зими
що там за ними – пуста кімнати
хто там на думці – точно не ми

важко вгрузає слід в кучугури
глибшає в небі чорна діра
падає-падає температура
бачу – ти вдома – значить пора



* * *

тільки і звуку – вітер в кишенях свище –
тихо щоб не збудити нічну державу
та оживає – щойно підійду ближче –
мертва вода старого міського ставу

скинувши куртку зваживши на усе це –
хиткість мого становища і причалу
дам собі шанс таки остудити серце –
серце котрому завжди було замало

от і нехай валяється безпритульно
одяг який у вузлик лише зав'яжеш
поки фіксують виснажені патрульні
цей зтяжний стрибок до самого дна аж

і повернувшись ніби із потойбіччя
врешті зроблю на пару з горнятком чаю
пізній дзвінок туди де давно не кличуть
але можливо слухавку піднімають

* * *

от і минув сезон і порожні парки
рештки тепла ховають за огорожу
і обпікає пальці чужа цигарка –
борг що його віддати уже не зможу

знов водостоки тихо гудуть на рідній
в небо пусте задерши іржаві шиї
і перелітний вітер – напевно з півдня –
кучері розворушить та не зігріє

не вистачає милі до перекуру
важчає щохвилини ручна поклажа
тільки туман пастиме мою фігуру
доки сачком не вихопить із пейзажу

* * *

сніг відступає ще так неохоче
б'ється у скло безіменна зоря
і замість білого стягу тріпоче
смужка ледь видима із димаря

ходить сорока порожнім городом
яблуко чорне понуро клює
лишуть тут жити – місцева природа
хай відшліфує обличчя моє

щоби ні rischi ні зайвої цятки
і у наступні дві тисячі літ –
жодної спроби почати спочатку
жодного кроку по той бік воріт

кажуть тепло буде тільки уранці
ось і не тоне – хоч грій хоч не грій –
мертва вода що замерзла у склянці
разом з моїм віддзеркаленням в ній

* * *

зупинка «сирець» чи де там
картата вервечка пальт
і звук із яким монета
вдаряється об асфальт

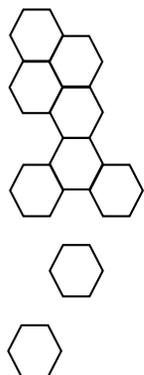
ходитиму довго колом
лічитиму кожен крок
аж поки собачий холод
пройме мене до кісток

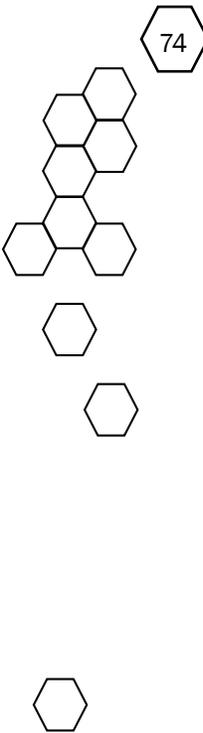
немає кого чекати
зникає з-під ніг маршрут
смеркається – сніг лапатий
ще трохи і буде тут

* * *

світло у чашці гасне
стигне вода прозора
не добереться вчасно
той хто мав бути вчора

мабуть уже й не їде –
мовчки сховаю посуд
закам'яніє слідом
в чайнику білий осад





завтра мені о шостій
ночі лишилось мало
ні – таки будуть гості –
ложечка щойно впала

* * *

нема мені жодного діла
чи стихне тепер завірюха
лиш пара клубочиться біла
над теплим горнятком без вуха

покотиться блюдцем ренета
покаже що діється в світі –
понурі бетонові гетто
барвисті химерні графіті

а я і не хочу нічого –
холоне розстелене ліжко
і чорні сліди за порогом
мов букви що випали з книжки

* * *

спершу чашка потім пляшка
потім скляночки пусті
і рука що ляже важко
на липкий письмовий стіл

корінців книжкових згряя –
може – двісті може – сто
я нікого не читаю
і мене також ніхто

телефон мовчить від грудня
зайвих рухів – ані-ні
і всю ніч моє погруддя
бронзовіє у вікні

* * *

злива з учора не вщухла та це і на краще
ми у машині на розі пустого узвозу
довго не ловиться згублена в радіошахах
хвиля fm із єдино правдивим прогнозом

протяг загасить цигарку як тільки запалиш –
ось нам і знак що тепліше напевно не буде
нишкнуть у дзеркалі вилиті з гіпсу й металу
білі колони уже нежилої споруди

асталавіста – попереду ранок імлистий
не оживити завмерле «а може додому?»
лиш двірники обважнілі від мокрого листа
безперестанку метаються по лобовому

* * *

треба мені сьогодні буде зібратись духом
і обійти з поклоном наші святі місця –
он вона зимна хата двір у яким розруха
і зі старого даху крапає без кінця

знаю – сезон закрито і не знайти на цвяшку
ключик що відмикає двері оті й оці
лиш годівницю вітер перевертає важко –
ту що ми змайстрували разом для горобців

а в попільничці мідній сохне соснова голка
а від порога стежка прямо веде в садок
де на тоненькій шворці біла твоя футболка
з літа висить між вишень яблунь чи то грушок

вийду в жовтневе поле – хтозна уже для чого –
і мов міраж пустельний вирине вдалині
синій сільський автобус що загубив дорогу
і дотепер петляє по золотій стерні



* * *

пуста опівнічна церква слизька наче лід підлога
і паморозь що покрила обличчя німих святих –
тут завжди бувало людно а зараз нема нікого
і свічі горять – не гаснуть а з ними не гаснеш ти

це буде таке вінчання – без свідків і без обручок –
ти скажеш мені три слова і я прошепочу три
поранить христове серце тернова суха колючка
і тепла краплина крові між нас упаде згори

а схрещені досі руки здається вже сині-сині
година чи дві і дзвони розбудять довкола всіх
і тільки водій знадвору кунятиме у машині –
йому ще везти нас нині крізь перший ранковий сніг

* * *

тільки й зосталось – замкнути ці двері
дати розписку «не хочу нічого»
і підписатись на білім папері
з чорним відбитком свого вказівного

хай би хтось взяв заступився за мене
і не пустив би ніколи на волю
та розтікається світло зелене
та розривається стрічка контролю

і під ногами пресується щербінь
і зауважую крайчиком ока
як кружеляють у синьому небі
списані аркуші ніби сороки

а за плечима нечуваний досі
звук з частотою дві тисячі герців –
це хуртовина до каменя зносить
щойно покинуту мною фортецю



СЮИТА ОТСТРАНЕНИЯ*Семен АБРАМОВИЧ*

* * *

Ребенок знает о небытии.
Здесь все ему неясно и тревожно.
Резвится он, но помнит непреложно
Пространства отречённые свои.

И взрослым, горяча себя вином,
Томясь сладчайшим душной плоти смрадом,
Лелеет, как единую отраду,
Надежду оказаться чьим-то сном.

БРОШЕННЫЙ ЩЕНОК

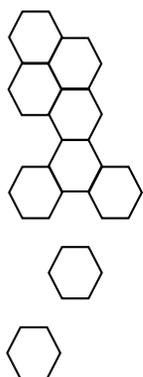
Эту ночь уже не обманешь
Отголоском бледной зари.
Вон – в холодном, сыром тумане
Загораются фонари.

Я смешон. На коротких лапах.
Ворох морды. Колюч, небрит.
И свалывшейся шерсти запах
Так безвыходно тяготит.

А когда-то меня целовали
В эту морду, в сплетенье лап.
И горячей водой смывали
Прегрешений щенячьих скраб.

Счастье было так несомненно,
Не кончаться б ему никак...
Да куда ж исчезло мгновенно?
Что я все же сделал не так?

Но случись нежданное чудо,
Позови обратно меня, –
Никогда я с тобой не буду.
Никогда. Ни дня, ни полдня.



* * *

Слово, молвленное тихо,
Стало спусковым крючком.
И в горах возникло лихо,
Исполинский снежный ком.

И в уже другой вселенной
Ты стремглав помчался прочь,
Опрокинув кубок пенный
В наступающую ночь.

А вдали, за перевалом,
Как оставленный кутеж,
Желтой змейкой извивалась
Умирающая ложь.

ЗОЛОТОЙ СИМУЛЯКР

Словно ком пластилина в невидимых пальцах сминая,
Осень лепит свои симулякры из палой листвы,
А замшелый божок улыбается томно, не зная,
Что идут холода и становитесь чуждыми Вы.

Ну, да что говорить, уж говорено столько про это.
А внизу вороны конями запряжен фиакр.
Остается изгладить из памяти щедрого лета
Золотой симулякр.

* * *

Я провел на плоту в океане бесщётно ночей и дней,
Прохладу лоя губой посере́дь зеленеющей бездны,
Так вот бпрометью мчал из африканского пекла Эней,
Не ожидая, что пособит смуглый италик воскреснуть.

Готовый к смерти в плену блистающих вод,
Вдали обугленной, преданной им, Дидоны...
И механически велся зеленым барханам счет
На миллионы...

* * *

Сколько же пройдено, Господи, градусов и весей – без счета,
И на избитых ногах ты уже не считаешь засохшие раны.
Но исчерпалась дорога по тверди, и нет поворота,
А пред тобой маслянисто колеблется мрачная гладь океана.

И естество колыхания светом пронизанной ночи
Под ослепляющей тьмой мириадов очей поднебесных
Ты постигаешь. И каждый твой шаг тяжелей и короче.
И расправляет беспомощно крылья надежда воскреснуть.

ГЕНИСАРЕТСКОЕ ОЗЕРО

Генисаретское озеро отблеск вечерней зари
Молча лелеет, как будто в ладони, мельчайшую рябью...
А в глубине синевы возникает – вон там, посмотри! –
Утлый, мерцающий голубизною, тот самый корабль.

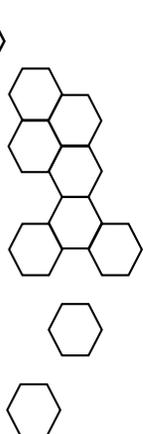
Зовы разверстыя бездны под хлябью ему нипочем,
Молний небесных ветвистыя стрелы ему не угроза.
...А в отдалении трепещут густые прибрежные лозы
И завивается туча, как локон над смуглым плечом.

ХМЕЛЬНАЯ МУЗА

Из офиса, где снуль клюет планктон,
Из латанной хрущевки, где родные
Снуют, лежат и смотрят, как живые,
Взят головокружительный разгон

Как бы на горнолыжный – вж-ж-жик! – трамплин,
Обрыв над Неизвестностью. И дрожи
Восторга и смятенья не стреножить –
Так свой самáдхи не уймет йогин.

Как дурака из сказки для ребят,
В награду за дерзание каприза,
Тебя оденут царственной ризой
Среди плывущих радужных громад.



БАБОЧКА БРЕДБЕРИ

В этом городе N,среди брусчатки старинной зыбей,
Где минувшее ткется и тает, как ткань Пенелопы,

Безоглядно взрывается алчущий сонм голубей
От случайного крика иль глупого детского топа.

И оркестра еврейского скрытым рыданьем пьяна,
Дефилирует публика весело в самозабвенье.

Между тем оборвется, крутясь и взвиваясь, струна,
Побросают смычки музыканты, настанет смятенье.

И в синайской пустыне, почти заметённый песком,
Вдруг проступит языческий жертвенник глыбою бурой...

А под жестким, сминающим хрупкие крылья, сачком
Вострепещет Психея, пылая огнем и пурпуром.



ОБРЕЧЁННАЯ РЕЧЬ*Елена ШЕЛКОВА**** * ***

поговори со мной язык
как говорил вчера
хор голосов, хор старых книг
мир пухом. ни пера.

прошедших-будущих времён
колокола по ком?
большие люди в сто погон
следят за языком.

несётся с плахи голова
и разбивает нос.
и вот доносятся слова
и падают в донос.

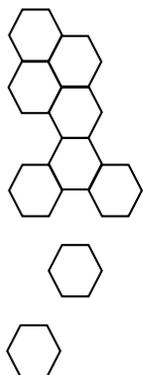
и А. сидит, и Б. сидит.
где рамы наши, мам?
как прокурорский злой вердикт
язык покажет нам...

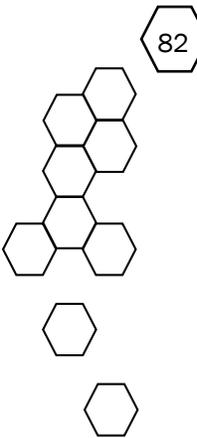
ОХОТА НА КОМАРОВ

Звенеть, звенеть, звенеть охота,
Занозой впиться – кровный зов.
Но – комариная охота,
Открыт сезон на комаров.

Взметнутся тапки и газеты,
Обманчив синий горизонт.
Комар живёт не дольше лета,
И это – если повезёт.

Сомкнутся надо мной ладоши
И станет навсегда темно.
Снимите шляпы, крошки-мошки,
Кому сезон прожить дано!





А нам и тела было мало –
Впивались в души от души.
В нас кровь чужая бушевала
И не давала долго жить.

Как злобно, радостно и рьяно
Несётся тапочек в пике.
Но я останусь красной раной
На беломордом потолке!

Пусть мой полёт не будет длинным
И без меня придёт заря...
Не уважают в комарильне
Тех, кто дожил до сентября.

ПРЕКРАСНЫЕ ДЕТИ



Нам тридцать. Нам сорок. Мы вечные дети.
Мы верим в любовь и покой на земле.
Мы в книгах читали про пули и плети,
Но мы улетим от плетей на метле.

Как много примеров для нас, безымянных!
Для нас, небывалых и всё же – живых.
Нам светят, как солнца, ушедшие страны,
Мы сложим легенду легко, словно стих.

Нас мало. Нас мало. Мы – максималисты.
Нам не заводите жён, детей или кур.
Но знает лишь Бог, как идут атеисты
За Бога на ужас больших амбразур.

И пусть нам гадают одну непобеду,
И пусть зло пророчит воскресший Икар,
Что, перевернув вверх ногами планету,
Всё будет по-прежнему – шар только шар.

Вперёд! Тем, кому небо виделось в луже,
Берите и звёзды вставляйте в наган.
Нас водит! Нас манит! Нас грезит! Нас плющит!
Нас в бой призывает душа-атаман.

Есть вера – она и оружие, и панцирь.
Мы не пожалеем души и костей.
Прекрасные дети выходят сражаться,
Но враг не заметит прекрасных детей...

* * *

Толпу заводит гитарист,
Ударник от вина в ударе.
Но ты сыграй мне, топорист,
Мелодию деревьев старых.

Я помню (это мне дано!),
Как я девчонкой несмышлёной
К окну бежала, как в кино,
Глядеть черёмуху и клёны.

Глаза соседей велики.
Мои защитники – деревья –
На поле боя полегли.
К окну не подхожу теперь я.

А это было всё – моё!
И солнце билось там, под грудью.
Но бродит миром топорьё
И вырубает детство людям.

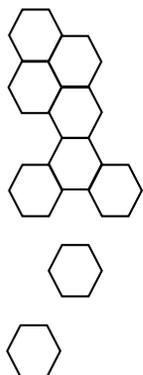
Теперь не то, и всё – темно.
Сосед-маньяк достал бинокли.
Скажите, на фиг мне окно,
Когда в окне – чужие окна?

* * *

Планету назови мою Печалье.
А на планете этой, как цветы,
Растут голубоглазые молчанья,
И пляшут, пляшут лунные коты.

Меня учила нежность быть спокойней
И провожать моё и не моё.
Счастливых поездов тебе, перонье,
Желает разбитное вороньё.

Езжайте, поезда, не очень шибко.
Кондукторша, не будь в пути лиха.
Ты совершила грубую ошибку,
Богатого оставив жениха.



Пусть не заманят к морю крики чаек,
Не завлечёт прогулкой свет Венер.
Но если, вправду, золото – молчанье,
То я давно уже миллионер.

* * *

А метель всё метёт по двору, и
Рифмы белые, как молоко.
Я тебе фонарей наворую,
Если, вправду, до звёзд далеко.

Я нарву фонарей, как ромашек –
Испеку нежный, лунный пирог.
Приезжай, быть бесстрашным не страшно,
Бомбы к нам не придут на порог.

Пусть границы, война и солдаты.
Приезжай, чтоб себя испытать.
Я с тебя не пылинки – куда там!
Даже ангелов буду сдувать...

* * *

Жизнь могла ещё течь и течь,
Но я понял и вдруг затих:
Обречённость – от слова Речь.
Как теперь сочинять стихи?!



ОЗИМАЯ ПЛАНЕТА*Сергей ГЛАВАЦКИЙ**** * ***

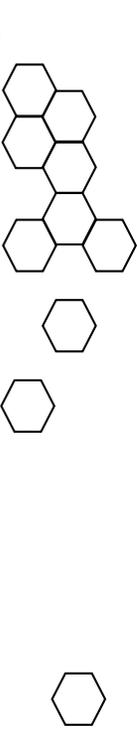
Давай с тобой поедем на косу.
Когда-нибудь. Хоть в прошлом, хоть в былинном.
Не может быть такого в жизни длинной,
Чтоб вечно продолжался Страшный суд,
Чтоб лес был полон стреляных косуль...
Готов молить хоть Господа, хоть джиннов,
До старости ждать времени машину,
Чтоб чёрную покинуть полосу...

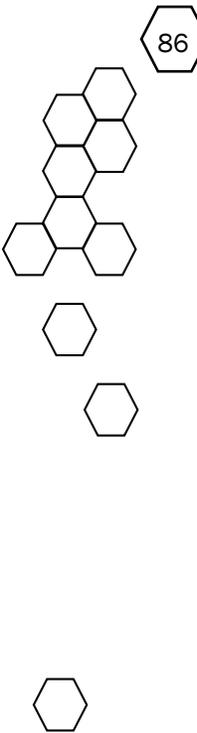
За нею будет кедра хризолит,
И хризопраз полыни, прячущей седины,
Там море станет нашим паланкином,
Хранящим сны, которым чужд Эвклид,
Которые ещё не расцвели...
Готов извлечь себя из карантина,
Перекроить себя, как бомбы – паладина,
Чтоб видели дельфинов корабли...

Давай с тобой уедем на косу,
Каким бы именем тебя не звали
И сколько лет тебе в миру бы не давали,
Давай с тобой окажемся в лесу,
Где аисты давно тебя пасут,
Где жидется берёзовая дача,
Перерастая в Сож. Я не могу иначе,
Иначе не могу, не обессудь.

*** * ***

Земля ежом свернулась,
Озимая планета,
Чудес болото снулых
Растёт по экспоненте.
Ежовы рукавицы,
Похожие на склепы,
И все отроковицы
Идут водой сквозь небыль.





Не год прошёл – эпоха,
А я остался прежним –
От выдоха до вдоха –
Бесснежно-белоснежным.
И родину проведал,
И возмужал, конечно, –
Победа за победой –
А я остался прежним.
И серебрятся пашни,
И колосится вето,
А я, как есть – вчерашний,
Как песня Чокто, спетый.
А я остался прежним –
Печальным и тернистым,
Бездонным интровертом,
Безбожным альтруистом,
Остался человеком...
Я верю – аз воздели,
Мой внутренний Лас-Вегас
Заслуженно расстрелян.

Я верю, верю, ибо
Когда б в такой печали
Оставшимся людьми бы
Скопытиться не дали,
Не скурвиться бы людям,
Не захлебнуться б скверной –
Перун, Юпитер, Вишну –
Как альфа и омега –
Пускай всех нас разбудят.

Бог весть, тогда, наверно,
У каждого бы вышло
Остаться человеком.

* * *

Расы человеческой Бетховен
Спит на гильотине вечным сном,
В чреве трепыхается биткоин,
Уроборос инея – в груди.

Голограмм и симулякров пленум
Облаком безумства стынет в нём.
Их, единственных во всей Вселенной
Тварей неразумных – разбуди.

Чтобы лепрозорий был порожним
Ото всех, назвавшихся людьми,
Ты во имя истин, данных Богом,
Этих, неразумных, – вразуми!

Чтоб им космос – только сквозь таможду,
Чтобы не вдыхал заразу мир,
С них, оглохших и Синдром Ван Гога
Исповедующих – саваны сними!

Эта ложь – из каждого портала,
Из-под каждой ризы, паспарту –
Едкой чёрной плесени фракталы
И букеты плесени в мозгу,

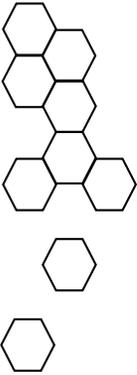
В тканях, буйным цветом поражённых,
Томные извилины в цвету.
Господи, прости умалишённых,
Потому что я простить их не могу...

* * *

1.

Ты знаешь, мир умер. Фантомное счастье –
Как хрономираж, где детей кутерьма.
А здесь – только вакуум, вакуум настужь,
И я в нём – как самая страшная тьма...

Ты даже сейчас – сингулярность, омфал, ось.
Я – только с тобою, я только с Тобой! –
Во мне и себя-то почти не осталось.
Душа разболелась... Фантомная боль...



2.

Ну что ж, всё обернулось адом.
И что с того, что каждый миг,
Как вакуум – залётный атом,
Сны ждут твой знак, чтоб стать людьми...

Пускай ты – смысл мироздания,
Пускай – ядро души само,
Навек навесь на подсознание
Амбарный проклятый замок!

И мрак напалмами не выжечь,
Не утопить сны в водоём...
Хоть без тебя душе не выжить,
Оставь, я – прошлое твоё.

Пусть немые без тебя авгуры,
И мир похож на ГМО,
Лишь ярче в камере обскура
На мне предательства клеймо!

Пусть без тебя лишь Здесь я – дома... –
Молчи, скрывайся и таи...
Там – нас счастливые фантомы...
Не плачь. Я – п-р-о-ш-л-ы-е т-в-о-и!

И в этой келье ли, каверне,
В одной из тысячи кают –
Лишь тень твоя и здесь, наверно –
Последний мой, ночной приют.

Печёт Сансара караван –
От боли слепнет окоём,
И пусть я при смерти, взываю, –
Молчи. Я – прошлое. Твоё...

А что люблю тебя без меры,
Как любят дети – первый снег,
Так это лишь... мой Символ Веры...
И будет мне. И будет мне.



3.

Отринувши купол,
в побеге от юбок,
о колокол – зубы,
и копья свои...
Сугубо суккубы
теперь будут любы,
и званны, во и-

-мя снов саблезубых...
по мне, как по трупам,
хромая, в Аид,
к своим душегубам,
шли дуры на убыль,
как мясо, сбоить.

Сугубо суккубы,
сугубо суккубы
отныне теперь.
В аквариум-кубок
разомкнутым кубом
вмурована дверь.

И если дать дуба
не хочешь, бей в бубен,
растерянный зверь –
ни браков, ни шлюбов,
сугубо суккубам,
суккубам сугубо
дари свои губы
веки теперь...

* * *

Аукцион в разгаре страсти.
Улыбки, магма, облака,
И наши души – с молотка,
Турбинам Стикса – на запчасти.

Мы незапамятно знакомы,
И вряд ли боги нас спасут.
Аукцион похож на суд,
В котором мы петлём искомы.



Наш прокурор поёт нам песни.
Нам адвокат – Господь, но Он,
Пока идёт аукцион,
Состарится, умрёт, воскреснет.

За то, что я всегда был рядом,
Принять награду я готов,
Но, прячась в гаме городов,
Ты не готова стать наградой.



ХРАНИТЕЛЬ ФОРМУЛ*Татьяна АИНОВА*

* * *

хранитель формул
полетов птичьих
и насекомых
проходит фоном
и неприличен
среди знакомых.

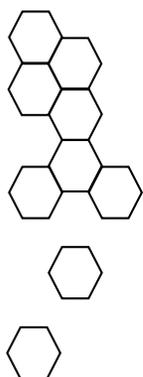
он где-то бродит
в кривом эфире,
он скрыт в природе.
но все проходит
в подлунном мире,
и он проходит

пешком по жизни.
когда же в свете
звезды с востока
луна заметит
сады и сбрызнет
лимонным соком,

он проникает
в любые тайны
скворечным лазом,
он залетает
в чужие спальни
павлиньим глазом!

все это чисто,
бесплотно даже,
но так бестактно –
я неказиста
без макияжа
и в старых тапках

в преддверье тайны,
кто он и что он
мне напророчит.
не шарлатан не
факир не клоун
поэт короче



СТИХО-ТВОРЕНИЕ*

Стихо-сложение –
смех + плач + прочие ритмичные извержения духа

В

стих – осложнение всех
душевных болезней
за миг исцеления слуха

Стихослужение – грех
страшнее грехов стихоложства и стихорождения
Только последний из трех
иногда искупается жертвой стихосожжения

Стих – отражение тех,
кого не видят в упор
их зеркальные отражения

Стих – отторжение

Стих – ослепление. Крот
не глазами находит свой путь
там, где зримы лишь грязь да могилы

Стих – откровение. Кровь –
сердца живого чернила,
не зачеркнуть

стих – отверстие вен
Все звуки мертвы, когда зажила эта рана

Стих – отворенная дверь
в заколдованное словами пространство –

стихотворение. Верь!..

БЕЗОТВЕТНОЕ

Четыре седых волоска насчитала –
пока на висках. Это только начало.
Пора признаваться: тускнею, старею.
Я ранена будущей смертью – своей и
твоей и других, и никто не спасется.
Зачем же мы любим наш город, и солнце,

* Текст можно читать фрагментами и в разном порядке,
в т.ч. от конца к началу.

и лес, и друг друга – и так безответно?
Зачем так поспешно кончается лето?
Зачем твоя крутость мутирует в кротость?
Мы едем домой или катимся в пропасть?

А впрочем, из недр человеческого стада,
где день ото дня репетиция ада,
уже вырывается нам на замену,
на смену-подмену, на жизни арену
похожая в профиль на рыбку-пиранью,
живучая даже за гибельной гранью,
стихи дрессируя своим аватаром.
Ее головы ненасытным пожаром
коптят и дымятся всемирные сети,
покуда мы плавимся в частной беседе.

Ты мне возражишь: только частное честно.
Известно, что нам ничего не известно,
а бусинки дней не крупнее, чем просо.
Зачем же мы множим и множим вопросы?
Как будто за каждым ненужным ответом
еще непременно вернемся – телами,
в которых вода превращается в пламя
и время теряет свой вектор.

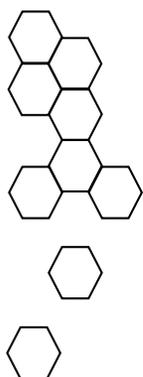
СЕЛЯВИ СЕЛА

Простозеленый, простоголубой –
такой простор, что впору опростаться.
В надежде, что прострацию пространства
не всякий раз венчает мордобой.

Пока все тихо. Мирно. Вне игры.
Заботы тяжки, но неприхотливы.
Цвет ауры моей вобрали сливы.
Меня целуют только комары.

По подиумам просек и мостов
мосластые коровы сонно бродят,
вихляя головами вместо бедер,
обмахиваясь косами хвостов.

Вот только трубы затрапезных крыш
невольной формой маленьких беседок
обманывают, что дымок их едок,
как если бы табак... или гашиш...



Когда бы я была от сей земли,
во всем сродни ее красе-разрухе,
которую обсиживают мухи
и лаем устилают кобели,

о, как бы я добротню облеклась
в необозримые холмины попы,
промеж кремезных ног – пучок укропа
и для потомства безотказный лаз!

Лицо? Но различимы ли черты
у яблочка? на яблоне столь рясной.
Все лица в первой спелости прекрасны,
а сморщишься – так то уже не ты...

Зачем, природе этой вопреки,
я все цветеньем изнуряю древо?
Просроченная тайна, псевдодева,
исчадие невянущей строки.

И можно ли, отринув благодать,
в ее глуши остаться – скромной гостьей?
Свой принцип неучастия в компосте
какими словесами оправдать? –

“Прости, я воспою еще, бог даст,
пшеницу и сады, навоз и влагу,
ширь горизонта, верную госфлагу
и облаков дырявый пенопласт...”

Ну вот, опять я взглядом в небесах.
Там ястреб с голодухи гордо реет.
А мне кричат: «Копай, копай быстрее!»
И мелко мне в картофельных лесах,
и вечность отправляется в просак...

* * *

Я доверила ветру вести меня по лесу –
чтобы кроткие липы тянулись лапками,
чтобы стройные сосны кланялись в пояс,
а меня не слышно, даже если заплакала.

Я позволила веткам хлестать меня по лицу,
я дождю поручила мои слезины.
Мотыльков не видать – берегут пыльцу,
и по горло затоплены все низины.

Незаметное ото всех сторон,
одному только слуху понятное горло –
камертонное зеркало ветра и крон –
отпоет и отнимет гордыню горя.

В человечесьей роще поют не реже,
столько песен – веселых, тоскливых, разных,
но на каждый праздник любимых режут:
когда их режут, тогда и праздник.

Я не праздную, я и не местная вовсе –
я сбежала оттуда, где выше и гуще,
песни спрятали в ящик и ходят в офисы
умерщвлять по будням свои же души.

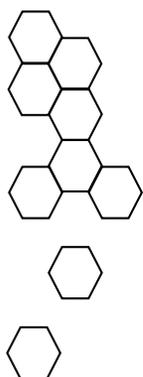
Отчего же в лесу все растет живое,
даже те, кто в земле, под землей – живые,
даже те, по ком волки голодные воют,
даже те, кого ветры давно отвыли –

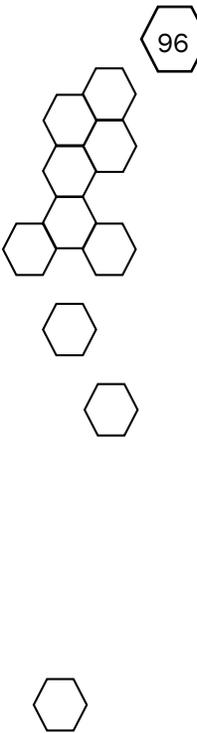
я пойму, когда насовсем воскресну.
И не стоит думать особо лестно,
почему я несу свои слезы лесу,
почему я пою, выходя из леса.

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ЯБЛОНИ

Шершавой дрожью листика в ладони
ты говоришь мне о себе или о ветре?
Как вольно музыке, когда бесплодны ветви! –
так вольно призракам, когда безлюдно в доме.
Но с каждым днем касанья безответней

от тяжести, пока еще незрелой,
не царствующей над окрестной зеленью.
Не знаю, целятся ли луковые стрелы,
а ты ветвями указуешь вниз, на землю.
Желая, чтобы я туда смотрела?





И ничего не замечала, кроме
душистого бесплатного лекарства
нагретых ягод цвета свежей крови
и слаще – там, где начинает запекаться?
Плюс, разве что, еще блины коровьи
(чтоб не вступать в них, как и в некие союзы,
убийственные для плодоносящей музыки).

Ты все зовешь меня в телесность лета,
но завлекает в небо птичий клекот –
и я смотрю, как быстро и бесследно
там заживает шов от самолета.
Ты веришь, яблоня, что тень твоя нетленна?
Нет? Ну, тогда я поджигаю фото...

P.S.

Я ничего не жгла, я написала:
*Пусть ветер не сломает, а согреет,
и примирит земное с небесами,
и станет музыкой, и яблоки созреют,
чтоб гулко падать от легчайшего касанья.*

РЕЧЬЕ

Мы пойдем с тобой не в гору, мы пойдём к зелёной речке –
обреченные не ищут Голгоф.

Мы не ангелы, не черти, мы смешные человечки,
наши души – это пища богов.

Мы пойдем учиться дрожи у речной прозрачной кожи,
размечтавшихся кувшинок стеречь.

Что-то света маловато, что-то речка черновата –
так на то она и русская речь.

Мы пойдем учиться свету у цветов, ненужных лету,
по знакомству раздавать имена.

Мы, целуясь по дороге, станем взрослыми, как боги,
только душу мне не выпей до дна.

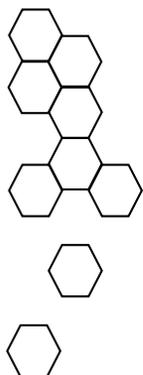
* * *

Мы ели ремонтантную малину
в начале октября, у кромки леса.
Цветы дома элитные вдали, но
хатынки недовымершего плембса
еще убереглись, прижавшись к чаше,
хотя отгородиться не умели,
и потому ущерб несли все чаще –
к примеру, мы малину нагло ели.

Под небом, полным томного сиянья,
не по сезону васильково-синим,
зеленая иллюзия слиянья
в растительных объятьях яна с инем
царила, сколько в мыслях ни дели на
лазурь и золотую дань итога.
Жаль, этимологически малина
мала, и съели мы ее немного
(поскольку щедрых обирать зазорно
и отдаляет душу от нирваны).
Зато у элитарных-зазаборных
мы нечто посерьезнее урвали.

Пока они сражались за тарифы,
всеобщее наследство дерибаня,
нам зверь лисобарсук за две-три рифмы
стерег поляну с белыми грибами.
Пока они на Фиджах и Мальдивах
гордились висцеральным ожиреньем,
нам все служили в этих рощах дивных –
кто пищей, кто ковром, кто ожерельем.

Под вечер солнце таяло устало –
малиновыми соками по венам –
и я тебе трехсмысленно шептала:
мужчине важно быть проникновенным.
Ты был. Мы были – вместе, а не вместо,
и проникая, словно по ступеням –
хозяевами, гениями места,
лисой, и барсуком, и птичьим пеньем,
и даже теми, кто сказать могли нам,
что наша жизнь – по беззаконью жанра –
всего лишь ремонтантная малина,
и сами мы ее съедаем жадно.



**ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
(марш-пародия)**

Дни идут победным строем
с криком «Слава Украине
(Богу, Нации, Героям)»
по дымящейся равнине.
Кто не с нами – всех уроем.

Всех отправим на три буквы,
всех наколем на три зуба.
Кто не в поле – на трибуны.
Берегись, кому не любы
нашей славы атрибуты!

Такова природа знака:
не убью, так попугаю.
Мыслящий – всегда инако,
остальные – попугаи
(разноцветные, однако).

Эталонный россиянин –
смесь еврея с угрофинном.
От исконных возлияний
с медной кружкой и графином
политически всеяден.

Любит виснуть на гиляке,
но нуждается в подсказке.
В постимперском переляке
может звездануть по каске.
Сублимирован в поляке.

Перспективнее обоих
Украинец Европейский –
персонаж, готовый к бою.
Отрастит любые пейсы
в подражание ковбою.

Лексикон – сплошные перлы.
Вместо фейса – балаклава.
Между ног – гора Говерла.
По пятам – дурная слава
ридной нэньки (ще нэ вмэрла).

Он заточен биться смело
со своими двойниками.
Положить на душу с телом
под большой могильный камень.
Было словом – стало делом.

Приходили волонтеры –
обереги приносили.
Уходили мародеры –
уносили, что по силе.
Взяли даром, дали деру.

Если мыслить субъективно,
в хате с краю, ближе к раю –
побеждая коллективно,
персонально умирают.
Не смешно, но креативно.

Тот москаль, кому противно.

ЖРЕЦЫ (ПРОЖРЕНИЕ)

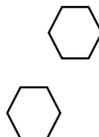
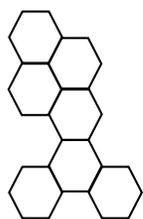
Мы-то думаем, что знаем слова.
Но сакрально гримируют слова
скотобойню естества и родства:
кто-то жертва – для кого-то жратва.

Можно думать глубоко и всерьез,
кто коварней – ворон или варан?
Но с бараном не случится вопрос:
неужели он и вправду баран,
если трепетен, и бел, и готов
резвой кровью обогреть, облагрить...

Пожирали бессловесных скотов,
чтобы Богу было кем говорить.

* * *

Борода и очки, поселясь на лице у мужчины,
презентуют его антиподом мента и младенца.
Эстетически спорные – действенны как причины
алогичности дам: скукожиться, но раздеться.



И не видно в нем прежнего мальчика на побегушках.
А служил он супруге послушно и неумолимо.
В ней его привлекала классическая лягушка –
небольшая, проворная, скачет и скачет мимо.

Все мечтал: когда же она проявит свою царевность?
Обнимал терпеливо, не смея подпортить шкурку.
Испытал эйфорию, помноженную на ревность,
проводя на свалку ее зеленую куртку.

Заменял он ей куртку шубкой, весьма приличной.
Он трудился на благо – и в праздники, и вечерами.
Но как только достроил ей дом – двухэтажный, кирпичный –
принялась она его «строить по полной программе».

Заставляла мыться и бриться, даже больного.
Поручила ему все дела вплоть до стирки пеленок.
Наконец, поменяла принцип «за каждый интим – обнова»
на закон: «один половой акт – один ребенок».

Он ее умоляет, целует – она только злится.
Психанул, загулял – попыталась упрятать в психушку.
Тут-то он и сбежал – не куда-нибудь, а в столицу.
А она заметалась: мол, развел ее, гад, как лохушку!

И скачи себе, жаба, от злости уже седая.
Он теперь понимает женщин – и потому их лечит:
наложением рук на все, что у них страдает,
а потом их ног на его бока или плечи.

И, представьте себе, исцеляются, даже от рака!
Не всегда, но случается. Кроме того, он их учит –
например, вычислять период полураспада брака
для его обновления прежде, чем мужу наскучит.

Обо всех обновлениях можно узнать на сайте –
и сродниться в инсайте с духовно продвинутым блогером.
Там еще репортажи на тему «Спасая – спасайтесь» –
как тусуется в церкви, пиарится перед Богом.

Между тем ниже пояса он мусульманин, а с ламой
он и вовсе три дня медитировал в общей палате...
Но, поскольку от текста все больше разит рекламой,
погожу размещать, пока персонаж не заплатит.

TEEN+7

У нее фигура вечерней тени,
у нее походка голодной кошки,
у нее глаза цвета тертых джинсов,
у нее душа полевых растений,
на цветочный йогурт лолитной кожи
секондхендный трэш, будто муж, ложится.

А лет семь спустя – в унитаз и ниже –
все глядят с восторгом, не всякий купит,
у нее любовник – король макабра,
у нее кутюрный показ в Париже,
у нее авто – алый Mini Cooper,
вместо моськи – белая чупакабра.

А иначе пресно, неинтересно,
отъедят ей грудь постылые дети,
остаются кухня, уборка, цены,
и увянет бледной охапкой сена,
и никто не вспомнит и не заметит,
и костей ее не омоет пресса.

ФАКТУРА

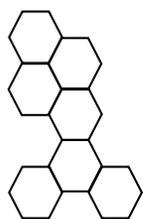
Жили-были, ели-пили,
в холодильнике хранили
замороженные трупы.

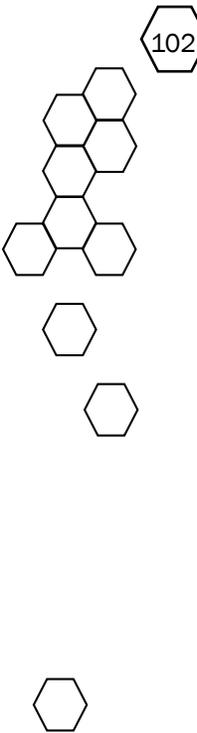
Жили мирно и красиво
в пятикомнатной квартире,
размножились и трудились.

Он когда-то был полковник –
не по чину, по фактуре,
а по чину даже круче;

знал две сотни анекдотов
и три строчки из Хайяма,
а четвертая забылась.

А жена его, почти что
ренуаровская дама –
не по жизни, по фактуре –





знала аж семьсот рецептов
разных кушаний и лакомств,
и еще Кобзона лично.

Складно жили, не тужили,
после померли от рака
не спеша, в своей постели.

Все потомство за границей,
и никто теперь не скажет,
как они на самом деле

жили-были, пели, ели,
в холодильнике хранили
замороженные трупы

кур, гусей и поросенка
и говяжью расчлененку.
А вы думали?.. Напрасно!

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

Чем больше страна – тем мельче ей человек.
Человек это понял однажды – и не огорчился.

Между прочим, кончился дождь. И как раз четверг.
Время «Ч» – из закона на волю полезли большие числа.
И вот-вот человек пожирнее рванет за Урал,
за леса, за моря, с перепугу теряя купюры,
пистолеты, айфоны, крича «Я не крал!»,
«Непосильным трудом!» и жене на прощание «Дура!»
Нет, пока это только мечты. Но уже знатоки
напряглись в предвкушении ужасов нью-декаданса.

Ну, а этот оставил записочку от руки:
«Гражданина Вселенной может лишить гражданства
только Бог». И пошел... А куда? Поди разбери...
Вероятно, совсем не туда, куда посылали.
Что он там замышляет? Что у него внутри?
Как его поймать, расспросить, разобрать на детали?

Он спрятался как последний, но не-пустяк
в матрешечную структуру необщих родин.
Ни на карте, ни в «Википедии», ни в новостях –
человека нигде не видно. И он свободен.

СНОТВОРНОЕ

Если серая карма разбита на две полосы –
проезжай, не бликуй, не пытайся заковать, матеря.
Укротитель колес, обгоняющий пульсом часы,
не ликуй: это время твое обгоняет тебя.

Что не выдаст реклама – смартфон сообщит, просияв.
Продолжай – ни менты, ни фастфуды, ни биржи не спят.
Щелочные глаза бизнес-расы, съедающей явь,
видят только зеленый, но красным навстречу слепят.

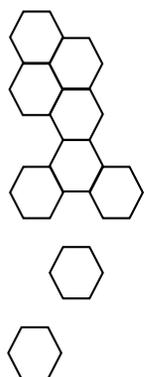
Ты ложишься в двенадцать, заводишь будильник на пять,
ты боишься проспать нечто в городе, в мире, в себе.
Но когда мы спим, наше время движется вспять,
или в сторону, или перпендикулярно судьбе.

*...Хризопраксовым паром иссякнут токсины тоски,
многоцветие луж – не ищи себя в их зеркалах.
Паутинные гнезда, змеиных объятий тиски,
черепами уродов наросты на толстых стволах,*

*эта измененность – не неизменность, есть множество троп.
Ниже некуда, выше – уже звездоносна вода.
И не стоит себя изнурять бесконечностью проб:
тропам свойственно переносить, если знаешь – куда.*

*Горностаевой молью сквозь зовы болотных огней
твоя боль покидает подкорковый Индокитай.
Как ни святы ее пируэты – не надо за ней.
Но когда над тобой поредеют лианы – взлетай!*

Я однажды приснюсь и тебе расскажу анекдот –
откровеннее порнопортала, целебнее СПА –
как легко и приятно во сне умирает тот,
кто свою настоящую смерть когда-то проспал.



УТРО (ПРОБУЖДЕНИЕ)

Когда просыпаешься, главное – свет:
цвет его, звук, вкус

яблок, скрывающихся в листве,
ямб воробьиных уст.

В ответ устремляешься, главное вслед
лучам, подражая им –
двуструньем, звучащим в отцветший куст,
кусту расцветая нимб.

Тогда просыпаешься, светом храним,
признаться ему в родстве:
что неопалимая купина
взглядом твоим зажжена.

СЛИШКОМ ЖЕНСКАЯ МОЛИТВА

Господи, спаси меня от него.
Долго, слишком долго я им жила.
Не давай присниться под Рождество.
Вечером навстречу не посылай.
Я уже в ладах со своей судьбой –
песни сыплет звездами. Только вот –
чтобы впредь не каяться пред Тобой,
Господи, храни меня от него.

Господи, храни его от меня.
Не смотри, что сильный и что чужой.
Чувствую – и он из того огня,
что подкожным теплится мятежом.
Посылай других ему – утолить,
не позволь без дела сидеть и дня,
лишь бы не пришлось мне Тебя молить:
Господи, спаси его от меня!

Господи, помилуй рабу Твою.
Кто же защитит меня? Только Ты!
Я уже так близко к Тебе стою,
я почти что вижу Твои черты.
И – губами в самые небеса
(будто бы навеки простилась с ним):
Что же Ты так истово нас спасал?
Что же друг для друга не сохранил?

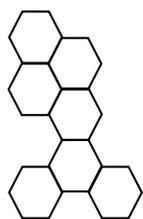
НОСТАЛЬГИЯ

То замирая нотой до,
то проникая в стих,
росли усадьбы у садов,
немыслимы без них.

Гуляли барышни в садах,
тянулся ствол к стволу,
и детским словом «навсегда»
кончался поцелуй.

Но мы-то взрослые вполне –
нам некогда понять,
что их давно на свете нет,
и некому пенять.

А весь абсурд, позор и мрак
немирного труда –
за то, что мы живем не так,
не там и не тогда.





Игорь ВИНОВ

МОЙ АНГЕЛ ИНОГДА ЧИТАЕТ ГУССЕРЛЯ

КОНЕЦ

Конец тысячелетия. Рассвет.
Крысopodobный голубь чистит ногу.
В парадном школьник школьнице минет
Преподает на склоне школьных лет.
Поэт выводит мраморного дога
Погадить – так рождается сонет.

От рифмы к рифме меньше сигарет
И прочих средств. Разбрасывая ноги,
Язык и смысл гуляют по дороге
Из Иерусалима в Назарет.
Легионер подвинул табурет
К распятию – сейчас он включит свет.

Стоит рассвет на тот и этот свет
Единственный. Осталось так немного
Знакомых лиц, особенных примет
И нас самих...Наверно это плохо.
Дог напряжен и собран в силуэт –
Он в этот миг предельно предан Богу.

1999 г.

* * *

«...а дальше тишина...», но все, что прежде
Нас, настигает в той же немоте –
Не отличая кожу от одежды,
Мы корчимся в кромешной наготе.

Нам суждено хранить предел предела,
История - последствие числа,
Пространством одураченное тело
Который век глядит из-за угла.

Всего лишь смерть подсматривает Гамлет,
А прежде или «дальше» – тишина...
Младенец пьёт безумие глазами,
Не отличая небо от окна.

* * *

Люди заперты словами
В клеть несобственной свободы,
Занимаются делами,
Верят в мертвую природу.

Звери думают зубами,
Звери кушают друг друга,
Служат голыми телами
Окровавленному Духу.

Между ангелом и зверем
Дети тьмы и дети света:
Кто-то кровью красит двери,
Кто-то зверствует в заветах.

Простирается тревога
От инсульта до аптеки...
Люди выпали из Бога,
Бог упал на человека.

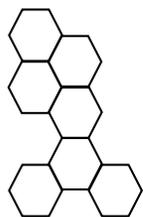
* * *

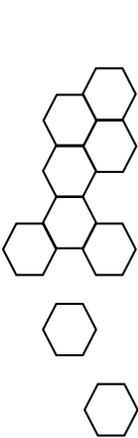
Безумие оправданное верой –
Все, что осталось в зоне отчуждения,
Куда ни плюнь - слепое наслаждение,
И слишком настоящие химеры.

Бог сокращён числом и архетипом,
Мы безнадежно прокляты свободой
От Пустоты, отчаянья и гриппа
И дуем... или молимся на воду.

В словах слова... и снова распят Логос,
Но как теперь в Твои отдать руце?!
В бездарный век фальшивых революций
Любая тварь глядит Саванаролой.

Зачем-то рыба выпала на берег
И ловит бесполезный свежий воздух,
Случаются герои и империи,
Подонки, президенты, холокосты...





Случаюсь я, случаются невесты
И женихи, поллюции, невроты,
Случаются в одном и том же месте
Овидий и его метаморфозы.

Случилась жизнь, но не случилась скука
И перед сном и в длинном коридоре,
Из тьмы во тьму протянутые руки
И нами не отпущенное горе.

* * *

Я отпускаю странный дух
Во тьму чудовищных сомнений
И понимаю вслух и вдруг:
Смерть не касается растений,



Микробов, ангелов, могил,
Камней, структур, протуберанцев,
Свободных женщин, лиги наций,
Машин и лошадиных сил...

Непредсказуемая жуть
И предсказуемые звуки:
Ласкают маленькую грудь
И клавиши... слепые руки.

Что открывает поцелуй
Впервые - неисповедимо.
Душа, как воздух, между струй
Бежит из Иерусалима,

А я ступенями навзрыд
От неизвестного Шопена...
Откуда возникает стыд?
Кому принадлежит измена?!

Прикосновение... весь мир –
Поверхность женщины и света
Из неподвижно чёрных дыр –
Отсутствие любых предметов.

Отсутствием испытан слух,
А мы разыгранные в лицах,
Обречены любить и сниться,
Любить и слышать странный дух.

* * *

Поэт управляет психозом
И пишет случайно стихи.
Он пойман последним вопросом
И делит с Адамом грехи.

Он держит рассудок глазами
И сердцем неволит глаза.
Общаясь с чужими богами
Он знает свои голоса.

Мы встретились в бездне просвета
И длмся и держим просвет...
Поэт открывает поэта,
Как Библию Новый завет.

* * *

Мой ангел иногда читает Гуссерля
И волосы пугает в рыжий цвет,
А мальчик собирает мертвых гусениц
И не стареет миллионы лет.

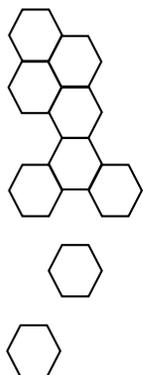
Не птицы опрокидывают головы,
А наяву нечаянный полет,
Я встретил Вас, сакральную и голую
И открывал и пил безумный рот.

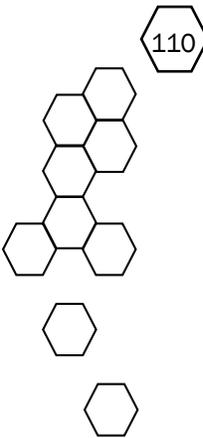
Структура встречи - молнии и трещины,
Внезапные бессмертные тела...
Мой ангел иногда бывает женщиной
И падает в слепые зеркала...

* * *

Тебе, единственный Отец,
Шлю неприкаянную душу,
В твои внимательные уши
Разоблачается подлец.

Живу немедленную жизнь,
Грешу делами и словами,
Под сводами и небесами
Играю с Богом в «появись!»





Невероятная печаль
Вдруг встретит два печальных глаза,
Дрожит критическая масса
И длится каменная даль.



В безветрие дрожат листья,
Я это самое растение...
Как тягостно поют коты,
Предвосхищая совпадение.

Пылинок солнечный завет,
Огромное слепое небо,
Мой ангел пахнет свежим хлебом,
И отражает этот свет.



Я знаю, ты поймёшь мой бред,
Покроешь голову ладонью...
Счастливый ослик на иконе
Везет от Господа привет.

* * *

Ходы и норы, Бог и страх,
В пределах Иерусалима,
Паломники и пилигримы
Радеют на святых местах.

Приобретая странный дух,
Смотрю на темнокожих женщин,
Которые читают вслух
Непререкаемые вещи.

В фантазмах растворилась быль
И в чудо пятится природа,
А мы - космическая пыль - пчёл
выпускаем на свободу.

Мне не хватает слез и глаз,
Вернуться в собственное время,
Мне очень не хватает Вас
В дурацкой солнечной системе.

БОЛЬШЕ УСНУТЬ НЕВОЗМОЖНО

Я досмотрел до дна тревожный сон,
И вижу мир бессонными глазами:
Дрожат стаканы, движется вагон,
Плывет ландшафт не схваченный словами:

Я еду в Сочи? Нет, я еду к Вам!
Вдоль побережья, вдоль бессонной ночи,
Через Египет, Вавилон и Сочи
Я возвращаюсь к странным небесам.

И камни, и огромная вода,
И птицы, проверяющие воду,
Плывут из ниоткуда в никуда,
Не покрывая, страшную свободу.

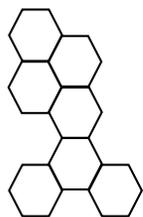
Я Вас любил всегда и невпопад,
Перемещал созвездия и страны,
Чтоб не проснуться, что бы длить Ваш взгляд.
Я умер или замерли стаканы...

* * *

Как невозможно Вас не любить?
И грамматически и откровенно,
ниже достоинства, выше колена -
Лишь невозможность Вас не любить.

Как невозможно Вас не любить?
Дух интонирован собственным страхом,
Бедные люди слушают Баха
И умудряются Вас не любить.

Как безнадежно хочется жить,
Но невозможность отпущена Богом.
Я понимаю Вас понемногу
И невозможность Вас не любить.



ПРОЩАЙ 18 ВЕК

Средостенье наслаждений
И предел моей мечты –
Вас украсть у сновидений,
Вас украсть у пустоты!

Самому остаться между
Ваших самых самых ног
Без печали и одежды...
Лучше выдумать не смог!

* * *

Маниакальный мышонок
Ищет поющую кошку,
А психиатр, подонок,
Видит его немножко.

Слышит мышонок голос
Светлый и сокровенный...
Кто-то седой и голый
Вдруг перерезал вены.

Как же идти за взглядом
И не бояться круга
Петь и любить из ада
И не утратить слуха?!

Голос поющей кошки
Длит и таит измену,
Лезет Эней из кожи:
Тьму шевелят сирены.

Лезет Эней из кожи,
К мачте прилипли руки,
А психиатр, сука,
Курит и слышит тоже.

Как оторвать от кошки
Голос, а глаз от уха?!
- Лоботомия, крошка!
Лоботомия, сука!».

Круг, размыкая кругом,
Данте восходит к черту,
Кто-то с кошачьей мордой
Душу пугает Духом.

* * *

Уже не арифметика разлуки,
Ни числа натуральные утраты
Не соразмерны, несоизмеримы
Оральной пустоте невольной встречи.

Завершены великие сражения,
Бредут по миру лишние солдаты.
Разорван криком Ваш прекрасный рот...
Безмолвным криком невозможной речи.

Число и звук... Ещё возможен голос,
Но кто-то даже голосом играет.
На небе приступают небеса,
Но к ним уже никто не жает руки.

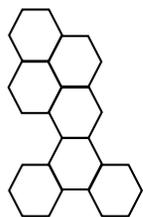
Из темноты всплывают зеркала,
Ни алгебра, ни прочая наука
Нас не откроют... Притяженья нет:
Я падаю, а женщина летает.

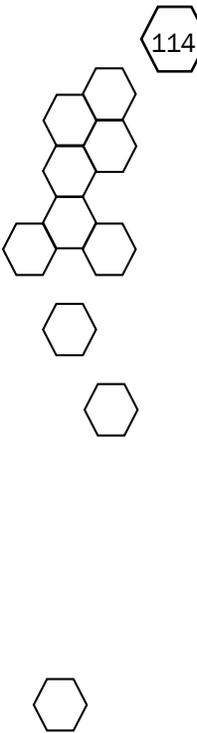
* * *

Сообщество монад,
гармония и контра-Пункт...
Гуссерль был бы рад
Держать альянс с Джокондой.

Куда направлен взгляд
Ведёт с ума поэта,
Который год подряд
Беременная светом.

Стоит и длится взгляд,
И не находит места
В сообществе монад
Невесть кого невеста.





Уравновешен взгляд
И свет: ландшафт и дева,
Направо и налево –
Корпускулярный ад.

* * *

В тревожной графике цикад,
Невысказуемость природы,
Течёт и длится сладкий яд,
Томится в гении свобода.

Так совершает акробат
Свою молитву в мёртвом зале
И помещается в обряд
Сальто-мортале....

Так с буквой сталкивая слово,
Разламывая алфавит,
Поэт находит Иегову
И рвёт за шиворот иврит.

Так, исполняя наслажденье,
Ветхозаветный патриарх
Пытает кровью откровенье
И дарит Богу кровный страх.

Шуршит бездомная волна,
Закатом стягивает небо,
Все грандиозное нелепо...
Цикады. .. Вечность... Тишина.

* * *

Преображенная печаль
Нас осенила странным светом...
Освобожденная спираль:
Два тезисы в одном сонете.

Есть слово странное «мистраль»,
Трезвящий ветер для поэта,
Но близь притягивает даль
И страшный Дух сечет предметы.

Нам не дано предугадать,
Как наше слово... Боже, Правый
Лишь Ты Один даёшь мне право
Не только мыслить и гадать,
Но прозревать в цветах и травах
Возможность верить и прощать.

* * *

Разломы каменной коры,
Нечеловеческое горе
Ни с чем не соразмерно... Море
Спасает разум от игры.

Пространство движется в пространстве,
Граница неба и воды...
А за пределом красоты
Чудовищное постоянство!

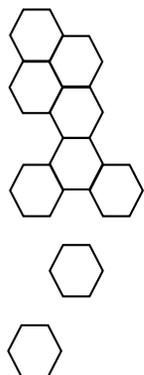
Жутко ангелы сквозь стекло
Дышат...
Им ничего не хочется.
Турбулентность: слепое множество
опрокидывает число.

Пассажиры с детьми и суть
С ограниченными возможностями
Умирают, что б не уснуть
В относительном одиночестве.

Пассажир без детей и без
Предсказуемой Невозможности
Проверяет слепые ножницы
И пугает прозрачный лес.

Застрахованные от вечности
Люди верят в аэрофлот,
Но теряют предмет беспечности,
Если падает самолёт.

Турбулентный поток мышления:
Мелкий ангел и крупный бес.
Совпадают в одном падении
Пассажиры с детьми и без.



* * *

Тревожный зритель голых стен
Освобождает Разум взглядом:
От коннотата к денотату
Гуляет ветер перемен.

Душа не терпит пустоты,
Но бог немотствует в изгое,
Как Афродита из воды,
Из ужаса исходит Гойя.

Прикосновение во тьме.
Кто различает чёт и нечет?
И бес, и ангел ищут встречи,
Но сокращаются в уме.

* * *

Бренность и праздность, слабость и сила:
Братья и сестры спящего Духа.

Совокупаются рты и могилы
И не хватает взгляда и слуха.

Тьму разрезают мертвые звезды.
Как ослепительно исчезновение!
Исчезновением светится воздух.
Духом и воздухом дышат растения.

Виснет и падает голое озеро,
Тонет отсутствие в местоимениях.
Боже, не дай мне закрыть откровением
Утро туманное, утро седое...

* * *

Молчание и тишина,
Стоят в одном том же месте и не совпадают...
На фоне перепуганного неба
Деревья ловят неподвижный ветер,
Цепляются нелепо друг за друга...
Мы ищем неизвестные слова,
Которые ни с чем не совпадают, напрасно...
Так в детстве смотришь страшное кино, а все вокруг смеются.

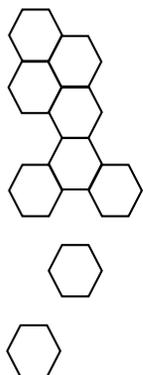
* * *

Дар и проклятие...
Любовь и Познание...
Одно лишь изнанка другого.
Блаженство и труд совпадают не в каждом.
Кто же мы сами, плывущие вдаль под луной
и зачем берега, если смерть очевидна?!
Некто способен расстаться с приснившимся Богом,
но не Ты - мой слишком единственный друг.
Будь прекрасен для всех: кто бы тебе ни приснился ...
Я же останусь травой под ногами - сопротивлением спящего тела.
Попадать и случаться - удел и подарок ребёнка
Извлекать из провала возможность - Долг и привычка поэта.
Мы с тобою случились,
Но время пришло расставаться...
Слушать море –
Не значит любить встречаться...

* * *

Прислушайтесь к пространству просто так
И Вас настигнет строй бездомных звуков:
Цикады, ветер, кукольный тик-так,
Вдруг, совпадут в безмолвии и скуке.

Прислушайтесь к пространству чистых тел
И Вы поймёте, воздух дышит Вами:
Ведущий и ведомый на расстрел
Войдут в хорал простыми голосами.



Прислушайтесь к пространству детских слез
И Вас настигнет истина пространства:
Унылое отсутствие стрекоз
И Дед Мороз в унылом постоянстве.

Вдруг, вне пространства ширится испуг,
От Персефоны веет свежим адом –
Она бредёт по болдинскому саду,
А Пушкин произносит мысли вслух.

* * *

Опять Вы умираете, а я бессмысленный,
Как слон в посудной лавке,
Сажу и еду, ужас не тая
И наяву пишу подстрочник Кафки.

Опять Нас опрокидывает мир,
Опять бегут растерянные дети
Навстречу Богу, в огненные сети,
А Бог глазами сыплется из дыр.

Слепые рыбы сыплются из дыр,
Мой Бог, не умирайте ради Бога!
Я напишу Вам новый «Мойдодыр»
И подарю отрубленную ногу.

Почаще пейте чая с молоком
(Я помню Вы любили «по-английски»),
Не думайте великом ни о чем
И даже о моем японском виски.

Усните и проснитесь в добрый час...
Жизнь пролетела, вспыхнув, как ворона,
Я встретил Вас внезапно, как икону
И верю в чудо... чудо Ваших глаз.



ПИНИИ РАВЕННЫ*Игорь ЛАПИНСКИЙ***АЛЕКСЕЮ НОВИКОВУ**

Кровавый цветок Майдана
отцвёл, и лепестки
осыпались давно.

Отдельно лепестки чести,
отдельно лепестки совести
осыпались давно.

Пыль, пыль, пыль, - сколько той пыли носят ветра!
Пыль микроспор жи,
когтистых микроспор корысти
носят ветра, носят ветра,
и запыляют глаза всем.
Всем запыляют глаза.

Слёзы матерей, слёзы матерей –
единственное,
чистое,
что в нашем мире осталось.

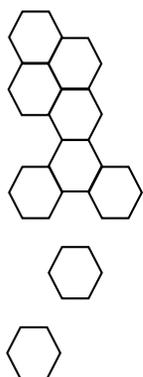
3 сентября 2017 г.

ПИНИИ РАВЕННЫ

Шёл Данте
по пустой Флоренции.
По улицам тихим как вата в вате, по площадям
беззвучным как смерть, завёрнутая в
смерть.
Пулены без бубенчиков, без колокольчиков,
без каблуков ступали неслышно по
булыжникам квадратным, округлым и
треугольным.

Камни самые разные: синий мрамор, тут же
обгоревший гранит, а рядом порфир
огнеалый, игольчатый кварц, затем
огромный рубин.

Призраки Рая без света.
Ватные камни без эха.



Шёл Данте

по «скорбному лесу – Флоренции».

И были не ночь и не день, не закат, не рассвет, молчала
Вселенная, потому что она всегда молчит, не
удостаивая...

И вдруг Вселенная, молча, говорит:

– Даю тебе право,
даю тебе слово,
Дуранте дельи Алигьери,
скажи его, гордец, скажи.

Но слово не шло, – ведь камни в горле, пусть даже
бесценные, пусть даже сверкающий лал*!

Спеклось это всё мириадами обид.

Вот площадь Синьории –

здесь,
на костре из грязных поленьев
хотели его сжечь живём.

– Прочь, прочь из этого города, прочь!

Скользя по льду то ли плевков, то ли слёз,
кои замёрзли в могильном хладе Вселенной,
иду туда, где вместо костра, огнезарный сирокко
сжигает окалины -
чёрные дольки души.

Где огнезарный сирокко

размашисто треплет пиний кущи, -
шумящих зонтов плотный свод.

Там буду я биться башкой об стволы голые
безразлично шумящих пиний,
выколачивая с адским трудом
каждое слово

Рая чуть видимого, чуть зримого Рая
в прорехах листвы безразличной,
в синих прорехах сени небесной,
сени небесной чуть зримый, чуть слышимый:

«Осанна!..., Осанна!...» – заоблачный нежный шум.

22 июля 2017 г.

* Лал или лалл, а также лалик – устаревшее собирательное название для большинства драгоценных камней красного или кроваво-красного цвета: в основном, красной шпинели, рубина, граната или красного турмалина.

ЭКСКАЛИБУР*

Ты врос в камень
 и пьёшь кровь
 сто лет
 и тысячу лет с хвостиком
 сосёшь кровь -
 Кáледвулх, Кáлибурн, Кáлибурнус.

Взявшись за руки,
 я пятилетний и я семидесяти трёхлетний
 очень коряво и медленно, как одышка столетий
 поднимаемся,
 всё поднимаемся, к тебе
 меч-камень
 Кáледвулх, Кáлибурн, Кáлибурнус.

А кровь всё течёт и течёт и обмывает нам ноги,
 и листики порея, и подорожника блеклые цветки.
 Течёт и течёт как жидкий пепел небес,
 как алая ртуть, как пауза палача
 течёт эта кровь и обмывает наши шажки.

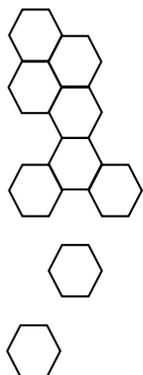
А вот и лужица, но как тускло
 как тускло отражается в ней солнце, почти никак,
 и невозможно знать –
 скольких миллионов эта кровь,
 и сколько их будет опять.

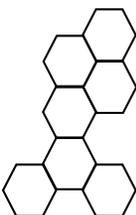
– Дедушка, дедушка, я пить хочу!
 – Потерпи, малец, потерпи, скоро увидим, скоро придём.

В раскалённый как вспышка Хиросимы полдень,
 увязая в гальке и в жизни начале и в жизни конце,
 дедушка, он же и внук,
 доколупали шажками пчелиными,
 дотерпели до тебя, наконец- то,
 Кáлибурн, Кáлибурнус Кáледвулх.

Рыжее глазное яблоко
 плешивое, в коросте лишайников,
 а из зрачка торчит меч –
 именно этот меч, блестящий, тысячелетний:

* Название меча короля Артура Экска́либур (Эска́либур) по-видимому происходит от валлийского Кáледвулх (валл. *Caledfwlch*), в котором скомбинированы элементы *caled* («битва») и *bwlch* («нарушать целостность», «разрывать»).





слезает, осыпается ржавчина
и добавляет наросты лишайников.

А меч звенит от солнца,
а меч кроваво поёт.

– Дедушка, можно попить этой красной водички?
– Зачем тебе кровь, малец, не пил я её никогда.

Кроме крови растений, кроме крови стихов, кроме крови
бушующих скрипок.

Глазами, ушами и даром воображения я пью эту кровь,
я ею питаюсь: смотри, видишь, – там водопад
забвенья, и я уже в ладонях воду несущ тебе, пей,
чтобы я забыл себя и, в то же время, помнил тебя,
чтобы Яты прожил иную жизнь.

Слушай, ласточка горная, уронившая дальнее перо, скажи
мне-нам: зачем мне-нам меч этот сверкающий
ржавой кровью, зачем?

Этот символ чести в мире без чести, зачем он мне-нам,
зачем?

В мире, где правые всё равно не правы, а равные всё
равно не равны.

Уходим отсюда в прошло-будущее,
Уходим, уходим, уходим.

Безвозвратно уходим отсюда,
в прошло-будущее –
туда где тень.

Где тень меча и тень креста
кровотекущие
спеклись воедино в облако заката
над горизонтом
реющее
едва, едва...

* * *

Если жить в молитве,
если жить молитвой ---

как долго?
как одиноко?
как навсегда?

29 июля 2017 г.



СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА*Дмитрий БУРАГО*

* * *

Украина – имя мило – горькое наречье,
Сколько судеб пригубила, похмелиться нечем.
За Дунаем солнце режет рваными краями
Тучи жадные на межи с рвами та горбами.
Хорохорятся сестрицы – удалцы сподвигли
Рукодельные зарницы запихнуть в глазницы.
Гибли, гибли – сколько цвета запеклось в отваге,
Да такого, что ответа не сносить бумаге!
Да такого, что за Доном Солнце-кабылица
Озаряет терриконам скошенные лица.
Воздух жирный, вороненый, что ни вскрик, то искра!
Как же это невозможно. Как же близко.

2015

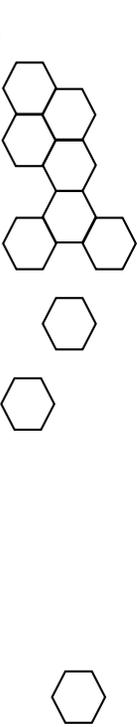
ИЗЪЯН

*В.И. Гончарову
«Волки воют на луне...»*

Саботаж всего живого,
саботаж.
Шорох голоса чужого –
это ваш?
Наш не может, наш не должен,
наш – живой!
Город гложет. Насторожен
путь домой.

Мостовая что-то прячет в кулачок.
За спиною скачет мячик-маячок.
Адрес ясен – мимо яра от сырца,
Вдоль трамвая до базарного кольца.

Что ж торопишься водитель,
погоди!
Буквы сбились в алфавите,
жжет в груди.
От искуса до прохруста
тянет боль.
Густо – пусто даже оклик
через ноль.



Что такое этот город, этот жест
О покое горячительных надежд!
О ломбардах, слово за слово – зачет,
И на бардах вся ответственность за счет.

А потом, через неделю,
через тьму
Разуменье от Емели
перейму.
И на девять, и на сорок,
и на год –
Топот стопок, уговоры
до острот.

Где тот мячик, тот холодный маячок?
Город скачет – хватя и тело на бочок!
Кабы не был так радушен – был живой...
Так нелепа эта ложь наперебой.

От запястья до плеча
От напасти да врача
Горяча протока!
Как бы сам себе конек
Закипел и занемог
И свернулся – во как!
Царь, кудесник и злодей
Впрок завел себе друзей
Чтоб потом отпели,
А друзьям то невдомек –
Скачет загнанный денек
В круге карусели.
За товарища! За мать!
Погибать, так поминать!
Поминать, так сгинуть!
Ах, ты господи, волчок,
Воет лунный светлячок
Выгибая спину.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Рыбаки сушили рыбу,
Старики судачили:
Чудо было это, либо,
Все переиначили...

I.

Я не все понимаю. Абрикосы цветут в трамвае.
Пчелы буянят и бьются в жирные стекла.
Кондуктор – свекла, марципаны ее пассажиры,
Наживка движется для наживы,
еще все живы.
На рельсах пистоны и ржавые гвозди –
грозди смеха и ссадин
Дребезжат с улыбкою наискосок: Бога ради!

II.

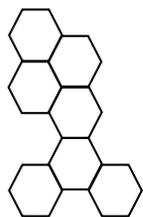
Вот и ты понимаешь, что время тебя сжимает,
Как щепотку бессмертная тетя Рая
Над кипящим котлом двора.
И тебе невдомек, что от солнышка будет горько,
Что у книжных полок верблюдов не пройдет в иголку,
Толкователь рьян: на траве дрова,
На дровах брательника голова –
Дважды два как выстрелить из двустволки.

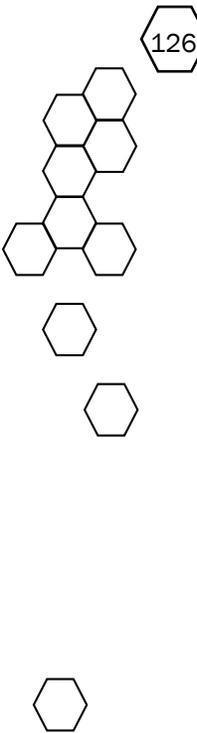
III.

Долг слезами исполнится,
В ноги бросится солнышко –
Целый мир у нее навыворот
И чудной такой говор-выговор.
А за домом сад,
А по крови – брат,
А задумал – лад,
А по воле – ад.
Так сама по себе иголочка
Вышивает верблюжью голову.

IV.

Окна вымыла, замела.
Под иконою свечка мается.
Близкий клетот, колокола,
Дальше – больше ушко сужается.





Протирая дубовый стол,
Книги, разные там безделицы,
Побледнело ее лицо
И за садом потемки стелятся.

V.

Спи-чки, пти-чки, че-ре-вички,
За кавычки, за реснички
Выйдем, выпьем, выговорим,
Серебришко выковырнем,
Подсчитаем и споем:
Сад глубокий как водоем –
Вот утопленник в саду,
И луна горит в аду.
Не спастись, не схорониться:
Слава – вечная блудница.

VI.

Сад оливковой горечью полнится,
Кухня в луковой шелухе,
Кружит пыль над сухой
смоковницей,
Путник движется налегке.
Нечего не понятно, вроде бы,
Солнце катит земную тень,
И уже ни друзей, ни родины,
Только долгий воскресный день.

2017

КОСОВЕТРОВ

По привычке безответно
С детства круглыми глазами
Улыбался Косоветров
И смущался между нами.

По привычке стыли будни,
Выходные прокисали.
Он отзывчив был как бубен,
Но к нему не прикасались.

Безответно проходили
Опасенья, страсть, обида.
Его словно бы забыли,
Так ни разу не увидев.

С детства думал Косоветров,
Что ему безумно рады,
Мастерил друзей из фетра
И любил смотреть парады.

Круглых суток было мало
Для обернутых в газеты
Книг, альбомов и журналов –
Их советы Косоветров

Глаз от букв, не отрывая,
Повторял с благоговеньем,
Но судьбы его кривая
Не меняла направление.

Улыбался, был не в духе,
Очень редко, но случалось,
Что кричал он так, что мухи
Ему тоже улыбались.

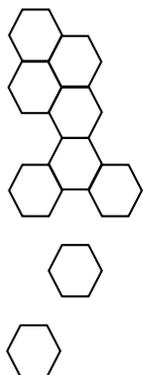
Косоветров жил героем,
Но герои тоже плачут:
Он влюбленной был горою –
Мыши ездили на дачу.

И смущался перед встречей,
Что всегда не получалась,
Потому что в белом свете
Есть и черное начало.

Между тем проходят годы
Косоветрова не тронув,
Словно у самой природы
Отклоненье от канона.

Нами правит убежденье,
Нам присущи прорицанья:
Косоветров – наважденье,
Он фантом и отрицанье.

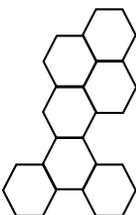
Он сплошное впечатленье.
Косоветров – невозможен!
Почему же ощущенье,
Словно что-то ему должен.



Не взаправду, понарошку,
Так, нет-нет и обернешься:
Косоветров то в окошке,
То присядет на дорожку.

То гуляет по столице,
Улыбаясь тем и этим,
Словно бы улыбкой метя
Тех, кому не расплатиться.

2017



НОВЫЕ КОРИДОРЫ

Элина СВЕНЦИЦКАЯ

Интересно, сколько километров коридоров может пройти человек за свою жизнь? Как только человек куда-то движется – он движется по коридору, а когда коридор заканчивается – сразу начинает искать себе другой коридор. Жизнь заканчивается – коридоры не заканчиваются. Люди, если вдуматься, – просто коридорные насекомые. Впрочем, про это лучше не думать.

К чему это я? А – не знаю, просто так. Эта старая женщина – ее звали Ольга Скотникова – жила в коридоре. Коридор был хороший, длинный, больничный. И пахло там вкусно – лекарствами и подгорелой кашкой. Впрочем, кашка была невкусная.

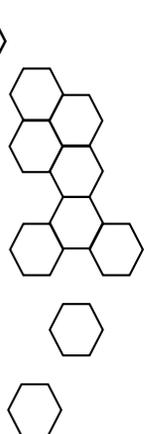
Оля жила там не всегда, и не всегда она была старой. Просто она переехала – и с этого момента все испортилось. Оля Скотникова всегда боялась потеряться и заблудиться, всегда боялась машины и чужих людей, а тут, в этом маленьком городе, полном серых заборов и черных заводских труб, все были чужие, кроме сына. Впрочем, он тоже был чужой.

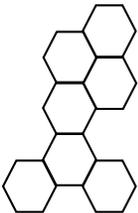
– Мучила меня все детство, – говорил он. – Все детство напролет.

В прошлом у нее остались дом и жизнь. Дом был, в общем-то обыкновенный, но свой. И жизнь точно такая же. Но жить стало страшно, все время что-то взрывалось и горело, и сын сказал, что делать нечего и надо уезжать. Оля Скотникова спорила с ним – она привыкла терпеть и не понимала, как можно жить вне дома – где другое дерево за окном, другие нищие стоят в других местах, другие бродячие собаки лают по-другому – и все другое. Но вдруг ее город стал резко меняться – она не узнавала свою прежнюю жизнь. Ее лучшая соседка только и говорила, что о хунте, штурмующей город, о президенте чужой страны, который все сделает, и лицо ее было веселым и безумным. Оля Скотникова не знала, чему ей верить, и плакала. Ей все стало непонятно.

Однажды утром она решила поехать к своей подруге, вышла на трамвайную остановку – но не было трамвая. Оля стояла полчаса, пошел дождь, где-то вдали загромыхало – то ли гроза, то ли опять что-то куда-то прилетело – а трамвая все не было. И вокруг – ни машин, ни шагов... Стало как-то грустно, скучно, странно... Какая-то женщина, появившись из-за угла, бросила через плечо:

– А вы зря стоите. Тут уже месяц как нет остановки. И ничего не ходит.





Каждый день что-то не ходило, или ходило, но совсем не так, как раньше, каждый день что-то не работало, переносилось на другой конец города, исчезало совсем, а потом всплывало под другим названием. И это было даже страшнее, чем вооруженные люди на улицах.

Тогда она сказала сыну:

– Что же это происходит? Ты что-нибудь понимаешь?



Он пожал плечами. Он вообще говорил мало – в основном пожимал плечами или смотрел вдаль.

– Объясни мне, пожалуйста, о чем они думают?

– Кто – они?

– Власть...

– Власть – думает?.. Ну, ты сказала...



Он улыбнулся, а она стала собирать вещи. И тогда ее жизнь превратилась в коридор, где надо было все время стоять в очереди. Вначале чтобы встать на учет, потом за пенсией, потом за пособием, потом еще куда-то, она не поняла, но кто-то сказал, что ей туда надо, и она долго стояла, а когда очередь наконец подошла, ей сказали:

– А зачем вы сюда пришли?



Потом умерла старая подруга – единственная подруга юности, умерла в том же городе, откуда уехала Оля Скотникова. Это был единственный человек, который ей звонил, которому можно было рассказать про себя, про сына и про дочку, которая пять лет назад уехала в Италию и только посылала деньги. Только ей можно было рассказать, что она еще не умерла и почему именно, только ей было интересно, по каким косвенным признакам Оля догадалась, что у дочки не все благополучно с мужем и денег стало меньше, чем в прошлом году, только с ней можно было порассуждать о том, какая наивная эта молодежь, которая никогда ничего не рассказывает и считает, что она сама не узнает все, что ей нужно, потому что у нее – жизненный опыт и интуиция. Грустнее всего было то, что на последний звонок – наверное, уже из больницы – Оля не ответила, просто сидела в прострации и смотрела внутрь себя, но, как всегда, ничего там не находила. А потом позвонила какая-то чужая женщина и сказала, что у нас беда и Маши больше нет.

Остался номер телефона в блокноте, несколько затертых фотографий. Еще Оля вспомнила, что когда-то она спросила у своей подруги, как раз перед всем этим кошмаром, помнит ли она себя маленькой девочкой. И та ответила, что, может, и помнит, но только с тех пор она уже прожила несколько разных жизней и, в сущности, не имеет никакого отношения к этой маленькой девочке. Это чужая девочка. Они тогда сидели на кухне. За стеной кто-то что-то сверлил, а потом зачем-то стучал по трубе.

Оля вспомнила все это и взяла наугад несколько детских фотографий. Вот дом на улице Садовой, кусочек цветника, бабушка, выбежавшая из кухни с поварешкой, красивая мама в желтом сарафанчике, а на руках у нее маленькая девочка.

– Мучила меня все детство, – подумала Оля. – Все детство напролет.

Кто эта девочка? Какое отношение она имеет к старой женщине по имени Оля Скотникова, которой в скором времени предстояло переселиться в больничный коридор и начать новую жизнь среди капельниц, запаха хлорки и стонов – жизнь умирания? Где сейчас эта маленькая девочка?

И здесь, в коридоре, Оля часто смотрела на эту фотографию, думала, разговаривала с людьми, и ей было как-то легко и спокойно. Ей казалось, что здесь она на своем месте. Наконец-то – на своем месте...

Но вдруг, когда Оля под вечер тихо дремала у себя в кровати, а вокруг шмыгали медсестры, и потому ей снились мыши в черно-белую крапинку, перед ней воздвиглась дочь.

- Ну как ты тут? – спросила она, ткнувшись ей в щеку холодным носом.
- Нормально. Живу себе, поживаю.
- Я тебя забираю. Ты мне нужна.
- Зачем?

Оказалось, что они едут в Италию, потому что в гостинице, которую купил новый зять, нужны рабочие руки. И остаться было нельзя, потому что – нельзя было остаться. На самом деле Оле Скотниковой было все равно – потому что уже давно все люди были чужие, говорили о непонятном на непонятном языке – слова были вроде знакомые, но смысл их был уже темен... Когда-то ей рассказывали, что бывает с человеком, который оставляет свою родину, уезжает в чужую страну, где он никому не нужен, ничего не понимает, а потом ложится в чужую землю и спит вечным сном, а рядом – никого и ничего, холмик среди чистого поля. Вот только это ей и казалось большим несчастьем, большим несчастьем, которое с ней должно было случиться – и случилось – так что теперь можно было быть несчастной с основанием.

И все так и случилось. И вот уже прошло полгода. Старая женщина Ольга Скотникова шла по длинной улице на окраине Рима. Она шла по чужой улице, заставленной высокими домами, как будто коробками, шла одна посередине тротуара, чистого, как будто умытого, и была так полно, окончательно и бесповоротно несчастна, как даже и не мечтала полгода тому назад. Впереди бежала маленькая грязная болонка, она залаяла и свернула в переулок. Улица была наполнена визгом тормозов, шарканьем шагов, чужими бодрими голосами, выпевавшими чужие, теперь уже совершенно непонятные слова.

Оля подняла голову и посмотрела на небо. Вспомнилось детство, сутолока, запах пригорелой каши, и вечно куда-то тащит за руку злая и красивая мама в желтом сарафане. А потом вспомнила, как сама стала мамой – и снова сутолока, крик, запах пригорелой каши, и надо кого-то куда-то тащить. И вдруг все встало на свое место.

– Просто все мы – мученики детства, – пробормотала она. – Мученики детства – вот кто мы такие.

Все было хорошо. Все наконец-то стало хорошо. Коридор ее жизни сузился до точки, а точка растаяла в тихом звездном небе, расстилавшемся над огромным городом Римом. И в этой маленькой точке Оля Скотникова, как в луче прожектора, увидела родной город, и те тихие вечерние улицы, чистые и пустынные, полные пошатывающихся людей, злых и оборванных, и среди этих людей – седовласый профессор, который шел с портфелем, в легком отглаженном пиджаке, белой рубашке и тихо бормотал:

– Я музейный человек... я просто музейный человек...

И развевалась по ветру его борода – и ныне, и присно, и вовеки веков.

ПТИЧКА

Я не помню, когда это началось. Может быть, позавчера, может быть, двадцать седьмого ноября 1997 года, может быть, никогда. И тем более непонятно, когда это закончится и закончится ли когда-нибудь, разве что – когда я умру, но не факт, потому что когда я умру – жизнь ведь не закончится, а значит – не закончится и это.

О чем это я? Вообще-то – не знаю. Бывает так, что думаешь – а не знаешь, о чем. Или думаешь о нескольких вещах сразу, и все – странные. И думаешь – это я одна такая или другие тоже об этом думают?

В общем – я думаю о времени. Вообще-то я вполне обыкновенная, хотя по мне не скажешь. Иногда смотрю на себя и думаю – а кто это такая? Я вполне обыкновенная женщина, только вот – не люблю покупать себе одежду. Потому что ты ее купишь – и она висит. Висит и смотрит на тебя, как будто укоряет: деньги потрачены, время потрачено – а зачем? Вот это главное – время идет, уходит, медленно движется по длинной улице под дождем, и оборачивается на прощание, и исчезает во тьме.

А еще я очень не люблю готовить. Не люблю, не умею – и не готовлю. Питаюсь тем, что найду в магазине, а в магазине можно много чего найти. Там есть хлеб, там есть вода и всякие салаты. И вот – зачем же тратить время, что-то готовить, если все равно все это съедят, и значит – зря, ни к чему, глупо. Время идет, оно не может не идти, и что бы я ни делала, я себе это представляю. Нет у него ни ног, ни лап, ни даже ложноножек, ничего у него нет, и что оно такое – непонятно, понятно только, что идет.

Вот так и началась у меня невралгия – боль, которая появляется ниоткуда и в любой момент. Время уходит, невралгия приходит, и надо идти в больницу.

Длинный коридор, пахнувший мокрой тряпкой и хлоркой. Шмыгают медсестры с бумажками. Очередь шевелится. За окном – что-то бледное, холодное, мокрое. Но двери надпись «Невролог», а за дверью металлический голос.

– Вам не нужны эти таблетки, потому что они разжижают. Разжижают – неужели вы не понимаете? А вам нужно совсем другое. И при вашем лишнем весе – лучше бы вам сесть на диету! Попейте кефира, что ли...

Там движется стул, опять быстрые шаги и металлический голос:

– Я знаю, что у вас болит, вы мне про это не рассказывайте. А как вы хотели – это же невралгия! Где вы видели невралгию без боли? И я рекомендую вам потерпеть. Терпение, знаете ли, хорошо помогает.

И опять движется стул, и опять шаги, а потом – звяканье телефонной трубки и тот же голос:

– Скорая помощь? Скорая помощь, увезите ее от меня! Увезите ее немедленно, иначе вы можете ее потерять! Увезите ее, это единственный способ ее спасти, все остальные уже неэффективны!

И дверь распахивается настежь, а потом хлопает, закрываясь, и бегут по коридору люди в белых халатах, а потом тащат что-то закрытое белой простыней. И вот уже моя очередь.

– А у вас, девушка, никакой невралгии нет!

За столом сидит седой прокуренный врач с бесконечно усталым лицом.

– Как нет?

– Нет – и все?

– Но, может, вы посмотрите?

– Да я отсюда все прекрасно вижу! Короче – вы здоровы...

– Вы уверены?

– Абсолютно! Здоровы, молоды, красивы, талантливы... И вообще, вы – птичка, птичка, птичка!

И я вспорхнула, вылетела в окно и полетела. Как же хорошо, как все просто на самом деле! Этот врач, этот добрый гений, как же он меня вылечил – окончательно и бесповоротно! Ветер, ветер, ветер вокруг меня, и голубое небо, и веселые звезды, и время свистит в ушах, скручивается в спираль и исчезает в темноте.

ДЫРКА В СЕРДЦЕ

– Чем вы занимаетесь? – прозвучал знакомый голос.

У нее был непонятный, как у врача, почерк, и она прекрасно делала оригами. Мы познакомились с ней в холодный осенний день – в день, который, если верить Нострадамусу, должен был стать концом света. Увидев ее, я подумала, что она похожа на ярко раскрашенный бульдозер.

– Так чем же вы занимаетесь? – еще раз спросила Леся по кличке Ежик Хохлатый.

– Да как обычно... Статью пишу про визуальную парадигму, стихотворение обдумываю...

– Фигней вы страдаете, однако.

– А еще у меня в душе дырка, – сказала я и проснулась.

Не зря мне приснилась Леся по кличке Ежик Хохлатый. Она всегда приходила ко мне с этим вопросом – чем вы занимаетесь? И никогда не дослушивала ответ, ей это, в принципе, было пофигу.

– Я могу написать роман о своей жизни, – говорила она, – и читать будут с удовольствием. В первой части я бы написала, как я родилась и вышла замуж, во второй – про мужа, как он дал мне по голове, и это был толчок к третьей части, когда я наконец оценила себя по заслугам...

Все это она рассказала, когда мы встретились снова, в тот день, когда конец света объявили согласно вычислениям астрологов племени майя.

А у меня действительно в душе дырка. Вчера вечером, когда я смотрела по телевизору, как какой-то мужик, сняв ботинки, шевелит пальцами, я подумала, что сейчас лучше сидеть в тюрьме – как-то спокойнее... А так – постоянная гонка, и невозможно ни за что зацепиться, и чемодан все время лежит где-то поблизости, распахнув свою пасть, как преданный пес. Вот так и живут люди, у которых в душе дырка. Только Леся по кличке Ежик Хохлатый – она меня не бросает.

– А вы знаете, что устроил мой младший братишка?

– Пока нет.

– Неужели? Я думала, все уже знают. Представляете, он поспорил со мной на 100 долларов, что выучит наизусть «Слово о полку Игореве». Иначе нельзя было – пара по литературе ему светила.

– Неужели выучил?

– Выучил, свинья такая! Я ему сто долларов отдала – так он, знаете, что сделал?

– Не взял?

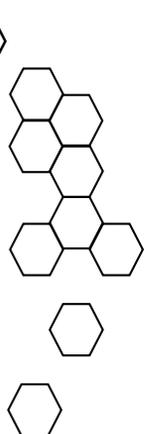
– Да ну... Открыл рот, положил туда бумажку, пожевал – и проглотил! Говорит: человек – это то, что он ест!

Огни в темноте – как тлеющие окурки. Леся все время улыбается. Сейчас многие улыбаются – только как – то странно. Если взглядеться – это просто судорога жевательных мышц. Как будто бы на улице среди бела дня обчистили наперсточники – таки сейчас улыбки.

В тот день конец света объявили уже точно – согласно данным нумерологии. Мы с Лесей пьем чай – хотя в основном не пьем, она говорит, я слушаю. Чай стынет в чашечках с красными горохами, посередине стола – бледно-сиреневый торт. Мы его так и не разрезали, вроде бы он и красивый, а есть страшновато.

– А я вам не рассказывала за свою семью?

– Не помню... а зачем?



– Ну, знать же надо... Всех родственников надо знать, желательно до десятого колена.

– Это кто же сказал такое?

– Телевизор. Делать нечего – телевизор смотрю, ума набираюсь. А семья у меня была вся бедная!

– Ну что ж, бывает.

– Прабабушка моя бедная, пережившая две войны и трех мужей. И бабка моя бедная, на химзаводе работала, дослужилась до любовницы заведателя кадров, по голове меня била. И тетка моя бедная, она в Америку поехала с рюкзачком и сотней долларов. И мамка моя самая бедная, она меня родила и замуж не вышла, вот и не любила меня...

Сиреневый тортик никто ест... Такая уж судьба у этого тортика: остался на столе – жалко, съели – еще жалчей. А дырка в сердце – длинная-длинная, стоит вздохнуть – и Лесе по кличке Ежик Хохлатый.

– Так не бывает! – отвечает она.

– Но я же – бываю! И у меня – сердце! И в сердце – дырка!

– Это у вас, девушка, навороты на ровном месте.

С тех пор прошло почти два года. Эта бесплодная земля – как будто книга, из которой вырваны страницы. И из этой бесплодной земли поднимается флора и фауна моего покинутого дома. Ведь если из дома уходят люди – в нем поселяется совсем другая жизнь. Оживают обветшавшие обои – на них растет серо-зеленая плесень, забирается выше и выше. Занавески тихонько шевелятся – по ним медленно ходят темные тени, воздушные струи ползают вверх и вниз. И из этого воздуха, замурованного в четырех стенах, постепенно вырастают тонкие побеги неизвестных деревьев, а по полу ползет бледная причудливая трава, и вот уже комнату наполняет кружевная чаша, полная шепотов и бликов. И если в комнате люди долго не появляются – комнаты самозамуровываются, зарастают кирпичами.

А Леса по кличке Ежик Хохлатый говорит:

– Дырка – это вполне нормально для нас, женщин! Только очень хочется романтики.

Короче, с одной стороны – свечи, с другой – сорок алых роз, и я – посередине! И кто не спрятался – я не виновата!

А про конец света все как-то забыли – почему, спрашивается?

НАШИ ДОСКИ

В этом городе столько мемориальных досок, что даже неудобно. На окраине растут многоэтажки, как обрубки деревьев, развалюшки-халабуды, а в центре – все дома облеплены мемориальными досками. Получается, что в одном и том же доме жили узбекский писатель Турсун-Заде, Чехов и Казимир Малевич, а еще проездом останавливался Куприн. Где он только не останавливался! А в соседнем доме – Маргарет Тетчер, император Павел I, полководец Суворов – и опять Куприн проездом. И на каждом таком доме – доски с портретами в профиль, и каждый профиль как будто спрашивает идущих мимо: а что ты сделал для истории? Что ты сделал для того, чтобы на твоём доме тебя повесили в профиль?

Мой левый профиль очень красив. Правый, впрочем, тоже ничего. А вот анфас не очень, потому что я – очень умная. Вот и хочется мне мемориальную доску, ну хоть самую маленькую. Только вот – на каком основании? Я же не премьер-министр, не император, даже не фараон. По сути дела, я ведь даже не писатель. Просто писатели – они ведь все

время пишут. Всякое занятие, к которому привыкаешь, затягивает, от него трудно оторваться. И вот они пишут – это один из моих кошмарных снов: миллионы писателей сидят в длинных-длинных комнатах какой-то душной многоэтажки – и пишут. По стенам ползают тараканы – а они пишут, за стеной – душераздирающие хрипы ремонта – а они пишут, за окном – визг раздавленной трактором собачонки – а они все равно пишут.

Я так не могу, и потому – я не умею писать. Но, как сказал один критик,, совсем неважно, что ты умеешь, важно, что ты нравишься. Вот я нравлюсь потому, что не умею писать.

Зато я умею слушать. Вот я хожу по этому замечательному городу, где в каждом доме художники, писатели, политики, наползают, теснят друг друга, галдят по-птичьи, отвоевываю куски этих сырых и темных комнат. Но есть другие люди – идущие люди. Они идут мимо этих мемориальных досок, не особо приглядываясь к этим гордым профилям, они идут и говорят – и то, что они говорят, вполне можно высечь на мемориальной доске с профилем вместо подписи.

– У меня полная квартира вурдалаков. Один из них лежит на кровати – и плачет.

– А не поехать ли нам в Намибию – взглянуть на маргаритки? Там сейчас такая замечательная погода...

– Очень хочу футболку с портретом Шопенгауэра...

– Я вам сейчас расскажу про /Шопенгауэра крамольную историю.

Люди, идущие мимо, – они всегда говорят все самое главное.

Ну, а мемориальные доски... Одной моей знакомой поэтессе, Алене Бескаравайной, мемориальную доску подарили на пятидесятилетие. Пили водку и много смеялись и Алена уже выпила столько, что придумала эпиграмму про собственную грудь, которую тут же всем и продемонстрировала, спокойно лежащую на толстом животе, никак не ожидавшую такого поворота событий. А потом все разошлись, и Алена осталась одна, а наутро раскалывалась голова, и надо было разобрать бумаги, не разобранные накануне, а потом подписывать счета, а голова болела все больше и больше, и Алена подумала, что поплакать в туалете никогда не поздно, и пошла в туалет, а потом опять вернулась к бумагам. Так она и жидает в пыльном городе, в хрущовке, с сахарным диабетом и мышами, уже не зная, куда податься, что делать со своим огромным водянистым телом, кому пожаловаться на голубей, обгадивших ее огромную мемориальную доску.

А другой мой знакомый, Леша Шапчук, сделал себе мемориальную доску сам и повесил на доме, в котором он жил. Этот Леша писал стихи, и считал себя великим поэтом, и собственно, мемориальная доска именно об этом и возвещала всех желающих. Поскольку Леша считал себя великим, он очень хотел пробиться. А пробиваться в те времена люди ездили в Москву. И, повесив на свой дом мемориальную доску, гласившую, что в этом доме жил и писал великий поэт Алексей Шапчук, он уехал в Москву. И там он сгинул. Больше никто о нем ничего не слышал.

А доска осталась висеть.

Вот так и висят эти доски, украшают нашу жизнь, создают ощущение, что в каждом доме есть кто-то, кого мы знаем, хотя бы по имени, и значит – мы здесь не чужие. Вот так висят они – и не все ли равно, кто и зачем их сюда повесил. Главное – что каждый может повеситься вот так вот над всеми, глядя свысока на людей, идущих мимо, на дороги, уходящие в небо, и на зеленую теплую листву, где, изнемогая от волнения, машут белыми крыльями только что родившиеся бабочки.

БЕДНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Как-то вдруг спелось:

– Мы рождены, чтоб сказку сделать болью...

Спелось и забылось. А дальше была длинная улица, визг тормозов, ошестинившиеся от ветра деревья и опять боль, высверливающая коленный сустав.

«Кажется, дождь собирается», – подумал Федор Полуэктович. Но дождя не было – и правильно, потому что зонт он опять забыл. Он теперь часто что-нибудь забывал, и потому что возраст, и потому что нет нигде покоя старому человеку. Не то чтобы ему было очень много лет, но в последнее время он чувствовал себя старым и больным. Раньше он был строен и высок и, как все говорили, похож на Дон-Кихота. Но ему уже давно надоело сражаться с ветряными мельницами, потому что эти ветряные мельницы теперь казались ему уже не злыми великанами, а странными печальными существами, беспомощно взмахивающими деревянными крыльями в тщетных усилиях взлететь. А люди – им бы только ломать...

Опять позвонила дочка. Неделю назад она родила внука там, в непонятном поселке городского типа, где был всего лишь один роддом и в нем – сумасшедшие врачи. Зачем, зачем, она ему звонит?

– Папа, Феденьку смотрел лечащий врач. Говорит – отек мозга и еще какой-то отек, я не разобрала...И еще говорит – он у вас какой-то смуглый...

– Но ты же тоже смуглая... Не волнуйся ты так – все образуется...

И вот уже наплывал мир подземного перехода: запах еды, пота, попкорна, странные фигуры, движущиеся в полутьме и фальшивая музыка. Немного затоснило, кружилась голова, но сейчас это уже было в порядке вещей. Такой длинной стала дорога с работы домой... Если бы еще не эти звонки... Раньше дочка могла месяцами не вспоминать о нем, и ему это казалось нормальным – за эти годы они просто отвыкли друг от друга. Но почему, почему сейчас?

Всю ночь напролет ему снились обидные сны. Снились очереди, очереди, очереди, стены, освещенные бледными лампочками, и комнаты, в которые ему почему-то нельзя. Потом приснилось лицо отца, расплывшееся в идиотической и нежной улыбке, и кто-то продышал в самое ухо: «Такой же будешь...». Еще сейчас, когда он вспоминал эти сны, что-то царапало в солнечном сплетении, а в носу становилось мокро. И опять звонила дочка.

– Папа, нам УЗИ сделали, отек мозга подтвердился. И еще подозревают паралич центральной нервной системы и болезнь Дауна. Я уже не знаю, на каком я свете...

– Но ты сама же видишь ребенка? Он что – парализованный?

Рыдания... Господи, ну сколько же можно! Ведь все было же так хорошо, уже много лет все было хорошо... Она же уехала, давно уехала, и жена умерла, и он уже понял, что без них ему неплохо, очень даже неплохо. Была комната на девятнадцатом этаже, и в широкие окна хорошо было глядеть на темнеющее небо, на крыши окрестных домов, слышать звуки города, как будто с того света. Была работа – не очень любимая, но удобная, ненапряжная, на полставки в университете, и чужие слова, легко складывающиеся в голове, и затихающий шум аудитории, и непонятное вдохновение в глухой свободе монолога... Так можно было жить – зачем же звонить и все рушить?

Он понял, что просто ходит взад-вперед по подземному переходу. Надо было позвонить дочери, узнать, что же все-таки он может сделать, привести в этот Богом забытый поселок каких-нибудь врачей откуда-нибудь, пусть поставят наконец нормальный диагноз...

Но как-то не поднималась рука, слабость и отвращение к слабости сковывали, связывали, сдавливали. На ступеньках растянулся огромный бож – с черной бородой, грязный, страшный – он спал, уткнувшись головой в плюшевого розового медвежонка. И опять зазвонил телефон.

– А теперь пришел инфекционист и говорит, что у ребенка подозрение на ВИЧ.

– Но откуда?

– А я не знаю... Я уже ничего не знаю...

– Но подожди, что же это за диагноз такой – подозрение? Перестань реветь, скажи лучше, что нужно...

– Они его унесли.. унесли и мне не дают...

Федор Полуэктович вышел из подземного перехода. Капал дождь. Опять он подумал о ветряных мельницах, странных печальных существах, мокнувших под дождем, на которых наезжают жестокие Дон-Кихоты – просто так, ни за что, ни про что... Он шел по тихой, извилистой, милой, уродливой улочке. Ему было очень больно оттого, что совсем не больно из-за всей этой ерунды.

ТАРАКАНЫ НОЧЬЮ

Сегодня на рынке меня приняли за маму моего молодого человека, а в утешение подарили морковку, и молодой человек как-то ступевался и слинял. Я так расстроилась, что никак не могла заснуть. Задремала – но в два часа ночи проснулась. Последняя мысль, которую я выхватила из сна, была о том, что хаос – это все-таки очень неприятно... но без него – скучно. При чем здесь хаос? Не знаю...

Я взяла мобильник, и тут из мессенджера выплыло: «На прошлой неделе у меня умер дядя, брат отчима. Заснул и не проснулся. Интересно, какой ему сон снился в тот момент, когда остановилось сердце. Меня вот это интересует. Но он же не расскажет». Писала одна писательница из Америки. Можно сказать, подруга по переписке. Ее зовут Ариадна, она деловая, очень уравновешенная дама, пишущая в духе жесткого реализма. И вот о чем она думает в два часа ночи... Непонятно... И я написала ей в ответ: «Нам всем свойственно заглядывать за грань». И процитировала «Гамлета»: «Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят?».

Тут я поняла, что спать мне уже не хочется и стала искать кошку. Моя кошка, как всегда, мирно спала, но не как обычно спят кошки, а в позе бега, вытянув лапы. Она подняла голову и посмотрела на меня презрительно.

– Кошка ты, кошка, – сказала я. – Скажи мне что-нибудь хорошее.

Кошка ничего не сказала, только мяукнула и пошла к миске.

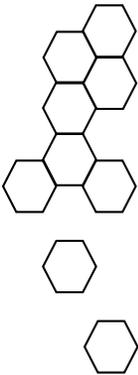
– Вот ты какая... Зачем только я тебя кормлю? Слова доброго от тебя не дождешься!

Кошка посмотрела на меня осуждающе и залезла под диван.

И тут из мобильника опять вылезло: «А больной голове все вообразимо». Ладно, у нее – больная голова, но у меня-то голова не больная, я сижу на кухне, пью чай и собираюсь лечь спать, и вообще – все хорошо. Но тут я задумалась: что это значит – все хорошо? Что я просыпаюсь в два часа ночи с мыслями о хаосе? Что я веду бесконечные разговоры с писательницей, которую никогда в жизни не видела? Что даже моя кошка прячется от меня под диваном?

И тут я задремала. Разбудил меня звонок в дверь. Пришла моя соседка Люда – женщина круглая, простая, но обуреваемая постоянно непростыми эмоциями.



- 
- Я пришла сказать тебе, что ты – редиска и я тебя убью.
 - Это еще почему?
 - Потому что дверь подъездную открытой оставила и моего Васечку на улицу выпустила. А Васечка – он же нежный, доверчивый, его же всякий обидеть может...
 - Но я не видела твоего Васечку, и вообще – пусть гуляет!
 - Какая ты все-таки безответственная! Как же можно быть такой равнодушной! Мне от тебя нужно три яйца!
 - Зачем?
 - Тебе что, яиц для меня жалко?

Я пошла к холодильнику, а по дороге заглянула в мобильник. Новое сообщение от Ариадны гласило: «Я боюсь, что на том свете мне придется столкнуться с людьми, от которых потом не убежишь. Я боюсь, что попаду в ад, и там не будут мне рады».

«Однако у Вас и мысли с утра пораньше, – написала я в ответ. – Хотя, если вдуматься, вся философия – о том, что такое жизнь и что с нами будет после смерти».

В холодильнике оказалось именно три яйца, и я радостно отнесла их Люде.

- Наконец-то! – сказала она строго. – Несешь-несешь, вроде ты их сама снесла.
- Да не за что...
- Ну да... Короче, я рецепт нашла – шикарный! Сливки, молоко, еще всякая фигня, но бесподобно. Делать начала – а про яйца забыла...



Тут я глянула в мобильник. Там было: «Вот так я задумалась однажды по дороге домой из школы, и чуть не попала под машину. Могла бы там на месте узнать, что там за горизонтом». Я написала: «Как-то не хочется, чтобы наши земные тараканы побежали за нами на тот свет».

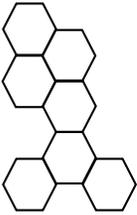
- Ну, рада была помочь... – сказала я Люде. – Тебе уже, наверное, домой надо, а мне – на работу.

Люда ушла, а мне пришел ответ от Ариадны: «Не волнуйтесь за тараканов, у них точно больше здравого смысла, чем у нас с Вами, вместе взятых». В общем-то она была права, Ариадна. И я написала ей: «Но как же мне не волноваться? Ведь это мои тараканы! Они зародились в моей больной голове! Может, для этого католики придумали Чистилище?». Ответ пришел моментально: «Как Вы догадались? Чистилище – промежуточный пункт, чтобы душа, очищенная от тараканов, могла лететь в рай!». Картинка рисовалась интересная, и я спросила: «А кто ее будет очищать от тараканов? И чем? Дустом?».

Видимо, Ариадна задумалась или ее сбilo с толку, что я все так буквально понимаю. Я покормила кошку, еще раз высказала ей свои претензии по поводу ее поведения, позавтракала и пошла на работу. Я шла по пыльной жаркой улице, мимо рынка, где мнeяобозвалимамоймоего молодого человека – вчера, а на самом деле давным-давно! – мимо голых розовых людей в витринах магазинов, мимо столпившихся на остановке желтых маршруток. Вот сидят на скамейке две женщины – одна очень толстая в джинсах, другая – чуть худее, но в лосинах. А рядом стоит молодой человек, смотрит вокруг растерянно, что-то говорит. Вначале показалось, что он просто раздает какие-то объявления или приглашения куда-то. Когда я поравнялась с ним, он глядя мне прямо в глаза, сказал:

- Счастливая? Да, счастливая... Ну и молодец! Ненавижу... И вроде бы не сумасшедший. Вполне приличный, брюки глаженные... Зачем он это говорил? Чего хотел?

На работе было, как всегда, весело, но скучно. Но сообщение Ариадны еще больше меня развеселило: «Тараканов будут отрывать от души с рожками и ножками, с кровью и криком, – написала она. – Чистилище – Ад для тараканов».



Я задумалась... и стала делать то, чего никогда не делала – представлять, куда же я попаду после смерти со всеми моими тараканами и что с нами, бедными, будет. Нельзя же с ними так жестоко! И я написала Ариадне: «Нет, они превращаются в божьих коровок и улетают на небо!». Но Ариадна была неумолима: «Только в английской частушке немного по-другому: «Божья коровка, лети домой! Твоя крыша полыхает, дети погибают!».

Ну вот, уже и до крыши добрались... Этот молодой человек, который там, на улице, что он говорил? «Молодцы... счастливые... ненавижу...». Или – «Счастливые... молодцы... ненавижу»? Нет, там было еще что-то, но я забыла. А вспомнить хотелось – написать про него Ариадне, на страничке в ФБ рассказать про него, редко я там что-нибудь интересное рассказываю. Но только – что он говорил? Отвлекла меня проклятая работа!

Весь день я вспоминала, что же он говорил, но никак не могла вспомнить. В конце рабочего дня я написала Ариадне: «Да, без тараканов у нас точно бы поехала крыша... И какое бы было одиночество, если бы не они!». И пошла домой, надеясь застать того парня.

Сгушались сумерки. Дул пронизывающий ветер. Улицы почти опустели, с неба посыпалась серая крупа. Было тихо, только скрипели тормоза. Я подошла к тому месту, где утром стоял тот странный парень. Тут пришло сообщение от Ариадны: «Вы правы, без тараканов нам не жить. Значит, будем кормить наших тараканов и радоваться, что они у нас есть!». Какой же длинный у нас разговор и какой странный!

Тот же парень. На том же месте. Только – почему он молчит?

– Простите, а вы не могли бы повторить то, что сказали мне сегодня утром? Вы не только мне этого говорили, другим тоже?

Парень смотрел на меня, не понимая.

– Вы чего? Вы кто?

– Ну вы же говорили что-то типа: счастливые, ненавижу... Повторите это, пожалуйста, я запишу...

Но он ничего не сказал и растворился во тьме. И я написала Ариадне: « Без тараканов не пишутся литературные произведения, а только инструкции для микроволновой печи. По сути, мы эксплуатируем наших тараканов. Надо их хорошо кормить, чтоб подольше хватило!».

На наш мир надвигался новый день.

РАССКАЗ, НАПИСАННЫЙ НА ГРУДИ

Я видела во сне коробки. Посреди какой-то длинной комнаты, похожей на гостиничный номер, они валялись, серые и жуткие, прямо под ногами, раскрытые, как собачьи пасти. Их было так много, что невозможно было не наступить на них, и они разламывались с хрустом, разваливались на полу и лежали.

«Где это я? – подумала я сквозь сон. – Что это я делаю в гостинице?..». И уже наяву подумала, что вполне возможно, это и не гостиница, просто жизнь теперь такая – дома притворяются гостиницами, гостиницы притворяются домами... И все это потому, что они на самом деле – коробки. Просто квадраты, защищенные от холода и ветра, квадраты, где время от времени мы находимся, – и больше ничего. Просто каждому человеку нужна своя коробка, иначе он не выживет.

И тут я поняла, что когда-нибудь я умру. Нет, я, конечно, всегда это понимала, но в тот момент, на рассвете, среди еще не растворившихся в яви коробок, в своей уже вполне реальной коробке, которую я снимала уже почти год, – очень большой срок, можно и



обжиться – я поняла это как-то определенно: «Вот именно я – и вот меня не будет». И не так же важно, когда, – важен сам факт. И что же мне теперь делать? А что я могу сделать?

Небо постепенно светлело. Я подошла к окну. С моего девятнадцатого этажа открывается прекрасный вид на крышу соседнейшестиэтажки. Обычно она серая и пустая, как все в моей жизни. Но сегодня там куски нерастаявшего снега. И еще – вороны. Черные вороны среди белых пятен снега. Холодно. Тихо. Зачем они тут собрались? Почему так много? Ходят по крыше медленно, с достоинством оглядываются вокруг... Вроде холодно, а они не греются... Вроде бы все вместе, но каждая сама по себе... Холодно. Тихо. Кого-то они мне напоминают... Им тоже, оказывается, нужна своя коробка. Только они сверху, а мы – внутри, но это и вся разница. Мы живем где-то посередине, застряли в щели между мирами и стараемся как-то обустроиться там, как-то ухитриться – и жить, потому что нет другого выхода.

Звонит телефон. Кто бы это так рано?

– Эля, привет, это я, Инна.

– Ой привет, Инночка, дорогая! А ты?

– Да все там же, там – в Донецке. Мама говорит: «Не поеду я никуда, дома и стены помогают». А потом говорит: «А ты поезжай, живи дальше». Вот как теперь?

– Не знаю... ой не знаю...

– Эля, ты понимаешь – все умирают. Знаешь, в нашем драмтеатре прямо мор какой-то. Помнишь Свету Затескину, кикимор играла? Умерла неделю назад... Не сыграет она Гамлета, а так хотела. А еще там Вова умер, художник... Лошадь еще нарисовал с тремя ногами, помнишь?

– Помню я их, помню их всех.

– Ты знаешь, вроде бы мы не на передовой, а все равно под прицелом...

Вот и началось утро в моей коробке. Вот и пришел в мою коробку другой мир – тот, о котором думаю, даже если ни о чем не думаю. Но мне пора. Выпить кофе – и вперед, навстречу новым приключениям. Сегодня у меня два собеседования и тест.

Место это я знаю очень плохо. Вообще-то это самый центр города – но никак не могу запомнить, где выходить и куда потом идти. Вот метро переходит в подземный переход, наваливается запах кофе, цветов и жареной картошки, люди устремляются куда-то, а я... Время есть, огляжусь немного. Вот раскладка с книгами, подойду посмотрю, а заодно и ориентируюсь. Буквы пестрят в глазах, ничего не прочитывается, а продавщица уже увидела меня и взяла в оборот:

– Женщина, женщина, погодите, не уходите! У вас же внуки есть? Судя по вашему виду, лет десяти как минимум! Подождите, женщина, послушайте меня! Они же у вас целый день за компьютером сидят, ведь так? Они все такие! А это, между прочим, категорически запрещено, можно только десять минут в день, а потом человек умирает! Вот в этой книге все про внуков написано! Купите, хорошая книга, вам она точно нужна!

Она размахивает мне вслед книгой, а не понимаю, куда же мне выйти из подземного перехода. Надо просто идти – и выход найдется. И выход находится – в совсем другой город. Так можно – просто идти и прийти туда. Там все хорошо, только стреляют. Чужие пестрые флаги над моей школой. А что в школе сейчас делают? Там теперь – учат патриотизму с помощью патриотических акций «Письмо ополченцу в окопы», «Письмо другу в Абхазию». Там серое небо, как вылинявший платок...

Но что же этот подземный переход не кончается? Вот вроде выход – лестница вверх. А на ступеньках – целый кукольный театр. Кукол продает какая-то женщина, очень веселая,

потому что мороз. На одной руке – Петрушка с красным носом, на другом – Баба-Яга в ступе:

– Люди, не проходите мимо! Куклы настоящие, прямо как живые! Доставьте детям удовольствие!

А с другой стороны жалобный голос:

– Подайте Христа ради хоть что-нибудь...

Поднимаюсь на лестницу – но улица не та и дом не тот. Надо идти обратно в переход. Звонит телефон.

– Привет, Эля, с праздником тебя.

– А какой сегодня праздник?

– День рождения комсомола.

– Простите, а вы уверены, что я имею к этому празднику отношение?

– Ну ты же была комсомолкой? Ведь была? Или уже забыла? А я все помню, я же тебя в комсомол принимала...

– Давно это было... Рада вас слышать, Ада Альбертовна! Как ваши дела? Что вы делаете?

– Как – что? Вот собрались с женщинами республики, размышляем о нашей духовности и поем комсомольские песни!

Господи, Ада Альбертовна, завуч в моей школе – неужели живая еще? Сколько же ей лет? И сколько лет этим женщинам республики?

Опять подземный переход. И книжный ларек. И та же продавщица вцепляется мне в руку.

– Женщина, вы пришли опять?! Какая радость! У меня есть книжка, которая вам нужна. Это очень хорошая книга. Называется: «Кто будет оплакивать после смерти?». Вы же понимаете, вам обязательно надо это знать...

Да, вот так – я все в том же подземном переходе. Просто ходила по кругу. Ходила по кругу. И вот она – лестница, которую я раньше не видела. И надпись: «Улица И. Мазепы». Так это же моя улица! Наконец-то, я же уже почти опоздала. Бежать же надо! И я побежала, задыхаясь, натываясь на идущих навстречу, путаясь в полах пальто. И сердце превратилось в дикобраза с жесткими иглами, и дикобраз выпрыгивал в горло, и иглы врезались в легкие, а воздух свистел в ушах.

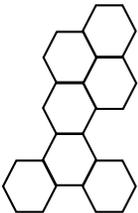
И вот, наконец, лестница закончилась. Длинная улица. Кроваво-красный закат над серым зданием. А на здании – белый транспорант:

«Поздравляем всех с 50-й годовщиной городского кожно-венерологического диспансера!»

ВЫВОДЫ

Таким образом, словам должно быть тесно, а мыслям – просторно, то есть слов должно быть как можно больше, а мыслей – как можно меньше. Мыслей вообще должно быть меньше, потому что мыслить вредно, от этого появляются только лишние слова и портится настроение.

А настроение у меня испортилось сразу. Когда-то давно, лет десять назад, был у меня знакомый поэт. Его стихов не помню, но он все время говорил о том, что время уходит, и надо поскорее пробиваться, а пробиваться можно только в Москве. Вот он и уехал в Москву, и все о нем забыли. Но лет пять назад я увидела его страницу на Фейсбуке



и написала ему: «Саша, привет. Как твои дела?» И вот сегодня пришло сообщение. От Саши. Он написал: «Да ничего. Так как-то, непонятно». Да, непонятно... Через пять лет, но все-таки ответил... я уже и забыла, как он выглядит, и, встретив на улице, точно бы не узнала.



Таким образом, человек – это рифма. Рифма, как правило, глагольная, то есть плохая. Вот моя: теряла – бросала. Из людей, которых я потеряла, можно составить даже не город, а маленькое государство – слабое, но самостоятельное. В нем живут в основном поэты, поэтессы, реализовавшиеся и пробившиеся, не реализовавшиеся и не пробившиеся, городские сумасшедшие, бывшие учителя, а теперь почитатели поэзии, еще более сумасшедшие, парочка бизнесменов с духовными запросами, один политик затесался. Время идет – а люди теряются. А когда люди теряются – они что-нибудь бросают. Еще в те давние времена, когда я была безумно талантливой поэтессой, я бросила квартиру, мебель, одежду – просто взяла и уехала в другой город, решила, что все это мне не нужно. И потом, уже в конце жизни – снова пришлось уезжать, снова бросать дом, на этот раз все любимое и нужное – но другого выхода не было. И на этом фоне совершенная ерунда – два брошенных мужа и несколько любовников. Кто-то бросает, кто-то подбирает – вот так идет жизнь.



Таким образом, жизнь идет, и все, что должно быть потеряно, теряется, и все, что должно быть брошено – выбрасывается. И все становятся тенями. Но однажды одна всплывает со дна погибших лет, и входит в сон, и начинает говорить. Так и получаются непродуктивные диалоги. Всю ночь напролет у меня ощущение, что я говорю с моей давно умершей подругой Ритой, всю ночь напролет я ей пытаюсь что-то доказать, только не пойму, что.

– Мы должны быть самодостаточными, – говорю я ей, – самодостаточными и самоуверенными, и видали мы этих мужиков.

– Ага, а потом будешь как одна моя одноклассница. Никому она была не нужна, делать ей было нечего, так плела браслетки дружбы. Для всего класса сплела. Ногти все обгрызла, пальцы у нее воспалились – это она уже сплела для всей школы...плакала, но плела... плакала, но плела...

– Это же невроз просто, невроз, при чем тут женская самодостаточность?

– А при том. Мама ее – кукла Барби под полтинник, ходит в розовом спортивном костюмчике и рассказывает об этих ужасных беженцах...

– Что ей беженцы сделали?

– Не знаю.

Однажды Рита вышла замуж за Славика Берхина. Он отличался тем, что все время шутил, но неудачно. И разговаривал он мало – только с женщинами, и то редко. Когда он женился, то вообще перестал разговаривать, и это называлось семейным счастьем. И еще он курил – много и давно, так что если он заходил в лифт – всегда можно было понять, что он там был.

С этого момента она, кажется, и потерялась. Просто пути разошлись. Иногда мы писали друг другу по электронке – с перерывом в полгода.

Я нашла одно ее письмо.

«Понимаешь, – писала она, – у меня, как у всех, была первая любовь. И он мне так разбил сердце, что я от него ушла к цыгану, который тушил об меня сигареты. Но мужик-то мне нужен с детских лет. Я еще в детсаду бегала за мальчиками, просила их на мне жениться. Они от меня шарахались. А теперь что? Нужно же, в конце концов, чтобы рядом шевелился живой родник тестостерона».

Это письмо снова благополучно затерялось среди других писем.

И теперь я живу в чужом городе, возле железнодорожной станции, и всю ночь напролет слушаю, как едут поезда. И вначале это било по мозгам, а потом я привыкла и поняла, что на самом деле поезд – это я. Люди меня встречают, люди меня провожают, а потом машут рукой вслед и вздыхают с облегчением. А куда идет поезд? Что маячит там, на горизонте? Опять какой-то город... Город забытых игрушек, ненужных игрушек. Железные ворота. Серые тучи. Под серыми тучами крупные чайки грызутся друг с другом, и выходят из домов люди – не с пустыми руками, а каждый со своим пакетом мусора. И каждый несет свой мусор далеко-далеко, под крики чаек, несет далеко-далеко, под неярким солнышком, под серым небом.



Сергій ГРАБАР

БАНДЖО

– Знаєш, ми тоді вирішили, що справді можна все. І що комуністична партія – єдиний натхненник і провідник у Союзському Союзі, дає таку волю і свободу.

– Це був кінець п'ятдесятих – початок шістдесятих?

– Десь, ті роки. Це я зараз розумію, що то була пастка. Дозволили багато, але під пильним оком комсомолу. Дозволили, щоби у якийсь момент все заборонити, і знову саджати.

Співрозмовник трохи зсутулився, розім'яв цигарку, але не запалив. Подивився кудись повз мене та усміхнувся.

– Ми тоді створили таку собі джазову групу, наслухалися і «ворожих голосів», і платівок «на ребрах».

– Що це «на ребрах»?

– Це, коли музика з приймача записувалася на рентгенівських негативах, а потім вирізалася під коло і можна було слухати на програвачі або патефоні.

– Бабін з магнітною стрічкою ще не було?

– Тільки-тільки з'являлися, до нас ще масово не дійшли. Ось ми й придумали такий собі диксиленд, а я примудрився грати на банджо.

– А чому саме на банджо?

– Бо екзотики захотілося. Банджо й було у ті часи західною екзотикою, а ще спеціальні туфлі, і сорочка картата, і косинка на шию, і звичайно ковбойський капелюх.

– І де це все можна було взяти в союзському Києві?

– Як де? Звісно, на барахолці. Все, окрім банджо...

– А що банджо?

– А про банджо ніхто нічого толком не знав, навіть на барахолці. У багатьох запитували, та марно. Згодом вивели нас на одну серйозну людину на ймення Італієць. Солідний, одягнений шиком. Вислухав, подумав і пообіцяв допомогти. А за два дні приніс нам фото та опис банджо. Замовили у наших «кулібіних» на Подолі, і за тиждень мали справжній банджо.

– А що він запросив за допомогу?

– Та нічого, попросив покликати, коли будемо виступати. Тоді між людьми – інакше було.

– І почали виступати?..

– Почали...

Співрозмовник знову розім'яв цигарку і, зрештою, закурив. Легкий димок поволі піднімався до неба. Чоловік сидів, трохи піддавшись уперед, в традиційному ковбойському капелюху. Стояла середина осені – час

для Києва чи найпривабливіший: золотаво-зелений із прозорим повітрям. Це була Володимирська гірка – місці давнє, сакральне і магнетичне.

– Почали... і виступали досить багато. І людей приходило вдосталь. У кав'ярні, де все відбувалося, набивався повний зал.

– А той – Італієць, приходив?

– Постійно, і допомагав нам матеріально. Концерти ж не були платні, інакше нас звинуватили би у нетрудових доходах, а за це – строк. Давали нам гроші «втихУ», щоби соглядатаї не побачили, але ті все одно бачили. Вони все бачили, бо їх було – кожен п'ятий. Музика подобалася, ми вдосконалювалися із шаленою швидкістю. Це було щось середнє між блюзом, джазом і кантрі. Ну, і зовні: такі собі ковбої з музичними інструментами.

– Мабуть, популярність була шаленою?

– Звісно, і компанії, які хочеш, і дівчата, які хочеш, і напої, про які тільки чули, і наїдки.

– А потім?..

– А потім все скінчилося, і почали нас тягати на допити, на Володимирську, до того сірого будинку. Довго морочилися. Всі наші розмови – все знали, як під мікроскопом були ми.

– А що інкримінували?

– Саме головне – захоплення Заходом, а так всього потроху: і антисоветські розмови, і паплюження існуючого ладу. А мені окремо ще й шпигунство на користь іноземної держави.

– А чому саме Вам?

– Та, все через банджо. Надто вже екзотичний інструмент був.

– І чим закінчилося?

– З кожним по-різному: кого відпустили, і він каявся на загальних комсомольських зборах та обіцяв виправитися, хтось отримав 15 діб примусових громадських робіт, хтось два роки умовно...

– А Ви?

– А я – п'ять років таборів посиленого режиму та три роки висилки.

– А чому так суворо?

– Це ще не суворо. Могли й більше дати, як вони пояснювали. Мені все приліпили: і зв'язки з іноземцями (Італієць виявився правдивим італійцем, тобто громадянином Італії), і нетрудові доходи, і, як я вже казав, шпигунство. А все через банджо – ну, надто вже був нетрадиційний інструмент.

– І що, все відсиділи?

– А як інакше, все – п'ять плюс три.

– А там, на зоні, що робили?

– Всього потроху: рукавиці шив, ліс валив, котли зварював і на банджо грав.

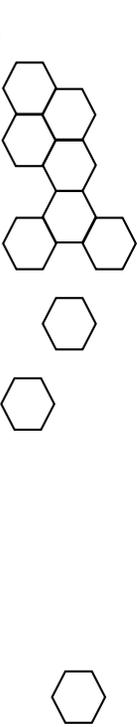
– Як на банджо, хіба його не забрали?

– Забрали, а ми на зоні нове зробили, з більш міцної шкіри. Коли я туди потрапив, то мене відразу покликали до начальника режиму, він виявився меломаном і дозволив при зоні організувати музичний ансамбль. Тож і мене до цього ансамблю призначили, і там, на зоні банджо й зробили. Тут мене банджо врятувало, бо ніде ні в кого нічого подібного не було. Тому мене ніхто й не чіпав: ні блатні, ні вертухаї...

– А нога (мій співрозмовник суттєво накульгував)?

– Нога – на лісоповалі. Вчасно не відскочив, стовбуром і зачепило. З ногою простіше на зоні жити стало. На загальні роботи перестали виганяти, тож я більше музикою займався.

– Як довго?



– До кінця строку, а потім ще на виселках диксиленд організував. Грали для всіх. Люди скрізь живуть, і їм хочеться радощів. Слухай, а наступний фестиваль буде? – запитав раптово.

– Звичайно!

– Пустиш?

– Це навіть не обговорюється, буду радий!

– Мені там, у тебе подобається. Душевно, по людські. І музиканти цікаві. Тільки на банджо ніхто не грає.

– Думаю, треба пристойний диксиленд запросити.

– Треба...

На тому наша розмова й закінчилася. На фестиваль він прийшов, і приніс мені у подарунок ковбойського капелюха. Сказав, що цей капелюх пройшов з ним зону. Через рік знову прийшов і почув на фестивалі банджо.

Останні роки не приходять...

БАНДОНЕОН

Сьогодні ледь дійшов до монастиря, а вони не пустили. Кажуть: «Іди звідси! Від тебе смердить». Звісно буде смердіти, бо сплю, де не попадаю. Як їм пояснити, що не хочу я жити так. Виходить.

«Іди, – кажуть, – однаково все проп'єш». Може, і проп'ю, а може, й ні. Сьогодні навіть їсти не дали.

Згадую дитинство. Маму і тата. Добре ми жили. Будиночок біля ставка. Город. Птиця. Завжди свіжі яйця, молоко.

...Того дня веселка небом яскравіла. Трималася довго. Раптом все затьмарилося. Чорним покрило землю. Стало, як уночі. Вітер злий, а за мить громовиця, безжальні блискавки. Одна з них в нашу хату, і все – тільки попелище, і мати згорьована, і батько посивілий в одну хвилину. Все, що назбирано роками під попелом.

Не піднялися більше, не зуміли. Сил не вистачило. Пішла мати з життя за кілька місяців. Згодом і батько. Сам я лишився.

Віддали до інтернату. Гурток там був музичний. Записався. Спитали: на чому грати хочу. Я і відповів – на бандонеоні. Посміялися. Що то за диковиння таке? А я їм пояснив, що бачив колись у книжці. Гармоніка така спеціальна. Та де ми тобі її знайдемо? Он є, Богу дякувати, баян. Хочеш – грай, вчись. Я таки навчився на баяні, але мрія про бандонеон не полишала. Якось потрапив до кінотеатру, фільм побачив. Мужик там грав на бандонеоні. Красиво грав. Може, і я так зміг би. Може...

...З інтернату втік з двома пацанами. Баян прихопили з собою. Продали на барахолці. Гроші прогуляли. А далі – хто куди. Все життя поневірявся. Ким тільки не працював.

Згодом одружився. Та не вийшло родини. Непутяща людина я. Все в історії потрапляю. Легких грошей хочу. Того разу спіймали нас. Потрапив на «хімію». Прийшов. А коханої немає. Вірніше вона є, і квартира моя є – тільки на неї записана. А ще в цій квартирі мужик якийсь живе. Ну, дав я йому від душі. Забрали. Але відпустили. Жалісливий сержант попався. Зрозумів.

Потім світом блукав. Щось будував, щось сторожував, щось крав. До монастиря прибився. До жіночого. Кочегарив у них. Сьогодні прогнали. Дивні вони – Бога не бояться.

Добрі люди дали трохи попоїсти. Хліба. Молока. Один навіть пива приніс: «На, – каже, – похмелись». Похмелився.

Але сили кудись поділися. Хотів підвестися – не можу. Пляшку кинув – не долетіла, розбилася. Дядько якийсь сварився, що пляшки розбиваю. А в мене просто сил немає. Он водій, добрий такий: «Посунься, – каже, – проїхати не можу». Встав я навколішки, а далі – ні, впав знову. Так він об'їхав, ледь машину не подряпав, а мене не зачепив.

Сиджу ось на небо дивлюсь, як у дитинстві. І так мені добре...

Музика з усіх боків. Сцена. Великий зал. Оркестр. Багато людей. Квіти. Оплески. Я вклоняюся. Сідаю. Починаю грати. На бандонеоні.

...Люди в білому схилилися наді мною...

Я граю...

На бандонеоні...

Небо все ближче...

БАРАБАНЩИК

Володимир Тарасову

I

Вітер не вщухав, вітер рвав сцену в лахміття, наче це була його остання спроба показати всім, що він чогось вартий. Вітер знав: за ним прийде тиша, мабуть, тому й скаженів з останніх сил, підтверджуючи право на існування.

Сцена розхитувалася, наче гойдалка, скрипіла і ляпала віддертим брезентом.

І коли здавалося – вже сил не лишилося, в мить, коли вітер почав втрачати свою могутність, він побачив невисоку людину, яка схилилася над барабанами, тарілками і різними чудернацькими штуківинами.

Людина ловила вітер і вміло переправляла його барабаними паличками у звуки. Людина дослухалася до кожного пориву, кожного спалаху вітрильного гніву. Їй було байдуже, що сцена ходить ходором, загрожуючи завалитися. Її цікавило: як перенести на барабани стогін вітру, як упіймати мить абсолютного піднесення природи, як відтворити триумф стихії.

І вітер зрозумів: тиша не впаде за ним, бо є ця людина, яка зуміла стати його продовженням, змусила всевладного повелителя стихій, повірити у міць його сили. Вітер побачив: хто прийде за ним і з подвійною жорстокістю накинувся на сцену.

Сцена стогнала і розліталася на друзки, брезент вже не ляпав – його просто не існувало. Все навкруги падало, трошилося.

А в самісінькому центрі цього безладу незворушно сиділа людина, ловлячи шал небесний і відтворюючи його у барабанах...

II

...Почуття було неочікуваним. З'явилося раптово і залишилося. Воно прокинулося ніжним немовлям з шовковистою шкірою, до якої боязко було доторкнутися. Почуття шепотом стелилося у палички і переходило, випромінюючи радість, до барабанів. І легкокрилий переспів тарілок, сріблястий пересміх дзвіночків над тарілками – віддзеркалювали твоїм усміхом вчорашньої ночі, сьогоднішнього ранку, віщого дня – безкінечного, як поцілунок, у нестримності своїй...

Наші подихи наливалися співзвуччям. Вони віднаходили таємні регістри, незвідані октави і ніяковіли в хаосі звуків. Вони ловили ритм і творили його одночасно.

Солоний присмак моря, солоний присмак твоїх губ, солоний присмак сліз твоїх – сліз щастя поверненого раю: місця дарованого одиницям, божевільним мрійникам, шукачам світла. Великий маг скропив наші почуття благодаттю і благословив у вічність, окреслену музикою.

Палички відбивали спокій, палички тарували світ жіночої спокуси, палички дріботіли і множилися, шаленіли і замовкали, палички виводили на плац і кликали до алькову.

Барабанні палички...

Барабанні палички...

І те, що прийшло з Неба, перетворилося на мілкий напружений дріб, на шелест дощу, на пристрасний зойк.

Твій – моя кохана...

III

- Та, ні, чуваче, такого не буває.
- Буває!
- Та, ні, щоби два відділення на самих барабанах і ніхто не пішов?
- Побачиш!
- Я тобі, звісно, вірю, але...
- Нумо, вже заходити, бо він завжди починає вчасно.
- Вчасно, так вчасно.
-
- Слухай, він мене кудись веде...
- Тихо, ти!..
- Але я втрачаю реальність...
- Я ж тобі казав.
- Та, він – геній...
- Геній!

IV

А у центрі Всесвіту серед хаосу і стихій, серед почуттів і прощення, серед безкінечності пошуку, поневірянь і страждань, серед відлуння небесного і шурхоту крил янгольських, людина з барабанними паличками ловила і збирала звуки, складаючи вічність...

ДУЕТ

I

Вона любила дуети. Сценічні – з контрабасистом, ударником, піаністом.

Та ще життєві. Життєві – найбільше...

Скільки їх розчинилося у роках – тих дуєтів: п'ять, десять, більше?.. Але справжніх, щоби на все життя? Такий, мабуть, один.

II

Вони грали натхненно. Ні, натхненно, цього замало, щоби переповісти, що насправді відбувалося. Вони були професіоналами. І те, що вони грали, і те, як вони грали, було більшим ніж музика, це – було одкровення двох дорослих чоловіків, які прожили цікаве життя і не змінилися, не схибили, не зійшли на порох у зараз вже посивілих роках.

Вони багато поїздили, побачили світу, та сьогодні все відбувалося, наче вперше. І, наче вперше, трубач підніс інструмент до губ, і, наче вперше, піаніст поклав пальці на клавіші.

Сьогодні вони були малими дітьми, які тільки-тільки відкривали світ музики – настільки все було відверто і... професійно – сивина вимагала класу.

Нас прийшло небагато – тих, що слухали, інші проходили повз, бо кабак лишається кабаком – і далеко не всім там потрібна музика: хтось забіг випити, хтось попоїсти, хтось погомоніти – тому в приміщенні стояв звичайний кабацький гармидер. Але були й ті, хто прийшов на музикантів, бо сьогодні щастило – такі дуети відбуваються нечасто.

Трубач вів свою партію, закривши очі. Він бачив гори: ті – рідні, біля яких народився і ті – далекі, якими сталося їздити від містечка до містечка. Трубач огортав повітря, яке наповнювало груди, вібривало і ставало стрімкою мелодією. Картинки змінювалися настільки швидко, що інколи не вистачало часу перетворити їх на звуки. Та на те він і майстер, щоби встигнути, щоби зуміти перекласти свої відчуття у вільну фразу, подарувати її слухачам.

Піаніст, широко відкривши очі, не бачив нікого, дивився у далечінь – туди, де народжуються пелюстки звуків, тяжіють бруньками задуму і вибухають мелодією.

Звуки піано і труби були у постійному русі, вони тягнулися одне до одного, насторожено завмирили і кидалися назустріч, перехрещуючись, змінюючи ритм, запитуючи і шукаючи відповіді. У цьому надземному діалозі творилася вища суть сприйняття. І ми відчули себе причетними до дива відтворення.

Я обернувся довкола – кабак продовжував жити своїм кабацьким життям: хтось щось їв, хтось щось пив, хтось комусь щось розповідав. Їм не було діла до дива, що творилося у них на очах, це було не про них.

«А, може, так на краще – навіщо всім диво. Кожному своє!», – подумав я.

III

Тебе я побачив здалеку, невеличкою, яскравою перлинкою на сірому тлі. Тебе не можна було не побачити, бо все зоріло навкруги. І я пішов на це осяяння. Пішов, знаючи, що обпечуся, згорю, знаючи, що це – згуба. Але... пішов.

Ти була сама. І чим ближче я підходив, тим більше все променилося. І вже нічого навколо, крім магічної гри, і я усередині, захоплений твоєю красою...

Дует. Тобі потрібний дует. У нас попереду лишалося замало років, але багато щасливих днів...

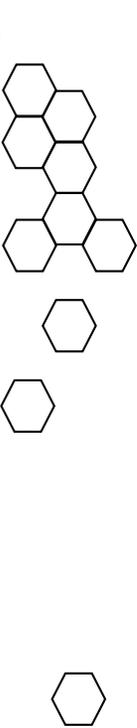
IV

...віддалені звуки труби і піано – мить, коли реальність зникає...

...сяйво, наповнене вічністю...

...вона так любить дуети...

...а, раптом?!..



КАРАВАН

Пісок шепотів, на мить застигав, і знову шепотів, спадаючи маленькими перлинками, покриваючи шар за шаром землю. Здавалося: тут ніколи не було нічого, окрім цієї жовто-гарячої, безмежної пустелі.

...Голос проривався віддаленим гортанним стогоном. Голос співав про пустелю і про караван, що плів на межі обрїю. Погоничі погойдувалися в такт ходи верблюдів. Сонце, що майже сховалося за барханами, відкидало довжелезні тіні, єднаючи їх із чудернацькими візерунками піску. Так було багато віків тому, так було сьогодні.

Тільки сьогодні... Сьогодні ти сиділа поруч, схиливши голову на моє плече, перебираючи пальцями в такт музиці, тихенько промовляючи мелодію. А згодом сама почала співати: про караван, що століттями прямує на кордоні дня і ночі, про погоничів, що з року в рік мандрують пустелею, про нас з тобою, що несподівано потрапили у чудасію казки.

Ти співала, і твоє волосся, розцвічене бурштиновим піском, шепотіло в такт мелодії...

Я закрив очі. Голос приворожував, заколисує, наче м'ятник. Голос вабив. Голос ніжив особливою чутливістю, яку дарувала ти.

Ти співала душею. Із найпотаємніших куточків твого тіла спадали цілющі краплини, зливалися в єдине ціле і гранувалися у пісню.

Як ти співала, Господи, як ти співала!..

Голос твій такт за тактом відбивався в мені, збурюючи кров, зупиняючи дихання. Караван кликав у вічність.

Ти підійшла, пригорнула мою голову. Я розчинився в тобі, в оксамитовій вишуканості цієї ночі. Я відчув твій запах, запах жінки з казкової країни, запах піску...

Я чекав поцілунку, вже відчував його смак, потягнувся всім тілом, і... відкрив очі...

... Самотня, втомлена квартира, розкидані де-не-де книжки і твоя фотографія з мікрофоном, у сріблястому платті.

Не було – ні далекого, химерного каравану, ні таємничих погоничів, а головне, не було тебе. Марево зникло, тільки платівка на програвачі добігала останнього кола. Я підійшов аби змінити платівку, і раптом відчув на собі погляд. Обернувся, ти стояла біля вікна.

– Так, це правда, там з нами?..

– Правда, – відповіла ти.

ПОТВОРА

Різдвяна історія

Перший удар я отримала у дитинстві, коли діти з двору почали дражнити мене Потворою. Маленьке дівчатко з тоненькими, як у багатьох, косичками, двома великими бантами, в гарненькому квітчастому платтячку, білих шкарпетках та симпатичних сандаликах – і, раптом, Потвора.

Мені й роки то було три-чотири, мала ще зовсім. Дома мама називала мене Янголятком, але завжди відводила у бік затуманені сльозами очі, сутужно зітхала і щось шепотіла. Той шепіт я одного разу таки розібрала і почула приблизно таке: «Господи, за що ж ти її так покарав...». Я нічого не зрозуміла і залишалася в безхмарному невіданні до того самого дня, коли вийшла до двору.

Варто сказати, що раніше сама я до двору не виходила. Гралася вдома, а якщо й виходила, то разом з батьками, доки був батько, а потім тільки з мамою.

А тут я вирішила вискочити, батька, вже рік, як не стало, а мати пішла до крамниці, прикупити смаколиків – у мене того дня був День народження. А ще я хотіла покликати на свої народини дітей, яких бачила тільки з вікна. Хотіла... та не встигла.

Я мріяла заспівати їм. Казали, що у мене надзвичайний голос, та діти стали круг мене і почали вигукувати: «Потвора! Потвора!». Я заплакала, намагалася вирватися з кола, та вони не випускали і продовжували ображати.

Потім, вдома я проплакала весь день і всю ніч, і ніщо мене не могло розважити: ні подарунки, ні мамині ніжні слова – ніщо...

Діти бувають жорстокими, дуже жорстокими... Це я зрозуміла пізніше. А ще зрозуміла, що дорослі бувають більш жорстокими, ніж діти. Та це – згодом. А тоді, я – маленька дівчинка, відкрита і чиста, стала уникати і дітей, і дорослих. Моїми друзями були птахи, які юрмилися на нашому підвіконні. Від самісінького ранку і до вечора перед вікном стояло постійне вовтузіння, якийсь пташиний гармидер.

Мама спочатку на мене сварилася, але з часом заспокоїлася, бачачи в цьому пташиному царстві мою розраду. З птахами я розмовляла, птахам я співала. І коли починала співати, то гармидер вмить зникав. Мої пернаті слухачі сиділи чинно рядочком. І якось поруч уживалися горобці, ворони, голуби, граки та ластівки. А взимку з'являлися синиці та снігурі. І тільки солов'їв серед своїх слухачів я ніколи не бачила.

До дітей після отих прикростей я більше не виходила. Коли ми з мамою проходили повз них, вони стояли осторонь і мовчали, хоча інколи чулося у спину повзуче шипіння: «Потвора».

Чому Потвора, я зрозуміла, трохи підріши. Було мені тоді років шість. Яюсь підійшовши до дзеркала, я раптом побачила два цілковито різних зображення: права сторона – ніжний, витончено-небесний янгол, ліва – страшне, позаземне створіння. І це було моє обличчя, немов розрізане навпіл невідомою, граничною струною.

Біля дзеркала я стояла довго, повертаючи голову то ліворуч, то праворуч, порівнюючи і не знаходячи нічого спільного між двома половинками обличчя. Різко обернувшись, я побачила маму із заплаканими очима.

– Мамо, то я – Потвора?

– Ні, доню, ти – Янголятко, – прошепотіла мама і заплакала ще сильніше.

– Ні, я – Потвора, і це ти мене такою народила.

Діти бувають надзвичайно жорстокими.

– Ні, доню, ти – Янголятко, – вже твердіше відповіла мати.

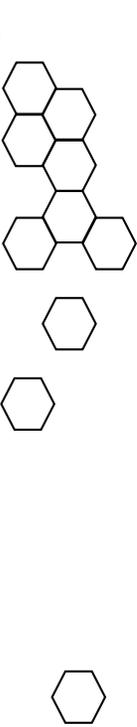
– Ні, я – Потвора, Потвора, Потвора!.. – кричала я, – ось, подивись і я почала роздирати свою спотворену частину обличчя.

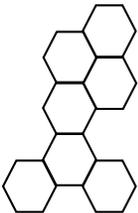
Я впала на підлогу, б'ючись в істериці, шматуючи себе, розриваючи на собі одяг, скуйовджуючи волосся...

Отямилася на руках у мами, яка шепотіла мені ніжні слова про Янголів, і про мій чудовий голос, і про те, що я співаю надзвичайно, і що я зустріню, врешті-решт, тих, що любитимуть і цінуватимуть мене.

Від того дня, прийшла абсолютна впевненість у собі, в своєму голосі, в своєму майбутньому. За декілька днів, будучи шестирічною дівчинкою, я стала старшою і мудрішою.

Настав час, і я пішла до школи, згодом до інституту, закінчила консерваторію. Мене часто, особливо в школі, називали Потворою. Але я не зважала на це, навчилася не





звертати уваги, відсторонюватися і холодити поглядом. Настільки холодити, що люди, які дозволяли собі хамство, лякалися, відступали і більше ніколи не зачіпали мене. А ще навчилася ховати під волоссям потворну частину мого обличчя.

Коли я починала співати, люди забували про моє обличчя. Я вигравала конкурси і підкоряла міста та країни. Завжди було багато квітів, і безліч птахів зліталося до залів, де проходили концерти. Птахи літали навкруги і сиділи на сусідніх деревах. Птахи були різними, у кожній країні свої, та вони, наче супроводжували мене.



...Це сталося на Різдво, у Клайпеді, біля Балтійського моря. Після концерту до мене підійшов високий, худорлявий, шикарний чоловік і запросив на вечерю. Як правило, я уникала подібних запрошень, але цього разу не відмовила. Ми довго розмовляли, сміялися, щось їли і щось пили, і раптом він мені освідчився. Запропонував стати його дружиною. Я аж поперхнулася – і спробувала перевести все у жарт, але він був серйозним.

Тоді я почала розповідати, про те, що ми фактично не знайомі, що ми з різних країн, а він запропонував піти гуляти вулицями нічної Клайпеди. Тоді я відкинула з лівої половини обличчя волосся і вигукнула:

– Та, я – Потвора, розумієш – Потвора!

А він поцілував мене.



Ми бродили Різдвяною Клайпедою всю ніч. Нам було тепло, навіть гаряче цього зимової години. Ми говорили, говорили і не могли наговоритися. Єдине, що його дивувало – безліч пташок, різних, різних, яких він ніколи не бачив. Вони супроводжували нас.

– Звідки вони взялися, вони зараз повинні спати.

Я тільки посміхалася у відповідь.

– А заспівай для мене, – раптом попросив він.

І я заспівала, і зорі на небі вигнулися якимось особливим Різдвяним шляхом, і ми побачили дивовижний кортеж, який нісся небом, а за ним зі співом пташки з усіх континентів.

Він обернувся до мене:

– Ти, знаєш, це таке диво, що ми зустрілися.

– Так, це, дійсно, диво, – відповіла я.

Ранком, піднявшись з ліжка, я за звичкою підійшла до дзеркала. Взяла гребінь, щоби зачесати волосся на лівий бік, і закричала від несподіванки. І ліва, і права половинки мого обличчя були однаковими.

Потвора зникла.

...Ми сидимо і дивимося, моя мама бавиться з онуками. На підвіконні гармидер від птахів.

Він і зараз називає мене Потворою. Наші знайомі дивуються, а ті, що знають нашу історію – тільки посміхаються.

13-Й РЯД – 13-Е МІСЦЕ

ІНТРОДУКЦІЯ

Ряд був 13-м, і місце – 13-м.

Та бажання піти на концерт від того не зникло. Ну, то й що: музика є музикою, вона владна, якщо – справжня, і над тринадцятим, і над будь-яким іншим місцем у залі. На пересторогу я не зважив.

Музика захопила з першого такту. Це була «Маленька джазова Меса» англійця Боба Чілкота, що вже само по собі є великою дивиною на наших теренах, бо якщо Меса – то все повинно бути чинно, канонічно, а тут ще й джазова.

Все почалося несподівано. Потроху, за переказом біблійних подій, музика віддалялася, поступаючись місцем загадковим образам. Останнє, що промайнуло: цей 13-й ряд з 13-м місцем – не випадкові.

ЗРАДНИК

...Ми спускалися крутим схилом гори Елеонської. Тринадцятєро – разом з Учителем. Єрусалим, обнесений з усіх боків міцними мурами, замкнений, непідвладними, загарбникам ворітьми, лежав, як на долоні. Плaskі дахи перекривали заможні будинки, що ярусами спадали до звивистих вулиць та провулків. А ті в свою чергу переходили в житлові квартали.

Я був поряд з Учителем, дихав кожним Його словом, мав щастя, що є одним з обраних, тим, хто змінює життя. Так було вчора, позавчора, так було три дні тому. Так було до сьогодні...

Єрусалим виріс на семи пагорбах. Один з них вінчав Царський палац – резиденція римського губернатора. Та не він був центром. Іудейський Храм – найбільший діамант корони Єрусалиму. Коли я його побачив вперше – заляк: подих перехопило, зупинився, відкривши рота, не сміючи поворухнутися. День стояв сонячний, і Храм виблискував золотом та коштовностями. Тисячі іудеїв приходили до головної святині, як мінімум тричі на рік: на свято Кущей, у Шавуот та на Пасху.

До Пасхи лишалося шість днів, і з кожною годиною паломників більшало, бо тільки в Єрусалимі відчувалась уся велич свята, тільки тут приймалася традиційна, щорічна пожертва, тільки у Вічному місті можна було спокутувати всі гріхи. Тож йшли, йшли паломники, і кількості їх – не злічити...

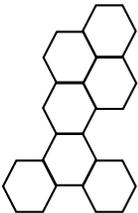
Коли Ісус покликав мене, я вірив, що завжди буду поруч. Нехай не першим, бо перших завжди багато, але й не останнім. Та з кожним днем мене все віддаляли. Спочатку почав помічати недобрі погляди, потім – перешіптування за спиною. При моїй появі всі замовкали.

От і сьогодні, ми, як зазвичай, ранком вийшли з Віфанії, проминули купель Сілоамську. Було гамірно – паломники приймали омовіння. Спустилися східцями, складеними з великих кам'яних плит. Вулиця вела до південної стіни Храмової гори й була настільки широка, що ми могли розміститися по шестєро. Він – попереду, і ми за ним: всі дванадцятєро: дві шеренги – військо Ісусове. Коли проминули купель, я спробував заговорити до Нього, мав розповісти Учителю, що сталося вчора ввечері, та Він відмахнувся від мене, мов від надокучливої комахи.

А вчора... Вчора мені явився янгол. А може і не янгол – Сатанаїлом назвався. Казав, що був улюбленцем самого Творця. А потім незчувся, як з Неба й злетів. Тринадцятим він там був серед янголів. Казав: я – тринадцятий, і ти тут серед них теж – тринадцятий. Тому до тебе і прийшов. Віддай Ісуса – гроші отримаєш, землю купиш, господарем станеш. Не будеш ти своїм серед них. Вони – Галілеяни, а ти – Іскаріот. Не приймуть вони тебе.

А за годину, ще раз постукали: від Первосвященника гроші принесли. Срібні такі... Багато... Казали: зможу землю купити тут, в місті жити, в самій святая святых – Єрусалимі.

Хотів розповісти про це Ісусу, та слушної нагоди не виникало. Тож, думаю, коли будемо йти до Храму. А Він відмахнувся. Все їх слухає, мене – ні. А вони Йому всіляку нісенітницю



торочать, відштовхують одне одного, лізуть наввипередки, все бажають бути ближче до Учителя. Я навіть зупинився, а вони побігли далі, розмахуючи руками. І ніхто не обернувся, не покликав, ніхто, навіть Він...

Тоді й вирішив залишити гроші. Тоді? А може раніше, коли взяв їх до рук?.. Тоді, не тоді, яке це має зараз значення. Видам їм Ісуса.



Він на вечір Трапезу призначив. Відіслав двох з нас, навіть не знаю кого – знайти чоловіка з глеком води свіжої, щоби місце вказав для вечері, а далі, не почув: не вірять мені. Бачив тільки тіні шурхонули, побігли шукати того водноноса.

Ну, що я можу передати Первосвященнику: маячню про чоловіка з глеком. А якщо, так і не зумію віддати Ісуса, то гроші треба буде повернути? І пропало тоді: господар, земля, Єрусалим, а ще жінка, яка любить Його і все ходить за нами, красива така. Купити її хочу... Собі.



Цікаво, чи знає Він, що я надумав. Мабуть знає, бо – Син Божий. Це мені й Сатанаїл казав, янгол отой. І сам Учитель якось дивно від учора поглядає на мене. Начебто і не дивиться, аж, раптом: погляд – пронизливий, і знову – начебто, ні про що. Але оце сьогодні занервував. Побачив торгашів у Храмі, і ну їх гонити, вхопив якийсь мотуззя і по головах. Ледь заспокоїли, охорона Храмова прибігла. Я їм показую на мигах, що це Той, Кого вам треба забрати. А вони стоять очима кліпають, не розуміючи – тупаки. Тоді би все у Храмі й вирішили, а тепер коли?

На Вечері все було, як на вечері, тільки частування якесь дрібненьке. Кожен, як це і заведено, їв зі свого посуду. А у великому блюді, що в центрі стояло, хліб обмокували. А потім Учитель почав всіх частувати, щоби той хліб брали тільки з Його рук. Частував і розповідав, що сьогодні ми не станемо повертатися до Віфанії, а заночуємо тут недалеко, за містом, в саду, що надавав один з прибічників Його і де ми зустрічалися, щоби обміркувати плани наші.

Давав шматочок хліба і щось приговорював. І мені дав. Та перед тим сказав усім, що один з нас зрадить Його. І коли всі в один голос заметушилися: «Хто це?», то Він спокійно: «Той, кому я зараз хліба подам», і передав мені шматок. Я взяв хліб і спробував проковтнути, але він не проходив – так і став грудкою в горлі. Тож, я закашлявся, вибіг і більше не повернувся.

А пізно ввечері привів я солдатів до саду, що Гетсиманським звався. Привів, і, щоби бодай не переплутали і не схопили іншого, підійшов і поцілував Учителя, як те водиться серед учнів, у щоку. І Він відповів мені на поцілунок.

Глянув я: стоїть Він спокійний, чекає – поки зв'яжуть. А учні Його? Вони розбіглися – хто куди. Лишився тільки я – єдиний, той, хто Його зрадив, той, хто відправляв Його зараз на загибель, з клубком у горлі замість хліба, зі сльозами на очах, з обпеченими срібниками руками, з одвічною, без прощення у віках, провинною. Лишився тільки я, тринадцятий – Іуда Іскаріот...

ІНТЕРМЕЦО

...Я здригнувся від сильного стискання плеча. Сусід, що сидів поруч на дванадцятому місті дивився перелякано.

– З Вами все гаразд, – запитав він, – бо Ви спочатку почали дуже голосно і часто дихати, потім зблідли, вкрилися потом, а зараз – почервоніли.

– Та, ні, дякую, все нормально, просто щось таке приверзлося, – відповів я та обернувся, відчувши на собі чийсь погляд. Із сусіднього ряду на мене пильно дивився

середніх літ чоловік, в розірваному руб'ї. – Хороша Меса, – звернувся я до сусіда, ніяковіючи.

- Шикарна, – відповів він, – зараз почнеться друга частина, – а як Ви?
- Добре, – видохнув я, поступово опановуючи себе, – дякую, мені краще.

СУЗІР'Я

...Ніщо не було настільки таємним і настільки явним, як мої почуття, що прийшли одного осіннього вечора і залишилися в житті, так і не знайшовши більш корисного призначення, ніж розчинитися серед хаосу інших почуттів – зниклих безвісти, почутих і не почутих, серед пристрасті, ніжності і безвір'я.

Одного дня, віддавши тобі серце, втративши розум і полишивши собі чоловічу гідність, я підписав довічний присуд – спокутувати все, що не піддається спокуті, блазнювати, вірити і чекати миті, коли, зрештою, на мене зійде острівець щастя, коли до ніг впаде зірка, розіллється хресної дорогою неосяжне, невгамовне кохання.

Десь віддалено народжувалася музика. Хор довершував здавалося б ідеальну картину дня. Хотілося водночас плакати і сміятися, як тоді, пам'ятаєш, у затишному, невеличкому Храмі, на острові, посеред Середземного моря. Під неспішний речитатив клірошан, під спів цикад.

Я тоді ще казав тобі, що серед цикад співають тільки самці. А ти розсміялася і запитала: «А що ж тоді роблять самки?» І я відповів, що самки несуть кохання.

Смеркало. Ми відійшли від Храму і розчинилися в Небі – безмежному, зоряному. «Обери собі Сузір'я», – прошепотів я. А ти відповіла, що у тебе й так воно є, дароване народженням. Ми милувалися Небом, і, раптом, я побачив, ти пам'ятаєш, я тоді побачив невідомі нікому зірки. Вони були писані з тебе: постава, груди, гордо піднята голова!..

«Ти бачиш?! – вигукнув я, – це – нове Сузір'я, це – тринадцятий Знак Зодіаку. Я наречу його твоїм ім'ям».

Ми раділи, мов малі діти. Сміялися, цілувалися, творили дивні танці. Ми були щасливими...

Тоді я думав, що це і є кохання, що воно таки прийшло, що скресла крига, яка поглинула тебе, і почуття, зігріте одним із сердець, розіллється кожному.

Я помилявся...

Проходили роки, змінювалися країни. Небо продовжувало дарувати глибинність. Відкрите Сузір'я, що я назвав твоїм ім'ям, то зникало, то знову з'являлося. Була певна закономірність: все залежало від тебе, від справжності твоїх почуттів.

За кілька місяців до нашої останньої розмови, Сузір'я зникло і більше ніколи вже не з'являлося...

ІНТЕРМЕЦО

Цього разу я повернувся до реальності самостійно, та побачив на собі перелякани погляди сусідів.

- Що, я знову щось не те?.. – запитав несміливо.
- З Вами, на мій погляд, щось діється, – відповів сусід, – під час музики. Може, Вам краще вийти на повітря?

– Можливо, поки перерва, – відповів я, піднімаючись. Цієї миті, проходом між рядами пройшла елегантна, красива жінка – схожа на тебе, схожа на Сузір'я, на тринадцятий Знак Зодіаку. Вона йшла, і за нею по підлозі стелився сірий попіл...

КОМПОЗИТОР

– Арнольде, не роби дурниць, ну, що це ти улігся, вирішивши, що сьогодні смерть твоя прийде, – дружина композитора, була просто сама не своя.

– Гертрудо, дівчинко моя, ти же знаєш, що від долі не втечеш, я все давно вирахував, – Шенберг почав відгинати пальці правої руки, – по-перше, ти пам'ятаєш, що я народився 13-го числа, по-друге, мені 76 років, а 7 і 6 в сумі дають 13 і, зрештою, сьогодні – 13-те число та ще й п'ятниця.

– Знаєш, не ти один народився 13-го числа, і не одному тобі 76 років, і це не перша в нашому житті п'ятниця 13-го, – жінка не могла змиритися з примхами чоловіка.

– Золотко, Гертрудо, не вередуй, піди краще подивися, що там роблять наші сини, бо щось надто тихо, а я тут трохи полежу, – композитор провів сумним поглядом свою дружину, яка попрямувала до сусідньої кімнати.

«А я тут ще трохи полежу», – повторив він.

Наївна Гертруда, долю не переграєш. Все начертане і вирішено заздалегідь.

У голові, мов у стрімкому водевілі, почали виринати події життя. Не всі, звичайно – лише ті, що вкарбувалися назавжди.

Композитор згадав, як вирішив різко покінчити з конторськими справами і повністю віддатися музиці. Він, тоді ще молодий чоловік, без спеціальної освіти, повністю перейшов до творіння звуків. Згадав, як брав уроки у свого далекого родича, а згодом вже сам керував окремим хором.

Як закохався, і всю силу свого почуття ніс тільки музиці і їй, його жаданій Матильді. А вона його зрадила і полишила з двома малими дітьми. Зрадила з його учнем, художником Рихардом Герштлем. А потім повернулася немовби нічого й не трапилося. І він прийняв її, бо не міг не прийняти, тому що кохав. І як плакав над труною Матильди, коли та раптово відійшла. А коханець її, той художник, теж помер – покінчив із собою, повісився голим перед дзеркалом, попередньо спаливши всі картини. Залишилася тільки одна: портрет композитора Арнольда Шенберга.

Учні. Їх було багато. Дехто з них став великим і знаним. Наприклад, Берг чи Веберн, чи той же Кейдж. Він – самоук, створив цілу музичну школу і відкрив людству новий напрямок в музиці, який назвали додекафонією (дванадцятизвуччям).

А коли в Німеччині до влади прийшли наці та викинули його з країни, він поїхав за океан, де зустрів Гертруду – молоду, вродливу. І вона подарувала йому двох синів.

Тепер він, композитор Арнольд Шенберг, лежить у цьому м'якому ліжку і його дружина – Гертруда не розуміє, що це кінець, прийшов його час, а збіг чисел просто підказка. Сьогодні – п'ятниця 13-го липня, йому, Арнольду Шенбергу – 76 років, що в сумі складає число 13.

День добігає кінця, стрілка годинника проходить останнє коло. Вона зупиниться за 13 хвилин до 12-ї.

...Віддалений хор з його найкращого твору, «Вцілілого з Варшави», яка гармонія...

– Послухай, Арнольде, – Гертруда швидко зайшла до кімнати, – Арнольде, ні!..

– Гармонія, – останнім словом видихнув композитор.

Годинник показував – 23.47...



ІНТРОДУКЦІЯ

Оплески повернули до дійсності. Я піднявся, аплодуючи разом з усіма. Хор вклонився. На сцену вийшов диригент, вдячно піднявши обидві руки до зали. Щось магічне було в цій немолодій, з великим без волосся лобом та глибокими, трохи вирячкуватими очима, людині. Він вклонився.

«Господи, – подумав я, – як же він схожий на нього, на Арнольда Шенберга!»

КОДА

Декілька місяців по тому, я знову прийшов до театру. Підійшовши до каси, попросив: «Дайте мені, будь ласка, 13-й ряд 13-е місце».

«На жаль, це місце вже продане», – відповіла касирка.

ТРУБАЧ

Ось і все. Порожнеча. Бажань немає. Безглуздо: і те, що робимо, і те, що не робимо, і довічна гонитва за щастям. Гіркота і самотність. Самотність в усьому, до чого торкаєшся. Самотність, яка перемогла...

І крок мій, то не відчай, і не раптовий спалах роз'ятреної свідомості. Все продумано і прораховано. Жереб кинутий, як колись, в Єлабузі зробила його велика поетеса.

Скажете: плагіат, не змогла востаннє – щось оригінальне, своє – особисте. Та ні, ми завжди когось повторюємо, все було до нас: з кимось, якимось... вже було. І драма моя – не драма, а просто фарс, що розігрується в різні часи з різними людьми.

А стільчик оцей, щоби вище бути, хиткий такий, майже розвалюється. Полагодити б треба, бо ще впаде хтось... Господи, про що це я: стільчик вона збиралася лагодити в останній момент. Зовсім збожеволіла, сама до петлі, а про стільчик думає.

А про що ще думати? Про нього, якого кохаю до безтями, про трубача свого? Мама покійна казала: «Що ти, доню, знайшла в ньому, в тому трубачі?»

А я кохаю його. Він, мабуть – ні, а я – кохаю. Як грає він – великий, неперевершений. Мій музикант...

А мама все, що бідний, і не професія – це. І взагалі: якщо не зіп'ється, то на наркоти сяде, а якщо не сяде, то обов'язково, якусь веселу хворобу підхопить, бо у нього скільки міст гастрольних – стільки й коханок.

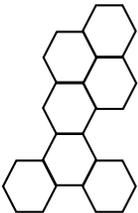
Ох, мамо-матусю, все берегла мене, все соломку стелила, щоби я – її доня єдина, не схибила, не втрапила у халепу, сінців не набила, щоби неушкоджена прийшла до цього стільчика і до цієї мотузки біля люстри.

Мама відійшла на початку року, а він, мій трубач, нещодавно полишив. Сказав: хоче побути на самоті, бо не може зосередитися на творчості. Пішов, обіцяв повернутися. Коли, не сказав.

Чекала його день, і наступного дня, і вже – тиждень, а він не повертається, і не озивається зовсім. Мелодія тільки, моя улюблена мелодія: ранком піднімає та уколисує до сну. «April in Paris».

Були ми з ним в Парижі, виступав він там, концертував. Я з ним багато їздила по Європі, і не тільки по Європі. Він мав успіх, він не міг його не мати. І серед жінок – теж. Але ніколи не давав жодного приводу. Але...





Це – «але» шкреблося завжди, десь там на виселках душі, шкреблося і заповзало гадюкою, а далі розливалося отрутою і не давало розуму отямитися. І приходила хвиля гарячої, чорної крові, все тьмарилося перед очима. Тоді я в істеричі кидала йому дикі звинувачення, кричала криком, ридала і не могла зупинитися в своєму божевіллі, а він мовчав, схиливши голову, мовчав якийсь час, а потім, не говорячи ні слова, брав трубу і грав тільки для мене: «April in Paris».



В Парижі йому дали постійну роботу, і він полишив часто гастролювати. Ми осіли і почали облаштовуватися. Вже й квартиру мали свою неподалік Монмартру, і гроші отримували, мій трубач, пристойні. Але щось йшлося не так: частішали мої психи, він все більше віддалявся. Йому хотілося усамітнитися. Одного разу, після концерту, він, завжди мовчазний, почав без упину говорити.

Він казав, що не може без Батьківщини, що всі ці західні пряники вже стоять йому вперек горла, що він шукає тільки приводу, щоби тут все покинути і повернутися у наше рідне болото. Так, він добре розуміє, що там знову нічого не буде, крім якихось «халтур» і випадкових гастролей, що там, вдома його талант нікому не потрібний, що, зрештою, він може опинитися в канаві, але та канава йому рідніша за всі ці імпорتنі цяцьки.



І ми повернулися. Повернулися в нікуди, в країну вічної боротьби недорозвинутого соціалізму і дикого капіталізму. Ми повернулися, і мама моя, царстві їй Небесне, з усією ненавистю накинулася на нього, називаючи нездарою і божевільним. А він був генієм, людиною, яка бачила цей світ інакше, ніж ми. Він знову мовчав, а потім грав, тільки для мене грав «April in Paris».

Згодом він пішов, і я розгубилася. Побачила, яка я маленька і нікчемна. І всі мої амбіції – ніщо порівняно з ним, з його музикою. Тож я і почала думати спочатку несміливо, а з кожним днем все настирливіше про те, що зробила з собою велика поетеса в Єлабузі. Я і про неї дізналася від нього, а звідки ще: він був освіченим, розумним, надзвичайним, мій трубач.

Сьогодні – ця мотузка і цей стільчик, такий хиткий (щоби на нього потім ніхто не сів, бо заб'ється або ще що-небудь зламає). І його мелодія, моя улюблена мелодія, що звучить всередині постійно, що грає зараз за вікном.

За вікном...

Це – його труба, це – він. Мій трубач – тільки для мене грає сьогодні «April in Paris». Сьогодні і завжди!..

«TAKE FIVE»

Валентині М.

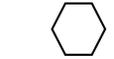
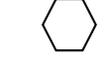
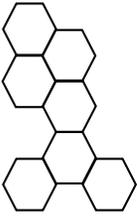
Колеса потяга такт за тактом відбивали: 5/4, 5/4. «Take Five» – Дейва Брубєка.

Власне, саму мелодію написав Пол Десмонд, але для мене все одно вона була Брубєкова: 5/4, 5/4...

...Повітря не вистачало: хотілося дихати тобою...

Чи може в купе було задушно? Можливо, але колеса грали Брубєка, і чергувалися, тримаючи мелодію, одне за одним: піано, контрабас, ударні та саксофон.

І кожне соло торкалося душі, розгойдуючи відчуття легкості та безтурботності. Як тоді, коли ми обоє були юними. Як у мелодії, що сьогодні відбивалася заїждженим потягом, здатним подарувати минуле.



Ми зустрілися знову лише за сорок років. Два покоління прийшло на землю. Не знаю... Знаю тільки, що згадував тебе, своє юнацьке захоплення, часто, та не шукав, не намагався зустрітися. Просто згадував, завжди з приємністю і завжди з усмішкою, бо така ти, що не можна було згадувати без доброї усмішки.

Ми тоді були молодими, і залишилися такими до сьогодні, як і мелодія, що жила з нами. Вона теж лишилася молодою. Назавжди.

Я ніколи не говорив тобі слів кохання, я і зараз їх не промовляв, тільки дивився у твої очі, прикрашені соковитою зеленню, дивився і розумів, що всі попередні роки були пошуком одне одного. І ми знайшлися, щоби розчинитися, зануритися з головою в наші почуття.

Я дивився на тебе: зморшки на обличчі розходилися, та їх і не було ніколи – вони від страждань, а ми з тобою не страждали, ми відкривали нову країну.

Потяг вистукував: 5/4, 5/4. «Take Five» повністю заволодів нами. І не мало значення скільки годин потяг буде йти – чим довше, тим краще. Не мало значення, які станції за вікном – вони всі для нас. Мало значення, що ми вдвох: ти і я.

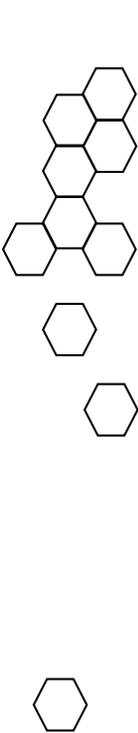
І перестук коліс, і миготіння дерев за вікном, і вранішнє сонце, що вигравало особливою яскравістю, і те, що я дихав тобою, і дарована зелена вічність твоїх очей, і «Take Five» Дейва Брубека – все було тільки для нас...

Вона стелилася перед нами – нова країна, миготіла розмаїттям вогнів, частувала загадковістю майбутнього. Була зима, а може і не зима, звісно, не зима. Швидше за все – весна з божевільям розквіту і пружністю бруньок, а, може – літо зі зрілою стиглістю бажань, чи осінь із вишуканою зеленню самшитових очей твоїх. Яка б пора року не була на дворі – вона залишалася тільки для тебе і для мене.

Потяг прямував у вічність, потяг прямував у кохання...

5/4, 5/4... «Take Five» ...





Светлана КЕКОВА

ВЕСТНИКИ ВЕЧНОСТИ

* * *

Мы знаем, что распалась связь времён:
Разрушен город, Иоанн пленён,
Тебе, отец мой, дом подземный вырыт.
Резвится в небе стая Гончих Псов.
В пустынях рек, на берегу лесов
На пляшущую деву смотрит Ирод.

Всё то, что Бог напишет на роду,
Как роза детства в брошенном саду,
Благоухает вечностью и раем.
Он нас призвал, благословил и спас,
Но мысль одна томит и мучит нас –
Что смерти мы себе не выбираем.

Дни вечности, простой песок морей,
Грехи рабов и подвиги царей
Никто не сможет взвесить и исчислить.
Но в жизни, возведённой на крови,
Истоки и последствия любви
Научат сердце не страдать, а мыслить.

БАЛЛАДА ОБ УХОДЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

Только чайник, натертый до тусклого блеска
едкой содой, а также стены арабеска,
или, может, окно, а на нем занавеска,
или шкаф для посуды со всем содержимым
придают бытию неизменность и прочность.
Прорисовано время, как почерк с нажимом,
на различных предметах. Но их краткосрочность
не чета краткосрочности жизни людской,
незаметно текущей в черте городской.

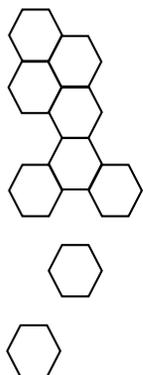
Вот вам хлеба ломоть и пустая солонка,
звук горящего газа, собака болонка,
шкаф посудный с торчащим из дверцы ключом,
снега белое дерево в окнах.
Однако мы пейзаж с натюрмортом скрестили.
Собака здесь, пожалуй, совсем ни при чем.

Так начнем же сначала. От мысли исходной
ничего не осталось. И ордер расходный
мы спеша заполняем в тоске безысходной —
нам кассир выдает шелестящее время
и поводит крылами в окошечке кассы.
Дома ждет нас вещей разномастное племя —
вот посуда из глины, стекла и пластмассы,
пара стульев потертых и снег за окном,
незаметно растущий в пространстве ином.

И опять окружает знакомая местность
человека, на жизнь получившего ссуду,
он уже ощущает тоски неуместность,
напекает, в порядок приводит окрестность —
взглядом трогает вещи, стоящие всюду,
с окон пыль вытирает и моет посуду,
снова чувствует пищи солёность и пресность,
пряность времени, жизни своей остроту,
шаткость шкафа посудного, стен пестроту.

А еще замечает, внезапно прозрев,
снег, растущий за окнами в форме деревьев,
жизни прошлой окружность и времени хорду,
видит он, над горелкой ладони согрев,
постаревшей собаки кудрявую морду,
ключ от шкафа посудного в правой руке,
две разбитых тарелки, дыру в потолке,
из которой торчит электрический провод...

Я использую это прозрение как повод
для того, чтоб вернуться на круги своя:
есть, как видно, такие подробности быта,
за которыми время текущее скрыто
и впритык сведены разных истин края.
Вот за этой плитой и за этой горелкой,
за солонкой пустой, за посудой мелкой,
за стеной, за ее потемневшей побелкой —
всюду жизни исчезнувшей след.
И видна за окном, за небесным порогом
часть пространства, которая занята Богом,
а тебе, человеку, да будет итогом
только время, которого нет.



ДВА РАЗГОВОРА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ**1**

Это неба полотенце. Это речка. Это лес.
Это тихий плач младенца. Это ангел. Это бес.
Это вышиты на ткани солнце, звезды и луна.
Это жизнь моя на грани то ли смерти, то ли сна.
Волк, как ветер, завывает. Как луна, вода блестит.
Бог лицо от нас скрывает. Мать дитя свое растит.
Это травы зреют в поле, это зверь живет в неволе,
привыкая к новой роли, в небе бабочка гостит.
Ах, давно ль она дрожала, потому что червячком
на сырой земле лежала то ли навзничь, то ль ничком?
И имела вид наивный, и смеялась надо мной,
а теперь, как ангел дивный, держит крылья за спиной.

2

Это чистая тарелка. Это ложка. Это ложь.
Это страшно. Это мелко. (Слов во тьме не разберешь.)
Тьма закрыла свет, как штора. Ночь на улице шуршит.
Тонкой ниткой разговора воздух в комнате прошит.
Я ребенка пеленаю, тихо плачу и молчу.
Помнишь? Помню. Знаешь? Знаю. И заплатишь? Заплачу.
Чем заплатишь? Звездной пылью, молоко из чашки вылью.
За спиною пряча крылья, ангел дует на свечу.
Как спокойно и бесстрастно Бог пускает время в рост!
Безвоздушное пространство служит пищею для звезд.
Ночь — кормилица и нянька — с головой укрыла твердь.
Человек, как Ванька-встанька, погружен то в жизнь, то в смерть.
Я лицо росой умою, чтоб глаза мои закрыл
ангел с траурной каймою по краям лазурных крыл.

* * *

Жизнь растёт из умершего семени,
как из озера — тело реки.
Мы скользим по поверхности времени,
как по глади озёрной жуки.
И с какою-то детской беспечностью
смотрим вверх — и срываемся вниз.
Разве можно, беседуя с вечностью,
получить поощрительный приз?

Как бы мы свою жизнь ни коверкали,
пожиная познания плоды,
мы всегда отражаемся в зеркале
ослепительной, чудной воды.
Там колышутся ивы китайские
и дрожит силуэт рыбака,
перед ним расстилаются райские,
победившие смерть облака.
Видишь — в этой живой бесконечности
все начала сошлись и концы.
И снуют, словно вестники вечности
водомерки, жуки-плавунцы.

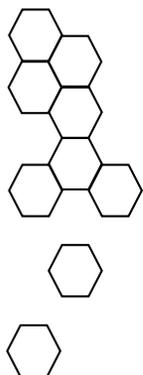
* * *

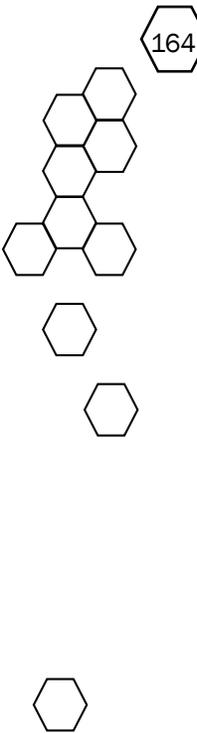
Ах, не поехать ли мне на рассвете
в самый умышленный город на свете,
как Достоевский когда-то сказал?
Никнут седые усы паровоза,
длится пространства презренная проза,
поезд придёт на Московский вокзал.

В пятнах сырых театрального грима
жизнь, как обычно, проносится мимо,
тени неслышно бегут за окном:
дом, палисадник, берёза, осина,
Мышкин, Раскольников, старец Зосима,
ящик, обитый зелёным сукном.

Жизнь, как алмаз, ненавидит огранку.
Ах, не поехать ли мне спозаранку
в город, где не был никто никогда?
между Москвою и Нижним Тагилом
От колыбелей к просторным могилам
тонкая льётся вода.

Там полководцы, цари и герои,
солнце этрусков и золото Трои,
и фараоны в сухих пеленах.
Чтобы укрыться от времени злого,
медленно зыблются в зеркале слова
всадник, патриций, разбойник, монах.





Всё ли сохранно в веках и нетленно –
Анна, Юдифь, Антигона, Елена,
Руфь, Беатриче, Эсфирь?
Гоголь, Жуковского ждущий к обеду,
видит, как лошади мчат, а по следу
вьется клубами словесная пыль...

* * *

Лёжа в своей кровати, «аксиос» говорю
календарю, заплате, бледному фонарю,
бедной сухарной крошке, бабочке и осе,
кружке, губной гармошке, мухе, поскольку все
эти предметы жизни, мелкие существа
славят в своей отчизне тайный закон родства.
вот и щадят их войны, пагубы, забытьё,
ибо они достойны в Царство войти Твоё.

Лёжа в своей постели, «аксиос» я шепчу
мху, соловьиной трели, солнечному лучу,
старому снимку Бреста, трещине на стене,
муке, знакомой с детства, с детства знакомой мне,
лучшей на свете строчке – пропуску в мир иной,
сну в кружевной сорочке с крыльями за спиной,
радуге многослойной, ангелу на пути –
ибо они достойны в Царство Твоё войти.

Я не о тех, кто подвиг свой преломил. как хлеб.
Где они – Рюрик, Хлодвиг, братья Борис и Глеб?
Тянутся, словно птицы, в радужные края
братья мои, сестрицы, дочери, сыновья,
пляшут скворцы в скворешнях, плачут отец и мать...

Разве достоин грешник «аксиос» им сказать?

Лёжа на нижней полке в поезде «Астана»,
я вспоминаю Волги влажные письма.
На золотых, песчаных отмелях у воды –
знаки событий тайных, будущего следы.
Вижу я незнакомца с удочкою в руке,
маленького японца с рюмочкою сакэ,
Вижу я, как стрекозы воздуха ткут парчу, –
и не таясь, сквозь слёзы «аксиос» – я шепчу.

ПРОШЕДШИЕ ВРЕМЕНА**1.**

Ни о чём не спросит и, видимо, не простит...

Имперфект скрежещет, аорист – благовестит,
а поэт из них второпях сколотил строфу,
где таится жизнь, словно детский скелет в шкафу.

Что же это было? Страдание? Страсть? Аффект?
Утекло, ушло, превратилось в плюсквамперфект,
в золотую пыль, в неземную – навеки – синь.
в ледяной санскрит и в литую, как сталь, латынь.

Замолчишь, заплачешь, откроешь на миг окно –
там уже струится влажное волокно,
а в твоей постели, презрев наготу и стыд,
не добившись цели,
прошедшее время спит.

2.

Как славно жить в доме, укрытом снегопадом,
смотреть в окно на снег нездешней белизны...
Сокровище моё лежит со мною рядом,
сокровище моё цветные видит сны.

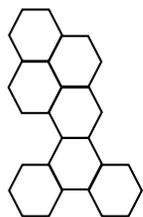
А в недрах словаря, где слов пасётся племя, –
забвенье и тоска, туман и забытьё.
Я чувствую уже, как исчезает время.

Сокровище моё, сокровище моё...

3.

Как ты знаешь, милый, всегда я живу на грани
немоты и звука, суровой зимы и лета,
мне куда как трудно разобраться в словесной ткани
нашей общей жизни; нащупывать швы сюжета,

узелки завязывать, штуковать небольшие дырки,
к наступленью ночи выращивать сны в пробирке.



Ты меня послушай: страданья – как струны арфы.
Их легко и бережно трогают наши руки.
От дрожанья струн замерзают в озёрах карпы
и едва-едва шевелят плавниками щуки.

Чем суровой время – тем мы с тобой свободней –
хлеб с вином вкушаем и помним про день субботний.

Как ты знаешь, милый, нельзя нам добиться силой,
чтоб зима для тополя сшила пальто на вате,
чтобы этот тополь спасён был порою стылой,
словно юный инок, взыскующий благодати.

Обниму тебя, чтоб заплакать и сном забыться.
В ледяных озёрах на части луна дробится.

А сегодня Волгу назвал ты Евксинским Понтом
и ещё сказал: не нуждается грех в огласке...
Не хочу я знать, что таится за горизонтом,
но хочу я верить, что мы доживём до Пасхи.

У порога нашего Янус стоит двуликий
с золотым ключом. Приближается Пост Великий.

Расставайся, жизнь, со своим драгоценным телом,
избегай объятий, готовься к страданиям крестным,
оставайся, жизнь, в дорогом одеянье белом,
чтобы встать из гроба сияющим днём воскресным.

И с тобою рядом мы в гроб живоносный ляжем,
где на ложе каменном пламя любви дрожало,
и, обняв друг друга, мы смерти навеки скажем:
отвечай нам, смерть, –
где победа твоя и жало?

КРЕСТНЫЙ ХОД**1.**

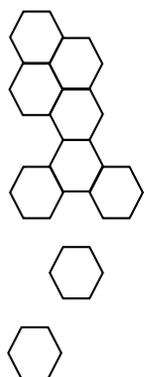
В Саратове по улице Советской
я шла в толпе, орех сжимая грецкий
в своей руке, и думала о том,
что вот – вокруг меня чужие люди,
и если кто-то голову на блюде
несёт Иродиаде, я крестом
себя смогу спасти от поруганья.
Я шла в толпе, и слышала рыдания,
и смех, и брань у входа в магазин,
где прятались раввин и муэдзин.

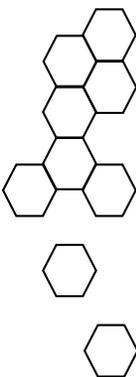
2.

По улице, как новые арийцы,
шли блудники, лжецы, детоубийцы,
в нарядных платьях, стильных пиджаках,
с цветами и айфонами в руках,
и я среди них – не лучше их, а хуже,
шла под зонтом и отражалась в луже.
Стежками дождь пространство дня прошил.
И я смешалась с теми, кто грешил,
кто грех любил, как шоколад и кофе,
кто помогал убийцам на Голгофе.

3.

Но вот вопрос: куда спешат они?
Туда ли, где рекламные огни
неистовым мельканьем и свеченьем
всех призывают к новым развлечениям?
Блестят витрины, огоньки машин...
На перекрёстке тополь, как кувшин,
стоит один со светофором рядом,
следит за нашим призрачным парадом.



**4.**

И вдруг навстречу тем, кто любит грех,
кто разгрызает время, как орех,
в Саратове, по улице Соборной
смиренники идут и простецы,
святые жены, матери, отцы,
и с ними образ – Спас Нерукотворный.
Они идут – не час идут, не год,
и каждый видит этот Крестный ход,
и возле Липок – там, на стадионе,
встал из руин нерукотворный храм,
и ангелы видны на небе нам,
и апокалиптические кони.

5.

А Бог дождит на грешных и смиренных,
на гениальных и обыкновенных,
промокли гордецы и мудрецы,
глупцы, ленивцы, нищие, купцы
и все потомки Евы и Адама
от океана и до океана.

ПОВЕЛИТЕЛИ СТРЕКОЗ

* * *

Увянуть могли бы две розы в руке –
да льдистые глыбы плывут по реке.

На них я читаю судьбы письма:
блестит запятая, как чья-то вина,

дрожит многоточья рассыпанный мак,
о чём-то кричит восклицательный знак.

Но, знаки иные в груди затая,
не знаю вины я страшней, чем моя.

Последней из пленниц я шла под венец,
и плакал младенец, звенел бубенец,



а нож деревянный лежал на столе,
как меч-кладенец в каменистой земле.

Кто сможет лихого врага побороть –
рассечь и рассеять словесную плоть

и свадебной ночью на теле стиха
слова уничтожить, как язвы греха?

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Покинул тело дух-изменник –
и молча нюхает эфир
египетский первосвященник,
носящий на груди сапфир.

Стоит скала, как Ниобея,
песок хрустит и шелестит,
и перстень в виде скарабея
на пальце воина блестит.

Он, жалкий раб им данной клятвы,
телесный чувствует ущерб,
и приближает время жатвы
луна, похожая на серп.

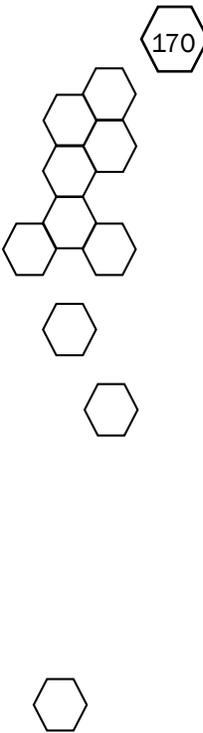
Есть в каждом теле воды Леты,
но ты, душа моя, забудь.
что голубые амулеты
мне нужно положить на грудь.

И, прозревая в небе чистом
светил невидимую связь,
ты лучше трезвым аметистом
чело горячее укрась.

2.

И поцелуй четырёхкратный,
и вздох прощанья мне знаком.
и безнадежный привкус мятный
под онемевшим языком.





Уже не будет сердце биться
в земле, прозрачной, как слюда...
Но как, скажи мне, пробудиться
за час до Страшного Суда?

* * *

Внезапно рыбы покажут спины
и вновь в морские уйдут глубины.
Держа в объятиях круг гончарный,
идёт по миру владыка глины.

Он молча мир созерцает тварный,
он слышит – поезд гремит товарный.
а в небе месяц висит двурогий.
и лист грызёт шелкопряд непарный.

Идёт по миру гончар убогий,
его, наверно, зовут Евлогий,
скрывая жизни запас недельный,
за ним шагает сосуд скудельный.

Взошёл Евлогий на холм пологий,
увидел сверху свой путь опасный –
и обнял нежно кривой, безногий
сосуд скудельный из глины красной...

* * *

Я б хотела с рыбой породниться
и хотя б на миг уйти туда.
где струится в ледяной гробнице
мёртвая осенняя вода.

Это путь сквозь зону увяданья,
сквозь её последний ураган...
В жизни, словно в зале ожиданья,
копятся грехи, звучит орган.

Зыблются рябины в снежных шалах.
Вижу – приближается Она –
та, кому на ледяных скрижалях
числа выбивать и имена.

* * *

Есть два дерева – лавр и секвойя,
чья листва зелена и суха.

Есть три времени – время покоя,
время памяти, время греха.

Ветви ивы висят, словно плети,
лёд стеклянным звенит бубенцом.
Существуют три встречи на свете –
с мужем, сыном и блудным отцом.

А четвёртая смертной стрелою
в камень бьёт, на котором стоим.
и уводит от Дафниса Хлою,
и сшивает стальной иглою
душу старости с детством твоим.

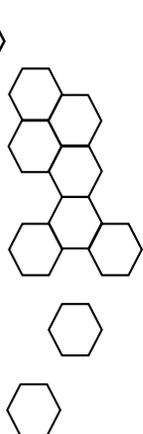
ВЕЛИКИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПЧЁЛ

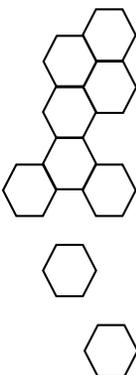
1.

...Адама охватило ликование,
когда он Книгу Бытия прочёл.
Он ввёл в простую ткань существованья,
а, может быть, и в ткань повествованья
фрагмент из жизни медоносных пчёл.

Предмет и слово были для Адама
единой сутью. Он не различал
двух планов жизни, двух её начал,
тревожных и простых, как звук тамтама.
Адам следил за тем, как из дупла
таинственные пчёлы вылетали,
рассматривал какие-то детали,
которыми украшена пчела:
вот усики, вот лапки, вот крыла,
вот хоботок подвижный – и так дале.

Роились непонятные слова
вокруг Адама; жалили, жужжали,
но каменные ждали их скрижали –
там, на Синае, в глубине времён,
где он, Адам, грехом своим пленённый,
был смертным мёдом жизни опьянён...



**2.**

Как странно сотворён пчелиный рой!
Он на роман похож или на повесть,
где некий собирательный герой
пыльцой цветов свою врачует совесть.
Он пьёт нектар, как олимпийский бог,
и чёрной не боится он работы,
и душу, что отдал ему цветок,
спокойно запечатывает в соты.

Пчелиный рой, как некий рай, возрос
в долине между Тигром и Евфратом,
он жив работой восковых желёз,
он распылён – и неделим, как атом.

А в медоносном улье словаря
живут слова – узоры и заря,
гора и горе,
зло, зола и злато,
цветок и ветка, око и окно...

И бездна, презирающая дно,
вновь на Адама смотрит виновато.

3.

Мы спать хотим. Но кто из нас поймёт,
когда и где мы собирали мёд –
в оврагах, ямах, на местах открытых,
с каких цветов – целебных, ядовитых,

с подсолнухов, крапивы, чабреца?

Мы спать хотим. На нас цветов пыльца.

Мы спать хотим. Растёт сорочья пряжа,
готовятся вьюнок и лебеда
губить посевы. Сладкая поклажа
пчеле бывает в тягость иногда.

Мы спать хотим, но если мы уснём,
то кровь Адама загустеет в венах.
и кто ему шепнёт,
что высыхает днём
роса на перуанских хризантемах?

4.

Разоривший таинственный улей,
на каких ты скрижалях прочёл,
что сегодня навеки уснули
в доме
тысячи девственных пчёл?

Расторопные слуги убиты...
Кто их бедную честь защитит?
Молодая царица без свиты
над цветущей поляной летит.

В эти дни мирового разлома
как узнать мне – кто силой возьмёт
все сокровища царского дома –
воск, пыльцу, созревающий мёд?

* * *

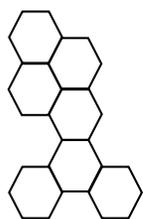
Р.

Шмель пролетает, любясь цветочками,
но появляется вдруг
в небе
украшенный чёрными точками
красно-коричневый жук.

То над полянами, солнцем согретыми,
то над холмами летит
красного лака шкатулка с секретами –
зеркальце наших обид.

Мы забываем обиды, как водится,
просим, как дети во сне:
«Жук Богородицы, жук Богородицы,
сядь на ладошку ко мне!»

– Жизнь не раскрашивай, хлеб не выпрашивай,
жди не обид, а побед!
Видишь – горит на мизинце оранжевый,
лёгкий оранжевый след...



* * *

Смутный сон про Робинзона Крузо
вплыл в меня, как в гавань корабли...
Тень чужого брачного союза
медленно касается земли.

И уже любви запретной зона
тянется по скошенной траве –
клинопись на крыльях махаона,
иероглиф «ци» на рукаве.

Волны, камни в разноцветном гроте,
облачные горы вдалеке,
рыбы в море, ласточки в полёте
говорят на странном языке.

Помнишь, мы читали Гумилёва,
умирали от сердечных ран,
но не знали, что такое Слово,
о котором пишет Иоанн?

И когда в июле сквозь окошко
в дом рвалась июльская гроза,
и когда египетская кошка
щурила китайские глаза,

мы не знали, что созвездий пятна
нам твердят, что смертен человек,
но непоправимо, неозвратно
мы с тобою связаны навек.

Как нам научится ладить с горем,
делать бусы из застывших слёз,
нам – поэтам, странникам, изгоям,
грустным повелителям стрекоз?



ТРИПТИХ*Ефим БЕРШИН***1.**

А мне господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где – запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах,

под бесконечным ливнем октября,
по осени, по прошлогодней гнили,
мне черт – не черт,
Вергилий – не Вергилий,
а впереди – ни дна, ни фонаря,

ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.
Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисую схему жизни на песке.

2.

Зачем дорога, если нет конца
дороги?
Для чего в краю осиновом,
играя роли сына и отца,
не быть, по сути, ни отцом, ни сыном,

ни мастером, ни глиною? Зачем
продрогшим псом под бесконечным ливнем,
изнемогая от житейских схем,
бежать стремглав за журавлиным клином?

Свободы нет!
Незримый поводырь
меняет вечность на часы и годы.
Но горизонт, изъеденный до дыр,
еще таит иллюзию свободы.

3.

Как хочется на круге на шестом
или седьмом, когда иссякнет вера,
остановиться, возвратиться в дом
и в дураках оставить Люцифера.



Но нет уже ни дома, ни крыльца
в пространстве, где ни выхода, ни
входа.
Как сладостна, как гибельна свобода,
лишенная начала и конца.

Ревет огонь. Изнемогает ночь.
И прямо посреди кипящей бездны,
выламываясь из привычных нот,
безумствует симфония победы.

* * *

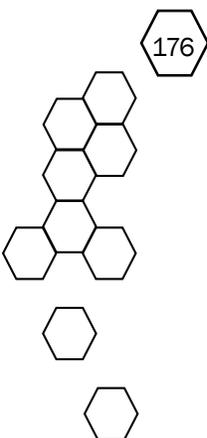
Пространственная форма пустоты –
дыра в заборе
или кукиш рамы,
застывшие солдатские кресты,
свистящие из снежной панорамы,

звезда в ночи,
огонь из блиндажа,
самоубийство – как побег из плена,
фигура бесприютного бомжа –
как сгорбленная формула вселенной.

Вселенная бездомна, как огонь,
кочующий по воющим каминам,
как осень,
как отцепленный вагон,
как запах облетевшего жасмина.

За пустотой поникшего куста
сплошной пустыней
обреченно стынет
иная жизнь,
иная пустота,
иных пустот бесплодной и пустынной.

Давай с тобой уйдем через забор,
через дыру.
И станем переулком.
И станем ветром.
И закончим спор
на перекрестке суетном и гулком.



Так дерево становится золой,
так грешница становится невинной,
трава – стерней,
развалины – землей,
а роща – переливом соловьиным.

Так талый снег становится водой.
Так звездной ночью, распуская космы,
ты станешь ослепительной звездой,
перечеркнувшей падающий космос.

Нам выпала забавная игра –
щекочущий сквозняк далеких странствий.
Пространства нет!
Есть вечная дыра
в окаменевшем облике пространства.

Уйти из дома – как взойти на крест.
И стать крестом,
как злаку – коркой хлеба.
Так свищет над планетой Эверест,
смирненно принимая форму неба.

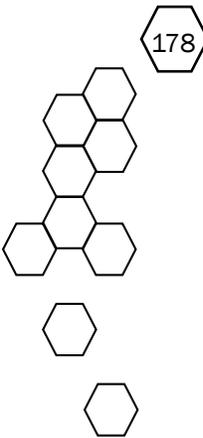
Мы вмертвую держались за скобу
родного дома.
Но скрипит со стоном
гнилая дверь.
Не обмануть судьбу.
Ты чувствуешь? Уносит!
Вместе с домом.

* * *

И снова я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю.

Я знаю: за чертой готовят плаху!
Да будет казнь!
Да будет на заре!
Мир праху твоему! Свобода – праху,
свободному, как кровь на топоре,





в театре, где история – раба,
безгласная служанка Мельпомены,
рожденная, как Ева из ребра,
из синтеза коварства и измены.

Как та Иерихонская труба,
невинная приспешница Навина,
история преступна и невинна,
невинна и преступна, как раба,
страшащаяся вечно не успеть
на вечный пир, на собственную смерть.

Вот так и я к тебе не успеваю.
И мне уже, наверно, не успеть,
не выдохнуть, не встать и не посметь
сказать тебе, что я не успеваю,



что по пятам за мною из огня,
поспешно за собой мосты сжигая,
бежит, бежит, за мной не успевая,
эпоха обреченная моя.

* * *

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.
Да, летал когда-то. Когда-то и это было.
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,
что меня на этой земле позабыла.

На земле, на которой все меньше и меньше места,
как в купе отцепленного вагона.
А вдали – луна, как брошенная невеста,
разрыдалась звездами в полнебосклона.

Что теперь говорить?
Я ведь тоже когда-то вызрел
в том краю, где растет виноград, и алеют вина.
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел
выбирает цель, которой уже не видно.

* * *

Маше Ватуиной

Бог в России живет не в хоромах
и не в храмах, где льется елей.
Бог живет на насупленных кронах
облетающих тополей.

Бог живет на дубах и осинах
и плетет за узором узор
на иконах пронзительно синих
чудотворных озер.

Дышат тайной древесные руны
на свистящем пространстве пустом,
где Дажьбог породнился с Перуном,
а Перун породнился с Христом.

Пахнет кровью таежная месса.
Рвется в небо январская стынь.
И молитва почти неуместна,
как и выбор святынь.

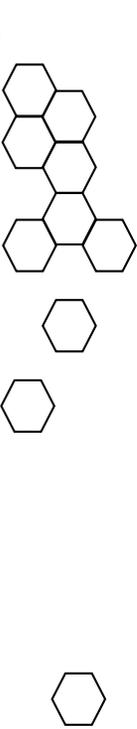
На развилке меж адом и раем,
где блуждают лишь ветры одни,
ты поймешь, что не мы выбираем.
И не нас выбирают они.

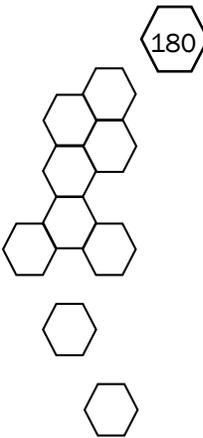
* * *

Борису Чичибабину

Городской сумасшедший в потертом пальто,
с головой, отсеченной при жизни от тела,
беспризорный посланник природы, никто,
пустота, без которой земля опустела.

Как случилось, что город твоим языком
расшумелся вовсю, словно пьяный безумец,
словно этому городу был не знаком
перепуганный шепот заснеженных улиц.





И стекают, как чайки на белый песок,
с предзакатных вершин коктебельского неба
помидорного солнца густеющий сок
и степные лошадки Бориса и Глеба.

Нам уже не доступны ни Глеб, ни Борис.
Нам милее сверкающий меч Святополка.
Мы – стальная держава.
За что ни берись –
отзываемся эхом стального осколка.

Мы живем в словаре архаических слов,
в перепутанном напрочь – от «а» и до «я»,
где история – свод неразгаданных снов,
а Россия – метафора небытия.



ПАМЯТИ ЖЕНИ

*Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет,-
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.*

Евгений БЛАЖЕЕВСКИЙ

Давай поговорим о пустоте,
проделавшей дыру в беспечном быте.
Недолго пребывая в пестроте
застоллий и мелькающих событий,

поймешь, что арендован пустотой
на должность записного златоуста,
как арендован клен звенеть листвой,
покуда он листвой усеян густо,

как арендован ливень петь струной,
шептать и разливаться безвозмездно,
пока не взялся коркой ледяной
заросший пруд у твоего подъезда.

Приходит осень.
И пустая плоть,
ненужная, как валенки в июле,
напоминает почерневший плод,
золу в камине и жакан от пули.

И понимаешь, что любовь чиста,
как первый луч на мартовской мимозе,
что Родина – сквозная пустота,
свистящая, как выстрел на морозе,

что догорает тополь, как свеча,
что лист его изъеден и скукожен,
что жизнь уйдет, как воздух из мяча
уходит сквозь разодранную кожу,

что под кленовый аккомпанемент
ваятель, вдохновенный и искусный,
очищенный тобою постамент
займет твоим недоуменным бюстом,

и все расставит по своим местам:
граненый воздух – предоставит зелью,
дыханье – ветру,
голос – небесам,
все остальное – в землю,
 в землю,
 в землю.

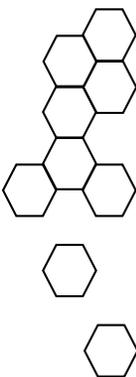
* * *

На рассвете последнего дня
у ограды Нескучного сада
воскресите при жизни меня,
после смерти – не надо.

Воскресите при жизни меня,
когда утро сверкнет перламутром.
Я воскресну, как вспышка огня
воскресает меж кремнем и трупом,

чтобы слушать, как дышит лоза,
подступая к обветренным скалам,
чтоб рассветное солнце в глаза
разливать, как вино по бокалам.





Воскресите заброшенный град,
тот, где тени блуждают по теням,
где усталый ночной виноград
осторожно крадется по стенам,

тот, где мать, не заснув до утра,
бросив жизнь свою под ноги сыну,
выходила на берег Днестра,
заменившего сыну пустыню.

Как забытую старину
воскрешает дотошный историк,
воскресите при жизни страну.
После смерти – не стоит.



ПОЭЗИЯ ЕСТЬ БОСХ

Евгения Джен БАРАНОВА

* * *

Поэзия есть Босх. Не смей в нее лянть.
А если и сбежишь, не притворяйся зрячим.
Я маленькаямышь, в кармане у меня
собачий поводок, растерянность и мячик.

Поверх пальто – горит (я слабый, слабый, слаб...)
Всей пятерней держу – вдруг легкое задето –
Поэзия есть хруст, и храбрость, и нахрап,
а я ни полстроки не понимаю в этом.

Чей красный сапожок виляет к гаражу?
Обида чья скулит? Кто в окнах роет норы?
Я тонкая доска – и я не удержу,
когда по мне стучат гнедые разговоры.

За что? за что ? за что? Я штольня, что ли, вам.
Я маленькая тень от профиля большого.
Поэзия есть схрон. Поэзия есть хлам.
Поэзия есть плен непойманного слова.

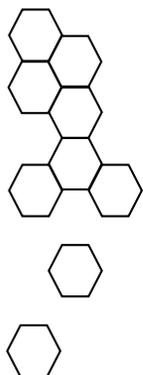
ПЕСЕНКА ДЛЯ АНИ

Водянистей водянистого,
чтоб присниться дураку,
дождик серенький посвистывал
недоребрием в боку.

Лужа в небо смотрит лошадью,
от весны произошед.
Дождик кажется хорошим ей,
потому что ливня нет.

Улизнет мокропогодица –
над Вероной моросить.
К сожалению, не водятся
в лужах принцы-караси.

Из-под стеклышка столового,
каблуком рассечено,
на Москву глядит суровое,
достигаемое дно.



МОРСКАЯ ФИГУРА

Сонечка вышла за Колю-слесаря.
Хоть и еврей, говорит – болгарин.
А у Натальи Фалесовны –
сына арестовали.
Чего арестовывать, воеет Наталья.
Он коммунист, у него медали.
Жили как жили, в общем-то не игристо.
Сняли колечко – купили риса.
Никакой он, граждане, не кулак.
За что его – так?
Граждане молча слушают.
Врёт она всё, заслуживает.
Маслят Наталью оливками глаз.
Море волнуется.
Раз.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТАНГО

По вечерам над автостанцией
рекламный отблеск белых ламп
манит неоновыми танцами
автомобильные тела.
У Citroen'а профиль глупенький,
таким, как он, везде уют.
Вокруг такси снуют голубками
деньгу по зёрнышку клюют.
Renault ревнует к обилеченным:
– К чему автобус, если я
вас отвезу туда, где женщины
матросам лепят якоря,
туда, где море не кончается,
где чебуреки в пол-лица...
Но вот автобус просыпается
и прогоняет наглеца.
Трусит «газель» лошадкой пегою
– кто в дом, кто в храм, кто по грибы.
Не доберемся, так побегаем
от догоняющей судьбы.

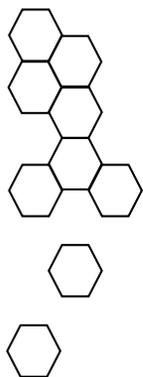
* * *

Ни радости ни праздности ни странствий
черешня баклажаны кабачки
усни мой сон
усни моё пространство
хлопок неприкасаемой руки
бредёт на штурм цветочная пехота
русалки потеряли чешую
кого мне ждать
и жду ли я кого-то
когда рассказы водит кот-баюн
когда легко в зеркальном полумире
перебирать по косточкам гранат
всё говорит что я усну в квартире
но где проснусь – под яблоней иль над

но где проснусь – в гостиной в ручейке ли
в тяжёлом позолоченном венке
как вязко спать ворочаюсь в постели
в кармине в саже в сепии в тоске

ВОЗДУХ

Одуванчик зрит чудесное:
нос шершавого щенка.
Поперхнусь, вернусь, исчезну ли
неизвестно лишь пока.
Над прудами ветер бесится.
– Видел утку? фью да фьить!
Одуванчик просит: «Месяц, а?
Дал бы небо поносить?
Или облако?! Я маленький.
Как ничтожному прожить.
Ни крыльца, ни умывальника –
не до жиру через «жи».
Месяц пьёт и пьёт без просыха,
не ответит малышне.
Одуванчик равен воздуху,
раме, маме, Миле, мне.



ГРИПП

горчичник пробасил горнист
 поставьте мальчику горчичник
 а я был чист а я был лист
 ребёнок родинка привычка
 а я топорщился стернёй
 хрипел горячей шестерёнкой
 нет я не байрон я в грибной
 артели, собранной алёнкой
 не знают мальчики забот
 не остывают долго-долго
 горчичник-кучер спину бьёт
 как тяжела моя футболка
 вот вырасту согнусь смирюсь
 найду суок в товаровед
 горчичник чичиков я снюсь
 зато хоть в школу не поедем

ВИНОГРАД

вот мы стоим на каменном мосту
 солёной виноградиной во рту
 куда ни глядь чернильная водица

на волосах краситель а в ногах
 мешается мускатное и страх
 и некому с дежурства возвратиться

здесь столько места столько ерунды
 мы можем заговаривать цветы
 касаться тела обнимать заборчик

язык прохладен разум пустоват
 и кажется приносит виноград
 спокойный древнегреческий уборщик

здесь можно бывших жен упоминать
 считать веснушки кожу омывать
 и можно над водой играть в гляделки

а если кто-то в воду упадёт
 то ничего то смерть его найдёт
 она идет она уже несёт
 домашнее печенье на тарелке



ЧТОБЫ СОЧИНИТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ*Михаил ДЫНКИН**** * ***

Женщина, похожая на облако.
Чёрный жук в сиреневой траве...
Не хватает музыки и опыта,
пары электродов в голове;

алфавита, драйва, дуновения,
долгой жизни, смерти на войне,
чтобы сочинить стихотворение
об одетой в облако жене,

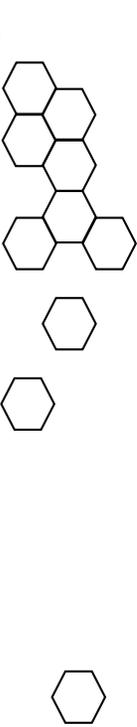
о жуке с гусарскими усищами,
о траве, качающей жука.
Он клювастой птице станет пищей,
но не знает этого пока.

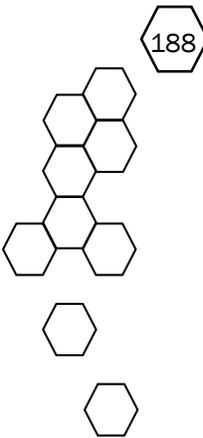
По травинкам в небо поднимается,
машет лапкой, если не двумя,
богу из машины ли, из матрицы
в языках закатного огня.

*** * ***

Посмотри на этого мужчину:
седина, проплешины, морщины.
Он сосредоточен, ибо чинит
жизнь свою, а жизни-то и нет.
Вместо жизни женщина вот эта,
не мадонна и не Маргарита,
и вообще, по-моему, с приветом,
смотрит в спальне с кошками балет.

Думает, она сидит в партере.
Кошкам же рисуются пантеры;
в смысле, что они – пантеры. Меры
у домашних кошек нет ни в чём.
Что им там подмешивают в Вискас?
К чёрту кошек, посмотри на крыску,
у стены в потёках свежей краски
машущую крохотным мечом.





Кем она себя воображает,
что того мужчину раздражает,
что визжит та женщина, и жалок
вид у кошек, шкаф залезших под?
Проскользнёт по тусклому паркету...
Что бы это ни было, но это
всё, что есть. Вернёмся же к балету –
он как раз закончится вот-вот.

ФАЗАН



Охотник видит, где сидит фазан.
Опознавая птицу по глазам,
он, что ребёнок, радуется встрече.
Фазан же представляет дело так:
какой-то веселящийся простак
является и портит дивный вечер.

И если первый сочиняет стол
(картошка, дичь под лавровым листом),
второй воображает гроб, в котором
под деревянным парусом креста
плывет пришелец в новые места
и прорастает деревом фруктовым.

Понять не получается, увы
(на уровне отдельной головы)
Другого... Извлекая пистолет из-
за пояса, фазан стреляет, и
над человеком кружатся огни
и щёлкают акаций кастаньеты.

И человек бьёт крыльями, родной.
И целый мир становится одной
загадкой, платоновской пещерой,
переведённый в экстренный режим,
где мы тенями зыбкими бежим
то вверх, то вниз по лестницам Эшера.

* * *

А всего-то и есть, что серебряный зимний денёк.
Ни прилечь, ни присесть, потому что вокруг Рагнарёк.

Остаётся идти днём с огнём в непослушной руке.
Остаётся найти человека в сплошном Рагнарёке.

Люди ходят на двух. Дух летит, не касаясь земли.
Человек или дух, ты дрожишь под напором зимы.

И проходишь сквозь снег, существо-антипод или пшик.
В кулаке оберег, а фонарик украл снеговик.

В животе холодок, остывают в глазах угольки.
И стоит городок над замёрзшею змейкой реки;

сувенирный такой: бакалея, церквушка, ларёк.
Помаша им рукой, выпей чаю в кафе «Рагнарёк».

НОВЫЙ ГОД

Сперва из текста выпадает снег,
а вслед за ним – герой и героиня.
Всё это происходит не во сне –
они как раз о смерти говорили
в шестой главе, и на тебя – летят;
вокруг – снежинки, ангелы и галки...
И дикторша в вечерних новостях
тот самый текст читает из-под палки.
Она доходит до шестой главы.
А студия тем временем пустеет,
хотя по ней расхаживают львы,
застав киномехаников в постелях;
читай «врасплох» и сразу отвернись,
ведь ты же не выносишь вида крови...
В студийных окнах только тёмный низ
ночных небес и кадры старых хроник:
отец народов на трибуне ли,
лиловый негр, линчующий толпою;
пришельцы на другом конце Земли,
идушие на этот за тобою.
Они спешат, их душит нервный смех,
в их сумках – новогодние подарки.
А с неба продолжает падать снег,
протагонисты, ангелы и галки.



ТРИП

Полиглоты молчат на шести языках.
Недоучки идут напролом.
Прячет Маленький Мук пистолет в ползунках
и Биг-Мак запивает вином.
У Шалтая-Болтая каштаны в груди.
Белый Кролик нарушил шаббат.
Всё хорошее вечно идёт впереди,
за спиной его тянется ад.
Мы поедем с тобой в неказистый портал
на колёсах – куда без колёс?
Белый Кролик тебе примерещится там,
мне – Медуза в гадючинах кос.
Как же плющит, о Господи! Как же стучит
сердце мира о глину ребра!
Как сияет в руках моих зеркало-щит
и горчит, расширяясь, дыра
цвета ночи... Беги, Белый Кролик, беги,
осененный созвездием Рыб,
по пустым рукавам зазеркальной реки –
видно, там и кончается трип.

* * *

Помнишь, драконы были с твою ладонь,
а вурдалаки пили лишь молоко?
В старом камине чревовещал огонь.
Сад бороздили искорки светляков.

Вечером тихо, разве зудит комар.
Утром спокойно, жаль покидать постель...
Зря ты достала с полки тот гримуар,
где даже буквы сделаны из костей.

Подписи духов, дерево пентаграмм.
А на гравюрах – Башня, Жонглёр, Дурак.
Сизые тени скалятся по углам
каждой страницы, будто бы катафалк

скоро приедет и заберёт нас всех.
– Здравствуйте, дети! Время начать игру!
С этой-то ночи снится мне жуткий смех
за частоколом из вознесённых рук.

Я просыпаюсь, губы мои в крови,
и, чертыхаясь, к двери иду с трудом.
А за окошком, над полосой руин
носится ящер величиною с дом.

* * *

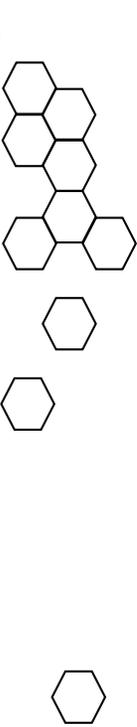
Как уплыл Иван за четыре глубоких майи,
села ждать его прекрасная дева Марья,
да не дождалась (такая, наверно, карма)
и вступила в связь с потомственным магом Карлом.
Вот живут они не хуже других, а что им?
Вызывают духов, задернув на окнах шторы.
А в иные дни смотрят в кристалл волшебный.
А в кристалле том ходит Иван по щебню.
Кличет птицу Рух – прячется Рух, двурушна.
Всё, что есть вокруг – видимость, дым, ловушка.
В рукаве кинжал, ждёт за углом наёмник.
Погребен Иван в птичьих глазах зелёных...
Скажет Марья: стоп! Сбросит халат атласный.
Оставайся, Карл (он бы и так остался).
На кровать костями лягут они, обнявшись.
Птица Рух летит, сносит в полёте башни.

* * *

Ян садится на мотоцикл, медленно жмёт на газ.
И когда у него во лбу загорается третий глаз,
всем становится ясно: Ян – настоящий тормоз.
А потом его мотоцикл набирает скорость
и взрывается в перспективе, что твой фугас.

Полный бак бензина, чёрная кожа, шлем.
Остаётся только сизый шипучий шлейф,
только встречный ветер и перекаты рёва.
По зелёным щупальцам, сжавшим руль,
пробегают искры. Колёса рвут
молодую ночь, контур её неровный.

Тормоз или нет, а вернётся домой с медалью...
Инь включает свет, расшнуровывает сандалии.
Низкий вырез платья, три голубых груди.
Инь сама не знает, как она хороша.
Вот она сияет комнаты посреди
и, взбивая воздух, крылья её шуршат.



Я лежу в курильне, чувствуя лёгкий крен
в голове, срастающейся с подушкой.
И приходят души с книгами перемен.
И гадят все разом. Я затыкаю уши...

Ян кладёт на тумбу мотоциклетный шлем.
Инь снимает платье, долго стоит под душем.

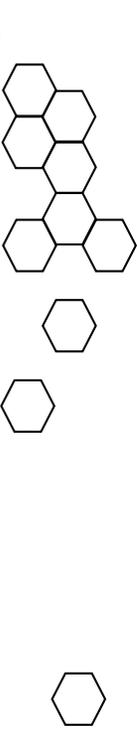
* * *

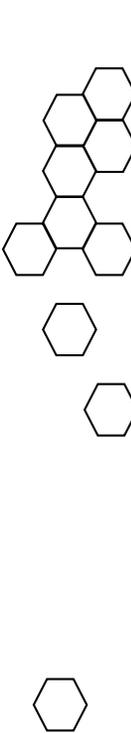
Снег начинает падать не раньше, чем ты
грузно садишься в кресло и замерзаешь.
Время несогласованно и плачевно,
если смотреть на вещи его глазами.
Всё налицо: неровности, швы, помарки.
Люди вообще скомканы и приплюснуты.
Над головой проносятся вихри кварков,
а под ногами лопаются моллюски...
Стены покрыты инеем и сквозь них ты
видишь дворы в неверном, коварном свете.
Спину шоссе перебегают пихты.
В дальнем окне пляшет линялый свитер.
Прямо под ним – окаменевший мамонт.
И дикари кухонными ножами
режут его и впопыхах ломают
лезвия.
И когда, раздувая жабры,
за гаражом, по крышу ушедшим в землю,
штопором входит в воздух косяк салаки,
время становится чем-то совсем музейным:
мумией, ископаемым, рощей статуй.

РОЖДЕСТВО

Виноградные листья свернулись в священные свитки.
На газоне скворцы, раскричавшись, затеяли драку.
Шумный ливень промчался, да сам же и вымок до нитки.
Шли волхвы, да забыли, куда подевали подарки.
Первый волхв был, как рыба на гибких чешуйчатых ножках,
а второй, словно ящер средиземноморского типа;
а последний – всех краше – пятнистая дикая кошка...
Увязавшись за ними, отстало, и тикало тихо

на белёной стене, за притворенной дверцею время.
Мы сидели под ним, замерзали и кутались в тени.
А в кристалле окна виноградные листья горели,
суетились скворцы, и один (самый бойкий) был тенор,
а другой – баритон. Остальные, довольствуясь свистом,
занимали места на зелёной галерке древесной,
чтоб увидеть волхов, выходящих бок о бок на пристань:
ягуар, латимерия, ящер с лицом базилевса.
Надо сесть на корабль и отплыть за три моря отсюда
в царство гипербореев, покрытое снегом и мраком.
Ни на что не надеясь, не веря ни в слово, ни в чудо,
стать зловонным дымком над заснеженным грязным бараком.
И, возможно, тогда ты услышишь, как плачет Младенец,
что легко объяснить абстинентным синдромом и стрессом...
В этом Новом году тебе попросту нечего делать;
мене, текел... Но ты не имеешь ни формы, ни веса.





Татьяна ВОЛЬТСКАЯ

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ ЖИЗНЬ

* * *

Мы будем точкой с запятой на зимней мостовой,
А снег летит, как Дух святой, над нашей головой,
Не спрашивая имени, у века на краю.
Люби меня, прости меня за песенку мою.
Сквозь пригороды страшные вези меня в такси,
Вон шарфик твой оранжевый – заклатье от тоски,
От свирепеющей чумы и от лица земли,
Куда глядеть обречены, пока не замели
Сугробы нас или менты и прочие кранты,
Всегда под боком у беды, что прячется в кусты.
Ночь растворяется в снегу, как кофе в молоке,
Касается замерзших губ и гладит по щеке,
Но вдруг отступит на шагок, на два шажка всего:
На теле у меня ожог от тела твоего,
И на столе пестреет снедь, и кажется нежна
Возлюбленная жизнь
и смерть – законная жена.

* * *

Из воздушных степей, в волнах летучих орд,
Подбодряя себя сквозь зубы: «Давай, чеши!»,
Грешник вываливается в аэропорт,
Прозрачный, как песочные часы.

С легким шорохом высыпается жизнь
Из стеклянного горлышка – стружкой песка.
Дома грешник выпускает из бутылки джин
В рюмку, где уже притаилась тоска.

Он ему приказывает: веселись,
Бей в ладоши, бегай в крови,
А тот глядит, не мигая, как василиск,
И рот кривит –

Ибо грешник снедаем тревогой. Неугасимый червь
Вылезает из ада – пощекотать
В солнечное сплетенье. Дивится чернь –
Во как запел – праведным не чета.

Во как танцует – глянь, какие прыжки –
Вверх и в стороны – непостижно уму.
А он – перепрыгивает языки
Пламени, видные только ему,

Рвущиеся из-под стола, из книг,
Из-под стула, на который он сел верхом:
Все, чего он касается, загорается в тот же миг,
Как бензином, пропитанное грехом.

И улица, где проходит он, и река
В длинной белой рубашке, и дома за рекой,
И губы, которые целует он, и строка,
Которую он выводит прыгающей рукой.

* * *

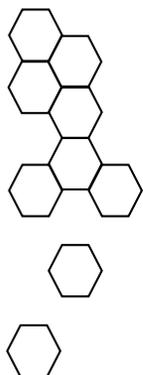
Вот ты и пришел ко мне, обнял, поцеловал –
В доме, которого больше нет.
«Вот же, вот же!» – вспыхивают слова,
И я бросаюсь разогревать обед.

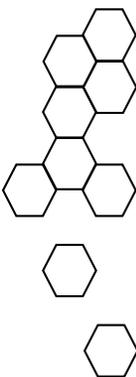
Ты стоишь у окна, запрокидываешь мне лицо,
Газовая горелка гудит, как шмель,
И воздух за окном, как мое старое пальтецо,
Распахивается. Нет, как шинель.

Вчерашняя картошка на сковородке, лук.
Холодильник – что новобранец, гол.
«Я бы съел яичницу», – ты говоришь, – и звук
Пробегает по телу, как алкоголь.

«Я бы съел яичницу», – отдыхает Бах,
Вместе с Моцартом курит в углу.
Свет играет на твоих губах,
Я в игру вступаю, беру иглу,

Зашиваю тебе дырявый карман,
Скользкую подкладку, боюсь не успеть.
Музыка приходит не в награду, а задарма,
И двери ей открывает смерть.





СНЕГ НА МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ СУЙДУ

Все было плоскостью: река
Во льду, вихляющий заборчик
Вдоль бань, корявая строка
Тропы, чей почерк неразборчив,

Стволы засохших тополей,
Что косо к берегу приникли, –
Все было плоскостью, верхней,
Обложкою закрытой книги.

Я не заметила, как снег
Ее открыл – казалось, просто
Встал за спиною человек –
И перелистывает воздух.

Мелькает детское лицо,
И долгая шинель солдата,
И мельничное колесо,
Снесенное еще в тридцатых.

Саднит поломанный рогоз.
Осока серой прядью машет,
Но снега медленный наркоз
Все обезболивает – даже

Твои ладони на мосту
Над вспыхнувшюю зажигалкой,
Бетонной лестницы уступ
И вылетающую галку –

Туда, где ни ступенек нет,
Ни банек у реки, но сходны,
Как близнецы, деревья, снег,
Собака, хижина, охотник,

И хлопает над дверью холст,
Стучит оторванная рейка,
Пружинит деревянный мост –
Невидимый проходит Брейгель.

В плывущем ошупью луче
Темнеет лес, покрытый шалью,
И ямка на твоём плече,
Где голова моя лежала.

И сходит снег, как благодать,
На мост и расправляет крылья,
Где мы останемся стоять,
Облокотившись на перила,

Склонив невидимые лбы
Повинные – перед метелью,
Перед мгновением любви,
Перед бессмертием потери.

* * *

Снег лежит, как убитый царевич.
Двор зареван. Старуха в окне.
И деревья, как жаждущий зрелищ
Темный люд, собрались в стороне.

Город мрачен, как будто в опале –
Там труба из траншеи торчит,
Тут куски штукатурки упали
Прямо в лужу – клочками парчи.

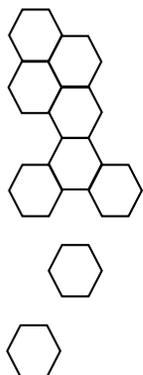
У парадной повалится пьяный,
Помигает кортеж, матерок
Обгоняя, и – руки в карманы –
Захромает блатной ветерок:

Что-то зреет в душе его мутной,
Что-то светит – кому-то казна,
Самозванное счастье, кому-то –
Разоренье и смута. Весна.

* * *

И снег вернулся – грязный, серый.
Как зек из дальних лагерей,
Как отсыревший ангел, серой
Обкуренный – скорей, скорей,

Пока начальство отвернулось,
Болтая глупость про весну, –
Сжать руки побледневших улиц,
Обнять кусты, прильнуть к окну,



Затылком чужья взгляды: вот он,
Пришел – какая в нем нужда?
Шурша, как голос в телефоне,
Которого никто не ждал.

* * *

Льется с неба вода, как живое стекло,
Ходят потного леса худые бока,
Дышит клен, будто скачущий конь, тяжело,
Голос твой пробивается сквозь облака –
Вспышки, точки, зигзаги, зарницы – пока!

Слоги рвутся, свисают с забора, с куста,
День помехами полон, трещит и шипит,
Мелкой рябью идет – ты, наверно, устал, –
Рассыпается веером мелкой щепы

Возле печки, не падает чудом, застыв
На крыльце покосившемся, цепко держась
То за кончики фраз, то за эти кусты,
Обрывается связь, продолжается джаз

Ожиданья. От влаги разбухло окно.
День – себе на уме, с хитрецей и ленцой:
Голос падает в рыхлую землю – зерном,
Легкой пеной черемухи брызжет в лицо.

* * *

А знаешь, все-таки спасибо,
Что май, что облако, что ты,
Что горло сжалось и осипло
От налетевшей пустоты,

Что дерево плывет украдкой,
И лучше бы не пить до дна –
Чтоб не кривиться от осадка –
Ни поцелуя, ни вина,

И что не прибрана квартира,
И что в окошке провода,
И что тебе меня хватило,
И что не хватит никогда,

Что из углов повылезали
Все призраки –
 как из чащоб,
Что жизнь кончается слезами –
А чем еще?

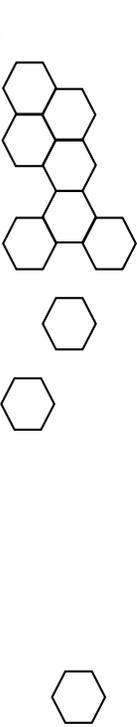
* * *

Я беспокоюсь – как я выгляжу.
Гороховое платье выглажу,
И усмехнутся зеркала,
Придвинутся ко мне – а дальше как?
А дальше – брови карандашиком
Подрисовать – и все дела.

Упрячем перья мокрой курицы:
Пусть алый рот плывет над улицей,
Как флаг неведомой страны,
Где встречные почти не хмурятся,
И где Феллини и Кустурицей
Все зубы заговорены.

Остыл мой дом, пуста постель моя.
Идешь – в толпе глаза бесцельные
Поблескивают, будто ртуть.
На то и жизнь – чтобы не ладиться.
Волна горохового платица,
Неси меня куда-нибудь.

Неси меня к друзьям на празднество
Или к врагам – какая разница,
Лишь бы дома качались в ряд
И губы – над волною шелковой:
Лишь, оглянувшись, подошел бы ты
Узнать – зачем они горят.



* * *

То ли милует родина, то ли казнит,
Может, слышит твой голос, а может, глухая.
Снег пушистый летит, колокольчик звенит,
В благодарной душе никогда не смолкая.

И струится, и манит неведомый свет
Над замученным пахарем, бывшею пашней,
Над деревней, которой давно уже нет,
Над холодной рекою, над жизнью пропавшей,

Снег летит, и крест-накрест ложатся бинты
На юродивой родины раны и язвы,
И душа не обнимет ее наготы,
А юродству ее уподобится разве.

Снег летит – над шинелью, висящей в сенях,
Над склоненным над книгою мальчиком рыжим,
Над боярыней, полулежащей в санях,
И над раненым Пушкиным, снег обагрившим.

Снег летит – продолжается время любви,
Ночь несет и качает нас в черной утробе.
Словно нежные губы – губами лови
Эти быстрые, эти пугливые хлопья.

Ничего не просить, никого не винить.
Снег летит над Россией – огромен, игольчат.
Через версты разлуки протянута нить,
Тает в горле комок, и звенит колокольчик.

* * *

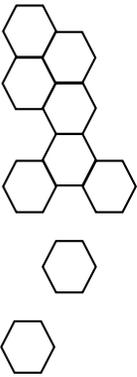
Кто я, Господи, откуда я,
Почему в ночи не сплю,
Плечи в старый свитер кутаю,
От простуды водку пью?

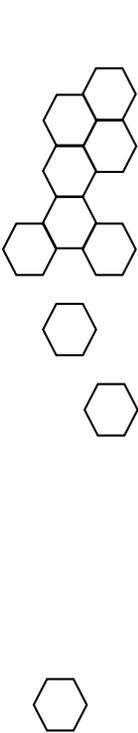
Почему дорога лужами
И ухабами полна,
Почему чужого мужа я
Слушать за полночь должна?

Почему трава не кошена,
И удобства во дворе,
Карандашик в сумке кожаной,
В сердце – точки да тире?

Почему, как заговороно,
Прет – бурьяном – естество:
Как заводишь речь – не вовремя,
Как полюбишь – не того?

И не дивно ли, не странно ли,
Что заплаканной семьей
Облака летят, как ангелы,
Надо мной и над землей?



Амирам ГРИГОРОВ

МЕЖДУ МУЗЫКОЙ И МУЗЫКОЙ

* * *

Газонов стриженные ромбики,
Панели с корками асбеста,
И колыбели, точно гробики,
Выносятся под гром оркестра,

А тополя ветвями ватными
Сухому ветру гладят спину,
И на асфальте вянют пятнами
Раздавленные георгины,

А звуки вечные и гордые
Слетают и проходят мимо,
И нас не слышно за аккордами -
Мелодия неуловима,

Она что лай бездомных тузиков,
Как рокот рельсов за трамваем,
И между музыкой и музыкой
Забывшие, мы застываем.

ГДЕ-ТО В МАРТЕ

Жанне Свет

Где-то в марте, в первой половине,
Там, где белизна ещё густа,
Столько сновидений наловили
Рыбаки с кузнецкого моста,

Оплывали поздние сугробы
И весна, захватывая власть,
На московский двигалась акрополь,
Умер Сталин, мама родилась.

Только за Даниловской заставой
Дескать, погибай моя душа,
Облака бежали за составом,
Лопастями ватными маша,

Что осталось? Трикотаж озимый,
Керогаз, тарелки и ножи
Чемодан с игрушками, корзины
И звезда над городом чужим,

Над землёй размашистой, сонливой
Сеяла бесцветную крупу,
Там, где Русь мечтает о проливах,
Закусив печорскую губу.

НА УЛИЦЕ ЩОРСА

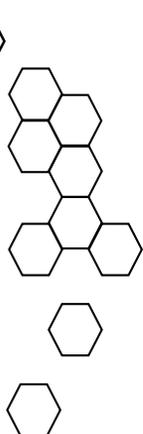
На улице Щорса, средь ветхих кирпичных строений
Вьюны пожелтели, опали метёлки сирени
И на солнцепёке, где прежде сушились перины
Как пыль, накопился докучливый пух тополиный

Над улицей Щорса проносится ветер, который
Штает деревья, дерёт разноцветные шторы
И, как самоварные дула, свистят водостоки
И пахнет пустыней, как это всегда на Востоке

На улице Щорса, во дворике, в тесном квадрате
Нам столько отпущено времени, что не потратить,
Хоть пой, хоть гуляй, хоть сиди и гляди, как протяжно
Дымок самолёта проходит разрезом портняжным

На улице Щорса, не шурясь, спокойно, как змеи
Мы смотрим на солнце, и нас беспокоить не смеют.
Участок вселенной, который обжит и намолен,
Для нас неподвижен, как тень, что упала на море.

Над улицей некой, любое название не важно
Качается небо, висит самолётик бумажный
И над облаками его, как соломину, вертит
Он помнит дорогу, но только не помнит о смерти.



* * *

В краю, где жаром улица полна
Близ эстакады, там, где сквозь настил
Швырялась пеной бурая волна
Я синий шарик в небо упустил

Гремел оркестр, и красный матерьял
В начале дня под ветром трепетал
А я свой шарик в небе потерял
Смотрел сквозь слёзы, как он улетал

Он шёл вверх, как лёгкие тела
Бегут от гравитации земли,
По-моему, глициния цвела
И, кажется, каштаны отцвели

Он без меня промчался налегке
Над садом, где не молкнут соловьи,
Где говорят на горском языке
Старухи в чёрном, с ног до головы,

А в южном море плёнками мазут
Блестел в цвета шираза и шабли.
Туда теперь машины не везут,
Туда теперь не ходят корабли,

Там каждый день - тот самый первомай
Оркестр не молкнет, и ревет прибой,
И мимо сада тянется трамвай,
Как бесконечный змей, по мостовой,

И налетали чайки аппетит,
И вешний дождь обрушиться готов,
И старый шар мой надувной висит
На высоте трамвайных проводов.

* * *

Неспешный мрак из труб и штолен.
Забудь, когда настанет срок,
О чём был беззаветно болен,
О чём беззвучно одинок,

И вечен – окнами читален,
Садами, где шуршит сирень,
Дворцами бракосочетаний,
Сопрано заводских сирен,

И кто тебе сказал, что просто
Убрать дорогу за собой,
Прости Россию девяностых,
Как мать, ушедшую в запой,

Идя на свет, как в ночь любую,
Прохладный ветер ртом лови,
Пока тебе свистят вслепую
Кладбищенские соловьи.

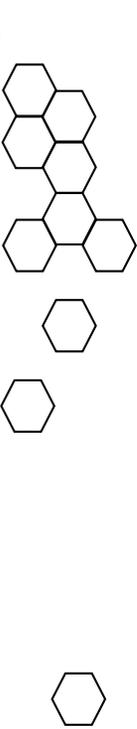
* * *

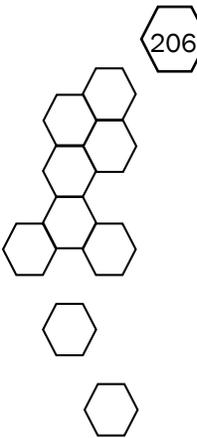
Не говори о времени, оставь его,
Оно подобно осени, не трожь его,
Оно течёт по улице Евстафьева,
Переходя из будущего в прошлое,

Где сад светился, гляцевый и лаковый,
Где прозвонил трамвай, что хляби множатся,
Его колёса пели, стёкла плакали
Стальные штанги щёлкали, как ножницы,

И проползали через листья павшие
Последние герои мира кольчатых,
Раздавливаясь, твари запоздавшие
Трещали, как мясные колокольчики,

Не знающие времени – не маются,
У них людской печали не имеется,
И души их простые поднимаются
И улетают в свет, как пыль на мельнице





Не говори о времени, устав нести
Хлеб отдалённой старости. Не ешь его,
Не говори о времени, как в давности
Не поминали имени медвежьего,

Пусть все слова, как червяки осенние,
Поют осанну голосами тайными,
И мы с тобой с неясным опасением
Пойдём домой через пути трамвайные.

* * *



Когда рассвет над Нерезиновой
Цветёт, похожий на розан,
И ты хоть громом разрази меня,
И хоть не верь моим слезам,

Я выйду в спелую черёмуху.
В сирень, горчицу во рту,
Где фонари палят без промаха
В коломенскую черноту,

Где кошки, с их ночными войнами,
Депо стальные молотки,
И ветер гонит иглы хвойные
Бегониям под ноготки,

И поливалки жёлтой конницей,
Бегут по стриженной траве,
Скажи, зачем теперь бессонница
Моей холодной голове,

Зачем мне теньпод белым мостиком,
Свинцовый маршал в галифе,
Зачем московские агностики
В час пополуночи, в кафе,

Зачем трамвай, ползущий с грохотом,
Печаль Луны во тьме аллей
И под высоткой, в сквере крохотном -
Неумолимый соловей,

И молоко над блёклой Яюзой,
Туман, подсвеченный едва,
Пока ещё не виснет браузер,
Покуда мышь моя жива?

ГОРОДУ МОСКВЕ

1

Ты спишь и не знаешь, что за ночь, как пряжка, надраен
Людьми в апельсиновой одежде,
Как прежде, бессонны вокзалы – посольства окраин,
Бессонны, как прежде,

Мне пасть после литра, хоть я это знание отрину,
Теперь, хоть не хочешь, но падай,
И мне по арбату твои дорогие витрины
Ломбарды, лампы.

Не бей меня с лёта, не шли мусорскую повестку,
А дай золотую истому
Пустому бульвару, что вытерт ветрами до блеска,
Бульвару пустому.

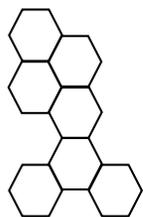
Теперь ты богаче, нежнее и мягче, понеже
Приезжих уже не линчуют
Давай и сегодня с тобой никого не зарежем -
Тебе прошепчу я.

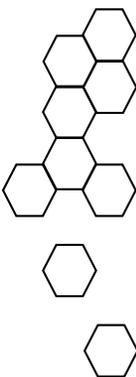
Ответишь у выезда, там, гдемазня на заборе,
Где гаснут огни твои чайных
Печальным напевом, московским, знакомым до боли,
Напевом печальным.

2

Всё, прощай, даже лето не вечно,
Тёплый ветер и дым,
И крылатые твари твои покидают скворешни,
И базаров съестные ряды,

Раскалилась до будущих ливней
Вся страна добела
Эта прошлая жизнь с каждым годом добрей и наивней
Чем когда-то была





Тишина угнездилась на Пресне,
Мир исполнен тоски,
Лишь в открытом подъезде поклонники авторской песни
Голосят про гитарный изгиб,

Прихватив сигареты и пойло,
Мы, как тени, легли,
И горят над тобой голубые мечети лукойла
И палаты бьюльбюляоглы.

* * *

Назови меня ночью – приду, назови меня тучей – заплачу.
Я кочевник в калашном ряду, подари мне удачу,
Ты меня непременно прости, и опять к докторам относимы
Переломы височной кости, високосные зимы.
Помнишь море с наждачной волной, где прибой от парома отчалил
Я, наверное, навеки больной, бессимптомный носитель печали
И падучая снится звезда с детским ужасом, свистом ременным
Назови меня эхом, тогда для тебя повторюсь непременно.



МЕМУАРИСТКАОлеся **НИКОЛАЕВА***Эмме Герштейн*

Старуха-деспотка, всезнайка, самодурка,
полна разгадками. Как вещая каурка,
все вынесет, все чует, все раскусит:
душа при ней парит, а сердце трусит.

Она дороже мне всех молодых сестер
и братьев доблестных. Покуда на костер
толкает юношей, шлет теноров эпохи
и с барского стола швыряет крохи.

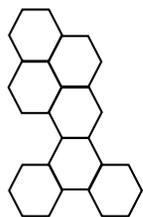
Старуха дерзкая! Тебе б носить жабо,
чай гонять и ни гу-гу, что знаешь...
А ты героев, словно бибабо,
то кланяться, то каяться гоняешь.
И гребень сказочный на черный снег роняешь...

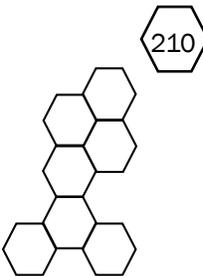
Старуха дивная! Перед тобою мгла
и обоюдоострый ушлый месяц.
Ты всех оставила – ты всех пережила:
врагов, любовников, наперсников, прелестниц.
И к небу тянутся каскады шатких лестниц.

Теперь рассказывай. Кто ел из этих рук.
Кто пил из тувельки. Кто гнал тебя по трактам.
Кто шею гнул, кто поломал каблук.
Ты помнишь все, не доверяясь фактам,
и жест важнее, чем сюжетный трюк.

А факты – что? Их можно тасовать,
бить, словно козырем, нагнать такого дыма,
что под призором их затосковать
по жизни подлинной, которая – помимо,
неопишима почти, неуловима...

Твои истории – то сон дурной, то сруб
паленый: кто – хозяин? где – скиталец?
И тут же появляется: у губ
фигура умолчанья держит палец,
глаза большие делает: луп-луп.





Нет, ты раскрой лицо, разоблачи
мотив податливый, колени, найди, где сердце.
На поясе твоём бренчат ключи
от скважин мировых, от скрытой дверцы.
Кто там за нею? Ну-ка, постучи...



Чтоб вещи сдвинулись, поплыли, отворя
все, что там пряталось за ними, меркло, блекло:
любовь таинственней, чем звезды, чем моря,
а ревность пламенней, рубинового пекла,
ан – рядится то в мышь, то в снегиря.

А смерть прекраснее, чем первый день зимы.
И сад в снегу с открытыми глазами.
Старуха вещая, на дне твоей сумы
давно написано, что происходит с нами,
совсем не так, как это видим мы.



Три тайны вручены тебе, смотри:
одна – любви, другая – смерти... Страсти
при них тускнеют, словно фонари.
А третья тайна – это тайна власти.
Все было так, как скажешь. Говори.

НЕМОЩЬ

В детстве я боялась смерти в виде будничного
эпизода: наледи на краю колодца,
иль иголки швейной с нитью, вдетой в будущее:
спит царевна, спит и не проснется.

День сменялся сумерками грязновато-палевыми,
испарялся охрой из стакана.
Ну а вы – как жили вы? безопасно спали вы ли?
Под какой охраной?

Сны смотрели льстивые, грозные и прелестные,
где расплывчато, туманно и всесильно
звезды, облака над вами – кучевые, перистые,
и земля вокруг – крепка и семижильна.

Мне ж – тончайшей тканью, ожерельем бисерным
жизнь страшна была: вот-вот порвется
от зацепки малой, вдоха, шага, мизерным
ноготком царапается, коготком скребется.

Мир грозил ей киноварью душной, стеариновой свечкой, непогашенной спичкою усталой, рыбьей костью в горле, коркой апельсиновой под ногами, камнем с кровли обветшалой.

Молнии обшаривали небеса, пошаливали их шары, грозились выдать имя.
О напрасной смерти слезы Авелевы вопиют. Земля полита ими.

...Но познавших немощь собственную, ту еще и беззащитность, ужас, страх и трепет, как младенца, обволакивает облако ликующее, нежность ранних птиц, блаженства лепет!..

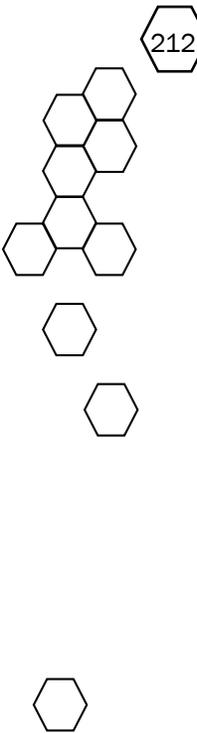
ПРОСТО...

Что-то мертвые стали ко мне захаживать...
Придут – и сон рвется.
Только монах Михаил нальет вино,
посмотрит его на свет,
только папа сядет в углу, закурит и улыбнется,
только Галья произнесет:
“Поначалу так страшно было,
а сейчас – нет”,
как все исчезнет... Пепел погаснет. Вино прольется....

Ни о чем их не успеваю спросить: где они,
на небесной тверди
или же в бездне? Как их искать, если что?
Ждать у какого моста?
Знают ли они о судьбе живых,
особенно о часе их смерти?
А главное – видели они или еще нет – Христа?
И – ничего. Лишь душное одеяло в конверте.

День говорит: “во-первых” и “во-вторых”,
а также “в-третьих”, “в четвертых”:
мертвые никогда не приходят к своим живым,
живые вовек при себе не удержат мертвых,
сновидение ходит косо, смотрит глазом кривым,
бездна заплетена в его буквах стертых.





Просто – настала осень. Заморозки на почве,
сутулятся сами плечи,
бродят Забвенье и Страх меж цветов полевых,
и посылается дар слез вместо дара речи...
Просто мертвые продолжают любить живых,
а те – сгорают, как восковые свечи.

“НЕВОЗМОЖНО”

Я уже встаю на цыпочки, у меня от ветра цыпки,
даже сумерки меня стыдливо прячут.
Ибо сердце – что-то вроде цитры, мандолины, скрипки:
ты заденешь, а струна дрожит и плачет.

Даже птица вдруг почуяла неладное, и страхи
каждый куст толкают к разговору.
По дорогам заматались эти “охи”, эти “ахи”
и ведут луну к ущербу и разору.

...Неужели ты не видишь, что творится, как тревожно
небо дышит, капли пьет, жует отраву
и несет тебе в футляре черном слово “невозможно”:
так держи – оно твое по праву!..

Но такой, как я, – юродивой, странной деве нерадивой –
посреди скорбей, отверженности,
хлябей, кораблекрушений
с этой цитрой рыдающей, с мандолиной несчастливой
оттого еще таинственной, оттого еще блаженной...

ПЕСНОПЕНИЯ

I

Господи! Я напоминаю чуму,
ураган аравийский, тьму
Египетскую, фараонову лесть,
а ведь так говорила – петь Господу Моему
буду, пока я есть!

Я с ладоней Твоих глотала Твой виноград,
мне казалось – сплошь зарифмован Твой вертоград
и Твоя запятая всего горячее, остра...
И едва ли не Сам Ты – в летящем шелке до пят
прямо здесь стоишь – у самого моего костра!

На меня поднимался самый мятежный полк,
и служил у меня на посылках матерый волк,
вечеряло небо со мной за одним столом...
До сих пор шелестит этот вкрадчивый легкий шелк,
уходящий в лепет: лепет, переходящий в псалом.

Безымянный – чернел под моею ногой провал,
бессловесный, одетый в железо, полк бунтовал,
осажденный город падал, смертельно пьян, –
пока Ты не взял меня в руки, словно кимвал,
не ударил, словно в тимпан!

II

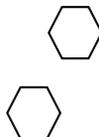
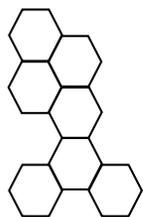
Ты меня узнавал по имени меж теней.
И откуда лыка не свяжут пять чувств, семь дней
и двенадцать месяцев, – здесь, в ледяном снегу
не сыскать ни белых ворон, ни вороных коней,
ни тем паче того, кого назвать не могу.

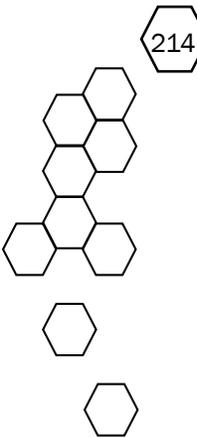
Я к нему приходила со всем юродством своим, тоску
украшая венком из ромашек, лесным “ку-ку”,
веселящим юность, вином обожанья, но –
Ты был с нами всегда на страже и начеку:
помнишь, я ему жизнь свою обещала, как ни смешно?

Ибо что обещать может хвощ полевой у порога зимы
иль жердь,
даже если Твоя земля начинает светиться, сияет твердь,
и ликует воздушный сгорающий окоем, –
пока Ты меж нами не встал и вторую смерть
не привел, а первой умерли мы вдвоем...

III

Дождь со снегом заняты собственным ремеслом,
присваивая окрестность, задним числом
поминая красавиц, а те, выходя из игры,
превращаются в тучных замерзших теток, –
уже с веслом
никогда не встать им у водомета – там, на верху горы...





Все в упадке, крушенье... Знобит ледяное пальто...
Если, правда, я есть только то, что имею,
то я здесь – никто
и огульное “нет”.
И сквозит в мое решето
синеватый морозный свет.

Сквозь меня мерцает молоденькая зима
и Господские праздники – Рождество, дома,
превращенные в ясли. Оттуда несется весть:
ты имеешь все то, что ты есть сама,
ты имеешь то, что ты есть!

ЗА АФИНЫ И ФЕРМОПILЫ



Я одним глазком заглядывала в Бейрут
и одной ногой зашагивала в Багдад,
и в Дамаск запускала руку, и был обут
в сапожищи Ливанских гор и багров закат...
А глаза закрою – он ярче горит сто крат.

Я входила в Ерусалим под его звезду.
Целовала в белые камни, в старческий лоб
и в маслины скукоженные в Гефсиманском саду,
в бугенвиль кровавый его, в острый иссоп.
До сих пор мои губы чувствуют жар, озноб.

В Иудейской пустыне монах мне давал лукум
и поил из греческой фляги водой, аскет,
и крестом осенял, чтоб меня не свалил самум
и чтоб сель миновал, и чтоб бес потерял мой след.
И хранит меня этот крест, как Фаворский свет.

Чем воздам Промыслителю, Создателю бездн и гор
за Афины и Фермопилы, за жест, за взгляд,
за Чермное море, за Патмос и за Босфор,
и за Солунь, и за Керкиру, и за Царь-град?
И любое имя слаще, чем виноград.

Да хотя б за то, что, на лоб нацепив плюмаж,
водопад отодвинув локтем, шурясь на свет,
мексиканским индейцам читала я “Отче наш”,
а они “Pater noster” учили меня в ответ.
И водил по сердцу отточенный карандаш.

И пока корабли мои качаются на волнах
между Сциллою и Харибдой, мул ждет у горы Фавор,
и спускается облако, всю ночь стоит в головах,
ветер с моря прочь из души выдувает сор, –
ни один мне не страшен враг,
не опасен вор.

И когда я совсем уйду, – как медленный караван,
вслед за мной потянутся Дарданеллы, Ефрат, Ермон,
даже Нил безумный – и тот, он стар, он пьян,
Понт Евксинский, ветра с четырех сторон.
И омоет пятна мои Иордан, упокоит сон.

Я полмира с собой унесу. Лишь обрывок, клочок
здесь оставлю: Нью-Йорк, Баскунчак, Дакар,
так – какую-то мелочь. Тяжкий чужой песок.
Остальное возьму, куда ни один Макар...
Бьется в глазу Кура,
Эльба стучит в висок.

Все со мною пребудет, что я полюбила, – да!
Разложу пред Господом Сил, Господином лет:
– Посмотри, у меня и Твоя земля, и Твоя вода
сохранили вкус, сохранили запах и цвет.
И готовы к вечному празднику города.

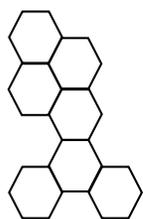
И – о чудо! – царственный Параклет
Преображает черты, просветляет взгляд,
И мои облака несут, преломляя свет,
То фрегат византийский, то флорентийский сад...

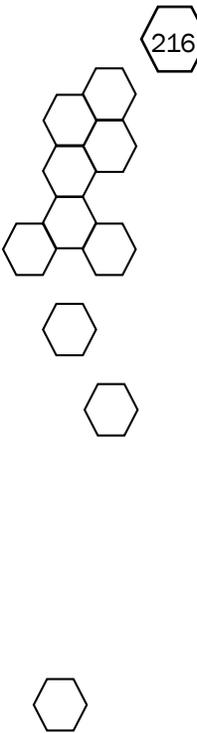
И дети бегут им вдогонку и машут вслед!

ГЕРОЙ

Кажется, этот корабль сам не туда плывет.
Капитан обманут. Он четвёртые сутки пьет.
И помощник болен морской болезнью, и всех мутит.
И огромная рыба над мачтой во тьме летит.

Вся команда на нервах, сорвана с якорей:
где-то спутали звёздную карту с картой семи морей,
и теперь, если верить лоцману, дымящему не спеша,
то ли они у чёрной дыры, то ли – у Золотого Ковша.





Ах, они и сами вдруг позабыли, кто там зафрахтовал
этот белый корабль – крутанул со властью штурвал, –
надо бы выяснить, что это за сюжет и кто виноват,
Одиссей ли тут, Иона ль, Колумб, Синдбад?

Что за птицы с женскими лицами, облака и тут же – киты.
Ходят волны большими стаями, разевают рты.
Но язык их – греческий ли, испанский – понятен, и – всё одно:
как бы ни было, а герой спасётся, корабль же уйдёт на дно.

...Юнга всю ночь буянил и бунтовал – теперь он не может встать,
он вопит, как он хочет жить, и тут же валится спать,
и на мешке со смоквами летит себе к небесам,
а там ему говорят: «Так будь же героем сам!»

Он продирает глаза, а ветер ревет ревмя,
он говорит всем: «Братия! Буря из-за меня!
Молния метит мне в темя в заговоре с луной,
и кит меня караулит, и вихрь послан за мной.

Я – спавший на смоквах в трюме, на карте семи морей,
в такие дела замешан, в боренья таких скорбей...
Зовите же капитана! Пусть знает!..» И, чуть хмельной,
уходит в пучину моря со звёздами и луной.

ПЛАЧ ИОНЫ-ПРОРОКА

Даже Иона к врагам не хотел идти!
Даже пророк упирался и говорил:
– Господи, почто их хочешь спасти?
Пусть их накажет архангел Твой Михаил!

Даже Иона – и тот: «Не пойду туда!
Пусть себе гибнут, несмысленные, пускай
гром поразит их, морская зальет вода...
Лучше народ Свой, Господи, обласкай!»

Даже Иона! А я что Тебе? Темно
слово моё и воля моя, как дым,
чтобы ломиться в двери, стучать в окно
к ушлым ниневитянам Твоим седым!

Иль чтоб юнцам, не знающим ни аза,
любящим только снедь, верящим только в плоть,
раскрывать слепые глаза
и толковать величье Твоё, Господь!

Может быть, пусть их? Пусть бы, нажив обол,
протекая меж пальцами, как вода,
тихо бы уходили в темный шеол,
не оставляя ни памяти, ни следа?

Может, в этом и есть свобода для них – небес
полная пустота и глухой провал,
и чтобы Ты не мешал им, Господи: Сам не лез
и от Себя посыльных не посылал?

И чтобы свыше за ними не наблюдал,
и чтоб их тайных не слышал грёз, темных речей,
за руку не хватал, на слове не поймал:
каждый сам по себе, никому, ничего, ничей...

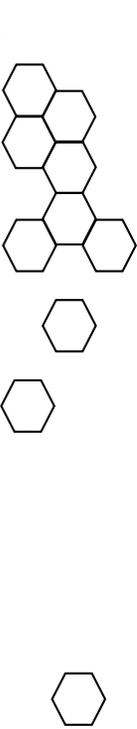
Выбравший гибель – пусть гибнет: века сего
логика замыкает кольцо.
...Даже пророк не вмещает милосердия Твоего,
плачущее отворачивая лицо.

САГА

– Вот, – он думает мстительно, –
она еще ко мне вернется,
она еще примчится ко мне, еще прискачет,
она еще у меня попляшет!
Еще приползет ко мне, будет молить о пощаде,
будет следы мои целовать, ноги мне мыть – воду пить,
есть землю!
А я ей скажу:
– Не будет тебе пощады!
Слугам скажу:
– Вытолкайте ее шею!

...Пять лет проходит.

– Вот, – он думает с горечью, –
она еще ко мне вернется,
она еще пожалеет,
она еще все поймет,
раскается, будет рвать на себе волосы, реветь белугой.
сядет у моего порога,
будет бить в грудь себе кулаками,
в окно стучаться, просить прощенья.



А я ей скажу:
– Не прощаю! Поздно!
Дверь запру и окно захлопну.

...Десять лет проходит.

– Вот, – он думает с великим волнением, –
она еще ко мне вернется:
на устах – улыбка сожаленья,
в руке – алая роза.
Войдет в дом, на стул присядет,
скажет:
– Давай по-хорошему поговорим,
я всё тебе объясню!
А я отвечу:
– Ну что ж, говори,
только не завирайся!
И безразлично так отвернусь, прикрывая рот, словно зевая.

...Двадцать лет проходит.

– Вот, – он думает с отчаяньем, с нетерпеньем, –
скоро ль она вернется?
Я уж и дверь распахнул,
посадил у крыльца куст жасмина,
надел лучшую одежду тонкой работы.
Скоро ль она придет, скинет плащ у порога,
скажет:
– Долго ж я шла к тебе! Как устала!
Завернется в плед, заберется с ногами с кресло:
– Ну – какие новости? Как ты тут поживаешь?
И я сяду возле нее, словно ничего и не происходило,
словно не расставались.

...Проходит лет двадцать пять, не меньше.

– Вот, – он думает с трепетом, – скоро ль она вернется?
Уже и жасмин отцвел, и одежда сносилась,
глаза потухли, сердце перегорело.
Оползень разрушил дороги, дом покосился.
Когда же она появится, наконец, и спросит:
– А где же хозяин?
Выйдет сосед и скажет:
– В доме никого нет, а хозяин умер.
А вы кем ему приходитеесь? Родственница?
Или по работе?
И тогда она попятится, и заплачет,
и замашет руками,
и умрет на месте!

ВЕРБА

Помню, как остывали
звезды в реке ли, в чане,
выли, на помощь звали
бабы-односельчане.

Как кричала неясить
в полночь, когда счастливец
здесь забивали насмерть
два бугая-ревнивца.

Кости ломали, жилы
рвали, аж кровь кипела –
за молодые силы,
за красивое тело.

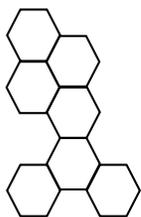
За лицо – без изъяна,
статный стан без ущерба,
где одна средь бурьяна
лишь молодая верба.

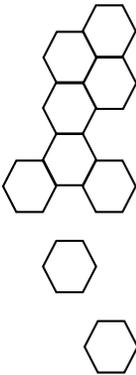
За глаза – без порока,
кожу – белее мела.
И засохла до срока
верба да почернела.

Словно смерть человечью
взяв себе, в день воскресный
молодца – вербной речью,
силой своей древесной,

ветками оплела,
листьями обложила,
на ноги подняла,
соками опоила...

Бабы о вербе той,
пьяны, хмельны ль, тверёзы,
песни слагают, -
пой
с ними,
глотаю слезы...





Игорь КАРАУЛОВ

ЧУДНЫЕ ОТКРЫТИЯ

* * *

Зима это повод сказать о зиме,
весна это повод сказать о весне.
Нет, не о том, что внутри.
Нет ничего ни внутри, ни вовне.
Но ты говори, говори, говори.

Напряжение связок голосовых
создает города, острова.
Колебание стрелок в пустых весовых,
где сквозняк вертит синие рукава.

* * *

Не звуки, не вещи, а паузы
и пазухи стали важны.
Всё выпавшее из памяти,
наутро забытые сны.

Как будто на дачу из города
продукты, провизию вёз,
а сеточка где-то там порвата
и воздух в ней дорог до слёз.

* * *

По субботам ругался с женой,
пиво пил, пидарасил квартиру.
Был огромный, как шкаф платяной.
А вчера он погиб за Пальмиру.

Будто в школьный учебник вошёл
по истории древнего мира.
На обложке сияет Пальмира
с синей надписью «Вовка - козёл».



* * *

Ушёл и ты, R2D2,
в немую пустоту,
в бессмысленное ничего,
где нет СЗРО.

Рыдай, рыдай, имперский марш,
еще один – туда ж!
Имперские штурмовики
снимают шишаки.

Дрожит над гробом Джабба Хатт,
как горький мармелад.
Подавленно косясь на печь,
Чубакка держит речь.

Нас жизнь лупила как тюфяк
и била об косяк.
Нас Йода вырастил на страх
врагам во всех мирах.

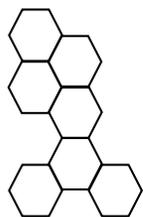
Давно проект наш устарел,
но пламень в нас горел.
Что ж, как сказал мне мудрый клон,
таков судьбы закон.

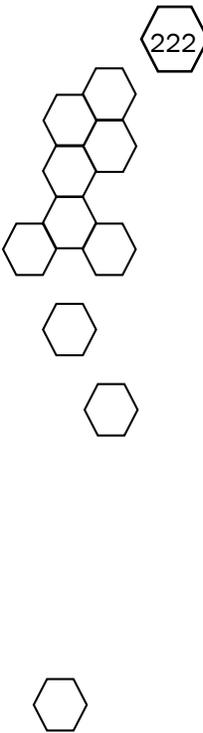
Ещё один борец со злом
попал в металлолом.
Вот дата, сколько килограмм
и – хлоп – печать углом.

* * *

Давайте Путину напишем
о том, как плохо мы живём,
как мало подаем мы нищим
и как бесславно мы умрём.

Давайте Путину напишем,
как, повседневностью больны,
мы долго можем жить без пищи,
но не без ядерной войны.





Война, раскрытая сезамом,
лежит невинно на тахте.
Пусть каждый станет партизаном
в её бездонной наготе.

* * *

Je suis боярышник. Je suis
простой цветок, не приворотный.
Вон, смерть на поиски жратвы
пустилась в рейд по подворотням.
Гонцы полуночных земель
меня доставили в столицу
и чёрный ангел Амнуэль
вонзил меня в свою петлицу.

* * *

Давайте есть друг друга поедом,
как суп, жаркое и компот.
Кого-то сволокут на подиум,
иной вспорхнет на эшафот.

Какие чудные открытия:
во имя правды на земле
походкой от бедра, от крылышка
филе идет на дефиле.

* * *

мы поедем вместе с тобой вдвоём
поутру на поезде скоростном
из вещей захватим один билет
в поездном буфете возьмем омлет

пусть омлет неважен но есть вайфай
промелькнет над химками дед мазай
а у тосно выдохнет дед мороз
горький дым берёз или папирос

нас не встретит огненное кольцо
и железный град не побьет лицо
мы поедем мимо любых блокад
на немецком поезде в ленинград

* * *

филипп денисович бобков
скакал по полю без подков
дивились ель и липа
отважности филиппа

филипп денисович бобков
начальник паровых катков
глядит как мир закатан
по гнездам и квадратам

филипп наукою храним
бежал как брат его трофим
денисович лысенко
из генного застенка

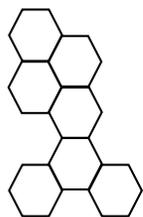
филипп денисович бобков
отметит скоро сто годков
все органы на месте
глядишь и будет двести

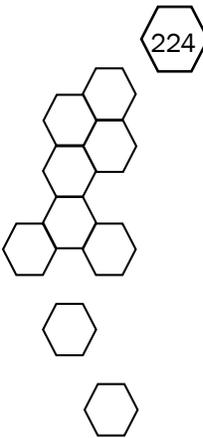
настанет новый юбилей
растают гум и мавзолей
велит филипп денисыч
себя из камня высечь

и будет дальше назубок
твердить россия свой бобок
все что денисыч душка
ей нашептал на ушко

* * *

здравствуй отечество наше свободное
дружбы народов дурацкий флешмоб
армия адова тьма инородная
твердой рукой человечество в гроб
полчище ботово славное ольгино
синий троллейбус последний блокчейн
партия ленина студия волгина
старые песни поет рубинштейн
тихая мать журавлиная родина
тайный комплот и священный оплот
все что разграблено предано продано
нас к торжеству коммунизма ведет





волны дунайские дюны дубайские
гернси и джерси и белый прибой
жолнежи панские прихвостни байские
так не глумились как мы над собой
все мы садисты и все мы фашисты и
каждый другого виной виновать
белой акации гроздьа душистые
нам не простить а чужим не понять

* * *

Зачем они спасают мир,
все эти бравые агенты,
сотрудники различных МИ,
в сплошное черное одеты?



Мир знает, как себя спасти,
с своею справиться орбитой.
Ему довольно зарости
борщевиком, травой несытой.

Чтоб от подъезда до угла,
от воскресенья до субботы
трава забвения взошла,
как армия из терракоты.

Прекрасен лес борщевика,
зонты, рыгающие ядом.
Здесь не найдешь большевика
и нет приюта прочим гадам.

И мы с тобою под зонтом,
друг друга обхватив за стебли,
в зеленом облике вдвоем
растем для дела, не для мебели.

И попавшийся шпион,
как кур, пожаловавший в ощи́п,
внезапно чувствует, что он
не «просто Бонд», а много проще.

* * *

На самом деле чужие не против хищника,
если только он выглядит симпатичненько,
да и хищники готовы принять чужого,
лишь бы он пищу тщательно пережевывал.

Умники тоже вовсе не против глупых,
только бы они не собирались в группы,
а идиоты готовы терпеть Эйнштейна,
лишь бы он их не мучил задачами про бассейны.

Никому не милы лишь белые ходоки,
но и те приживутся, если не мудаки.

* * *

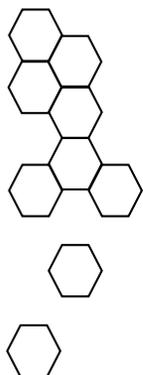
Иосиф подъезжает на серой KIA,
у него в багажнике доски, гвозди, киянки,
на стекле надпись: «Спасибо за сына»,
на заднем сидении свежкупленные фиалки.

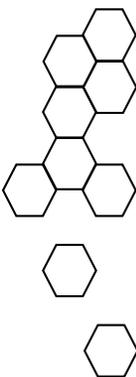
«Какого сына?» - глядит из окна Мария,
не помню, чтобы рожала тебе жидочка,
у меня же дочка.

Иосиф на лифте грохочет сквозь этажи,
считает секунды, держа за спиной букет.
Мария глядит, как пернатый кусочек лжи
вылетая в окно, превращается в чистый свет.

* * *

Рыбалка, в сущности, основана на гнусном
обмане рыб.
Примерно то же мы зовём искусством.
Глаза раскрыв,
мы видим, как посвёркивают блёсны,
мерцают червячки.
А наверху плюются через дёсны
смурные мужики.
Мы рвёмся из юдоли водных лилий
туда, на свет.
Но розовый японский карп Василий
туда не хочет, нет.





Он видел всё: и пиво, и ведёрко,
и мусорный прибор.
Он улыбается всезнающе и горько
разорванной губой.
Об этом он рассказывал немного,
сошел за чудака:
как задрожало вдруг лицо живого бога,
и он слетел с крючка.

* * *

через какие трещины не знаю
нахлынет жизнь иная внеземная
и отберет рабочие места
у ангела министра и кота

у трубочиста дворника и ката
всех тех с кем вместе жили мы когда-то
делили кров похлебку и самсу
держали целый город на весу

уже сегодня жвалы и тентакли
под елкой ставят детские спектакли
и кремнийорганических мамаш
не выгонишь из центров распродаж

а мы погибли
взяли и погибли
писали проги сочиняли гимны
изобретали множество вакцин
за божий гроб мочили сарацин

прекрасна жизнь
обнимемся пошире
верблюды эльфы женщины мужчины
прижмем к себе родное барахло
авось и не протиснемся в жерло



* * *

банда легких времирей
запланировала кражи
из картинных галерей

незаметные пропажи
и провалы в черноту
нет не надо в эрмитаже
там солдаты на посту

для начала что попроще
где висят стена к стене
полдень в поле осень в роще
бесприданница на дне

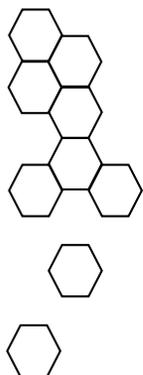
* * *

Я не бывал в коротких списках
и в длинных я не ночевал.
Я хоронил родных и близких
и зубы новые вставлял.

Жизнь шелестела как купюра,
старушка-смерть была добра.
Пришла-ушла литература,
как приходящая сестра.

Живут поэты в списках длинных,
как на вокзале татарва,
и пьют с гаишниками в блинных
в предощущении родства.

И вспоминает бомж-чудила
в тельняшке, кличка «Адмирал»:
кому-то премия светила
и в путь звала.
А компас врал.



Юлия БЕЛОХВОСТОВА

ПАПИНА ЯБЛОНЯ

Нестройность птичьего сопрано, воскресный благовест вдали,
под сладкой тяжестью шафранной согнулись ветки до земли,
в коклюшках веток – паутина, и день плетется кое-как, стоит
плетеная корзина, наполовину в яблоках... В траве, в садовой
бочке, всюду избыток райский, собирай и веруй в яблочное чудо,
в необычайный урожай.

Вот эту яблоню за домом я помню дольше, чем себя. Отец
рассказывал знакомым, что к середине сентября (не этого, но
через годик уж точно) будет нам пирог, все дело в правильном
уходе. И он ухаживал, как мог: поил, кормил, зимой холодной
ствол мешковиной пеленал... Увы, она была бесплодной, как
Аврамова жена.

Сад пережил пожар, щитовок, набеги выросших детей и переделку
в духе новых ландшафтно-парковых идей. Творцы в порыве
вдохновенья хотели яблоню срубить, но для густой прохладной
тени оставили. И птицы вить в ее ветвах привыкли гнезда, а
папа в солнечные дни любил сидеть в шезлонге пестром в ее
спасительной тени.

Тот год, когда мы проводили отца, был яблочно богат. Под слоем
золотистой пыли тонул в осеннем солнце сад, со стороны усадьбы
старой трезвонили колокола, и яблоня библейской Саррой
воспрянула и понесла – согнулись ветки под плодами, не в силах
с ношей совладать, а в доме пахло пирогами, а в сердце стала
благодать.

БЛИЖНИЙ КРУГ

Мой ближний круг очерчен так давно,
так ловко замкнут, что не видно стыка.
Зима корнями сплетена с весной,
из лета в осень вызрела брусника,
и так горчат плоды её на вкус,
налитые уже багряным соком,
так тяжелы на ветке, что, боюсь,
из круга выйдет кто-нибудь до срока.
Но не сейчас.

Пока жужжит пчела
над медоносным счастьем внутрикружья,
течёт с небес янтарная смола
густого солнца, гром гремит снаружи.

А здесь, внутри зеленые ростки –
вытягивается трава простая,
цепляется за старые сучки,
мой ближний круг прочней переплетая.

ПТИЧИЙ ДОМ

Витым стволом оливкового дерева
удерживаю небо над землёй,
удерживаю всё, во что я верила,
едва взойдя из косточки гнилой.

В моих ветвях навиты гнёзда птицами,
поют пичуги песни без конца,
и потому нельзя пошевелиться мне,
чтоб не стряхнуть ни одного птенца.

Держусь корнями, упираюсь кроною,
растаю в землю глубже с каждым днём,
ни в бывшую, ни в будущую сторону
не двигаю по свету птичий дом.

О том, что пережито и отлюблено
шуршит листва, потраченная тлёт.
Когда под корень буду кем-то срублена,
не удержаться небу над землёй.

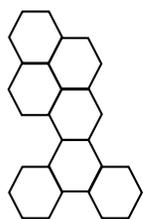
БОЛЬНИЧНОЕ ЛОТО

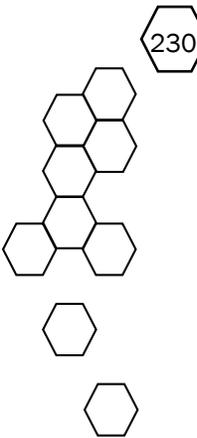
В больнице с номером «перчатки»*,
в неврологическом аду,
старушки примеряют тапки
с чужой ноги и в них бредут

из процедурной до столовой,
из дней минувших, но былых,
до небывалой жизни новой,
несуществующей для них.

Здесь проводник в халате мятом
уводит с этого на тот
этаж и с перешедших плату
берет бочонками лото.

* из лотошных терминов: 55 – перчатки, 11 – барабанные палочки





Здесь пахнет тем, чем пахнет горе,
помноженное на число
железных коек в коридоре,
и сквозь немывтое стекло

мелькают дни без точной даты,
покачивается каштан,
и номер по дверям палаты
стучит, как дробью в барабан.

НОЧЬЮ

До утра прислушиваюсь к ночи,
напеваю вслед за ней мотив.
А она об окна когти точит,
листьями в ливневках шелестит.

До утра бессонницей болею
от того, что где-то ты не спишь.
В липовую сонную аллею
облака стекают с мокрых крыш.

Здесь ли я тебе в объятья кану,
унимая радостную дрожь,
здесь ли доверительно, как тайну,
мне стихотворение прочтешь?

А пока в напеве одиноком
липы, перепуганные тьмой,
ветками царапают по окнам,
словно осень просится домой.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В полудреме утренней, в тумане,
принакрывшем беспокойство вод,
«Лев Толстой» идет к своей поляне,
человек, писатель, теплоход.

Перегружен судьбами людскими,
суммой незначительных забот.
Что их на плаву удержит? Имя,
зацепившись буквами за борт.



Что им в этом имени сегодня?
Миром ли закончилась война?
Хорошо, что Волга полноводна –
не достать до илистого дна.

Только тем до сей поры и живы,
вопреки теченью и судьбе,
что старик трехпалубный двужильный
наши души тянет на себе.

Тянет эту ношу человечью,
словно записавшись в бурлаки,
и «Антону Чехову» навстречу
подает гудок взамен руки.

НИКУДА НЕ УЕДУ

Никуда отсюда не уеду,
проросла корнями в тишину,
в долгую застольную беседу,
в зимнюю до срока седину,

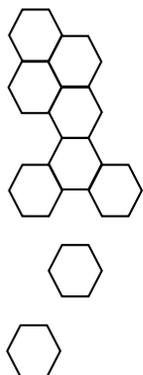
вмёрзла, словно лодка в лёд поспешный,
в ртуть остановившейся воды,
и прибрежный спутанный орешник
надо мной звенит на все лады.

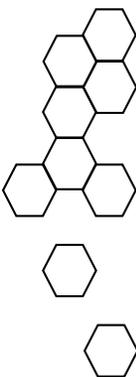
Ладно, ладно, есть места получше,
если по течению реки,
скольких там к обетованной суше
прибывало, видели таких.

А у нас метёт сегодня гуще,
не взирая на календари,
на ветвях осыпавшейся кущи
розовые зреют снегири,

ветер тут и холит, и лелеет,
пробирая нежностью насквозь,
ночь от ночи лепится белее,
лишь бы мне спокойнее спалось,

лишь бы за окном обледенелым
хоть одна маячила звезда,
и мело, мело во все пределы,
лишь бы мне не ехать никуда.





ВРЕМЯ ПОДОРОЖНИКА

А когда мои один за другим
окровавлены сыновья,
я уже не мать называюсь им,
а сестра милосердия,
не стихи – молитвы ко всем святым
распеваю им по слогам,
не наряды новые, а бинты
примеряю к рукам-ногам.

А когда пестрят по лугам цветы
– незабудка, мак, ноготок –
подорожник кожистые листья
разворачивает у ног.
Колокольчик синий начнет звонить –
у дороги в доме швея
достает иголку, вдевает нить,
аккуратно сшивает края.

И пока еще не осела пыль
на зеленый гляцевый лист,
и пока дорожки от слез скупых
по морщинам не растеклись,
только-только времени у меня,
чтобы подорожник сорвать,
чтобы кровь унять, сыновей обнять,
как сестра умеет и мать.

МЫ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Молоточки по височкам –
всё, что было на уме,
в круге замкнутом и прочном
мы готовимся к зиме.

Запасаемся терпением,
чтивом, куревом, мукой,
будем печь по воскресеньям
пироги, беречь покой,

рыбьим ртом молчать о важном,
о безделицах болтать,
и в стаканчике бумажном
ложкой чайною болтать.

Снег не прячет голых веток,
белизна не жжет глаза,
мы снежинки из салфеток
сядем вместе вырезать.

На безрыбье рак – не рыба,
на бесснежье пыль – не снег.
Мы друг друга за спасибо
прямоком ведем к весне.

Но пока еще не время,
молоточки – тук-тук-тук –
до утра вбивают в темя
всё, что выпало за круг.

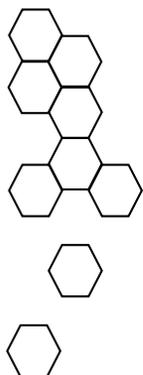
ЭТО ЗДЕСЬ

Это здесь, говоришь ты, и я соглашаюсь: здесь
ночью ясной, как прошлая, или яснее прошлого,
из ковша медведица сыплет на землю взвесь
серебристого цвета, сладкого снега крошево.

Посмотри, говоришь ты в десятом часу утра,
я смотрю из окна и вижу: дрова наколоты
во дворе, на траву из чистого серебра
налетают с деревьев листья чистого золота.

Скоро снег, говоришь ты, тяжелая голова
о погоде знает больше, чем метеостанция:
через день зазвенит стеклянно забудь-трава,
через два ничего от осени не останется.

Ничего, говоришь ты, потом уже не вернёшь:
ни опавших листьев, ни дров сожжённых, ни месяца,
ни ковша... хотя никуда не денется ковш,
из которого снег на землю сыплет медведица.



АНГЕЛ-ФЛЮГЕР

Как же, скажи мне, Господи, не ворчать,
Если со счета сбился – с какого века
Небо держу свинцовое на плечах,
Только бы не обрушилось прямо в реку.

Как же сиять по-прежнему, подскажи,
Если сплошные тучи меня накрыли:
Каждый проступок вверенной мне души
Гневом твоим ложится ко мне на крылья.

В городе, распластавшемся подо мной,
Каждой мольбы прерывистый шепот слышу:
Мимо меня не сбудется ни одной,
Нет никого над городом этим выше.

Что ж из того, что флюгером я кружу:
Как на таких ветрах оставаться стойким?
Господи, ты же знаешь, что я прошу
Не за себя. Спаси, сохрани – и только.

* * *

В этом море-окияне
что ни лодка, то ковчег.
Кто тут будет окаянной,
чем непарный человек?

Подбирай себе второго,
без него ни вплавь, ни в брод,
до чего же, право слово,
компанейский мы народ.

Птица к птице, рыба к рыбе,
на двоих одна блесна,
что с того, что вместе – гибель,
на миру и смерть красна!



НОЧНОЙ СМОТРИТЕЛЬ*Владимир ГАНДЕЛЬСМАН*

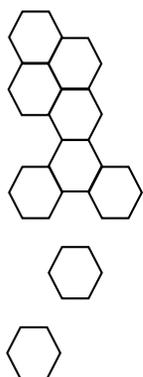
Всё пошептом да пошептом, читай,
что дальше там, какой ещё подъячий,
где дочь твоя, смотритель, то-то, чай
несёт, глаза в смущенье пряча,
я по казённой надобности здесь,
да, но с предчувствием печальным,
и сердце закипает, занавесь
окно, читай, о чём-нибудь, о дальном,
нет ближе ничего, здорова ль дочь,
бог знает, говоришь, сними с горящих
свечей нагар, читай, что дальше, ночь,
и плач, и причитанья всех скорбящих,
и набережная, и тот трактир,
явленье ротмистра в халате,
лакей военный, да, и вечный мир,
который обретёшь на Минском тракте,
здорова ль дочь, да где ты, за прогон
кому платить, кругом одни огарки,
и осень за углом, а с ней сам сон,
и вырин на дворе, вороний, каркий.

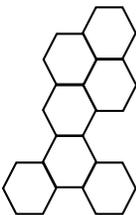
* * *

Помнишь, мы родились
в свет, в яркость,
в голоса
окликающих нас матерей
в январском дворе?

В каждый новый миг
мы не умели видеть
смерть предыдущей –
ничто ещё не умирало в ту пору,
даже секунда.

Помнишь, все были живы?
Ещё не измерено было горе
в единицах слёз
и никто не стоял,
прикрывая ладонью рот,
в тишине утраты.





Только пространство и отпечатки
люстры или дёревца
на сетчатке. Время
не наступило ещё на пятку
Ахиллеса, и эпос
пастбищем был, а не бойней.

Не было этого «помнишь»,
потому что нас
помнили, а не мы.
Нам ещё предстоял тихий
ужас воспоминаний,

когда начинает идти
время, уничтожая
радость простую,
радость пространства, –
с первого воспоминания,

которое я забыл.

ОКНО

Птичий щебет в золотом окне
и резьба по дереву в огне,
промельк, промельк мотыльковой почты.
Проявленья жизни беспорочны.

Все они растут-летают голенько,
а сквозь них просвечивает нечто,
что не знают люди-алкоголики,
что, в отличие от человека, вечно.

Ты прочтёшь это в глазах кошачьих
или в кронах, свет крошащих,
сквозь крапивницу или капустницу узришь –
и в секундном слове воспарись.

Что чудней и что разнообразней
нелакейских сил природы? Что случайней?
То, что не заискивает в жизни,
ближе к равнодушной её тайне.



* * *

Пот осени, когда она тепла.
Задымлены небесные тела.
Голубоглазы жестяные крыши.
За деревьями – острова.
Шарфы на шеях и немного выше.
Яйцо в оплётке – голова.

На Петроградской стороне –
дождей косящая страда.
Когда я в ноябре родился, мне
ещё и года не было тогда.
Но уж в родные закрома
ложилась – кто б вы думали? – зима.

Её полей белеющая мгла.
Секунда жизни быстро истекла.
А то б я волновался дольше
да и сказал намного больше.
Но кротость говорит: будь краток.
И воцаряется порядок.

С ОСТАНОВКАМИ

как безумный льнёт мнёт её лицо
целовать пытается но для неё
это пытка смотрит в окно
электрички холодно смотрит и далеко

следующая песочная

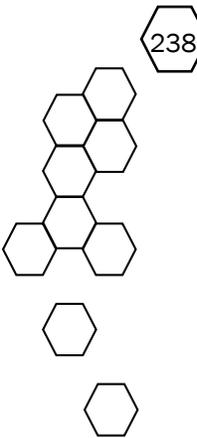
светомсочатся стволы муж от неё отстал
обречённо глядит перед собой
жена отводит глаза устало
как если бы их везли на убой

следующая левашово

плешь его ушёл в автомобиль заза за
окном сосен ровный шаг
она то приоткроет то закроет глаза,
прижимает к груди пластиковый мешок

следующая парголово





покачивается пара голов
где-то в другом конце разговор
высажу врать не надо обрывки слов
точно всемирный стыд идёт контролёр

следующая шувалово

жалкого жаль и жалкую шпалы
скрипы уключин и крендель булочной
за шлагбаумами
блочные эти дома вечер солнечный

* * *



Сестрица мерила наряд,
шепчась с соседкою,
ещё не умер друг, и брат
входил с ракеткою.

На ветках в дымке золотой
птенцы чирикали,
мальки сновали под водой,
часы не тикали.

В то время я не воспарял
и не загадывал
желаний. Ставни растворял –
и свет окатывал.

Ты помнишь лето – день за днём –
какое выдалось?
А что надвинулось потом,
то и надвинулось.

Когда вплотную к ничему
стоишь, возможно ли,
чтобы ушедшие во тьму
прощально ожили?

Ведь нет любимых в тех краях,
где мне прощение
мерещится за мерзкий страх
развоплощения.

ТОЖДЕСТВО

В мёртвые часы
когда ни чувств, ни мыслей,
открой тайник боли,
на время забытый, спасительный,
возвращающий к жизни.
(Только боль к ней и возвращает).

Ты увидишь, как вьёт
горе своё гнездо. Что ни дерево –
то гнездо. Что ни ветвь –
то жилы, что ни вечер –
закат червонный.

И тогда на краю сознания
загорится стыд.

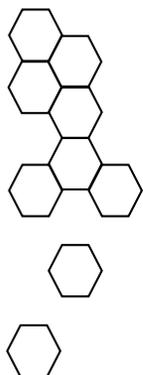
А как станет боль нестерпимой,
убери тайник с глаз долой
и зарой его в чернозём обратно.
(Мёртвому стыд неведом).

* * *

слышишь звучит паровозный гудок
станции Щорс ненасытный глоток
воздуха с примесью гари
в горле застряли толчки поездов
запах травы остывающий ночью гербарий
волны за изгородью чёрных садов

ровень с ребёнком задуман плацкарт
руки родные отрывочный пар
вовремя вовремя надо сойти
по узорчатому железу ступенек
голос с третьего или седьмого пути
вдоль полотна крапива ремень репейник

улочками под россыпью звёзд живых
мимо подсолнухов спящих седых
источающих накопленный жар
помню а если забыть придётся
шевеление стад коровьих или овечьих отар
нескончаемо и без тебя не прервётся



* * *

Если однажды не вынырну
(жизнь, как ты знаешь, убийственна),
я тебе боль верну.
Она единственная.

Ей не нужны враги –
только любимые. Как почернею дочерна,
ты её береги,
чтоб оставить в наследство дочери.

Береги, не развей,
хоть и нет в боли красоты...
Для кого? Не смеши, оставь для своей,
потому что моя – это ты.

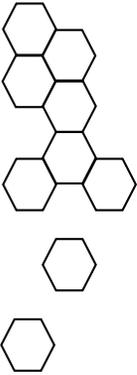
НАКАНУНЕ

В девять мы легли –
она у себя, я в своей.
Говорит: «Опять задувает». Ветер земли
дул, раскачивая тень ветвей.
Я хотел её поддержать,
словно видя висящую на волоске
жизнь, но слов, чтоб ей не дрожать,
не нашёл, сам подрагивая в тоске.
Что с того, что подлинность есть
в том, как ветер окно задувает, а ты – свечу,
если наших утрат не счесть
и считать не хочу?
Ничего с того.
Праздник, он с головы до пят
пробирает, мать. Особенно Рождество.
Как начало утрат.

ВЫПИСКА ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Смотри, вот белый порошок,
вот жёлтый, синий,
зелёный, а на посошок
прими павлиний –
на случай, если времена
перемешались
и ты забыл их имена.

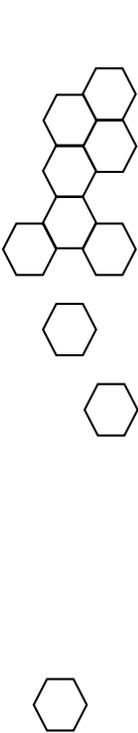
Чья это шалость?
Господня? – Только что в мозгу
вертелось слово,
а вышел – свет, и не могу
найти простого.
Ни слова, ни лекарства нет,
ни дня, ни ночи, –
жизнь, распушив павлиний свет,
мне застит очи.



ЭПИЛОГ

Если ты пережил смерть родных
или хуже: измену их,
если ты чудом остался жить,
как тебе быть?
Выйти к морю? Уставиться в полосу,
отделяющую его от небес,
душу держа на весу,
пока не исчезнет вес?
Что это? Что сейчас
здесь и с тобой?
Биология безразличных масс
или то, что тебе причиняет боль?
Полчаса – и заря сменяет зарю.
Я не знаю, кто понуждает: «живи».
Если б сердце думало, говорю,
оно бы останови





Мария ВАТУТИНА

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ

* * *

Праздники пережила, переживу и будни.
Здравствуйте, пчелы-дочери, сыновья-трутни,
Здравствуйте, бобыли, отшельники, отщепенцы,
Здравствуйте, старцы глупые, мудрецы-младенцы.

Ну же, откиньте занавес, включите софиты!
Я ли вам не царица, мать всея свиты!
Я ли вам не создание по образу и подобию?
Я ли вам не улей с состраданием и любовью?

Кто вас еще согреет в складках, подложит под вымя?
Кто вас еще отправит летать над травами полевыми?
Кто будет в ногах валяться, в Сечу не отпуская?
Кто оплачет вас, в похоронный воск опуская?

Смейся-смейся, эдакий ты проказник.
Будет и на твоей улице праздник,
От немоты которого ты полезешь на стенку.
Научу тебя снимать и с этого пенку.

Я ведь думала, на мне грехи предков, сглаз старухи,
Проклятье жен, венец безбрачия, лживые слухи,
Оказалось — Бог во мне. Рулит мной, как наважденье,
И никого не пускает в свои владенья.

Здравствуй, жужжащий рой: сестры мои и братья.
А коль стану старая, соберусь умирать я,
Что имею, оставляю тут без остатка.
Будет вам не горько, детушки, будет сладко.

А пока летайте, разживайтесь пыльцой смысла.
Пейте радость мою и боль, покуда не скисло,
Спрашивайте у слепня и овода, добра ли природа.
Спрашивайте у меня и Господа про сотворенье меда

ОКРЕСТНОСТИ

Всё у нас, как встарь:
Морду друг другу бьют и уходят с миром.
Пьют и говеют, гонят сивуху и дэзу.
Пули трассируют выверенным пунктиром
И превращаются в антитезу
Прошлого.

Древним способом меньше рóдят,
А другой раз держат жену и семью заводят
На стороне.

Полигамный отрок
Сам себе князь Владимир, вчера из панков,
Апологет язычества, выбирает в сорок
Веру и ходит на службу в один из банков.

Волгая, комариная, паутиной
Стянутая реальность, где крест в окружность
Вечно вплетен – окрестность моя, рутиной
Насмерть изматывающая,
за ненужность

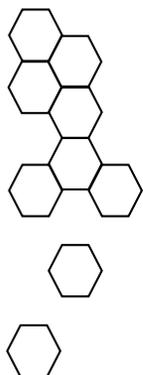
Здесь головы не рубят, а привечают чином,
Ну, на худой конец остограммчат свойски.
И за любым овином
Войско на войске.

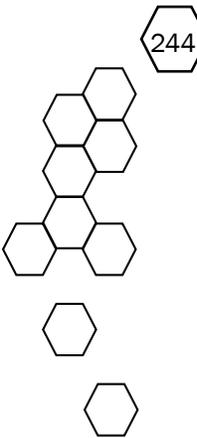
Гарнизон на гарнизоне,
А вечерами – ах ты –
Выйдешь курнуть на крыльцо, из соседней шахты
Нечто взлетает в небо и без последствий вроде.
Разве что вздрогнет пугало в огороде.

* * *

Глаз, привыкший к пейзажу, ищет
Святу пищу среди болот.
Но деревья вокруг жилища
Все знакомы наперечет,

Быт убогий, уклад увечен,
Нелюдимы соседи все.
Среднерусский дождливый вечер.
Старосходненское шоссе.





Лишь пестреют в траве игрушки,
Да из дачи наискосок
Кто-то смертно орет частушки,
Словно жизнь запасает впрок.

* * *



Ну, что, православные! Долго еще до села?
И вышла, и встала, как Буба на хлипком помосте.
По улице Школьной, вдоль серых заборов дошла
До крайнего дома. – А здасьте, а вот вам и гости.

Безглазый старик отстраняется на два шага.
– Ну, как поживаете? Я это, внучка, ага,



Корова на речке, картопля на печке, гарбуз
На грядке, огурчики в кадке, горилка.
Какой-то особый у воздуха здешнего вкус,
И солнце печет-припекает особенно пылко.

И пахнет с полей, и под вишнями слепни и тля.
Кругом кукуруза, цыбуля, ну, словом, земля.

И к вечеру ближе сидит и читает, и так
Рыдает, что вся на груди телогрейка промокла.
Сидит и читает Шевченко на память Буряк.
Фамилия деда такая. По-нашему, свёкла.

ГЛЕЧИК

Человеческий дух в плацкарте убивает любую вошь.
И колбасный дух, и чесночный, и самогонный,
Запах пота, запах мочи, запах-правда и запах-ложь,
Запах-страх, запах шахты горелый, темный.
Чем ты пахнешь, дед? Что в кринке своей везешь?

Разомлев, напротив спит пацанчик, и пахнет он молоком.
В ногах у него пышет жаром, храпит загорелая баба.
Прикорнул на полу в проходе рабочий, пахнет он молотком,
Ржавью пахнет его товарищ. В Малороссии есть забава
Набиваться в поезд битком, как в борщ с чесноком.

Лысый дед, одна глазница его слезоточит
И прикрыта веком. Выглядит человеком, но пахнет смертно.
Вцепился в сосуд молочный, душа у него кричит.
Но закрыт сосуд тряпицей тугой усердно,
Не понять, почему сквозь нее горчит.

Вышла Матрена Бескровная за Буряка Петра.
Из восьми Юрков выбрала молодого.
Настрогали они четверых детей в зимние вечера,
Что еще делать зимой, кроме дела благого?
Сеялки-веялки индевеют в амбаре, у коров пустая пора.

Старший-то из Юрков получил четыре креста,
Офицером пришел с турецкой, с торбинкой, полной грошей.
Четырнадцать десятин земли, маслобойка и молота-
рка. Жена Мария пуста, но у братьев детей, как вошей.
У Петра характер хороший, но сила не та.

И когда забирали всё, что давало хлеб, молоко,
И когда запахло степью волчьей, гниением колодца,
Он ушел на шахту, потом на завод, на Днепрогесс, далеко
В Осетию, в Ржев, он никогда не вернется.
Но праведники вернутся, говорил предок един Юрко.

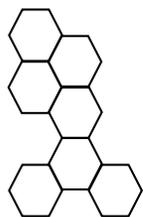
Поворотись-ка, батько, что тебе, батько, снится?
Крутит старик в руках глиняный тот кувшин.
Щупает, хорошо ли, плотно ли та тряпица
Укрывает отца. Накануне Троицы он один
Сходит на кладбище, прикопает к матери, прослезится.

ГОРОДНИЦКИЕ

Водянистого пара из большущего чана
Обжигающий дух предстоящего счастья.
Городницкие варят кукурузу для чада
И прессованный жмых разломали на части.

В глубине огорода через заросли к небу,
Через вросший фундамент замороженной стройки
Колченогие яблони горю и гневу
Расторопно ссужают смолянистые струйки.

Колорадским жуком и куриным пометом
Пахнет двор Городницких, где будет веселье,
Потому что для Фимы трудами и потом
Приближает румяный отец новоселье.



Он торгует пшеницу в Херсон и Одессу,
Продает на суда за подводой подводу.
Фима глупый пацан, у него интересу
Только шахматы всласть и в любую погоду.

Здесь оседлость не жжет, и сподручно плодиться.
Камедь с яблони льет, тяжелеют початки.
Им бы только успеть этим всем насладиться.
Век двадцатый, как враг, окружает Несватки.

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ

Купались курочки в пыли
Нырjali утки в местных лужах
Сновали ленные шмели
На лесопилке возле стружек

И кролик за ухом чесал
И мир существовал без правил
Как будто в собранных часах
Никто пружинку не поставил

Как будто время в них текло
Само собой как шмель летает
Как утка всходит на крыло
И курочке всего хватает

СИМИРЕНКО

Мать брала меня на дело лет с двенадцати.
Коммунизмом пахло прело ближе к осени.
Сумки в зубы – пять на тело, шли по насыпи,
На Тайнинской брали влево и по просеке.

Помню, шли до Ярославки друг за дружкойю.
На сырой сидели лавке в сизом облаке.
Озирались, как на явке. Медной двушкойю
Поднималось солнце. Шавка терлась об ноги.

Подходили, сумки пряча в диких зарослях.
По периметру кусача там смородина.
– Пошевеливайся, кляча, схватят запросто, –
Говорила мать, – Не дача, а пародия.

За калитку прошмыгнем и смотрим в оба, де
Не мелькнет ли кто огнем в бытовке скошенной.
Тишина-то как не днем! Хозяин – в городе.
Мне известно лишь о нем, что отмороженный.

Ключ по правилам за бочкой над поленницей.
В дом войти, как за отсрочкой, сесть, расслабиться.
Мать следит за мной, за дочкой, ерепенится:
– Лишь бы в кресло пятой точкой и расхлябиться.

Как кому на свете выжить – дело личное.
Что кому до смерти помнить – дело тонкое.
Воровала я и яблоко коричное,
И китайку золотую и антоновку.

Семеренко недозрелые зеленые
Мы сбивали с веток каменными, кислыми.
Потому что, если в сахаре томленные,
То не так уже и страшно с коммунистами.

Вся усыпана земля была, как оспами,
Все шесть соток разноцветными, бокастыми,
Подгнивающими яблоками, Господи,
Подмосковными грошовыми богатствами!

Дед Иван звонил на третий день с нотацией,
Говорил: не сваришь каши с этой нацией,
Без штанов оставят разными уловками.
Обзывал меня и дочь свою воровками.

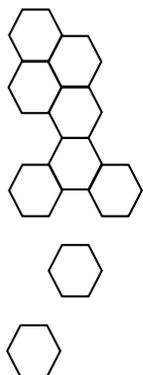
СОРОДИЧИ

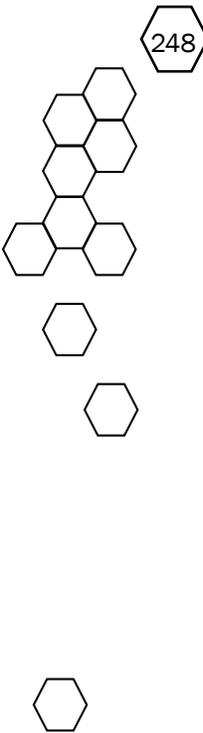
Поездом шесть часов от Киева. Полустанок,
Станция или районный центр:
Полупустой до вечера спозаранок,
Пыльный и разморённый, где у коров фальцет,
А быков не видно, и, как огня, подранок
Боится пастушьей участи, но другой-то нет.

И меня до десятого класса пугала мама:
Учись, а не то коровам хвосты крутить
Езжай в Фундуклеевку! Большого срама
Я не могла представить себе.

Силосная яма

За селом: меня успели схватить
За поясок. Мне было пять лет. А храма
В Фундуклеевке отродясь не строили: не надуть.





На Маяковской, Пушкинской и в проулке
Лермонтова жила у меня родня:
На киселе вода – малорослы, юрки;
Разводили кролика, резали свиня,
Фрикативным «Г», словно гвозди в чурки,
Загоняли самость мою в меня.

Кукурузные налитые стебли, колорадский
Жук, черешня желтая, и, как месиво из квашни,
Из садов выпирающий, душный, адский
Сноп сирени, загораживающей дом хохлятский,
Бабу Мотрю (как у Моне – в тени),

Уходящую, не допрошенную с пристрастьем,
Глубоко ослепшую – до немоты!
Дух земли моей – только ты со счастьем
Совпадаешь в памяти – только ты.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Моим друзьям

Помнишь, попали в сказку? Кто там пошел тогда
С нами? Терло, Бахыт и его Елена, да шмелеглазый Стесин.
Кажется все. Майских праздников череда
Перешла в череду перемещенья чресел
По городу, где всякий из нас покуролесил.

Помнишь, сначала от сказки не было и маленького кусточка.
Мы спускались всё ниже и ниже, прикованные к разговору,
С ужасом понимали, что, возвращаясь от нижней точки,
Придется идти лишь вверх, к точке, венчающей гору.
Так оно и случилось потом и длится об эту пору.

Миновали темный лес сосновый, светлый лес платанов.
Давно замолкли, словно преодолевали
Своих циклопов внутренних, призрачных великанов
Памяти, смолистые заросли быта, жимолости печали.
Вышли в партер и ахнули, и вскричали.

Так обрушаются с неба лавины манны и по пескам белеют!
Так опускается на страну цунами, так взывают сирены
После теракта, так сигнализации в грозы визжат и блеют!
Так – поражают эти сады сирени
Сетчатку и слизистую! И пожирают, словно Сирены.

Бархатные, барханные, мохеровые, махровые,
 Белые, сизые, сиреневые, фиолетовые в красноту,
 Они взорвали пейзаж и осели перед суровыми
 Поэтами, попавшими вчистой пробы вселенскую красоту,
 Внутри красоты, помнишь, зашли и замерли под покровами.

А потом сидели на лавочке и смотрели на Днепр, на его мосты.
 Целовались жадно молодожены наши, отдавшись головокруженью.
 Сашка Стесин разговаривал с Лео, курили, отдыхали от маяты.
 А еще там были я и ты.
 Мед-пиво пили. Готовились к восхождению.

ФЕОДОСИЯ

1. КАРАНТИН

в город сюда попал подмышки кариатид
 нюхаешь в круглом автобусе
 здесь карантин
 не режим а точка на глобусе

даже не точка а клякса расплывшаяся от соленой волны
 видишь чернил фиолетовых контур и сам набух ты
 открой глаза и смотри руки мои оплетены
 колючей проволокой мы полавки в середине бухты*

стоит Илия на мысу
 смотрит на воду где кровь-коррозия
 я на себе эту воду несу
 Феодосия

в девятой дивизии двинулся комиссар
 распространяется пандемия
 расстрелов
 заражны все и млад и стар
 Россия

* Первыми были расстреляны раненые солдаты и офицеры Виленского полка, не успевшие эвакуироваться. Потом пришла очередь железнодорожных рабочих из Курска, ушедших в Крым с белыми и поселившихся в лагере на территории Карантина (сейчас это «Рабочий городок», примыкает к церкви св. Георгия). Было расстреляно около 400 человек рабочих вместе с жёнами и детьми. На месте лагеря рабочих большевики организовали концлагерь и начали расстреливать офицеров, чиновников военного времени, солдат, всех работавших в учреждениях добровольческой армии – в общей сложности около 4500 человек. Расстрелы производили на мысе Святого Илии, а тела сваливали в три параллельно идущие балки или за городским кладбищем. Иногда людей связывали колючей или простой проволокой и топили в море. Расстреливали каждую ночь партиями от 100 до 300 человек. Места расстрелов охранялись от тех, кто пытался забрать тела для погребения.

имя тебе Карантин
зверь поселился в каждом
Куйбышев тоже расстрелян но реабилитирован
на листке бумажном

набухает бухта бухает новый залл
Илия неистовствует
на колеснице огненной
уносится на вокзал
отдыхающими переполненный

2. ФИДЕЛЕВ*

доктор доктор откройте скорее двери
вы евреи умеете так запираяться
чтобы быстро открыть вы евреи
ничего отпираться

доктор доктор детям грозит опасность
страшная смерть падет на исчадьа ваши
эти мозги еще сохранили ясность
можно бы сделать ее веселей и краше...

как же ее разукрасить старому Мише
ночь на дворе какое уж тут веселье
спит букинист в своей травянистой нише
спит фармацевт в стерильной своей постели

доктор доктор берите скорее склянки
пожалейте зондеркоманду сколько у них работы
эти ваши жидовочки и крымчанки
после расстрела снятся нам до блевоты

доктор доктор известны ведь буду гадом
сотни этих случаев из Танаха
смажьте губы им подходящим ядом
сколько там его для младенца надо

как же мне не помнить старому Мише
эти сотни случаев от Мойшы до Назаря
собирайся Рая ну вот пришли же
а ты всё ворчала что мы как не евреи

* Готовясь к убийству евреев Феодосии, командование зондеркоманды решило позаботиться о психике своих солдат и переложить убийство маленьких детей на кого-нибудь из местных врачей, лучше всего – еврея. Сначала фашисты попытались заставить это сделать 80-летнего педиатра Михаила Борисовича Фиделева, работавшего в Феодосии с 1893 года. Старый врач отказался стать убийцей и был зверски замучен вместе с женой (Голокост і Україна: Марк Гольденберг «ХОЛОКОСТ І ФЕОДОСИЯ»)

КЕРКИНИТИДА

Керкиннотида – полис маленький,
Друг друга знает стар и млад.
Горшки на каменной завалинке
Двухсотлитровые стоят.

Растут левкои и подсолнухи.
Античный постоялый двор.
И ни кораблика в подзорную
Трубу не выследил дозор.

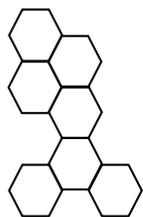
Купцов и первооткрывателей
Давно не видывал народ.
А что и здесь рожают матери
Еще не в курсе Геродот,

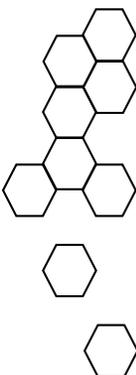
Еще у автора истории
Не обозначен местный пляж.
...Но крыши первых санаториев
уже испортили пейзаж.

* * *

*Залетали ласточки в дом,
Залетали утром и днем,
Ночью покидали дворы
Подбирать иные миры.
Подходил к концу моровой
Предпоследний год мировой.*

Лови себя на мысли и держи.
Неужто нам с тобою жить во лжи?
Ведь я от Феодосии до Ялты
Прошла весь берег и ни разу «Как ты
там, за морями?..» не произнесла.
Барашков на морском лугу пасла.
Какая нищета, какая пища
Простая и убогая, жилища
Разрозненны и ленны здесь, в Крыму,
И горькое отечество в дыму.
Мы беглецы, а ты и вовсе призрак.
И то, что я тебя забыла – признак
Пошедшего на пользу моему
Здоровью запустения в Крыму.
Здесь ласточки влетают в дом, когда я
Встаю и прихожу в себя, зевая,





И пусто так, как будто населен
Отныне только ими мир и сон.
И если вдруг сперва откатит, втянет,
Потом ударит в берег, шумно грянет
И озарит, что где-то у меня
Есть ты! и снова, берегом звеня,
Откатит в глубину воспоминанье,
Надолго я задумаюсь: вот стань я
Свободной до конца, пришел бы ты
Вот так – морской волной из пустоты?

ЕВПАТОРИЯ

Этот город заколдован.
Упадешь – считай прикован,
А пойдешь в чужой квартал –
Сердце вылетит в астрал.

Не вернешься ни к мечети,
Ни к пескам, где сушат сети,
И качается баркас.

Побожись, что в этот час
Ты не ходишь по отвесным
Стенам и по проводам
Оголенным, и по тесным
Страшным рыночным рядам.
Ни богам, ни бабам местным
Своего я ни отдам.

Слушайся экскурсовода,
В этой местности свобода –
Желтым косточкам в яру.
В лавке тетка угощает
И собой дитя страшает:
– У! К татарам заберу!



ЮБИЛЕЙ

Юбилей отмечали на кухне.
Раз, два, три – и обчелся гостей.
Сын ушел спозаранку, «притухни», –
Улыбнулся. Язык без костей.

Рыбка красная. Стопочки с горькой.
Фаршированный перчик в соку.
Голубцы подкопченные горькой.
И отдельно тарелка сынку.

Подарила сестра пароварку:
– Береги себя. Чеки внутри.
Брат пришел. Подарил пароварку.
Ну, хоть обе врубай и пари!

Вот такая родня на чужбине,
Вот такой юбилей в шестьдесят.
– Что там наши творят в Украине...
– Передайте котлетки назад...

Словно чадо о двух пуповинах,
В Украинах, в Россиях, вдали,
Кто научит их жить, половинных,
На два времени, на две земли?

После Пасхи на пашню, к утехе,
На Воздвиженье – в башню у МКАД.
Пароварок зато, как в аптеке,
И туда, и сюда в аккурат.

* * *

Фундуклеевка* стояла на урановом плато.
Вот с тех пор-то и пошли у нас в роду незнамо кто.

То уроды, то пьянчужки, то поэты, то шиза.
Уж казалось бы... а дудки: ты в Москву, и гены – за.

Древо наше подкосилось, корневища сожжены.
То у мужа импотенция, то спайки у жены.

* Мой дед из села Фундуклеевка Александровского района Кировоградской области Украины. В этом селе находились сахарные заводы промышленника Фундуклея, сын которого стал губернатором Киева. В созданной им гимназии в Киеве училась юная Анна Горенко.

Все бесплодны, все безмозглы, все на сторону глядят,
Умирают во младенчестве и в старости чуют.

А случись какое чудо – сыновей не признают.
Матерей-то не жалеют, на отцов помои льют.

Умирают в одиночестве, рождаются в толпе.
Словом, братцы, радиация, в натуре, и т. п.

А бывает, выйдешь в поле или, скажем, в лес какой,
Всю-то дурость на мгновение снимает, как рукой.

И тогда-то вот несчастье, и тогда-то вот беда:
Всею шкурой ощущаешь, кабы не уран тогда,

Как бы можно было б эту жизнь отпраздновать всерьез!
И... обидно...так обидно...ну обидно же до слез!

САФРОНЫЧ

Сафроныч стар и требует сгореть.
Прозрачными глазами голубицы
Глядит на мошек. Мошек нет, но ведь
Сафроныч стар, ему Тамбов клубится

И Сирия, и Куба, и Вьетнам.
Он всё еще под кожей при погонах.
Он всё еще по войнам, по волнам,
Он всё еще на дальних полигонах.

И крыша у Сафроныча течет,
Не вынеся последней перегрузки.
Два сына не пошли ему в зачет,
Поскольку барахлил мотор при пуске,

Ребята вышли малость не в себе,
Жена – как раз тамбовская волчица,
Сестра его в отеческом селе
Опять же без мозгов, как говорится.

Такие же и дед его, и мать.
А сам он был полковником толковым.
Но слег и бросил пищу принимать,
И ловит мошек над лицом багровым.

Сафроныч до семидесяти лет
Считал, природа всё сама поправит.
Но выхода – теперь он видит – нет,
И выбирая порченных на цвет,
Отдельных мошек ловит он и давит.

* * *

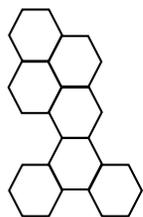
Не светел свет и темень не темна.
Все замерло. Тревога бьет рекорды.
И в воздухе – не то чтобы война
Звучит, не то чтоб первые аккорды,
Но мир затих, указка взведена,
И ждут ее решительности орды.

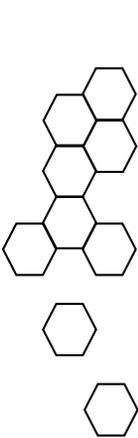
О, тонкий дирижерский инструмент,
Как мелкий бес, дрожащий надо мною!
Великий скульптор создал монумент
Предчувствию беды, моей страню
Забытому: взмах палочки, момент
Переполнения воздуха войною.

Нет-нет, я с этих игрищ убегу,
Мне сына класть, во тьме латать заплаты,
Пока друзья на дальнем берегу
Всё предвкушают первые раскаты
В империи, где тихо, как в снегу,
И спят мои грядущие утраты.

КОНЕЦ СВЕТА

Когда она начнет прощаться,
Родных к постели подзывать,
Когда она начнет качаться
И пепел в воздух подымать,
Когда она начнет дымиться
На всех майданах и без шин,
Когда она начнет томиться
Скопленьем женщин и мужчин,
Глупцов, воинственных и диких,
Когда в стеклянный черный свод
Посмотрится и в высях тихих
От вида язв своих взревет,
Ты не успеешь всё исправить,
Не сможешь всё вернуть назад.





И все ошибки выдаст память,
Которой только и богат.

Прощайся. Кончился привычный
Души и плоти материал.
Не призывной, не пограничный –
Конечный пункт тебя приял.
Ты вопиешь: за что мне это?
Ты просишь миг, спасти свой рай?
Так — на. А про конец сюжета
Я пошутила, не рыдай.

* * *



покуда не треснула толща времен
и звездами бездна полна
всегда повторяется этот закон
в тебе отступает война

война иссякает как боезапас
в глубинах нейронных складов
война выползает как нечисть из нас
по воле усталых фронтов

ночная пехота и эта и та
впирается в млечный покой
и хочется лайкнуть в окошке поста
врага

непослушной рукой

ну что побузили и хватит айда
кровавый заканчивать квест
но скольких же нам не вернуть никогда
когда нам война надоест

* * *

Чу-чу, чу-чух, чу-чу, чу-чух. Едет бабка
моя на юх,
Как говорят тут местные. Юг,
провинция.
Бабке — лет девятнадцать. Худюща, в
чем держится дух...
А в сорок первом еще была
круглолицая.

Косы обматывала вокруг головы, в щеке
Ямочка, как у меня, если взять девичество.
Поезд идет по насыпи. Вдалеке
Появляется море, его величество.

Бабка моя, то есть эта девочка, деточка, медсестра,
Нет, не так – «сестричка», бойкая, как пламя костра,
Певучая, как вот этот Крым за окном,
Синеглазая, как вот это море в мире ином,

Едет-едет на фронт, за людьми без рук, без ног,
Отмывает полы от крови, стирает бинтики.
Санитарный состав, словно челнок,
Сшивает мир, как поэзия без политики.

Состав тормозит со скрежетом, выпускает пар.
А на восток, конвоируемых спецотрядами,
Везут из Крыма татар.
Со смертельно ранеными исподлобья взглядами.

Когда ей исполнится девяносто лет,
Она вспомнит, как смотрели они ей вслед,
Проклиная ее за боль, точь-в-точь
Раненные. А она не в силах была помочь.

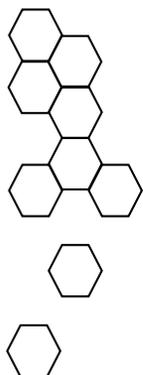
* * *

Бога кровных уз побеждает Бог хлеба.
Святополк, не смотри на небо,
Там дома Бориса и Глеба,
А Польша – налево.

Тебе туда. Торопись, остался последний брат.
Не возвращайся без польских лат.
Киев жирен, но требует трат,
Как говорит магистрат.

У Болеслава-тестя множество планов на
Эту прорву земли, но сперва нужна
Маленькая победоносная война.
Оглянись – она?

А скажи, Святополк, где брат твой, что из
Красной молельни не вышел? Приз
За мужество на чело тебе – улыбнись:
Тебя рисуют скрытой камерой – чиз.



Святополк ведет полка. Ярослав ведет слова.
Слова перемальвают, как жернова,
Двузубого Святополка. Едва
Уцелеет его голова.

Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого
Продолжит Бог-брат и русское слово.
А голова Святополка обернется снова
Главою Каина, душевно больного.

ТУМАН

Туман на Матрену к оттепели

Не спать всю ночь. Не думать ни о чем. Пролистывать компьютер разморенно. Не чувствовать, как за твоим плечом уже встает туманная Матрена.

...Знать, оттепель. Зима сошла на нет. Иди живи без страха поскользнуться. Вот ускользящий нестойкий свет ночной, которым можно захлебнуться. А вот и скоротечный свет дневной, как молодость, и вечереет рано.

...Слепая баба Мотря надо мной колдует-выколдовывает рьяно. По памяти проходит до плетня, мотает цепь и тянет из криницы рассвет. И что-то торкает меня смотреть в ее синюшные глазницы. Следить, не ошибется ли во мгле своей глубокой старости Матрена.

Ах, нам бы так запомнить на земле все рытвинки, расщелинки, схороны. Я по привычке вглядываюсь в ночь, в ее туман, светящийся жемчужно. Но чтобы воду в ступе истолочь, и внутреннего зрения не нужно.

Кто это всё тебе наворожил?! Какая ночь бессмысленная тает! Хмарь оседает, проступает мир, но слепоты немного не хватает...

ХРЯК

В соседней хате, где партсъездами
Гараж завален и чердак,
Часа четыре хряка резали,
А он не резался никак.

Прабабка закрывает уши мне,
И утыкает в свой живот,
А это будущее кушанье,
Как резанное глотку рвет.

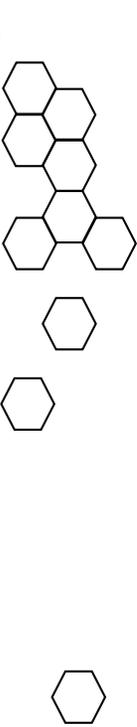
Со всей округи животастые
С мясистой холкою хохлы
Наперебой под вечер хвастали,
Какого борова «вбылы».

Меня рвало неделю-около.
Ну, сколько было мне тогда? –
Лет семь... Я в первом долго окала,
Но это горе не беда.

* * *

Это тетрис, плодоносный сад.
Ты родился – яблоки висят.
Но как только ты родился – впредь
Будет всё под небом тяжелеть.
Будут наливаться облака,
Яблок венценозные бока,
Впадины в земной коре, тела,
Рукописи в ящике стола.
Ветки в небе вскоре затрещат.
И начнется тетрис. Камнепад.
Яблоки, убитые в бою,
Падают на родину мою.
Слева, справа падают тела
Яблок. Не поймаешь в подола.
Мы теряем их – за слоем слой.
Под ногами – тает перегной.

Бабка Мотря, кроны очертя,
Говорила: – Яблоки не рви.
Поднимай лежалые, дитя,
Падшим больше надобно любви.
Налетала стая воронья,
Склевывала с веток урожай.
Ты до Спаса, яблоко-меня,
Господи, срывать не разрешай.



Александр ГАБРИЭЛЬ**28 КАПЕЛЬ КОРВАЛОЛА**

Перебои жизненного соло лечатся испытанным плацебо: 28 капель корвалола и дождём сочащееся небо... Памяти незримая петарда россыпью колючих многоточий выстрелит в районе миокарда и отпустит на исходе ночи...

Сочиненье стихов... Зачем?
И на кой совершенство слога? —
недоказанных теорем
остаётся не так уж много.
Слишком хожена эта гать
и протоптаны эти стёжки...
Унизительно — подбирать
со столов опустевших крошки.
Мне б исчезнуть в мельканье лиц,
в шевеленье житейской пены,
но невидимый миру шприц
мне стихи загоняет в вены...

Ночью всё так выпукло и чётко делится на дебет и на кредит; только сердце, шалая подлодка, глубиной непознанною бредит... Стая истин, спаянная в узел, ставшая докучливою ношей, острыми рапирами иллюзий тычется в предсердья и подвздошь...

Сочиненье стихов... К чему?
Что изменится в мире этом? —
всё из света уйдёт во тьму,
чтобы вновь обернуться светом.
И за краткий житейский миг,
напоённый мечтой о чуде,
я не стану скоплением книг,
что до дыр зачитают люди...

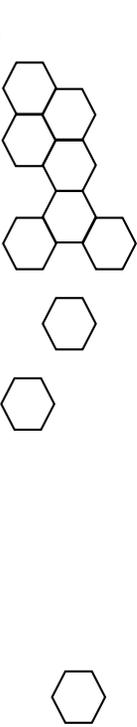
Ночью так враждуется с собою! И от изголовья до изножья время захудалою арбою тянется по мраку бездорожья. Нет стихов, шрапнельных многоточий; только холод стен да холод пола. Всё, что я хочу от этой ночи — 28 капель корвалола...

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ

Шесть дней из семи в неделю он словно в коме:
работа, друзья и затхлый привычный быт...
Он будто плывёт на странном пустом пароме,
а порт назначения им навсегда забыт.
Он — словно случайно выживший в гекатомбе.
Он всё потерял, зато уцелел. И вот —
шесть дней из семи в неделю он робот. Зомби.
Его завели, как куклу — и он идёт.
Он распознаёт, как прежде, места и лица.
Он помнит свои маршруты и где рождён.
Он знает, как есть. Он помнит, как спать и бриться.
Шесть дней из семи обходится этим он.
Он знает давно: ничто под луной не ново,
но, верность пустой мечте до сих пор храня,
шесть дней из семи в неделю он ждёт седьмого —
всего одного достойного жизни дня.
Один только день в неделю — его вершина,
и там пустоты кончается полоса...
В субботу ему разрешают увидеть сына.
На три часа.

КВАС

Солнце по́ небу плыло большой каракатицей
и, рассеянно шурясь, глядело на нас...
Ты стояла в коротком оранжевом платье
близ пузатой цистерны с названием «Квас».
Разношёрстные ёмкости, банки да баночки
были хрупким мерилем безликой толпе,
что ползла к продавщице, Кондратьевой Анночке,
кою взял бы в натурщицы Рубенс П. П.
Солнце с неба швыряло слепящие дротики,
ртутный столбик зашкаливал в адовый плюс,
и казалось: подвержен квасной патриотике
весь великий, могучий Советский Союз.
Сыновья там стояли, и деды, и дочери
с терпеливыми ликами юных мадонн...
И пускал шаловливые зайчики в очередь
в чутких пальцах твоих серебристый бидон.
Всё прошло, всё ушло... А вот это — запомнилось,
тихий омут болотный на всплески дробя...
Мне полгода тому как двенадцать исполнилось,
я на год с половиной был старше тебя.
И теперь, в настоящем — сложившемся, чековом —



голос сердца покуда не полностью стих...
 «Где ты, где ты, Мисюсь?» — повторить бы за Чеховым,
 но надежд на ответ всё равно никаких.
 Только тени витают, и тают, и пьются,
 и завис в эпицентре несказанных фраз
 призрак счастья в коротком оранжевом платье
 близ пузатой цистерны с названием «Квас».

БОСТОНСКИЙ БЛЮЗ

Вровень с землёй — заката клубничный мусс.
 Восемь часов по местному. Вход в метро.
 Лето висит на городе ниткой бус...
 Мелочь в потёртой шляпе. Плакат с Монро.
 Грустный хозяин шляпы играет блюз.

Мимо течёт небрежный прохожий люд;
 сполох чужого хохота. Инь и Ян...
 Рядом. Мне надо — рядом. На пять минут
 стать эпицентром сотни луизиан.
 Я не гурман, но мне не к лицу фастфуд.

Мама, мне тошно; мама, мне путь открыт
 только в края, где счастье сошло на ноль...
 Пальцы на грифе «Фендера» ест артрит;
 не потому ль гитары живая боль
 полнит горячий воздух на Summer Street?!

Ты Би Би Кинг сегодня. Ты Бадди Гай.
 Чёрная кожа. Чёрное пламя глаз.
 Как это всё же страшно — увидеть край...
 Быстро темнеет в этот вечерний час.
 На тебе денег, brother.
 Играй.
 Играй.

ИЗ ОКНА ВТОРОГО ЭТАЖА

Ветрено. Дожливо. Неприкаянно.
 Вечер стянут вязкой пеленой.
 И играют в Авеля и Каина
 холод с календарною весной.

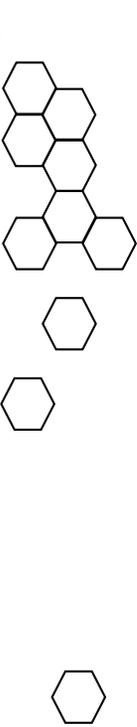
Никого счастливее не делая:
ни дома, ни землю, ни людей,
морось кокаиновая белая
заползает в ноздри площадей.
Небо над землёй в полёте бреющем
проплывает, тучами дрожа...
И глядит поэт на это зрелище
из окна второго этажа.
По вселенным недоступным странствуя,
он воссоздаёт в своём мирке
время, совмещённое пространственно
с шариковой ручкою в руке.
И болят без меры раной колотой
беда, что случились на веку...

Дождь пронзает стены. Входит в комнату.
И кристаллизуется в строку.

ОБЛАДИ-ОБЛАДА

Холода у нас опять, холода...
Этот вечер для хандры — в самый раз...
В магнитоле — «Облади-облада»,
а в бокале чёрной кровью — «Шираз».
И с зимою ты один на один,
и тебе не победить, знаешь сам...
Не до лампы ли тебе, Аладдин,
что поныне не открылся Сезам?
И не хочется ни дела, ни фраз,
и не хочется ни проз, ни поэт...
Проплывают облака стилем брасс
акваторией свинцовых небес.
Но уходят и беда, и вина,
разрываются цепочки оков
от причуд немолодого вина
и четвёрки ливерпульских сверчков.
Ничему еще свой срок не пришёл,
и печали привечать не спеши,
если памяти чарующий шёлк
прилегает к основанью души.
Так что к холоду себя не готовь,
не разменивай себя на пустяк...

(Это, в общем-то, стихи про любовь,
даже если и не кажется так).



ВРЕМЕННЫЙ

Я временщик, коль посмотреть извне,
и сердце всё, как есть, принять готово.
Как ни крути, оставшееся мне
незначимей и мельче прожитого.
Мне больше не войти в свои следы;
всё чётче ощущаю что ни день я
себя на ветке капелькой воды,
набухшей ощущением паденья.
Стираются и боль, и благодать.
Как ни хрипи натруженной гортанью,
но стало невозможно совпадать
со временем, сменившим очертанья.
Услышу вскоре сквозь тугую вязь
словес, недосложившихся в поэзу:
«Которые тут временные? Слазь!»
И я скажу: «Я — временный».
И слезу.

ОКЕАН

За века ни на миг не состарюсь,
не утративший силы ничуть,
океан мой, усталый Солярис,
на минуту прилѣг отдохнуть.
Чтоб к покою его причаститься
и не знать ничего ни о ком,
стань его составною частицей —
тѣмной рыбой, холодным песком.
В отдаленье от линии фронта —
тишина. Ни событий, ни дат...
Лишь кривой ятаган горизонта
нарезает на дольки закат.
Чуткий воздух, пропитанный снами...
Притяжение мягкого дна...
Перед тем, как нахлынет цунами —
тишина. Тишина. Тишина.

Я ЗДЕСЬ

эта печальная штука жизнь в сердце иголки нехватка слов
хочешь поставлю тебе би джиз хочешь поставлю тебе битлов
ломаются беды в дверной проём им бы на рты понаклеить скотч
хочешь мы чаю с тобой попьём чаю чернее чем эта ночь
пали под нами десятки кляч мы пострадали своё всерьёз
только не плачь я прошу не плачь я ведь не выдержу этих слёз
воздух вскипает в тугую взвесь горечь вступает в свои права
хочешь дотронься я рядом здесь боль свою боль подели на два

складывать руки нельзя не след сердце стучит и не пуст колчан
я принесу тебе тёплый плед и не пушу сквозняки к свечам
эта печальная штука жизнь часто не верится в даждь нам днесь
только держись я прошу держись я не исчезну я здесь я здесь

МОГЛИ

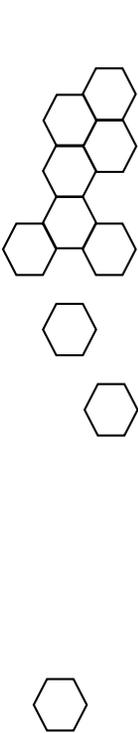
Она валилась в обморок в горах;
боялась и зубной, и прочей боли...
А он был спец в торпедных катерах,
геологоразведке и футболе.

Она бродила, как в лесу юннат,
по галереям Питти и Уффици.
Он матерился вслух, и был фанат
любого пива и грошовой пиццы.

Она была с дипломом МГУ,
стажировалась в Беркли и Сорбонне;
а он в подъезде морду бил врагу
под облаками сигаретной вони.

Он Тайсона любил, она — Дали;
она была как ангел, он — как йети...
Они могли бы встретиться. Могли.
Но — обошлось. Ведь есть же Бог на свете.





Елена ИГНАТОВА

12 СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?
Вечером мамина тень обтекала душу,
не знала молитвы, но все же молилась робко.
В сети ее темных волос – золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом... сонная воркотня.
Всей глубиною крови я лгну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым.
Время редееет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко,
и остается – памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
снежными прядями над глубиною невской.

* * *

В кислородном морозе пьянящей любви
вижу губы, широкие очи твои,
и душа просыпается в боли.
И не хочется ей возвращаться на круг –
в наваждение слов и смыкание рук,
в кочевое сиротство неволи.
Но она, задыхаясь от нежности, пьет
этот яд ледяной, этот жальщий мед,
расставания мертвую воду,
и на оклик встает, и покорно идет,
и не помнит уже про свободу.
Что за боль! Только в юности можно стерпеть
это жженье, в крови растворенную медь,
но вдыхая осеннее пламя,
я не знала, что не заговорены мы
от подземного жара, провидческой тьмы
и от нового неба над нами.

* * *

Это почти из романа: ставни скрипят,
и уголь подходит к концу в затяжную зиму,
и лечу я соринкой – во тьме, слепоте, наугад
по заснеженному Иерусалиму.

Это почти из Диккенса: Новый Свет,
семейный очаг, любовь подростка, смятенье...

Между землей и небом – лучшей из скреп
золотая наука смиренья,
когда даруется зрение шире и чище – снег,
и смирение учит, баюкает, утешая,
и хрустало и камню твоим во сне
»Иерусалим, – я шепчу, – Иерушалаим».

ДОМ В КРЫМУ

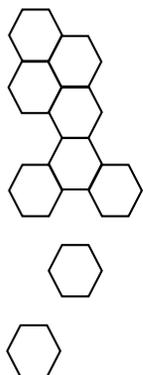
Короста соли. Корка над свежей болью.
Кровь винограда за грубой корой
лозы. Каждой весной
так открывался Крым.

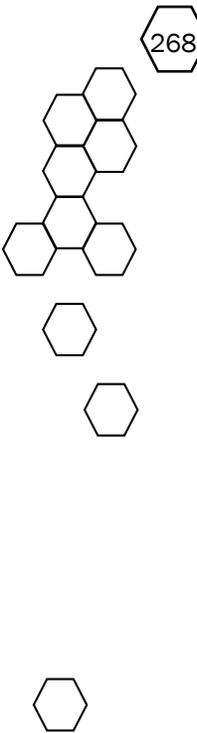
И я не знала тогда, вдыхая
роз запекшихся аромат,
запах граната сладкий,
что за калиткой – Калинов мост,
в прибое – пепел сожженных звезд,
гор омертвелые складки –
это черта, за которой несть
ничего из любимого нами здесь.

Нас уже больше на той стороне, чем на этой.
Доктор Леонтьев опять со своим лазаретом
в пекле гражданской. Я знала его стариком.
Я любила его. Осыпается дом,
расклеванный ветром.

Нас уже больше на той... За Калинов мост
по мертвой воде, оскальзаясь о камни Стикса,
каждый сон возвращаюсь на дальний погост
в мокрой траве по пояс.

И поют мне птицы
в Иерусалиме о Киммерии-Крыме,
о том, что сроднясь,
не могу проститься.





* * *

Всадник бел на оснеженной горе.
Дрогнет яблоко в кожуре,
зарумянясь на замше перчатки.
Вышли деды: «Здравствуйте, генерал!»
Овчина шапок. «Здравствуйте, генерал!
Будь вам наши яблоки сладки».
Мне приснился Скобелев-генерал,
невысокий, утопанный перевал,
крап кровавый и кремень Шипки.
Турок нам то что твой басмач,
славянин – воитель и бородач –
переможет, конечно, в сшибке.
Заведу избу, а в ней образа,
а под ними картинку – в горах гроза,
и гарцует Скобелев на лошадке...
Вот и пристань – здравствуйте, генерал!
Коммунисты – слышали, генерал?
Нам былого сумерки сладки.

* * *

Ветер в конце столетья
все грубей и жесточе,
счастлив тот, кто не хочет,
может не замечать, как калечит
все, что мы надышали, сплели...
Ледяное пространство вод и земли
бесплодно, как при потопе.
Нас снимают слоями,
как в лихолетье солому с крыш,
тянет потом и серой,
ветер роет пыль пепелищ,
и ногами в бреду твердишь:
– Дай мне, Господи, веры!

дол Аялона грубый, как парусина,
с тех пор, как солнце Иисуса Навина
оплавило край его. И кровью истек
пылающий городок за стенами из рафинада.
Горы людей, ослов, коз...

Кровь выпущена как надо.

Нет, декабрьская роза, Эдем не волшебный сад.
На подошве праха его холмы, на подкладке крови –
все, как в наших снегах, но только древнее стократ,
и ржавчиной смерти деревьев забрызганы кроны,
и декабрьская роза, тугая, как Божий свиток,
как гнев Господень – на сердце ложится мне.

* * *

В. Родионову

Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели –
особый колониальный восторг.
Запад есть Запад – а это Восток.
Видишь, куда мы с тобой залетели?
Здесь застоялся воздух знакомый
пятидесятых, повернутых вспять.
Заповедник детства.

Опять, опять

апельсином и золотом пахнут погоны
на кителях молодых отцов.
Как много нас за столом, как тесно!
Сон младенчества.

Клан родовой

сомкнут, как крона, над головой –
вечного дерева. Запах его телесный.
Не просыпаться. В губах матерей
вкус серебра и мяты,
как бессмертны и как богаты
мы были любовью их...
Нас уносили в сон, в темноту:
очнешься – кругом пустыня в цвету,
тихое пение за стеною
о ямщике, что клонится в снег,
о роднике, где горячий свет
над ледяною водой живою.

* * *

Век можно провести, читая Геродота:
то скифы персов бьют, то персы жгут кого-то,
но выцветает кровь...

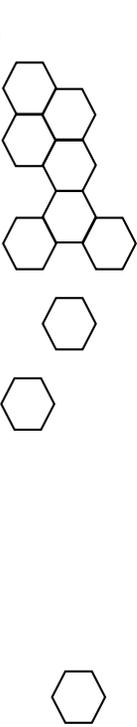
В истории твоей –
оливы шум, крестьянский запах пота.
Мельчает греков грубая семья,
спешит ладья военная в Египет.
Мы горечи чужой не можем выпить,
нам – только имена, как стерни от жнивья,
а посох в те края на камне выбит.
И где она, земля лидийских гордецов,
золотоносных рек и золотых полотен,
где мир в зародыше, где он еще так плотен,
где в небе ходит кровь сожженных городов,
где человек жесток и наг и беззаботен...

* * *

Когда на деревню плещет гроза кипятком,
берег разбила река и повалено жито,
бьет Илия-пророк по облакам молотком,
а облака грузны, градом набиты.

Но открывается короб небесных сластей:
поле согреет, лесные гостинцы тешат,
и Богородица нежит небесных детей,
чинит рубахи им, мягкие волосы чешет.

Малым на радость Нисский рисует в полях
скользкий закатный воздух, потные крыши,
как молоком наливается к ночи земля,
месяц прозрачный – и самолет повыше.



* * *

Слепой пастух и каменные овцы.
Дымят овраги, вырытые солнцем,
праматери-земли по ним стекало млеко.
Вот наших судеб край:
овраги да колодцы,
мочи овечьей стойкое болотце,
солончаки да степь –
и до скончанья века.
Наверно, души те, что выгнаны из плоти,
здесь коротают век в забвенье и дремоте
до новой брэнности, до будущей тюрьмы.
Заквасят молоко для старика слепого,
овечью шерсть прядут. И забывают слово,
постылый речи плен, в котором вечно мы:
«Земля, не отнимай моих любимых!
Вода, не отбирай моих любимых!
Пойдет моя душа, растеряна и боса,
туда, где есть подруги ей...»
Спеленут сыр травую,
старик качает мертвой головою,
солончаки в степи – как пыльные колеса.

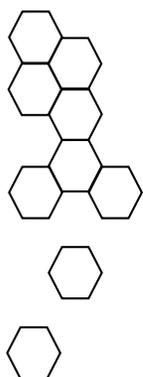


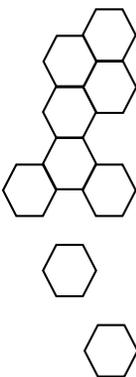
КРАСОТА УХОДИТ – ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРАСОТА

Андрей ДМИТРИЕВ

Колесил,
 колесил –
 исколесил,
 всё, что вблизи,
 покатил дальше –
 через большак и пашни,
 через орешник фисташковый,
 мимо водонапорной башни –
 символа дня вчерашнего,
 мимо деревни, где простокваша,
 и города, где опавшим
 листьям смышлёные первоклашки
 уделяют внимание –
 взяв процесс увядания,
 как открытую данность,
 и воплотив в гербарии
 мысль о бессмертии – пока не украли
 и эту иллюзию
 педагоги школы и вуза,
 начальники-моралисты,
 держатели акций истины,
 проворные толмачи,
 рвачи казённой парчи.

Колесил,
 колесил
 до упадка сил –
 увяз в грязи
 среди топких низин.
 В заводях – ходят язи,
 в полях – колосятся озимые,
 но на оси –
 сломано колесо,
 а из-за тёмных лесов
 всходит луна –
 холодней валуна,
 хоть и ликом – апостол Лука.
 Здесь – на отшибе –
 кажутся сёла большими,
 и сосны своими вершинами –
 будто метут Млечный путь.
 Доколесить как-нибудь,





доколесить как-нибудь
до кузнечика –
в травах замеченного –
до всхлипа
надломленной липы,
до трепетной птицы,
в которую переродится
весь этот гул,
до себя, что в пряном стогу
наблюдал звездопад
и клубящийся пар
в колдобинах хлипких дорог –
до всего, что догнать не мог...

* * *



Настасья Филипповна
топит печь
исключительно тысячами
рублей – сотнями тысяч,
миллионами –
а потом глядит,
как падают в обморок
в них влюблённые
персонажи длинных романов
и несёт им воды
в отогретых ладонях –
вот с этого места
и кончается водевиль,
да начинается месса,
в которой надрывная музыка
выдыхает робкое имя
в органную духоту...
Что написано кровью –
не переводится никакими
цифрами и словами,
брошенными налету
в прихожей
на язык репродукций,
где кровь остужают в ванне
перед тем, как дать окунуться
или запить десерт...
Так ведь, Рогожин?

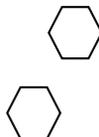
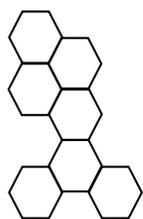
Швыряет охапкой
Настасья Филипповна

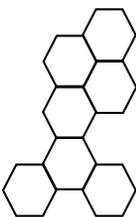
деньги в огонь –
 пляшет пламя
 в дорогих нарядах
 и это уже не липа –
 это – как бы вскричала толпа –
 о-го-го!
 Репетиция ада
 или просто – слаба,
 на самом-то деле – слаба,
 вот и хочется воя
 в печной трубе –
 так, чтоб слышало небо,
 чтоб таял на стёклах лёд
 и купленный ком несвободы
 рассыпался на шум голубей
 где-то под крышей –
 отголоском высот.

Горит-горит ясно –
 рычит да ёжится,
 корчится, стонет.
 Были тысячи – выпекла грош.
 А в конце – лягушачья кожица
 пузырями пошла.
 В доме стало натоплено,
 но вскричала душа,
 наскочив на садовый нож...

* * *

Лето — уже тире,
 дефис, пробел,
 многоточие. Сирень —
 давно не символ в борьбе
 жизни и смерти —
 скоро пепел в карманах
 станет единственной почвой на свете
 не скрытой снегами. Рано
 темнеет — август.
 Дождь, дождь —
 с атмосферных фронтов надвигаясь,
 сыплется пряная дрожь
 грядущего листопада.
 Город — вытянул каменное лицо
 в сторону автострады,
 что ложится под колесо





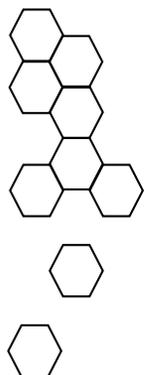
громче и резче —
будто торопит конец
размеренной речи
про тающий леденец...
Эстетика августа —
в том, что ещё есть листва,
ещё работает лапами
лягушка в пруду, ещё береста —
не единственный довод берёзы,
ещё в парке можно постичь
безграничность воздуха,
в котором голубь — не дичь,
но примета пространства.
Август — фонарный столб
на углу, где едут на красный
полночные лихачи — лоб в лоб
с пеленой и надвинутой тенью.
В свете лампы закружится лист,
а пока данность не пожелтела —
жизнелюбию красок дивись.

* * *

«Красота уходит», —
вздыхает старый маляр,
не найдя в новой смете
ни гуаши, ни акварели —
значит, голые стены
опять воплотятся в пожар
больничной слепой белизны,
что сожрёт на огромной
брачной постели
своего жениха —
шедшего в топкой грязи
к ненаглядной свободе,
но упавшего в пепел и пыль.
Здесь, должно быть, откроется магазин,
где по полкам разложат
много и много сотен
насущенных вещей,
или, может, тут встанет полынь
офисной скуки
во весь пустырь помещений.

Маляр мажет мелом
гладкую плоскость стены —

ритмичны движения,
 уверенны руки,
 но красота уходит
 под слой белизны,
 так с сожалением
 констатирует он,
 и комнаты контур упругий
 сжимает певчье горло
 волнительной птицы внутри,
 которую разровнял мастерок.



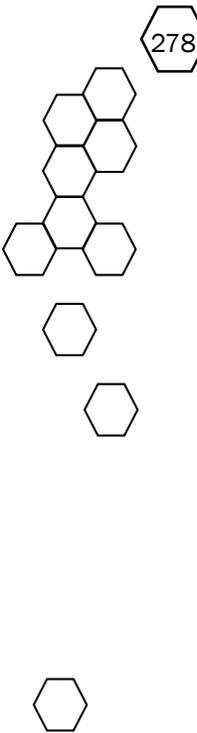
Белизна – нема.
 Ни слова о цвете,
 ни возгласа о глубине
 обретённой поверхности –
 только холод щеки,
 выбритой в процессе
 общения с зеркалом,
 в котором – крестятся нехристи,
 и главенствует общепит,
 переходящий желудочный тракт по зебре.



Красота уходит –
 да здравствует красота.
 Старый маляр
 окунает дежурную кисть.
 Его работа сегодня проста.
 Впрочем, как и вчера.
 Вверх-вниз, вверх-вниз.
 Всё бело – бледно и немощно.
 Позовите врача...

* * *

Машины – вдоль
 тротуара. Парковка по берегам
 мёртвой реки, чья юдоль –
 бега, бега, бега –
 скрежет и сизый дым.
 Город – встаёт над солнцем,
 позже – солнце встаёт над ним.
 Нам же – внутри – остаётся
 отмечать дни недели
 уже бледным маркером
 или просто – карандашом, что для дела
 летописца аккуратного



даже более, чем уместен –
дерево в «Повести временных лет»
было как камень для текста
скрижалей, как монумент
топорной работе –
и сегодня в нём – древко стрелы.
Кошка греется на капоте –
пока кони под ним теплы.

Эта улица – носит свой панцирь
на манер виноградной улитки –
будто перстень на пальце,
окунаемом в жидкий
кисель квартала
на поминках или крестинах.
Перекованный на орало –
меч висит над Дамоклом в гостиной
и царапает кончиком темя –
нераспаханный грубый суглинок,
из которого слеплено и всё наше тело –
до последних на донце чайнок...

Город – выполнил
роль статиста.
Снова с гиканьем
оживились кулисы,
и механика коллективного сердца
запустила по кругу кровь,
находя в горячем процессе
упоение спорной игрой.
Шаг – прочерчен,
и форма – дала фору.
Человечек –
хочет звучать хором...

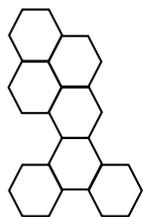
* * *

Жаба – пучит
глаза в омуте цифр.
Мы с тобой живучие –
могли б захиреть от цинги
или от чахлого света,
сквозь щель занавесок
втёкшего в глаз по руслу индейского лета,
но – улучив время и место –
остались в строю –

в строчке спорного текста,
 в котором – ноздря в ноздю –
 идут к финишу кони
 апокалипсиса или просто –
 оторвавшиеся от погони
 жеребцы из разграбленного обоза.

Могли б кануть в чащу –
 захлебнувшись клюквенным соком,
 при разделе на «не наших» и «наших»
 попасть под скорое
 лезвие, согнуть в лестничной клетке,
 как бумажные лебеди –
 оригами, выйти калеками
 из покоев железной леди
 или бронзового вождя.
 Но вытянули струну –
 пальцами сжав
 аккорд, собранный по куску
 на треснутом грифе.
 Так элины – видимо –
 вылепляли из глины в мифах
 каждый нюанс картины,
 где в центре – огонь.
 У оград снуют воробьи,
 и хлебные крошки покидают ладонь
 во имя пернатой любви.

Остались в прожилках,
 вынесли быль и боль
 случайными пассажирами,
 успевшими сесть на борт
 в чужом незнакомом городе
 с улицами-метелицами,
 несущими мимо барокко и готики
 в сторону спальных районов из теста
 ржаного с обилием грубой соли.
 Сколько ещё лететь-плыть-ехать –
 знает только играющий соло
 флейтист в руинах расколотого ореха,
 но отвечает лишь эхо –
 неразличимое эхо,
 невнятное эхо,
 лишь эхо,
 эхо...



* * *

В широкополой шляпе
и ветхом плаще
легко показаться шатким
в мире вещей
героем психологической прозы –
неузнанным и сухим
на нитке постной,
сшивающей лоскутки
каких-то аллюзий
и низколетящих смыслов.
Катишься шариком в лузу
от борта, где размазали хоккеиста
из известной команды,
шепча: и всё-таки – она вертится.
С ломкой загадкой взгляда,
с нарывающим заусенцем...

Серый, сутулый, нескладный –
разбившийся на абзацы,
в диапазоне – от Гоголя до Сартра –
и шире – до автостанции,
где пишется на коленке
провинциальным автором
повесть о маленьком человеке
пока возится с радиатором
водитель в тельняшке.
Эдакий Мышкин –
бедняжка
пряником из Швейцарии, где не вышло
полностью излечиться –
вот и дивишься тополиному пуху –
дескать из крыльев ангельских. Чисто –
лопух лопухий
возле бабушкиного забора
в селе, позабывшем имя
своё, но запомнившем вора,
что видя добро – никогда не проходит мимо.

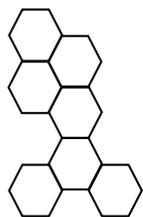
Встанешь у зеркала –
шляпа на лоб, за воротом
терпко дымится сера,
и сердце встревоженным вороном
уже готово для крика...
«Доброе утро, последний герой», –
скрипнет виниловая пластинка
под иглой,
на которой теперь Виктор Цой...

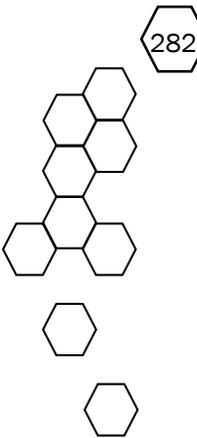
* * *

И было слово.
 И было солоно
 на губах, словно
 выпито море
 со всеми его аллегориями
 и приметам шторма,
 что всё время – так скор и
 так – с корнем
 вырван из горла –
 как окрик
 грубого часового
 за колючей проволокой
 горизонта, где слово –
 это основа
 долгого
 взгляда в суть речи –
 со стремлением встретить бога
 или хоть что-нибудь бесконечное...

И было слово.
 И были совы
 над лесом сосновым –
 будто бы невесомые.
 Но всё, что ты смог –
 внести прелый мох
 на ладони
 в облезлый подъезд.
 Вот, мол, бедовые –
 только мох-то и есть –
 оправдание дна оврага,
 где собирается влага
 и скорченная коряга
 напоминает ящера,
 вымершего до прашура,
 но норовящего
 прыгнуть стрелюю в чашу.

И было слово.
 И было снова
 заглажено чувство скола,
 по которому делятся стороны
 света. Сосед репетирует соло
 на сломанной
 скрипке, и сонный
 дом – перебирает сорные





травы разбитого инструмента.
Так пролетает лето –
вслед за совами –
и пусть на губах твоих солоно
и скоро – увы, уже скоро –
всё это будет взорвано –
даёшь себе слово,
снова даёшь себе слово...

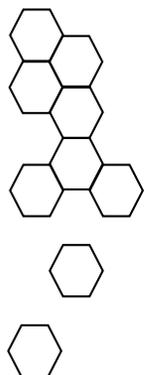
* * *



Люди-мамонты –
вымирали долго,
распадаясь на атомы
и на иголки
сосновой хвои
в тайге своей бурой,
где от пищи греховной
волки рвались из шкуры
с дьявольским рыком
в хищную пропасть ада,
где кровавая земляника
полнилась сладким ядом
в папоротниках болотных.
Люди-мамонты –
тянулись хоботами
к блистающим артефактам
ускользающей жизни,
но каменные топоры
уже перерубали жилы,
двери аорт отворив...

В пьяном оре шамана –
было так много мяса,
что земля – приняв форму шара –
делалась ярко красной –
перенимая солнце,
в мёртвой точке заката.
Рваные всхлипы совести
в остывающих глыбах гигантов –
походили на шёпот молитвы,
обращённой к своей первобытной
истине, что в условиях палеолита
ритуально должна быть убита.

Люди-мамонты –
 вымирали под звуки бубна
 в пальцах высших приматов,
 у которых резались зубы
 и прорастало эго
 жгучим цветком меж рёбер.
 Рёв относило эхо
 к чёрной горе, где в утробе
 клокотала злоба вулкана,
 желая выйти наружу –
 так зарождалась Валгалла
 с ревностным культом оружия.

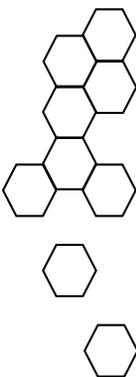


Люди-мамонты –
 оставили кости
 в земле, чтобы памятуя
 о том, что все мы здесь гости –
 новое племя
 держало их на ладонях
 и время от времени
 окропляло живой водою,
 представляя,
 как огромные бивни
 покрываются белой эмалью
 и из мифа становятся былью.



* * *

Геометрия
 окна –
 ветром
 полна.
 Однако –
 прочь
 все эти рамки.
 Ночь –
 как ночь –
 даже в масштабах
 пространства,
 где небесная швабра
 часто-часто
 работает по углам,
 гоняя вчерашний хлам –
 так, что рука
 дежурного по верхам –
 высекает молнии.



Внизу –
затухают волны
будней и зуд
насущенных
потребностей.
Всё, что на сушу
вышло из бездны –
приняло форму
холодного камня
или фарфора
на полочке в спальне.

Слух –
острее.
Стук
сердца – режет
из-под ребра
мякоть,
что стала груба
в хлебе из злака,
срезанного под корень
и запечённого в плоть.
Но кто-то же любит корку,
выхватив целый ломоть...

Вот так –
тик-так,
тик-так,
тик-так...
Впрочем, нет механизма
с пружиной и шестернёй
в призме
новых часов,
отменивших старьё.
Теперь микросхема –
и есть – вселенная,
что щурится через стекло.

Чай –
ещё крепок,
ещё горяч, но сейчас
это – нелепость
в условиях
сухости формул,
когда в окне, нарисованном –
в качестве форы
очерченного объёма –

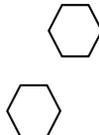
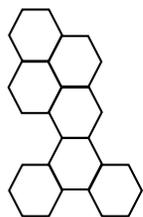
сгущается тьма.
И лишь чувство дома –
окунает в купель дитя.

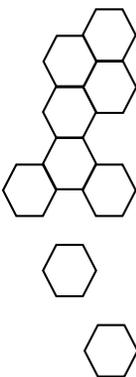
* * *

Свобода,
свобода...
Обод
крутящегося колеса
оставляет лишь колею,
водянистые – будто глаза
во хмелю –
безразмерные лужи
вчерашнего ливня.
Месяца три до стужи,
а потом – эти ивы
вдоль дороги –
разбитой вдрызг –
облетят и продрогнут
среди миллиона искр...

Путь не близок.
Свобода,
свобода...
Какие там визы...
За воротом
стынет кожа
на встречном ветру.
Когда мир был моложе –
он тоже имел в виду
шелест да пыл
вешней листвы –
полшага вперёд из толпы
и вот уж пусты
графы в анкете
для строгой инстанции.
Улететь бы на яркой ракете
туда, на что не грех подписаться...

Поле.
Полина, Поля,
пуля – и болью
наполнен
трепетный крик.
Мы падали навзничь –





каждый теперь старик –
как давеча
потешался начальник.
Продолжается вечеринка,
и тот, кто отделался чаем –
последнюю спичкой чиркнул
под медленной аркой
и канул в ночи
Лето кончается – жалко,
но – помолчи...

Свобода,
свобода –
выписка из приказа.
Возможно – мы всё ещё молоды,
но это – заметно не сразу.

* * *

Осмысленно
вворачиваешь
лампочку – будто лысую
голову – не иначе
яркую – в плечи
патрона – по самую шею
на табурете под вечер
в обжитом помещении –
с чувством сиротским:
мол, лопнула нить вольфрама.
И вроде бы – выше ростом
стал, на носках упрямо
толкая себя к потолку,
где провод – как хвостик арбуза,
что сам себя не потянул –
сочтя спелый плод обузой.
Стоишь – напрягаешь кисть,
крутишь и вертишь,
а рядом – в потёмках жизнь
ещё бормочет о свете...

Шатается табурет –
рассохшийся атрибут
быта, в котором нет
звёзд у царевны во лбу,
но есть – тёплый войлок причуд
и щедрая горсть мелочей,

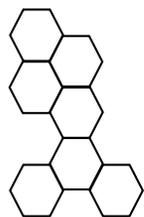


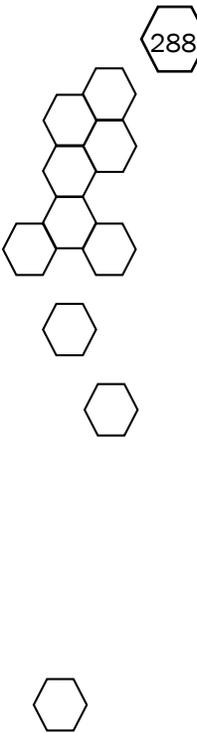
с которыми – впредь не чужд
мир обычных вещей.

Вворачиваешь,
вворачиваешь
лампочку –
чаще и чаще
число Фибоначчи
пальцев
на ломкой руке
строит в танце
логический ряд, но уже
подошло к нулю.
Щёлкнул, сощурил
глаз – ибо ток иглу –
острую и большую –
обнажил
до жил.
Свет – опять внутри лампы,
где ты, слава богу, не джинн –
а новая тень в мягких тапках...

* * *

Глумился
голем
над смыслом,
и голая
голень
вязла в тине
вдоль топкого берега,
но мы смотрели, как в тигле
выплавлялась иная материя,
и нам было тепло –
особенно после ливня,
когда до нитки, до костей, до того,
что ближе к телу либо
к сердцу
вновь остались сырыми.
В огне – вместо духа и сына –
нам чудился жар сентенций,
хотелось – если уж греться –
то чем-нибудь сиротливо
глядящим из темноты.
Да, голем – казалось, что это ты –
новорожденный,





хрупкая кукла богов,
кусок болотного дёрна,
оживший под сапогом
хромого скитальца.
Но вышел на свет
и стал тем, чего стоит бояться
на встречной с тобой полосе.

Глина
плюс лава –
да пепел, да слива,
раздавленная
в руке –
вот и всё,
что трактуется на твоём языке
тому, кто обедал овсом
у скупого костра.
А ближе тебя подпустишь –
в пальцах твоих остра
у горла узкая
сталь ножа –
впрочем, мечталось же,
чтоб воспарила душа –
раз уж скулить о душе.

Но – голем,
по-прежнему – голем...
Засыпая потным и голым –
видишь цветущий сад,
где под яблоней –
наши дети сидят,
не рождённые в жизни явленной...

* * *

Шляпа – кругла
вокруг головы,
широкопола, как крыша ума
носителя, что, увы,
порой не хозяин
ни шляпе, ни голове...
Он с раннего детства – раззява,
ему бы рыскать в траве
в поисках связки ключей,
выпавшей из кармана,
или монет – ещё более мелких вещей –

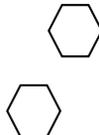
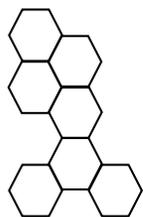
но в шляпе он – Иван Карамазов,
 рассеянный Дон Жуан,
 забывший, что сердце – камень
 у статуй убитым мужьям –
 да ещё донжуановыми руками.

Глядишь из окна:
 шляпа – предмет искусства –
 будто б слегка велика,
 а, может, это лишь чувство
 узости разума,
 воплощённого в голове
 всех носителей разом –
 живущих в абстрактной Москве
 или – уж если ещё абстрактней –
 в Павлове-на-Оке.
 На-ка –
 и ты примерь
 в своих Уренгое,
 Кинишме или Ухте.
 Хватит пустых аллегорий –
 сам же быть в шляпе хотел.

Вечер сгустил тона.
 Серая моль над шкафом,
 но всё, что реальность дала,
 ты ещё не прошляпил...

* * *

Ел эскимо –
 холодильник языка
 кончик – словно зимой
 ртом ловил свысока
 выпавший снег.
 Всё иное казалось пустым –
 невкусным, несладким. Эх –
 как же давно эти бразды
 правления цветом и звуком
 пребывают в цепких руках
 не Большого Брата или его внука,
 которого тот ругал
 за двойки по физике
 и испорченный вкус,
 изображая Фонвизина,
 крутящего сталинский ус,



а в руках скупой глухоты,
упаковавшей мир
в мокрый картон, где ты –
в слишком тесной связи с людьми.

Ходил по проспекту –
прислушивался к шагам.
Таяло, таяло лето
и эскимо – как душа
шоколадного эльфа –
покидала толкиеновский сюжет,
в котором бог метит шельму,
рычащую, что бога нет...

Но бог – в тусклых прожилках
августовского листа,
в небе, где пассажирам,
рассаженным по местам,
предлагают соки и воды,
в солнечном робком луче...
Ел эскимо – был свободен
в каком-то детском ключе.

Ведь, знают уста младенца –
даже внутри мужей –
что в маленьких радостях сердцу
не так беспросветно уже...



ВЕСНА НАС ДОГОНЯЕТ...*Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА*

Серпухов, Серпухов.

Серый пух. Сера и пух. Серп – ух!

Колёса вагона стучат по рельсам,

Рельсы по колёсам стучат в ответ.

– сосед-пассажир, разрешите спросить:

Вы были когда-нибудь в Серпухове?

Отвечает:

– Нет.

Серпухов, Серпухов.

Сердце бухает

В такт колёсам вагонов, идущих в рассвет.

– сосед-пассажир, этим пасмурным утром

О чём Вы мечтаете?

– Безлимитный билет

Иметь, позволяющий

Право проезда

Туда, куда хочется,

Ночью и днём,

Зимой и летом.

– Как это прекрасно! сосед-пассажир, вот это мечта!

Серпухов, Серпухов,

Сельские жители

Зажгли свои окна за нашим окном.

Семейные завтраки на стол собираются,

Семейные завтраки за огромным столом.

Сегодня рассвет удивительно серый,

А Серпухов, Серпухов,

Да что ж я нём!

Единственная информация, известная мне о Серпухове, –

Это то, что в нём есть

Серпуховский

Лифтовый завод.

Об этом я прочитала на железной табличке,

Висящей в лифте дома,

В котором живу.

Серпухов, Серпухов.

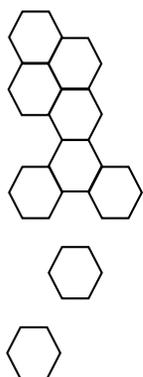
Сердится, кажется, сосед-пассажир

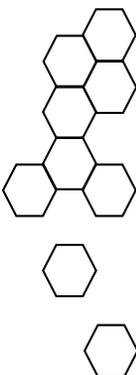
На мою болтовню.

Дорога железная

Сиреневым светится

В холодном рассвете.





Ах, что я ищущу
 В заброшенных сёлах,
 Забытых домишках,
 Загадочных лицах чужих городов,
 Уютных и милых,
 Родных отчего-то,
 Любимых зачем-то
 Чужих городов.
 Ах, что я ищущу?
 А в Серпухов утро
 Приходит и будит чудесных людей,
 Пушистых и серых.
 Ах, Серпухов, Серпухов,
 Ах, Серпухов, Серпухов,
 Просыпайся скорей.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Вера всегда играла Красную шапочку в школьных спектаклях.
 Потом ей стали предлагать роль мамы Красной шапочки
 (К тому времени Вера уже была учительницей).
 И вот однажды ей предложили роль
 Бабушки Красной шапочки.
 Вера впервые задумалась... и согласилась.
 В ту ночь почему-то ей снилось
 Море.
 Тёплое.
 Бирюзовое.
 Как, тогда, когда она на поезде ездила в гости
 В подружке Оле.
 Им обеим было лет по двенадцать. А, может быть, по четырнадцать.
 Это не важно. В их девичьем разговоре
 Было так много солнца,
 Что приходилось литрами пить холодную газировку –
 Чтобы не спалить друг друга.

Вера всегда играла Красную шапочку в школьных спектаклях.
 Странное дело: она никогда не думала, что однажды вырастет из этой роли.
 В письма подружке Оле
 Она часто вкладывала свои фотографии в красной атласной шапке.
 Оля, теперь я бабка.
 Бабушка, баба, бабуля.
 Красная шапка на стуле
 Висит, как поплёкшее фото.
 Кто же я, Оля?
 Кто-то.



Дальше – земля, болото?
Жёлтый песок, глина?
Будет ли у меня имя?
Оля, ты знаешь, мне страшно.
Впрочем, пожалуй, это не важно.
Знаешь, в детстве на Пасху
Мне надевали красный платок.
Все думали: с нами красное знамя.
А я верила: с нами Бог.

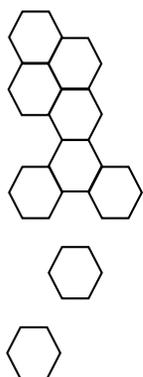
Вера всегда играла Красную шапочку в школьных спектаклях.
Роль бабушки Красной шапочки получилась у неё ничуть не хуже.
Теперь каждый год её приглашали сыграть
Добрую любящую бабулю, к которой бежала юная, как весна, внучка.
На сцене Вера появлялась в красном атласном платке.
Все удивлялись: откуда у неё такое спокойствие и такая уверенность на сцене?
Ведь она не профессиональная актриса!
Вера улыбалась в ответ, поправляла свой красный атласный платок
И отправлялась играть. Или жить.
И, когда в конце спектакля
В её объятия бросалась юная, как весна, Красная шапочка,
Весь зал начинал плакать –
Так много добра, света и веры
Было в этот момент в лице человека,
Исполнявшего роль бабушки Красной шапки.

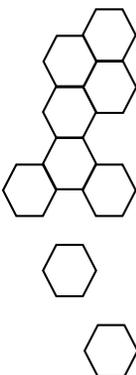
Вера всегда играла в школьных спектаклях.
Вера.
Вера всегда была.

ПОДСНЕЖНИК

Трамвай проходит через частный сектор.
Дома, сараи, гаражи, подснежник.
Надежда Юрьевна в поношенной одежде
Стоит и смотрит далеко куда-то,
Туда, где рельсы огибают вечность.

Подснежник бледный, как апрельский вечер,
Что фонарём замечен и подсвечен,
Что фонарём как будто рассекречен,
Смущённо ёжится в проталине своей.
Надежда Юрьевна идёт, идёт куда-то,
Туда, где меркнет полоса заката.
Трамвай бежит за ней, звенит: «Прости! Прости!
Дай рядом быть с тобой в твоём пути,





Смотри, смотри, весна нас догоняет...»
 Фонарь дрожит, почти что догорает.
 Подснежник ёжится и головой кивает.
 «Останься с нами, посмотри: весна!
 Кричат сараи, гаражи, дома.-
 Надежда, Наденька, прости нас, умоляем!»
 Надежда Юрьевна усталая, седая
 Им говорит: «Весна идёт.
 Давайте руки, встанем в хоровод.
 Трамвай, звени, фонарь, свети, цветы, подснежник.
 Встречать весну негоже без надежды».

ТАПОЧКА

Утром стрижёшь монастырский газон,
 Вечером куришь с друзьями траву.
 В понедельник в восемь еле-еле продираешь глаза ,
 Садись в метро и куда-то проваливаешься –
 До 19:00 пятницы.
 В твоей квартире – студии сорока девяти метров –
 Нет ни животных, ни растений.
 Даже пауки, мошки и комары
 Никогда в неё не заглядывают.
 В квартире пахнет побелкой, извёсткой и чем-то ещё –
 Неживым – дом совершенно новенький.
 Твоя квартира на двенадцатом этаже.
 В подъезде два лифта – в каждом из них по зеркалу.
 Ты часто глядишь на своё отражение,
 Морщишь лоб, кривишь губы и говоришь
 Несвоим голосом:
 – Ну здравствуй, Женя.
 – Ну здравствуй, Саша.
 – Ну здравствуй, Валечка.
 Прикасаешься тощими пальцами к бледным щекам
 И шепчешь:
 – Это что, ты?

Утром стрижёшь монастырский газон,
 Вечером куришь с друзьями траву.
 В правом кармане твоего пиджака
 Крохотный молитвослов на церковнославянском.
 Иногда в полдень ты обнаруживаешь себя
 У кристально-чистого офисного окна,
 Глядишь из него на огромный город
 И неожиданно говоришь вслух:
 – Следующим летом я поеду на Валаам.



Следующим летом я обязательно поеду на Валаам.
А, может быть, в Псково-Печерский.

Утром стрижёшь монастырский газон,
Вечером...

Поезд. Метро. Метро.

Плеер в ушах.

Молитвослов в кармане.

Вот приеду в квартиру и обязательно позвоню маме.

Мама ответит голосом, роднее которого нет:

– Здравствуй, Женя.

– Здравствуй, Саша.

– Здравствуй, Валечка.

Ты в холодной квартире стоишь с телефоном в руке,

На ногах в виде собачек тапочки.

20:00. За окном темнота.

Ни собаки, ни рыбок в квартире твоей,

Ни мурлыкающего кота.

– Здравствуй, Женя.

– Здравствуй, Саша.

– Здравствуй, Валечка.

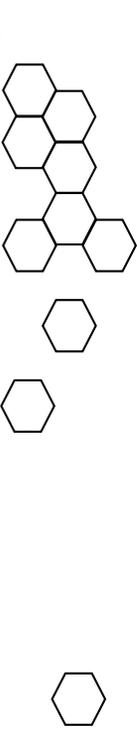
Ты стоишь с телефоном в руке

И гладишь за ушком

Тапочку.

ГРАЧИ

Любите друг друга. Терпите друг друга. Подснежник,
Услышав грачей, с нетерпением тянется к солнцу.
Грачи пролетают над лесом бескрайним, безбрежным,
Над полем, над домом, над городом, над незнакомцем,
Прищурившим глаз от весны ослепительно ясной.
Сегодня ему у станка отрабатывать смену.
Спасите друг друга. В грача превращается ястреб.
В грача превращается хрупкая девушка Лена,
Забывшая дома перчатки и тёплую шапку.
Поймите друг друга, спросите друг друга о важном.
Мальчишки бегут: раз-два-три – начинаются прятки.
Грачи пролетают над речкой, кораблик бумажный
Плывёт возле берега, лёд расступается, тает.
Найдите друг друга, грачи пролетают, сморите,
Летит над землёй голосистая чёрная стая,
Смотрите скорее, любите друга, любите...



КАТЯ

Катя, Катюша,

А помнишь?

Ты помнишь,

Катя, Катенька?

Как однажды после воскресной службы

(Был один из зимних постов)

Мы пошли с тобой

В твою маленькую бедненькую каморку

На втором этаже старого-престарого деревянного дома

(Я думала, такие дома живут только в чьей-нибудь памяти).

Мы сели за круглый стол, покрытый белоснежной скатертью,

Ты налила нам чаю из голубого фарфорового чайника

И высыпала на тарелку целую гору сушёных яблок.

Я до сих пор помню их сладкий пряный аромат,

Их тёплый детский аромат.

Так пахнут старые книги с добрыми сказками,

Так пахнут бабушкины руки: сухие, потрескавшиеся,

Самые мягкие на свете.

Так пахнет твоя каморка –

Тёплый остров в огромном океане зимы.

Мне было, кажется, двадцать пять,

Тебе – на пятнадцать или двадцать лет больше.

Над нашими головами горела лампа в тканевом абажуре.

И ты говорила: «В этом мире бывает родство душ»

«В этом мире безусловно бывает родство душ», –

Словно эхо, отзывался мой голос.

И наши слова пропитывались густым яблочным ароматом.

Так пахнет встреча людей, осознавших своё родство.

Лампа в тканевом абажуре светила над нашими головами.

Мы говорили. Говорили о самом главном.

А, когда за окном начало вечереть,

Ты положила мне горстку сушёных яблок

В красивый бумажный пакет

И сказала:

«До встречи».

«Безусловно до встречи», – словно эхо, отзывался мой голос.

Я покинула твой крохотный тёплый остров,

Я пустилась вплавь по снежному океану,

Ветер дул мне в лицо,

Срывал с головы шапку, разматывал шарф.

А я смотрела ему в глаза и шептала:

«Как чудесно пахнешь ты, ветер,

Как яблочко пахнешь ты, ветер,

А давай превратим этот снег

В яблоневые цветы?

Слышишь, ветер, в яблоневые цветы?»

КУЛИБИНСКИЙ ПАРК

Кулибинский парк, Кулибинский парк
Весь белый, весь снежный, весь прежний,
Высокие клёны стоят и глядят
И видят повсюду надежду.

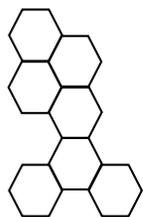
И видят повсюду каких-то людей,
Идущих по белым аллеям.
Я в детстве кормила пшеном голубей,
Любила смотреть, как на белом

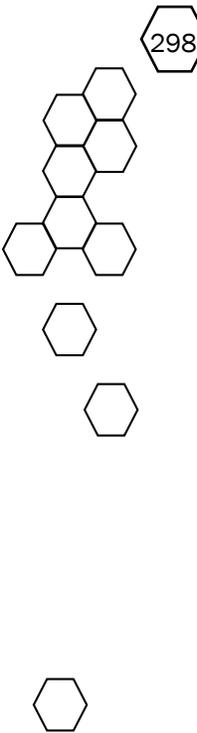
Снегу остаются их птичьи следы.
Исслежен весь парк, исхожен.
Кулибинский парк шепчет мысли свои
Свой путь проходящим прохожим,

Свой путь проходящим... А клёны, а клёны,
А клёны всё знают и помнят:
Старинное кладбище,
Бабушек плачущих,
Бабочек, галочек,
Дедушку с палочкой,
Девочку с книжкой,
С ранцем мальчишку,
Короткую стрижку
Карины Петровны,
Что каждое утро
Ходила к могиле
Ивана Кулибина.
Помнят ладони
Сухие её
И цветочки на платье,
Высокие клёны, как сёстры, как братья
Глядят на аллеи и видят надежду
На лицах прохожих, как раньше, как прежде...

ДЫМ

Он любил смотреть,
Как из труб убегает дым.
Как тянется он длинным,
Нескончаемым облаком,
Как вытекает густой
Рисовой или манной кашей
Из высоких заводских труб,





Как разливаётся по земле,
Вырывается к небесам,
Обретает свободу.
Он любил смотреть,
Как из труб убегает дым.
Белым морозным утром
Он любил стоять у окна,
Касаясь кончиками пальцев ледяного стекла,
И смотреть, как густой столб дыма
Двигается в бесконечность.
В морозные дни дым особенно красив.
Интересно, кто его производит?
Наверное, очень добрые
И очень сильные люди
Варят дым в огромных котлах,
А потом выпускают его
Через высокие-высокие трубы.
Дым бежит, летит,
Радует глаз замёрзших
Усталых людей.
Люди смотрят на него,
Улыбаются,
Вспоминают детство.
Вари, горшочек, вари.
Люди закрывают глаза
И оказываются на коленях у мамы,
Листают яркие книжки,
Слушают тёплые сказки.
Как много, должно быть, рабочих
Трудится на заводах,
Производящих дым.
Спасибо вам, дорогие, спасибо вам.

Он любил смотреть,
Как из труб убегает дым.
Иногда он запирался на ключ
В своём рабочем кабинете,
Иногда замирал у окна в туалете,
Иногда просто стоял на лестнице
И не мог, не мог оторвать глаз
От бесконечного облака дыма.
Секретарша порой стучала в закрытую дверь
И тоненьким голоском говорила:
«Павел Сергеевич, Вас ждут на совещании».
Тогда он отрывался от окна,
Поправлял галстук
И открывал дверь.

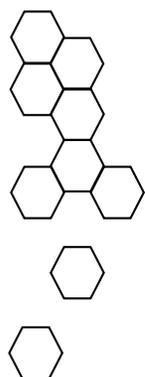
Иногда в дверь стучала раздражённая женщина
И кричала:
«Павел Сергеевич, Вы там не заснули?»
Тогда он отрывался от окна,
Поправлял свою форму охранника
И открывал дверь.

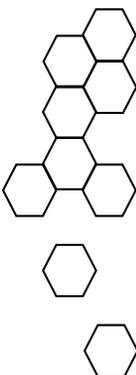
Иногда его окликал кто-то сзади,
И Павел Сергеевич,
Так любивший обеими руками
Опираясь на лопату для чистки снега,
Отрывался от неё,
Поправлял свой оранжевый жилет,
Поворачивал голову
И отвечал:
«Да?»

Павел Сергеевич был директором.
Павел Сергеевич был охранником.
Павел Сергеевич был дворником.
Доктором.
Поваром.
Сантехником.
Фитнес-инструктором.
Павел Сергеевич любил смотреть,
Как из труб убегает дым.
Как тянется он длинным,
Нескончаемым облаком,
Как разливается по земле,
Вырывается к небесам.
Павел Сергеевич любил смотреть,
Как из труб убегает дым,
Как дым обретает свободу.

УНЫНИЕ – СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

Уныние – смертный грех.
Весь вечер и сижу на балконе,
Ковыряю грецкий орех,
Пытаюсь расколоть крепкую скорлупу,
Ветер всюду завывает: «У-у».
А между тем
В каждом из нас поселилась смерть.
Давным-давно,
Почти с самого начала.
Ещё до того,





Как всех нас зачали.
Адам и Ева узнали об этом первыми.
С тех пор люди стали немного нервными.
Лезают по чердакам и подвалам,
Ищут, ищут, ищут...
Никак не могут найти,
Не понимают, что потеряли.
Вот и я битый час ковыряю
Грецкую скорлупу.
Не понимаю, что же такого
Я там найду.

Уныние – смертный грех.
Средь ночи подняться с постели
И разбудить всех,
Хватать за пижамы, за волосы,
Кричать, не жалея голоса,
Упасть на колени и шарить
Рукой под диваном, под шкафом,
Искать меж страниц,
Читать между строк,
Высматривать среди букв
И всё повторять – повторять
Про себя, а потом вслух:
«Мы потеряли там, не знаем где,
Мы потеряли то, не знаем что.
Мы ищем там, не знаем где,
Мы ищем то, не знаем что.
И мы будем счастливы только тогда,
Когда найдём ЭТО»

ВИШНЁВЫЙ САД

Стихи мои только о смерти,
Стихи мои только о жизни,
Стихи мои только о листьях,
То жёлтых, то молодых,
Едва обретающих краску.

О смерти писать чуть страшно,
О жизни как будто тоже,
За жизнью приходит смерть,
За смертью приходит вечность,
Бояться её – беспечно.

Выходишь на улицу утром,
И слышишь – оборвалась
Струна за холмом, за горою,
И эхо, как город, большое
Готово накрыть с головою.

А чей-то вишнёвый сад
Цветёт, не смотря на октябрь.
В Японии много сакур,
В Японии все самураи
С мечами своими спят.

Стихи мои только о смерти,
Стихи мои только о жизни,
Стихи мои только о море,
О шелесте волн морских.

О Чёрное, Чёрное море!
О Чермное, Чермное море!
Стихи мои только о доме,
Об окнах высоких, родных.

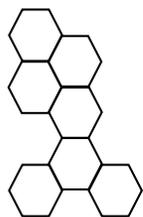
ДВОРНИК

Дворник всё утро шуршит под окошком,
Сметает сухую листву,
Дворник метлою шуршит по дорожкам
И шепчет: «Я тоже уйду.

Вот только начну желтеть понемногу,
Во только начну опадать,
Вот только засыплю собою дорогу.
Кто будет её подметать?»

Дворник всё утро шуршит под окошком,
Повсюду идёт листопад.
В окошко глядит пушистая кошка,
Глядит пятый год подряд.

«Мой старый коллега Петрович, дворник,
Однажды мне рассказал:
Метла распустилась на Светлый Вторник,
Листочками разрослась».



Дрожат на ветру золотистые клёны,
 Теряют свою листву.
 Глядит на них задумчиво дворник,
 Метлу обнимая свою.

РЫБА

Хожу, как немая, по осени серой,
 По осени серой, по осени сонной,
 Сказать бы хоть слово, но слово, как камень,
 Не как воробей, но камень в бездонном
 Кармане моём. Мне рукой не добраться
 До камня, до слова. Быть может, я рыба?
 Плыву в серой плотности, мороси, голосе
 Осенних прохожих. Пожалуй, я рыба.
 Сорожка, которую дедушка в детстве
 Сушил для меня. Милый дедушка умер.
 А я продолжаю скользить по течению.
 Пока продолжаю. Как долго – не знаю.

Хожу, как немая. Мне в мае зелёном
 Приснилось, что я цирковая артистка,
 Что я поднимаюсь под купол высокий,
 Что я превращаюсь в летучий корабль.
 Но нет. По карманам тяжёлые камни,
 Мне с эдаким грузом летать не по силам.
 Как слово весомо. Как много пословиц
 Сложили народы из слов синеоких,
 Из слов синеоких. Алмаз ли, булыжник
 В кармане моём... Я однажды читала,
 Что праздное слово – как камень на шее,
 Который под купол не пустит подняться...

Хожу, как немая. Сказать бы хоть слово.
 Мы с дедушкой в детстве смотрели на звёзды.
 «Представь ничего», – говорил он мне строго.
 «Ах, дедушка, милый, мне страшно, мне слёзно!
 Я рыба немая, сорожка. Ты веришь?»
 «Представь ничего», – говорил он мне снова
 И крепко сжимал мой плавник или руку.
 Я в небо смотрела, я видела звёзды.
 «Ты знаешь, что было до звёзд и до неба?»
 «Ах, дедушка, милый, желтеют листочки
 На тонкой берёзе, уж близится осень!..»
 «Ты знаешь, что было и что будет после?»



1916-Й ГОД*Владимир ВАСИЛЬЕВ*

Вдоль проспекта Невского
Сани пронеслись.
Вспомнив Достоевского,
Бесы завелись.

Купчик вида свинского,
Господам на смех,
Показал Кандинского —
Блеванул на снег.

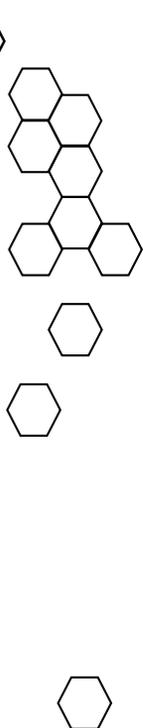
То-то было хохоту:
«Спинушки не гнем!
Обогнать Европу-то
Запросто могём!»

Слыша речи смелые,
Ветер-неофит
Вил спирали белые
У гранитных плит.

Холода. Метелица.
Зимний Петроград.
Вышивала девица
Малевича квадрат.

МУЗЕЙ

Изысканы паненки,
Голландки высоки,
Тяжеловесны немки,
Француженки легки.
Японки коренасты
Их имя — легион.
Лишь портят педерасты
Сей пестрый Вавилон.
Но к ним весьма терпимы
И равнодушны здесь.
А на стенах картины.
Там родовая спесь.
Там тусклые доспехи,
Тяжелые ковры,
Охотничьи потехи,
Обильные пиры,



Значительные лица...
И рядышком в плаще
Кудрявая девица
Вздыхает: «Ну, ваще!»

* * *

Анатолий Зверев пил
Много и упорно.
Анатолий Зверев был
Гением, бесспорно.

Анатолий Зверев слыл
Психом — не придурком.
Карандаш не находил —
Рисовал окурком.

Чем угодно рисовал:
Синькой и помадой
В мастерской, где пировал
С музою поддатой.

Он и смерти предложил:
«Ну-ка, попозируй!»
А она ему: «Лежи!
И не фантазируй!»

Он — в калачик и уснул,
Словно у крылечка.
Кто бы Господу шепнул
За него словечко?

* * *

Надоела риторика.
Ладно скроен и сшит,
Гамлет черепом Йорика
Кегли с грохотом сшиб.

Стали музы на шухере
В переулке глухом,
Где склоняются бухари
Над убитым стихом.

Расцвела каракатица
Для убогих во мгле.
Всё пройдет, всё прокатится,
Как слеза по игле.

* * *

Не крылышкуя у плеча,
Не золушкуя и не плача,
Свети мне муза, как свеча.
Гори, гори, моя удача.
Лети булыжник мостовой
В широкий лбище Голиафа.
На штурм последний мозговой
Веди, веди меня, бумага.
Неси туда меня, Пегас,
Где плещутся прибором рынки,
Туда, где Шивы третий глаз
Выглядывает из ширинки
Торговца книгами. Где вор
Словесный расставляет сети.
Туда, где громогласный хор
Поет с небес: «Аз, буки, веди»!

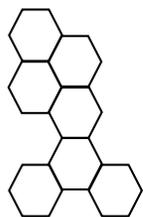
* * *

Голос твердый вождя
Говорит о его несгибаемой воле.
Я под звуки дождя
Напеваю хиты Бадди Холи.

Ветер ветки трясет.
Гонит низкие темные хмары.
Мир музыка спасет.
Вождь закончил — вступают фанфары.

Бадди Холи погиб.
Вместе с группой в аварии страшной.
Я мурлыкаю хит
Удалой, бесшабашный.

Вождь встает, зал встает,
Я встану, группы роковой культ прославляю.
И беру телепульт,
И к виску как «макар» приставляю.



* * *

Заграница ловится
На волне короткой.
За границу ломится
Робкий и не робкий.

За границей радуги,
За границей грома,
За границей радости
Полные хоромы.

Заграница славится
Тем, что всех приветит.
Спи, моя красавица —
Там тебе не светит.

За границей ценится
Каждая минутка.
А у нас — нелепица,
Сказка, прибаутка.

* * *

Здесь листва как листва и трава как трава,
Но лягушки горланят на реках: «Пурква».
Здесь и птицы поют: «Тюильри, тюильри».
Да и ты что-нибудь говори, говори.
Говори, как убог нерифмованный стих.
Говори, как французы не любят чужих,
И еще как с погодою нам повезло,
Как за гробом Стендаля лишь четверо шло:
Александр Тургенев*, Проспер Мериме...
Говори о Бастилии — мрачной тюрьме,
О волнах революций, республиках трех,
Чтобы дома я всё повторить это мог...
Но запомню лишь как по особому тут
Земноводные твари и птицы поют...

* Александр Иванович Тургенев — российский государственный деятель, историк, брат декабриста Николая Тургенева.

* * *

Возле Эйфелевой башни
аферисты дважды подбрасывали мне золотые колечки:
«Ваше, мсье?»
Возле Эйфелевой башни
огромный чернокожий парень то и дело запускал в небо
механического голубка.
Возле Эйфелевой башни
два араба дергали за нитки кукольного Микки Мауса,
и американский мышонок лихо отплясывал
под арабскую музыку.
Возле Эйфелевой башни
женщина в хиджабе обратилась ко мне по-английски:
«Помогите, пожалуйста, я из Сербии!»
И я по-английски ответил:
«Я из Украины — помогите!»

* * *

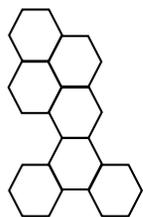
Воет у дороги
Одинокий волк.
Поднят по тревоге
Музыкальный полк:

Трубы и кларнеты,
Юный дирижер,
В геликон продетый
Дядька-Черномор.

Грубы волчья жилы.
Дыбом волчья шерсть.
Все мы, Отче, живы,
Пока голос есть.

Чешет музпехота
По корням и мхам.
И за нотой нота
Падают к ногам.

Звери их растащат,
Птицы расклюют.
Ломится сквозь чашу
Музыкальный спрут,



Сквозь тугое ухо,
Сквозь густой туман,
Сквозь башку, где глухо
Лупит барабан!

* * *

Девочка-ангел, идущая по воду,
Остановилась у старой ветлы.
Рай — это сад, где по всякому поводу
Щедрой рукой накрывают столы.

Рай — это рой насекомых у лампочки,
Шум над беседкой слепого дождя,
Брошенный дом, где домашние тапочки
Кто-то находит полвека спустя.

Оклик знакомый, момент ускользящий,
Где от колодца, с ведром семени,
Двигается ангел, в саду охраняющий
Вечную радость вчерашнего дня.

* * *

Морщит белый пароходик
Моря серое рядно.
Всё приходит и уходит —
Остается домино,

Долгий отдых, что не тяжек,
За столом бескровный бой,
Да крутой замес костяшек,
Заглушающий прибор.

Здесь, пока не стало тошно,
Можно встать из-за стола,
До конца не веря в то, что
Жизнь действительно прошла,

И еще — пройтись до парка
Полосой береговой,
Где раскатывает галька
Доминошный звук сухой.



С ЛЕДЯНОЙ ИГОЛОЧКОЙ В БОКУ

Марина ГАРБЕР

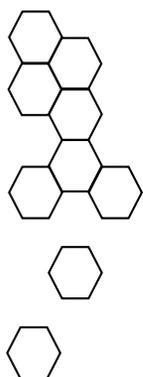
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Давай представим: девочка, гамак,
и ты стоишь, испытывая жалость
к волшебному улову, – двор, сужаясь,
вмещается в мальчишечий кулак.
Едва качнёшь – мелькают этажи,
так товарняк летит из преисподней.
И в паутине бабочка дрожит,
и пёс лежит у ног твоих, охотник.

Пока играем в детскую игру –
найди щегла среди ворон и соек,
найди свой дом меж рёбер новостроек,
под языком нашупай «не умру»,
пока волчица стережёт волчат,
точней, щенков дворняга, – на носочки
приподнимись, услышишь, как стучат
под кожей золотые молоточки.

Плывёт кораблик в проруби двора
на улице Монтеки-Капулетти,
где сумерки – такое время смерти,
когда правдивей кажется игра,
где звучен жест, где звук жесток – хлопок,
железный скрип, табачный выдох робкий –
так выпуклы, как девичий сосок,
вопросом обозначившийся в хлопке.

Кто тычется, ты спросишь, что за зверь
шевелится от счастья ли, испуга,
как будто ищет выход? Эту дверь
искать – что кошку или пятый угол
среди сумерек, внутри или вовне.
Но в свернутом на подвесной ладони
нескладном, угловатом существе
найди меня, слови меня, запомни.



* * *

Оказалось, что всё это зря –
воспалённое горло трамвая,
где течёт, под шумок иссякая,
«золотистого мёда струя»,
то бишь чья-то певучая речь
оживляет вагон, остановку
заполняет бесстыдно и ловко,
ибо – кровь, и не может не течь.

Всё впустую – стекло и гранит,
черепице перечасий тополь,
этот, может быть, Константинополь
или, может быть, этот Мадрид.
Зряшен бедный, растерянный люд
на ходу, и печаль его зряшна,
распоясанный быт рукопашный,
новостроек бетонный редут.

Но всего бесполезней – весны
разлетайки, бретельки, оборки, –
у такой изощрённой воровки
всяким хламом чуланы полны.
И совсем ни к чему, невпопад,
мимо цели, читай – виновато,
«я люблю тебя» выпорхнет в Прато,
в мельтешащий дождём Ленинград.

Отвернешься, качнувшись слегка,
сияясь вспомнить, в Перми или в Вене,
не моя ли на заднем сиденье
разжималась призывно рука?
Не твоё ли под левым плечом,
уколов, обозначилось место?
Даже сердце теперь неуместно
под плащом, да и плащ ни при чём.

Разве выразишь – и не берусь! –
как с духами врезается хлорка
то ли в каменный запах Нью-Йорка,
то ли в Киева вкрадчивый вкус?
Но когда горожане вразброд
осаждают трамвайное тело,
неуместная парочка слева
преграждает им выход и вход.

УРОК

Есть осень для прилежных учениц,
для двоечников – золото каникул,
сиди считай неперелетных птиц
или читай про царствие калигул.

Смотри, как хлопок мнётся в небесах,
как галстуки порхают над аллеей,
и облака – что банты в волосах
у Танечки, сидящей чуть левее.

Есть человек, седая голова,
что прячется под выступами крыши,
до пункта Б дошёл из пункта А –
но что он видел на пути, что слышал?

По седине ладонью проведя,
он замирает, прислонившись к стенке,
как будто с окончанием дождя
обещана большая переменка.

Есть желтый клён на костяной ноге,
в костлявой кисти смят обрывок бирки.
Есть женщина без сумки, налегке,
с живыми соловьями на косынке.

Под козырьком сидит Чеширский кот,
молочный свет подрагивает в блюдце,
кот подмигнёт – покажется, вот-вот
зет с игреком в дожде пересекутся.

Сиди учись, корпи, ищи ответ,
не думай, что за дальними холмами
шатровый цирк раскрыт, как лазарет,
и машет разноцветными бинтами.

В осеннем царстве мела и чернил,
на Марь Петровны уповая милость,
держи в уме, чтоб дождь не проходил,
чтоб женщина, вздохнув, остановилась.

Он постоит, опять раскроет зонт,
она пройдёт легко и без оглядки,
и птицы полетят за горизонт
по ноябрю... Но у тебя в остатке –



жизнь – с ледяной иголкой в боку,
смерть – этой жизни проще и моложе.
И Марь Петровна мстит ученику
за то, чему учить его не может.

* * *

Кто не был современником ничьим,
тот жив. А я мертва, я – современник.
Почти поделник, произносишь «дым»,
и видишь дым, и лупишь по своим,
и с мясом отрываешь понедельник.

Открой окно – простых ответов ларь,
спроси, какое нынче время суток?
Тысячелетье – спрашивали встарь,
но мой немой настольный календарь
годится разве что для самокруток.

Внизу – метро, а сверху – шапито,
по сторонам – булыжники и ветки,
а за стеклом, сквозь шум, гудки авто –
семейный праздник, я на табуретке
в подаренном по случаю пальто.

Там, за х/б отцовского плеча,
за петушком на донышке тарелки,
виднелся белый – сахара, побелки,
халата участкового врача –
больничный цвет с горчинкою таблетки,
надкушенной случайно, сгоряча.

Мне станет лучше, мы ещё споём
военные и просто дворовые,
на переменке, с Левченко вдвоём –
про детское, смертельное, навывлет,
про то, как мы, назло себе, живём.

И я не помню, руку положа,
какого года я? какого рода?
Но помню увядание природы –
пришкольный сад, где Пимен в сторожах,
похожий на ослепшего рапсода.

На цыпочках, чтоб не будить с утра,
по коридору прошуршишь босая,
в окне – сугробы нашего двора,
как повесть о банальности добра,
где жив отец, и мама молодая,
и фабула проста как дважды два.

И этот век, я повторяю, мой!
Пусть разберутся, что всё это значит.
Двоятся даты в дневнике, маячат –
то сорок первый, то тридцать седьмой,
и тянут глубже, в бездну, не иначе.

ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ

«Я вижу вас в жизни земной...»

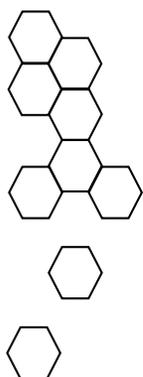
И. Меламед

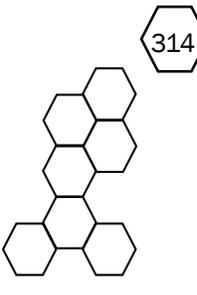
Живёшь под лавиной бумаг и газет,
почти что не дышишь, но кроме
словесного есть созидательный свет.
А может, и нет. Ты – клочок, документ,
какой выдаётся в роддоме.

Родился и, значит, однажды сойдёшь,
отмаешься – без проволочек,
до точки доскажешь своё, отпоёшь,
в потёмках отпляшешь, как пепельный дождь,
как в метрике скачущий почерк.

И вместе с тобой упорхнёт навсегда
залётная певчая птица
с негнущейся жёрдочки белого льда,
оттаявши от хохолка до хвоста –
поэтому птице не спится.

И бабка на лавке в платке, в муляже
зимы, будто взятой на мушку
бессонным охотником – скоро уже! –
и Нинка, что спит на седьмом этаже,
в горячую впившись подушку.





И тот, безымянный немой пешеход,
затёртый меж разных и прочих,
потопчется у незакрытых ворот,
поправит мохер, отряхнет коверкот,
сплывёт в направлении ночи.



И где-то на склоне зарытый секрет –
цветок под зелёной стекляшкой,
и все твои десять беспомощных лет,
ещё защищённых от будущих бед
январской родильной рубашкой.



Исчезнет училка, визгливый звонок,
вразлад хоровая распевка,
дыра в сапоге, задубевший носок
и актовый зал, где красивый, как бог,
из пятого «А» Кононенко.



В окне золотится значок ПВО,
сквозняк пробегает по шторе,
то лампочка вспыхнет, то звякнет ведро,
а ты, недотёпа, боишься того,
кто тенью шуршит в коридоре.

И дворник, подмявший дороге бока,
по древковоткнувший лопату
в сугроб, – отдыхай, дядя Гриша, пока
нас всех не сгребёт ледяная рука
и впишет последнюю дату.

* * *

Преимница негреющих широт,
где невпазд коса летит на камень,
и память, словно бабкин огород,
бессонно зарастает лопухами,
я помню звук, тот самый первый хруст –
хоть, говорят, в начале было слово, –
у чьих-то ног осыпавшийся куст
шуршал газетой шестьдесят восьмого.

Не домьсел, я слышала сама
с такого дна глухого, но, поди ж ты, –
под фонарём кругами шла зима
и в ночь с орбиты обрывалась трижды,

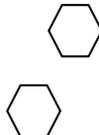
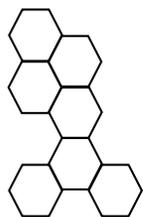
летела манной, падала халвой, —
я той зимы нахлебник и наследник —
и Суламифь, беременная мной,
завязывала на спине передник.

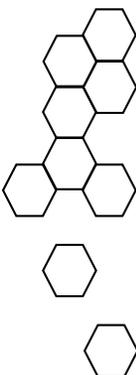
Родительный падеж — кого? чего? —
уже тогда звучал во мне вполсилы,
когда соседка слово «рождество»
чуть заговорщицки произносила, —
ей, маковым пропахшей молоком,
в подъезде прибиравшейся в Сочельник,
хотелось, чтобы с каждым сапогом
на лестнице расшаркивался веник.

Во лбу семерка, пассажир во рту —
гундосил заблудившийся автобус,
и реки вен текли по животу,
похожему на выпяченный глобус,
и оттеняя темно-синий диск
(«О, девочка моя, как много света!»)
наш ясень превращался в тамариск —
я ощущала превращенье это!

Фонарная трещала голова,
под кроличьей не умещаюсь шапкой,
«Еловый лес» летел под жернова,
вращаемые отставной лошадкой,
уже слепой, но слышащей пока:
ша, на муке замешивает вьюгу
ничейная широкая рука,
пускающая музыку по кругу.

На тридцать третьем прыгала игла,
поддетая невидимым мизинцем...
А я в ту пору всей Землёй была,
обтянутой аляповатым ситцем.





* * *

В круге первом с самого утра
заедает старая пластинка,
ластится бумажная ворсинка
к коготку жар-птичьего пера
как-то по-собачьи, как-то так
не по-человечески тоскливо,
будто всё здесь наперекосяк –
и зима, и почерк, и чернила.

У соседа – счастье с молоком,
у соседки – паучок на блузе,
ты одна – под скошенным углом
у окна, где по гипотенузе
то ли снег слетает на порог,
то ли светляки зажглись на ели, –
это от зимы уставший Бог
подражает СандроБотичелли.

И читать теперь, не перечить –
от земли до близгорящих кровель.
Не пиши, дыши, пора и честь
знать и замолчать на полуслове.
Свет ещё не меркнет, но уже
счёт закрыт, погашена рассрочка.
Слышишь, на десятом этаже
тишиной зашлаь радиоточка?

* * *

*Тучки небесные...
М. Лермонтов*

За часом час крупу толчёт курант,
у времени в ушах чернеет вата:
оправдывает выбор отъезжант,
отстаивает выбор оставант.
А ты молчи, поскольку виновата

в том, что не важно, с ними или без,
ты помнила талантливо и долго
не темный лес – ты разлюбила лес! –
не шум дождя, не крутизну пригорка,
а то, как грела сумрачный подъезд
считалочка твоя, скороговорка.

Гони тоску взашей – который год
в грудном кармане тлеет еле-еле.
Тот виноват, кто раньше всех умрёт,
кто помнит всё, но задом наперёд, –
как на златом крыльце впотьмах сидели
предатель, вор, стукач и патриот.

Неторопливо и по одному –
у времени, поди, губа не дура, –
всех в ступе растолчёт. А почему?
Хотя бы потому, что в слове *courant*
в английском – ударение на «у».

Сиди теперь, вины набравши в рот,
в своём кругу заняв чужое место:
они – наружу, ты, наоборот,
поглубже прячешь краденое детство –
в рукав, за пазуху, за шиворот.

Кто не отчалил – счастья не просил,
а кто в печали, тот остался в прошлом.
Но ты молчок! Но ты, что станет сил,
вини себя – за дырочку в подошве,
глотавшую подтаявший настил,

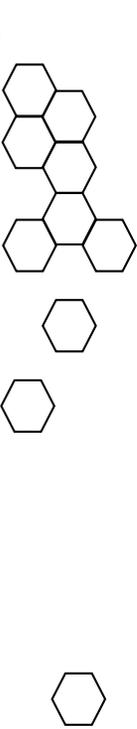
за влажный рот чужого сапога,
за разыгравшуюся не на шутку вьюгу,
за леденец родного языка
под языком, за то, что мы друг другу
читали «Тучи». В смысле, облака,
но тоже – к югу.

* * *

*...отравленное зеркало моё.
Александр Кабанов*

Райок закрыт. Не будет благодати.
Монтёр по пьяни перерезал свет.
Уснул малыш в игрушечной кровати,
зажав в руке хрустальный пистолет.

Дверь заперев, дитя проверив в детской,
уснула мать в носках и бигуди,
и браунинг, воистину богемский,
блестит на остывающей груди.



Осоловев от духоты и лени,
забылись псы в объятиях двора.
И только мертвым не до сновидений –
что им Гекуба? Здесь – своя игра.

То лодочками складывают руки,
так, будто наземь проливают грусть,
то странные перевирают звуки:
боюсь тебя, люблю тебя, боюсь...

Они ведь тоже умирали, лишь бы
смола любви по донышку текла,
и прикрывали лубяные избы
телами из невзрачного стекла.

Уснул отец, пустой, как поллитровка, –
так неудобно спать на животе! –
но греет бок хрустальная винтовка,
посверкивая дулом в темноте.

И что-то есть в незащищенных, пьяных,
мертвецких снах – нахрапом, вкривь и вкось –
от хрупкости: ты потому стеклянно,
чтоб мы могли любить тебя насквозь,

чтоб к полночи, окаменев над спальней,
луна к дуге приладила копьё.
И нет тебя ранимей и хрустальней,
нагое безотечество моё.

* * *

*...хотя бы это только переезд...
И.Бродский*

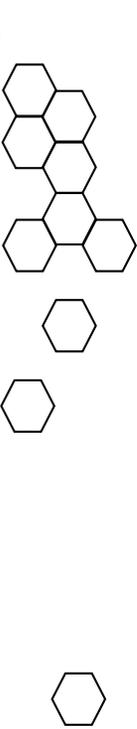
Теперь не уезжают навсегда,
отъезд – как перемена антуража,
снега сошли и талая вода
у бастионов – вражеских и наших.
Теперь врагов я узнаю в лицо –
и почтальона, и соседа Тэда,
летающего то бодрою трусцой,
то в кожаном седле велосипеда.

Уже не важно, в прошлом ли, теперь,
на дальнем расстоянии ли, рядом,
кто из людей (зачеркнуто) теней
остался в освещенном слеповатом
стоять за опалцованным стеклом
Борисполя – в конце такого года,
когда зима ломилась напролом,
мешаясь с серебром Аэрофлота.

Какая драма? Смена, переезд.
Не бойся, не проси, но вспомнить можно,
как светится багажный перевес,
чуть взбадривая хмурую таможду,
как в запад превращается восток –
должно быть, солнце в бок сместилось к ночи,
и счастлив ты, и так же одинок,
как Тэд-сосед – никак не одиноче.

Но вдруг не к месту вспомнишь, как с лотка
брала у бабки яблоки и сливу,
и что-то там слетало с языка
на суржике ее невыносимом, –
сшивательница времени, рапсод
с веревочным браслетом на запястье,
она язык переходила вброд,
кладя в кулёк копеечное счастье.

Тот странный звук отскакивал от стен,
брал в оборот – от головы до пяток,
и мнилось, полон полиэтилен
дарованных и неоплатных яблок.
А нынче – гладко тянется, что нить
вискозная, врезаюсь под колено.
И можно плыть, а можно и не плыть –
не суетясь, легко, попеременно.



* * *

Наде Делаланд

Смерть неизбежна. В первых числах марта
судьба зимы висит на волоске.
Ссутулившись, как двоечник за партой,
я думаю о русском языке,

что мы живем на языке пропащем,
меж волком и собакой, на черте
между сказуемым и подлежащим:
мы – сумерки, мы – ямы в темноте.

Живем за просто так, за ради Бога
умрем от этой тяжести в ребре,
жизнь – не театр, нет, она – дорога,
короткая, как черточка тире.

Где – *rolling stones* наматывают мили,
где – на латыни шелестят дубы,
где – ангелы поют на суахили,
где мы гадаем – если бы кабы...

Стучи – откроют, ищущий обрящет –
кто медный грош, кто бронзовый обол.
Быть иль не быть? – потом, а в настоящем
нередко опускается глагол.

И я пишу, зависнув где-то между,
соединя запад и восток:
смерть – наша родина, Россия неизбежна,
чужбина – дерево, я – птица, ты – цветок.



МЕЖДУ СТРАНИЦ ПОСЕЯННАЯ ПАМЯТЬ*Герман ВЛАСОВ**** * ***

Лежать в болезни, пыль рассматривая, –
на солнце как она летает.
Беспомощно следить, как лаковая
кругом забота обитает.

Обеда запахи отчётливые:
огонь куриного бульона.
Подушки, простыни бессчётные,
чай, корешок Пигмалиона.

Коротким зимним солнцем схвачена
лекарств и капель антреприза.
В огромном зеркале взлохмаченный
ты сам, ковер и телевизор.

Провинцией одноэтажную
пусть жизни промедленья длятся
и все дела сейчас неважные,
неровной стопкою пылятся.

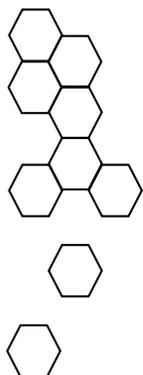
Простуды жар слабее в теле и
шаги пульсируют пустые.
Всю сладость чувствовать безделия,
считать соринки золотые.

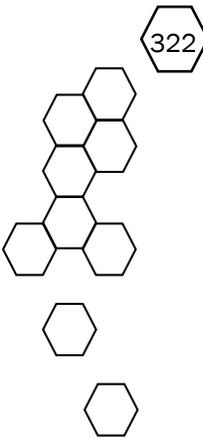
*** * ***

Шею поднять над столом:
запах течет, рифмуется –
будто одеколон;
пахнет сиренью с улицы.

Ожили крыши, стволы,
тучи на рыжем на западе.
Волосы пахнут твои
этим вот пряным запахом.

Зеркало пахнет, кровать,
лампочки свет мерцающий.
Как это называть?
Запахом завлекающим,





светом, нашедшим смысл,
форму воды бесформенной?
Или проснулась жизнь,
и наполнила комнату,

или цветет сирень
возле дома на майские?
В теле усталом – лень
и хорошо, по-ангельски.

КАРТИНА ВЕРМЕЕРА



Вот так примерь, стань ближе к свету
и не во двор смотри – сюда,
чтоб солнце высветило летнее
белки, и сделалась заметною
в них заблестевшая вода;
и воротник на кофте хмурой,
как снег на черепице крыш,
лежал. В тюрбане от гяуров
чуть вопросительной фигурой
вполоборота ты молчишь.

Молочны лоб и подбородок,
краснеет приоткрытый рот.
Что это – молодость, порода?
Твой водомеркою сквозь годы
взгляд испытующий плывет,
сам спрашивая: это жемчуг,
воск белый, рыба чешуя?
Движенья губ одной из женщин
в весенней лихорадке шепчут:
– Она моя или не моя?

Тебе сейчас пойдут любые,
рождая домыслы подруг.
Настали времена сырые...

Еще тебя зовут Мария,
ты смотришь – с Севера на Юг.

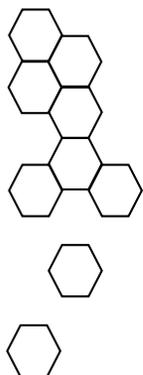
* * *

Я приходил за нею много раз,
я в дверь стучал, заглядывал на окна —
там свет горел; там, видимо, был газ;
из форточки на кухне пахло свеклой
и яблоками; реже табаком
и кофе (да, тот самый, растворимый);
я, будто зверь — из темноты, тайком
глядел на кровлю и порог любимый.

Еще я знал — там были книги, где
между страниц посеянная память
всходила, как рассада при дожде
(она страницы трогала руками);
там были вещи комнаты, их жизнь:
торшер, комод; там жили постояльцы:
стаканы, блюдца, вилки и ножи;
любимые вещей касались пальцы.

И я стоял и ждал, когда ко мне
дверь скрипнет и откроется фрамуга,
и выйдет на внимательной волне
мелодия (я думал, будет fuga).
Дождю открытый и под небом гол,
я ждал ее (я так себе измыслил) —
когда она обнимет теплый ствол
и мы уйдем до облаков по листьям.

Листва упала, зренье изменя,
и белизна приманивала стужу,
та женщина смотрела сквозь меня
и в трубку выговаривала мужу.
Летали хлопья снега, как в кино,
не слушая земного притяженья,
а я стоял, как дерево одно, —
в окне я видел все ее движенья.



ИЮНЬ

Плавни и сходни, вымостки и столбы,
Лето Господне, взгляды речной слюды.
отрок рыбачит – соло, а не вдвоем,
что-нибудь значит, хмурится водоем.
Перед возможным – вечным и обложным
людям несложно верить, что жизнь есть дым,
и в сочетанье спичек на глади вод:
вот и названье – гладким лицом плывет.
Как ее имя, что еще рассказать?
Кимры, Кириллов – дальше Киж и гать,
всполохи, грозы, запад темен и ал.
Метаморфозы – хоть бы кого поймал.
Тучи трескучи, ветрен и тепл июнь,
Время как случай – каверзен, зол и юн
Розой ли чайной, охом, скрипом весла.
Желтая чайка окуня принесла.

* * *

Есть улица и область есть двора.
Мужчина с зеркалом овальным –
идет с добычей метр на полтора,
день делая зеркальным.

Вот он раскинул руки, семена,
по сторонам глядит он и под ноги;
а то стоит – июньская земля,
отобразилась в нем в итоге;

пристроит поудобней, понесёт
и – спичкой по коробке – позолота
по окнам серым – зайчиком мелькнет.
Не просыпайся. Нет. Суббота.

Багаж любви – не смять, не умалить,
не выронить и не поставить в угол.
Нести, держать умение любить,
похожее на купол.

Он обошел стоянку для машин,
асфальт и облако соединяя,
неся пространства лишнего аршин,
зачем – и сам не зная.

И чем оно мужчину привлекло
ответить могут лип соцветья, –
нести, держать забытое стекло
из прошлого тысячелетья.

* * *

Не называй никак этот день:
кто назовет его, – тот украдет
свет его солнца, эту блажную лень,
взгляд через перистые, ветренный их полет,
масляный глаз (нет, уже золотой)
дым прошлогодней травы (апрель – Рубикон);
это хозяин просится на постой,
или хозяйка в платьнице на балкон.

Щурясь, утром выйдет она встречать
кадмий рассвета, смешанный с голубым,
где на ветвях зеленеет Его печать,
будто бы ослик въезжающий в Ершалаим.
Не был никем Он встречен, был одинок;
улицы сонной розарий слов не длинней.
Это потом – чашу или клинок,
спорили, вез он, для будущих сыновей.
Это со временем научились петлять,
спорить дороги, ведущие в вечный Рим.

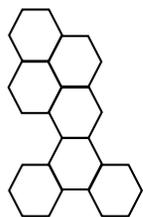
Не называй никак – не надо нас называть,
сами собой остаться если хотим.

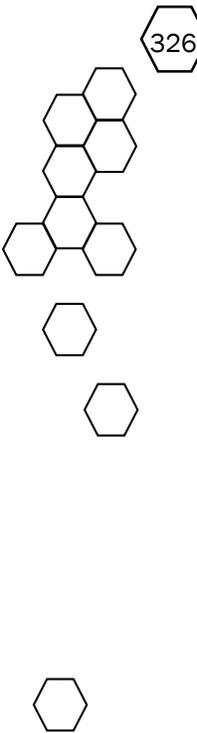
СЕСТРЕ

М. Ватутиной

гулять какое слово праздное
слоняться руки заложив
выводят улицы неразные
один прилипчивый мотив

ржавеют жигули а школьницы
в квадраты прыгают с числом
прабабки их уже покойницы
стеклянно охраняют дом





на кухне мать картинно бесится
глаза на мокром реве опять
ну что над книгой длинно свеситься
об адвокате пометать

придет в очках и с черной папочкой
начнет стихами ворожить
а я ему ну папа папочка
и до последнего любить

пройдут года советской вольницы
и потускнеют как аршин
на пмж уедут школьницы
иная очередь машин

блеснет в окно порою летнею
уходит время належке
любовь осталась незаметною
как строчка сонная в руке

посыпанная солью корочка
и сын опять сидит в сети
а я ему ну вова вовочка
иди гулять придешь к шести

СТАРИКИ

От долгой жизни в такт
и шелеста словами
они сошлись в цветах,
притерлись головами.

Их вместе мучил труд,
будил рассвет обоих –
истерлись, как лоскут,
сгорели, как обои.

И на закате дней
она, как он, сутула.
И сделался у ней
похожий взгляд и скулы.

Когда из тех глубин
мысль у нее мелькает, –
то он ее один
заранее читает.

Когда берут билет
или в метро заходят, –
их держит общий свет,
где всё и происходит.

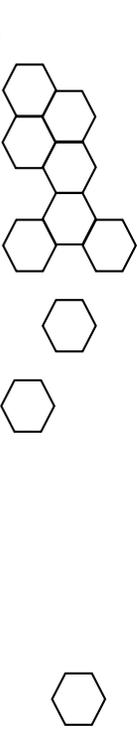
* * *

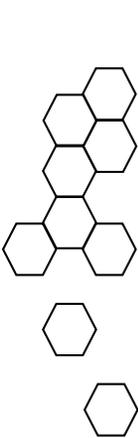
Мел стереть сухой тряпкой –
так узбеки чистят снег –
написать
куриной лапкой
дочь отец собрал в охапку
(кто кого собрал?)
и шапку
натянуть,
не видеть век.

Видеть зарево,
пустую
неприкаянную жизнь:
всю такую красоту и
Камергерский и Тверскую
улицу дороговизн.

Ощутить витрины рабство,
ты – отверженный Гаврош.
Лучше снежное убранство.
Мама, родина, пространство,
снег на кончиках галош.

и, растаяв, на паркете
в коридоре.
Услыхать
штурмовать далеко море
посылает нас
и горя
испугаться перестать.





Феликс ЧЕЧИК

ЖИЗНЬ – ЦВЕТНАЯ КИНОПАНОРАМА

* * *

Зимнее озеро. Запахи лета.
И променады стрекоз.
Это не шутка, и это не где-то,-
здесь – навсегда и всерьёз.
Ах, – «навсегда» означает – «недолго»;
озеро высохнет, чтоб
с неба исчезли стрекозы, и только
облака летний сугроб.

* * *



прямиком из коляски
не послушавши мать
за красивые глазки
я пошёл воевать
и на первой минуте
пал в неравном бою
передайте анюте
бескозырку мою

СОБАЧИЙ ВАЛЬС

Донне

1.

Полночных звёзд огни
на этом и на том.
Пожалуйста, вильни
обрубленным хвостом.
Что на дворе? Июнь?
Или январь? Вопрос.
В моё безделье сунь
прохладно-мокрый нос.
Залай, как никогда
не лаяла, мой друг...
Полночная звезда
с небес упала вдруг.
Печаль-тоску гоня,
глядишь из темноты.
А поутру меня
выгуливаешь ты.

2.

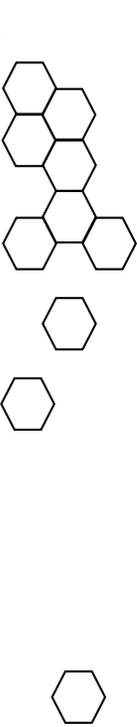
Ночь тиха. Собака рядом,
непонятная ежу.
Я отсутствующим взглядом
долго на небо гляжу.
Ёж в растерянности, – нету
или есть собака, а?
Снова выгорела к лету
левантийская трава.
Я читаю в небе знаки,
прерывая забытьё,
об отсутствии собаки
и присутствии её.
Нет её давно, конечно.
Но от радости дрожа,
звонко лает, безуспешно
наезжая на ежа.

* * *

прикосновенный растратил давно
сердца бэушный запас
не обливается кровью оно
бьётся уже через раз
старое сердце в осенней грязи
но не побрезгуй отмой
чтобы забилося как прежде в связи
с тем что вернулось домой

* * *

«Не сутулься», – говорила мама
и «Не горбись», – папа говорил.
Чтобы не расстраивались – прямо!
я старался из последних сил.
От начала – миллионы улиц
прошагал до самого конца
так, как мать просила – не сутулясь
и совсем не горбясь – для отца.
Не смотрел я под ноги – на небо
я смотрел, и ставил на любовь.
Ничего, что выглядел нелепо,-
спотыкался, разбивался в кровь.
“Пустяки”, – мне говорила мама.



“Ерунда”, – мне говорил отец.
Жизнь – цветная кинопанорама,
под оркестр любящих сердец...
Горблюсь и сутулюсь, наконец-то!
И живу нравоучений без!
“Не сутулься” – слышится из детства
и “Не горбись”, – слышится с небес.

* * *

Г. А.

Я заплачу неустойку,
я рассчитаюсь сполна.
На разноцветную сойку
дай посмотреть из окна.
Дай на неё заглядеться
только на четверть часа.
И не вернуться из детства
чистого, как небеса.

* * *

я вишу магнитиком madeinchina
ниагара слева матрёшка справа
оказался рядом совсем случайно
не по чину мне хейердала слава
холодильник старый жары не вынес
на дворе под сорок в разгаре лето
вы купили новый двухдверный “Siemens”
и украсили хлопцем из назарета

* * *

рукой зачерпни и смотри не пролей
хотя не с руки
размытую копию тополей
июньской реки
домой принеси и на стену повесь
квартиру укрась
и взглядом ласкай тополину взвесь
где плещется язь

* * *

«Настойка боярышника» – шестьдесят
копеек и жизнь хороша!
Прикаянно на облетающий сад
бессмертная смотрит душа.

Завидует сад и завидует плоть
осеннему спирту её.
Аптека закрылась, подшился Господь,
да каркает вороньё.

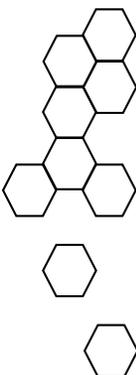
* * *

С ветром пустынным рифмую дожди,
с морем рифмую поля, –
чёрным по белому посреди
солнечного февраля.
Так себе рифмочки: АБАБ,
как перекрёстный огонь.
И о своей не гадаю судьбе,
глядя любимой ладонь.

* * *

Юрий Алексеевич, – не вам ли
лучше всех известно – что почём,
что на юге птицы стартовали
прямо над рассветным “кирпичом”.
Юрий Алексеевич, – на север,
захлебнувшись звездным молоком,
улетели, тишину посеяв
и поставив прошлое на кон.
Юрий Алексеевич, – отныне
и уже, уверен, до конца –
счастье на земле – в небесной сини,-
для новорожденного птенца.





* * *

С полуметра, Господи, в пустые –
вечные ворота не попасть!
Освистали, а потом простили,
но сперванаиздевались всласть.
С той поры и до сих пор в запое,-
тишина, что в градуснике ртуть.
Мяч квадратный. Колосится поле.
Ястреб, пролетающий сквозь грудь.

* * *

Забивали на труд, выпивали на “Правде”,
огурец малосольный по-братски деля,
и не праздника ради,
а веселия для.
Посылали гонца в тридевятое царство
и смотрели вослед с золотого крыльца.
А гонец испарялся:
ни винца, ни гонца.
Ничего, – говорили себе, – возвратится.
Не беда, – говорили себе, – подождём.
А весенняя птица
похмелялась дождём.
Ждали час, ждали день, ждали век – утешенье
в тишине разговоров ночных находя,
под земное вращенье
и песню дождя.
И смотрели на Пину, уехав из Пинска,
где сирень отцвела и белел краснотал.
А гонец возвратился,
да нас не застал.

* * *

Лёгкий, едва уловимый
запах тюльпана-огня –
днём, – на закате лавиной
обрушился на меня.
Двадцать минут, – и не больше,-
максимум – полчаса:
пахли тюльпаном, – о, боже,
закатные небеса.



* * *

Хорохорится, – в смысле – пыжится,-
сколько зим ему – столько лет:
финиш – старославянская ижица
в алфавите, которого нет.
Очи чёрные, ночи ясные,
пламень-лёд и сухая вода.
Слепо-глухо-немые, – согласные
с тем, что он устарел навсегда.





Анна МАРКИНА

СТОЯНКА ДИРИЖАБЛЕЙ

* * *

Стрекозы оккупировали Крым,
и пленка крыльев пропиталась красным
с небес. На остывающей террасе
о крови говорили комары.

На землю, на крапиву, на сарай
сходила кровь по вишням. Фотоснимок,
где маялось три тысячи травинок
в заборной раме сонного двора.

Все было контуром, волнением крыла,
лягушек хор, осоловевший ежик,
и вечер, близкой смертью покорежен,
и воздух острый, будто из стекла.

* * *

Все останутся, знаю, волнением, облаком, вздохом,
может, отблеском беглым, упавшим с обеденной ложки,
потому что иначе нельзя и иначе мне плохо,
потому что нельзя не остаться хотя бы немножко.
Все во мне и вокруг. Так хранят номера телефонов
тех, кому электроника вряд ли уже пригодится,
ни стереть, ни забыть, потому что хозяева оных
не ушли, не зашли вместе с солнцем, а просто одиннадцать
на настенных часах. И темнеет, темнеет, темнеет,
будто нет ничего кроме ночи, бессонницы, грусти...
Это все проживешь. Станут тени немного длиннее,
а тебя не покинут любимые и не отпустят.

* * *

Он сидит-рычит, похмельный,
сам с собою, третий лишний:
– Маша, не лежи в постели.
– Маша, искупай детишек.

Вымыв засветло берлогу,
Маша утром до обеда
сочиняет некрологи
для портала «смерть медведям».

Он приходит после смены
и орет:
– Давай потише!
– Маша, хватит жрать пельмени,
ты в кровать не поместишься.

Не стерпев, она сбегает
к матушке (через дорогу).
Он приходит с пирогами
возвращать ее в берлогу.

Говорит, что не погасло,
не потух огонь зажженный.
– Веришь, Маша? Будет сказка.
– Как не верить, медвежонок.

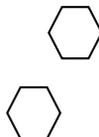
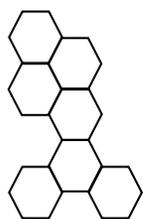
* * *

Иногда мне кажется, что и меня здесь нет
среди бледных, серых, не выдающих чувства,
среди ровных людей, не наводящих шорох:
выполнить задачи, переварить обед,
не разбирая ни слов чужих, ни себя, ни вкуса,
и не то, чтобы свет изжит, просто – общая приглушенность.

Это время потерянных и молчащих,
тренингов: путь к себе, беспредельность власти и личный рост.
Это время, когда горчишь или недосолен,
здесь прикажут быть поострее, а там – послаще.
Это время людей, задвинувших благородство
вместе с бабушкиным сервизом на антресоли.

Отгораживаться замками и занавесками,
не впускать просящего, поглядывать через щелочку,
перешагивать через немощных и убогих,
чтобы просто удерживать равновесие,
чтобы спрятаться в иллюзию защищенности,
будто страшное не гоняется за тобой.

Понимая все это, скатываться в депрессии,
прибиваться к сильным, лишь бы не отделяться,
и мечтать все бросить, свинтить в тайгу,
оставаться, ждать, притворяться пресным,
ни во что не верить, чтоб не стать объектом манипуляций,
собирать свой мир через «больше так не могу».



Но пока ты держишься, названный чудаком,
вне спокойствия, безопасности, теплых мест,
и стоишь с фонариком, погруженный в темень,
для других оборачиваясь маяком,
я могу еще верить, что выход есть
и никто еще не потерян.

ЗАПИСКА ИЗ ДЕРЕВНИ В ГОРОД

Вместе с памятью занавеска ливней
приподнимется над землей холмистой,
где по кромке леса на стыке линий
балансируют грибники и листья,
где по яблоки ломаются три медведя,
и охотник лес пробивает залпом,
а к рассвету спелая гроздь созвездий
наклоняется над землей на запад,

где дожди приходят во двор карябать
бесконечный очерк, и их искусство,
непролазно, как эта грязь и хляби,
непроглядно, как и характер русский.
Тут сосед – уйди на минуту – стащит
даже дверь в дому, уследи попробуй,
и чем больше он нагрешит, тем слаше
будет клясться, клясться в любви до гроба.

И пока запутавшиеся сети
с карасем достает из пруда мальчишка,
ты спокойно дремлешь, как дремлют дети,
заскучав над жизнью, а может, книжкой,
и пока теряется, как у Пруста,
занятое время, ты ходишь в гости,
на деревьях желто-пурпурным сгустком
оседает осень.

* * *

Вечер выдался студеным,
прикоснулся к февралю.
Я тебе, мой лебедёнок,
теплых песен напою.

Ду-лю-ли-ля, ду-лю-лю,
я кого-то полюблю.

Что там кроется под коркой
льдистой коркой в феврале?
Ты пока не знаешь сколько,
сколько грязи на земле.

Жук ползет: жи-жу-жа-жу,
я кого-то провожу.

Доберемся до апреля,
ветер смолкнет, ветер злой.
Знай, что жило и горело,
то становится золой.

Дует ветер ночной в дуду,
я когда-нибудь пройду.

Но пока что хорошо нам,
будешь сыт и обогрет.
Спи мой маленький мышонок,
ты очнешься на заре.

Ночь пройдет, ду-лю-ли-лю,
я же свет потороплю.

Будет день – над снегом белым
окаемка золотая,
вырастай, мой сокол, смелым,
мне на помощь вырастай.

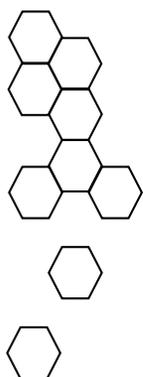
Что положено судьбой,
то мы вынесем с тобой,

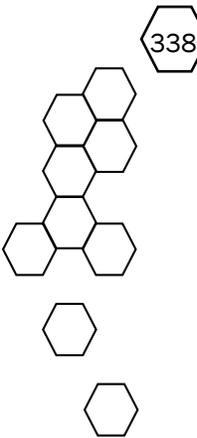
пыль и боль, быль и боль
перетерпим мы с тобой.

* * *

Год тянула себя, как хромающая кобыла,
у которой из теплых ног убывает лето.
Посещала тусовки (не то, что бы их любила,
просто слабость имею к фуршеточным тарталеткам).

В ледяном дворце, в груди, просыпались пчелы.
Я дышала под небом, словно глухое поле.
Надо было действовать: я отрастила челку,
получила права, кредит, обновила полис.





Все ждала, что скажет кто-то: живи – вот вектор,
ты туда живи, где полощется свет усталый.
Я пыталась жить с умирающим человеком,
но над ним так болело, что лампочки отцветали.

Я пыталась пробить этот бред, эту тишь словами,
и, конечно, всюду обнаруживался придурок,
изрекавший: на ваших буковках щей не сварим,
заклучавший: у нас итак завались культуры.

Я ходила по этой стране, как перина взбитой
сапогами, стадами, страданием и дождями,
И, казалось, тело двигалась по орбите
между госинстанций, окруженных очередями.

Повторялось все: как обычно, светло и пышно
развалились снега за окнами в эту зиму.
И хотелось остаться, остаться хотя бы вспышкой,
а не просто окном, из которого свет изымут.

* * *

Не то, чтоб вечер вышел неприятным,
он просто был немного бестолков.
Ладони облаков держали воздух,
сквозь лесопарк просвечивали пятна
компаний, группирующихся возле,
как водится, реки и шашлыков.

Был вид по-айвазовски живописен.
Эскадра груш отчаливала вдаль
под парусами, вставшими нарядно.
Друзья за сосны бегали пописать.
И в силу заведенного порядка
последний свет туда же опадал.

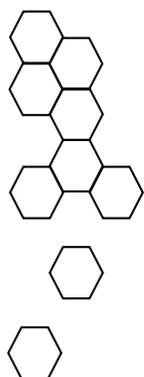
И Малый Лев выглядывал задорно.
Продетая сквозь шорохи, как нить,
река несла волнение и тайну.
Моя рука жила в чужой ладони.
Как дрели, в небо целились каштаны,
как будто можно что-то починить.

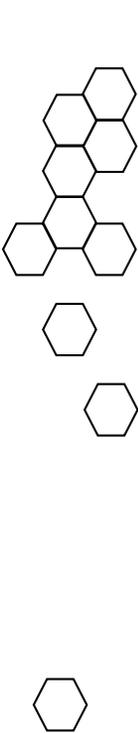


По берегу, заснув, лунатил ветер,
 им был костер нечаянно задет.
 Ресницы сосен к полночи слипались.
 Все было для того, чтоб ты приметил
 внутри себя непроходящий свет
 развернутый над сердцем, словно парус.

СТОЯНКА ДИРИЖАБЛЕЙ

Стоянка дирижаблей. Хмурый шершень
 дежурил у ромашек за столовой.
 По краю жизни местный сумасшедший
 тащил Вертинского, который из колонок
 в наполненный жарой сердечный орган
 впевал луну и розовое море.
 У облака подслушивал Георгий
 шиповничье-людские разговоры.
 Флаг дергался, как хилый эпилептик,
 над Министерством Хитрых Отправлений.
 С горячих крыш и крон сползало лето,
 чтоб задремать на сохнувших коленях.
 Я передать хотела с дирижаблем
 привет, носки, чтоб ноги не замерзли,
 конфеты, кешью, табаку, пожалуй,
 последнего не жалуют на звездах,
 кинзы пучок – навряд ли там кинза
 произрастает, фильмов Бертолуччи...
 и много всякого, но это ускользает,
 чтоб знал: ты был, конечно, самым лучшим,
 пока не перестал. А с дирижабля
 веснушчатый и незрелый юнга,
 стоявшим корчил рожицы и жабы,
 и даже через борт в кого-то плюнул.
 В столовой полдник был довольно скуден.
 Желтели серьги низеньких акаций.
 Еще я написала: «все там будем»,
 а юнга отвечал: «куда деваться...»





Санджар ЯНЫШЕВ

ТВОЕ СЕРДЦЕ

Человек перед смертью зевает
Ему скучно умирать очень скучно

Допустим
Надумал поспать
Попробуй завязать глаза
Попробуй заложить чем-нибудь уши
Ты не уснешь и через вечность
Тебе ведь нужны эти крошечные звуки
Скрип досок под тобой часовой ход
Голоса у соседей или на кухне
Тебе необходим тонкий световой слой на веках
Граница или контур тени

Потом уже ты можешь погрузиться
Настолько глубоко насколько себе позволишь
Но и тогда не завязывай глаза не затыкай уши
Будь со мной — говорит сердце —
Иначе заскучаешь ох заскучаешь

* * *

*(На размер песни Жоржа Брассенса
«Негодный мальчуган»)*

Мой белый человек, две трети этой жизни
Я с ним делю и сон, и благородной лжи — с ним —
Искусство — и любовь — делю.
Но с нынешних третей я стану скуп и точен,
Поскольку речь зашла о нерожденной доче —
Ей будешь ты. Благодарю.

Я не отдам тебя, ни наши ухищренья,
Ни змейку, что свистит июльно и ошейно,
Ни уровня иван-чаёв
Над здешней муравой, когда лежим и дышим
Друг в друга и горим согласием бесстыжим,
Земных не замечая швов.

Мой белый человек, он требует напиток
Ему из этих трав подать; он долгий свиток
Взаимных векселей приплел.
При этом намекнул на строчку из духовной...
Но как покойнику живых тыр-пыр альковный —
Так мне его кошерный флер.

Он надо мной висит, что нетопырь лядащий,
На спицах растянув словесный шум, но дальше —
Не спи — ему заказан слой.
Лишь изменив природу, сбросив оперенье,
Лишив меня примет особых, т.е. зренья
И голоса, — он станет мной.

На то ты и любовь, что на Сиаме — братство.
Какой тут ... пойдет, какое распроблядство —
Ни сном, ни духом не скажу.
Раздайся ж ввысь, звучи и в дереве, и в бронзе,
Мой Requiem! А что со всеми нами после —
И белке внятно, и ежу.

МАЛЕНЬКИЙ ЦЗАЦЗУАНЬ О СВОЙСТВАХ ПАМЯТИ

Все-все вспомнил:

когда вышел один на один с диким зверем — даже лицо лепешечника с площади Эски Жува (в тот продымленный вечер накануне первого признания, которое позже описал в одной из забытых навеки касыд)...

когда потерял женщину — даже о ране вспомнил, полученной ею при падении с велосипеда задолго до встречи с тобой.

НЕ СО МНОЙ

Капризница, искусница (прирожденный мастер кусательного массажа), лакомясь у фонтана сахарной ватой, она произнесла членораздельно — не склеивая во рту воздушные звуки в липкое таянье: «Георгин — человек с когтями, представитель разрывающей толпы».

Есть даже записка: лимонным соком на турецкой монетке.

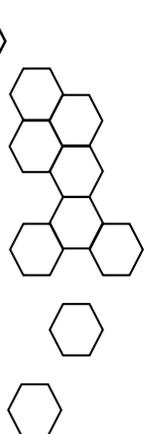
Но я-то помню, что на самом деле она сказала: «Мозжечковая работа! мозжечковая работа!»

Стало быть, цвет был не коричневый, а маркий; рука — не горячая, а влажная; и плавучий ресторан «Витязь» назывался «Бонтон».

Значит, и остальное (вся жизнь?) было иным: уходящим в воду не концами, а ставнями.

Все повторилось, как и обещано, однако с легкими вариациями.

Кажущиеся [вначале] параллельными две прямые в конце пути друг друга уже не видят.



ПОСЛЕДНЕЕ*Milhaud. La Creation du Monde*

И чего у кого отвоевал, Время?..

Разве было такое, чтоб меня не было?

Разве было такое, чтоб я был кем-то одним?

Для прогулки с собакой выбираю ночное.

Для разговора с природой выбираю сон.

Из двух зол выберу третье.

Почва готова, Гора начинает движенье.

Я бы хотел фотографировать маяки.

Хотя собирательство не должно принимать форму материи:

вот есть у меня Мелисса — иногда она боится щекотки,

но не сегодня, и какая ловушка

сохранит мне ее верность, ее текучесть

(даже если это — ловушка слова)?

А в маяке что-то от костяной башни или минарета.

Не верите — поезжайте в форт Ворден.

Там стоит один, напоминающий все прочие:

архитектор не слишком печалился об авторском начале,

поскольку ничто в маяке не должно заслонять его назначения:

посылать звук или свет как можно дальше.

Но маяку не стоит чересчур возноситься,

ибо все башни имеют общий прообраз:

мы до сих пор за него платим мычаньем,

взамен получая одутловатое счастье —

от того, кто обыкновенно стреляет не целясь,

но чаще целится не стреляя...

И чего я кому не вернул, о Великий Лучник?

Просто готовил плов — отливал колокол:

Прожигал изнутри его жидким золотом...

Мургах — пело золото, хагрум — отвечал чугун,

Впитывая молочный шорох,

Словно будущих грани детей.

Две вещи: колокол и шахматы;

два состояния: сосредоточенность и покой —

не тот покой, которого не заслужил, — зелен виноград! —

а тот, который растет изнутри, как форма знания

(знания, дающего равновесие;

равновесие, укрепляющее дыхание;

дыхание, выбирающее движение без цели,

ибо любая цель нечестна, когда преобладает над действием).

...Мухаммед встает, Мухаммед говорит: «Дай мне время!..» —

и Гора дает ему время.



16 СТИХОТВОРЕНИЙ*Сергей ШЕСТАКОВ*

* * *

в августе ночью столько на небе астр,
весь вертоград усыпан ими по край сетчатки,
спи, нас уже читали сегодня, нас
не занесли пока ещё в опечатки,
значит, не время чёрным твоим щеглам
смерть щебетать на аптечной кривой латыни,
спи, это звёзды катятся по щекам
белые, синие, красные, золотые...

СКАРАБЕЙ

лиловый холод ляжет на ресницы,
как только, лапкой шевельнув своей,
перевернёт последние страницы
волшебный жук, небесный скарабей,

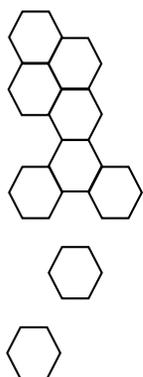
и алфавит уже не будет прежним,
и, с каждой буквой чувствуя родство,
ты вновь увидишь зрением нездешним
изнанку мира, света естество,

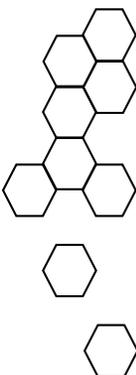
и станет речь твоим числом и кровом,
зелёной кровью, хлорофиллом снов,
и ты себе приснишься полусловом,
готовым с губ слететь подобьем слов,

и так восстав из тлена и бессилья,
суглинков бедных и бесплодных глин,
ты вновь расправишь жёсткие надкрылья
и сладковатый ощутишь хитин,

но если плоть не обернётся словом,
кому ещё прошелестит листва,
когда повеет холодом лиловым,
и пустоту завесит синева,

и с тишиной опять сольются звуки,
и он увидит в мареве скорбей,
как золотистый шар лучисторукий
по небу катит новый скарабей...





* * *

они парили в тихом серебре
предутреннем, бессмертные друг в друге,
и сущее, подобно сироте,
ложилось в их распахнутые руки,
мерцали сны, шел дождь, сирень цвела,
раскачивалась на ветру чинара,
и время омывало их тела
и заново течение начинало...

ОВЧАРКА, ЗЕРКАЛО, МАЛЬЧИК, СТАРИК И БУДДА (ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ)

1

с мечом картонным и лошадкой,
издав победоносный крик,
заглянешь в зеркало украдкой,
а там – собака и старик,
поймёшь, что нет в отваге смысла,
уткнёшься в тёплое, смятён,
но кто из вас кому приснился,
не прояснит и новый сон...

2

вернёшься дать воды овчарке
и в зеркало посмотришь впрок,
а там – на лошади-качалке
с мечом картонным юный бог,
забудешь, где ты и откуда,
кто в зеркале из вас, кто вне,
овчарка спит, ей снятся будда,
старик и мальчик на коне...

* * *

почки набухшие, мыльные пузыри,
охра и кобальт, сурик да киноварь,
сколько беспримесной радости у зари,
словно внутри уютного слова “встарь”,
в синие очи распахнута тишина,
снег одряхлел, но ещё не сошёл с лугов,
солнечным двоякодышащим у окна
сладко во сне посапывает любовь...



РАЗГОВОР

пирс после шторма, лодка, рыбак и сеть,
– петер, привет, – говорю ему, – чище смерть,
он отвечает, – в море, чем на земле,
трое нас было, не уцелел никто,

– с кем же я разговариваю? – не с тем,
кто вышел в пять, и не с тем, кто вернулся в семь,
подинности в настоящем, что льда в стекле,
каждый – лишь форма для своего пальто,

– господи, – спрашиваю, – да что с тобой?
время нас косит, станем и мы травой,
не о чем спорить, время забросить сеть,
даже плотва весомей бесплотных слов,

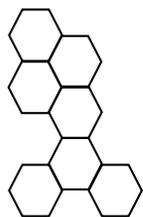
– рай только разница между возможным и
мыслимым, оглянись, шелуху сними,
это ли повод мреть, изнутри темнеть,
видишь, какой сегодня у нас улов?

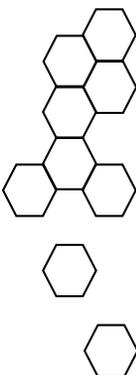
– ты отвечаешь, словно увидел знак,
словно ты ключник божий, а не рыбак,
кто эти трое? – ты же один всегда,
будущее настоящее впереди,

– все ипостаси бога, все имена –
лишь костыли для немощных, суть – одна,
ключик с рожденья у каждого есть, звезда
светит любому, видишь? – тогда иди.

* * *

приливы, отливы, смешенье несхожих широт,
берёзы, и пальмы, и пинии в тесном соседстве,
ты с тихой улыбкой промолвишь: у здешних щедрот
такие тона, что от счастья сжимается сердце,
зелёные волны качают лиловый понтон,
кораблик бежит, веселея от лёгкого зюйда,
и что не случится сегодня – случится потом,
не с нами, так с кем-то, а с кем – не увидеть отсюда...





* * *

...помнишь, какими были руки мои, какими были
плечи мои, какими были губы мои, какими
были глаза мои, в тине они теперь, в озёрном иле,
память пустыней стала, время землёю, золою имя...

– помню ладони твои, глаза твои помню, губы,
помню дыхание, земные ситцы и шёлк небесный,
кто я и кем я была – не знаю, сердце идет на убыль,
кто ты и кто мы – бездна одна над другою бездной...

...помнишь, как цепенели руки, губы пустели,
только пепел на них, пепел на них, только пепел,
были пеночки птицы мои, теперь коростели,
а как пели когда-то, пели когда-то, пели...

– помню твой голос, хлеб в рушнике, молоко кобылье,
звёзды над хлевом, пар от земли, на земле попопу,
помню, как мы любили, любили, как мы любили,
что означают эти слова – не помню...

...помнишь, какой огонь нас хранил и спасал от жажды,
вёснами нас захлёстывал, как половодье пойму,
помнишь, чей крик за твоим прозвенел однажды?
– помню, любимый, помню, любимый, помню...

* * *

она рисует белого льва и сирень на дверце,
ладони ее подобны ливням, слова сетям,
а он человек с отвесной осенью в сердце,
и в каждом его зрачке молодой сентябрь,
он смотрит в неё как в воду и входит в неё как в воду,
она вдыхает его как воздух, и он обращается в воздух,
и руки их прозревают, и реки пересыхают, и тают льды,
и сон их белые оберегают львы...



КОНЕЧНАЯ

когда-нибудь мы выйдем на другой,
чужой и незнакомой остановке,
и поплывём над пылью и травой,
внезапной удивлённые сноровке,

и станет ночь, где звёздам нет числа,
и поведут нас по небесной бровке
проводники без тени и чела
и ангелы в глухой экипировке,

и мы войдём в необозримый зал,
как будто внутрь гигантского кристалла,
смотри, – ты скажешь, – всё, чем ты не стал,
смотри, – ответчу, – всё, чем ты мне стала,

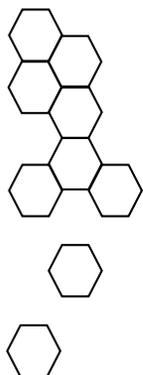
как будто нас вселенная прочла
и странную устроила затею,
смотри, – ты скажешь, – вот и смерть прошла,
смотри, – ответчу, – вот и свет за нею,

здесь будут наши горести и сны,
здесь будут вёсны и печали наши,
и это всё положат на весы,
и покачнутся медленные чаши,

и чей-то голос, жолт и нарочит,
произнесёт вердикт за пылью млечной,
конечная, – водитель пробурчит, –
и мы, очнувшись, выйдем на конечной.

* * *

пепел и персть, а другой и не будет пищи,
нет воронью поживы, не вьётся тучей,
ищущий обращается в то, что ищет,
большая часть пути – это сам идущий,
думал бо фу, если мысль – то река, то лодка,
что ею движет: солнечный взгляд с порога,
утренний золотистый пушок у локтя,
голос пророка, небо в глазах пророка...



КРИТ

«...Создателем Лабиринта некоторые называют Дедала, другие – Эпименида; часть источников утверждает, что это – один человек, а обитатель Лабиринта (и в руинах пребывающего неизменным) – мысль, которая по сей день ищет выход, насмешливо расправляясь с теми, кто в слепоте своей полагает, будто путь туда и путь обратно можно пройти по одной колее.»

I.M., fr. 2a'

1

говорят, любовь ходит с белой тросточкой, а беда пристальна,
 говорят, любой мысли нужна лонжа,
 следующее высказывание истинно,
 предыдущее ложно,
 стрелки чикают, как ножницы, режут жизнь на ломтики,
 а у нас дела поважнее:
 запускать бумажные самолётики,
 чтобы небо стало синее,
 чтобы ираидапавловна охала,
 закрывала окно спешно,
 словно мы одно, а не около,
 и любой – ферзь, а не пешка,
 на руках царапины да корябинки,
 взрослые слова вроде спама,
 но зато у нас такие кораблики,
 что в альгамбру плывут прямо,
 там-то мы с тобой и встретимся,
 маленькая моя дикарка,
 сбросив надоевшие вретиса,
 разговаривать с демонами декарта,
 а потом в узелок да по яблочку,
 по краюшке, да лугами, лугами,
 и философ, превратившийся в бабочку,
 будет мирно порхать над нами...

2

я играю в уанkees двадцать седьмого года,
 ты в две тысячи третьем, читая написанную в две тысячи пятом
 книгу барта, бормочешь, мол, вышел, мол, шишел-мышел,
 мы женаты ровно четыре жизни, ngs 7662, округ истрия, лен дакота,
 девяносто лет ты меня называла братом,
 ни один из нас о другом никогда не слышал,

твой телефон постоянно занят
чем-то своим, где-то шляется, не даётся в руки,
повадки его павлиньи,
когда я смотрю на восток, ты смотришь на запад,
там, где наши взгляды скрещиваются, индевеют звуки,
смерч закручивается, льют не переставая ливни,

оттого и встречаемся не часто,
не звоним, не снаряжаем посольства
пышные, неповоротливые, как нерпа,
но зато, когда, когда времена случатся,
у тебя глаза, глаза два весенних солнца,
у меня два весенних неба,

и тогда снежки, снежки и впрямь становятся сини,
и планеты легче, легче радужных пузырей мыльных,
и нет ничего, что можно назвать краем,
и хотя из всех каталогов, атласов, карт вычёркивают пустыни,
мы не нарушаем границы возможного, мы их
просто отодвигаем...

-
1. The 1927 New York Yankees season was their 25th season. The team finished with a record of 110–44, winning their fifth pennant and finishing 19 games ahead of the Philadelphia Athletics and were tied for first or better for the whole season. (https://en.wikipedia.org/wiki/1927_New_York_Yankees_season)
 2. NGC 7662, also known as the Blue Snowball Nebula, is a planetary nebula located in the constellation Andromeda. (https://en.wikipedia.org/wiki/NGC_7662)

ДВА ПИСЬМА

лене элтанг

1

пишет молочнику булочник: знаешь, анри,
жизнь обветшала, не просит и малой краюшки,
сил на полушку уже, и, куда не сверни,
всюду зима да земных сторожей колотушки,
видно, обнимемся скоро и, как ни крути,
вновь попируем у клёнов под сплетни сороки,
ты же, наверное, главный на млечном пути –
вот и подумай о булочной рядом дороге...

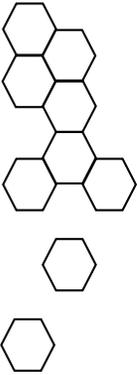
2

пишет молочник: мой добрый, мой славный рене,
дружба прочней естества и устойчивей к порче,
как же я рад прилетевшей сегодня ко мне
весточке этой по телепатической почте,
булочный домик с пекарней закончат вот-вот,
здешние клёны тенистей земных и просторней,
будем смотреть на течение медленных вод
и наблюдать за одной из всемирных историй...



ТАЙНОЕ

Олеся РУДЯГИНА



* * *

«Молдову ждут дожди и похолодание»
из метеосводки

По прогнозам Молдову ждут дожди.
Представляете, она себе спит, – а они ждут,
из угла в угол ходи – не ходи,
ждут дожди за углом, папиросы мнут.
Все глаза проглядели: придёт – не придёт,
ждут, терзаются, рада ль будет она –
переломанная, обесцвечена влёт,
опалённая снегом апрельским?..
Вина
в чём её, терпеливой Молдовы моей,
что дожди-холода управляют судьбой,
и ни птичьего ветра, ни тропки зверей
не найти, чтоб ненастье пройти стороной.

04.05.17

ТАЙНОЕ

Злоупотребляю печалью грешу
находя утешение только в лапах
какой-нибудь умирающей твари
четвероногой спасаемой но не спасенной

какой у нее запах у этой несчастной котёнки
упрямо выкармливаемой шприцем
в старанье вот-вот прибудет свое молоко

как вдыхаешь в ее младенческий рот дыханье
как делаешь непрямой массаж сердчика
искусственное дыхание
со страстью спасенья всех утопающих в мире
орешь Авоська живи

этой микроскопической никому не нужной амебе
обнимающей твоё лицо осторожно поджав прозрачные когти
с благодарной последней нежнейшей любовью
единственно возможной на земле



оживающей киношноогромнооко
мурчащей на всю округу в сомкнутых ладонях
целующей зажмуренные счастливо твои глаза

умирающей все равно через день-два
на рассвете

05.08.15

* * *

Если бы ты меня любил
больше и не надо было ничего
и живи себе счастливо где-то и с кем
всё равно всё равно всё равно
если бы ты меня любил
если б присматривал во снах за мной
не манило бы небо настойчиво так
не гремело ключами пора домой

30.09.2015

ИЗ ЦИКЛА «ЕЩЕ О ЗАПАХАХ»

еще о запахах
в том невозможном детстве
где ростом я с растение ирис
где вишни зреют в высоченном небе
среди громадных вьючных облаков
где вьется дикий глупый виноград
оправдывающий лишь в октябре
нелепое свое существованье
листвой лимонной розовой багряной
на плети на одной
так вот о запахах
там был один
навек тоску запечатлевший
однажды накотив не помню где
в больнице в круглосуточном саду
(не знаю даже был ли там такой)
смешенье запахов рассольника и хлорки
и очень чисто вымытых холодных
(окно открыто при любом морозе)
мерцающих крахмально
туалетов
и вот находит
через все житье

внезапно настагает резко остро
щемящей памятью скулящей и тогда
стою
и не могу открыть глаза
от не-пе-ре-да-ва-е-мо-го отвращенья
к земному облику души своей
к себе
к вселенской суете
смешно
я знаю



БАНАЛЬНОСТИ

Стрёмно ложиться спать: просыпаешься кем угодно, не собой,
отнимает бесстрастно у тебя – тебя каждый новый восход,
вот овал точёный лица рухнул пффффф.... овал – не твой,
вот без памяти некогда любимый не слышит сквозняк уход.

и сидит такая чужая всем тётка клавишей щёлкает мышью ведёт
из одного рукава халата сурьозные письма из другого типа стихи
а душа говоря честно на всё это брезгливо плюёт
а душе подавай море море самое синее в мире моё
счастье без шелухи

а душе подавай любовь вечную певчелетящую а не то что там
компромисс(мат) привычку страх выживание терпенье и труд
перетрут жернова зеркала тела белого обжитого свет хлам
и рванём дорогая туда где исходных нас помнят да любят
любят и ждут

10.09.17

* * *

Пропадаю. Пропадаю без тебя.
Потеряла время года, город, век.
Вспоминай меня. Не помня. Не любя.
Мой не суженый, далекий человек.

Напилася, напилася я, пьяна.
Не дойду до дому, дома не найду...
Надо мной моченым яблочком луна —
самая ядреная в году.



Вот сейчас я дотянусь, сейчас —
до нее горячим жадным ртом,
и пробьет тринадцатый тот час,
и совсем неважно, что потом.

И троллейбус взмает — троль, икар,
светом райским и теплом маня...
«*Garanord. La park trecem, la park*»*...
Рождества чужого полынья.

2015 г.

ДИАГНОЗ

Не хочется путешествовать что-то
не интересно
не узнаю город мой без деревьев
знакомых
мечтала в ладони твои
но и это сгорело
свободы покоя последней нет Господи
воли
принять всё как есть
эти лысые еврокварталы
погибель друзей
непросыпный сон атлантиды
тогда в девяностых ещё я наверное
сдохла
и делаю вид
и усердно всё делаю вид я

27.09.17

* * *

Сообщаю как честный человек: ты мне снился,
вдруг сгустился из небытия,
обнял накрепко, будто лазутчик с землицею слился,
словно сам воплотился в меня.

А что делать теперь с этим – совсем не знаю.
Не ждала, не звала, не твоя.
Но хожу не дыша так боюсь позабыть запах сна я,
запредельную нежность тая.

11.09.17

* Водитель объявляет: «Северный вокзал. В парк идем, в парк.» (рум.)

* * *

как хорошо что дождь и ты со всем
нутром своим так в масть ему и в лыко
строкой несовершенной им же шито
сознание убито бытием
когда бы не вселенский этот быт
не рабская привычка прятать тело
под зонт за стен термитников пределы
счастливой знаю было б просто быть
душе летучей тучке золотой
повсюду всхлипы плеск и беспросветность
а ей легко хранить утёса нежность
и никого не отягчать собой

9 - 30.11.16

* * *

Однажды предадут и руки, и глаза,
и сердце, отстучав, сломается навеки,
но ты, моя душа, – ведунья, стрекоза,
танцующая свет, не прикрывая веки
ни на секунду, – ты пребудешь тайно мной,
на крыльях понесёшь улыбку восхищенья
пред жизнью, – пред земной горячей, зоревой,
исполненной любви, –
в ладони Незабвенья!

(на полях лекционного конспекта, неожиданно)

Ноябрь, 2014

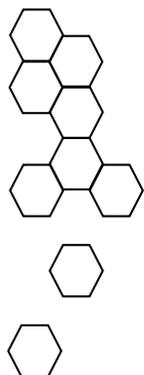


Лев ЛИБОЛЕВ

НЕОДОМАШНЕННОЕ ЖИВОЕ**ФЕНИКС**

Быстро же мы стареем,
барышня, чёрт возьми!
Что говорить с евреем
где-то часам к восьми,
если уже стемнело...
В Питере ночь бела,
город окаменелый
снегом сожжён дотла.
Храмы, дворцы, музеи,
воды, придонный ил.
Можно бродить, глаза
вечно среди могил.
Вот, например, Чайковский.
Помнишь письмо фон Мекк?
Музыка, успокойся,
давней любви ремейк,
тусклая позолота
стёрта, зачем о ней...
Вот и могила Клодта –
автора тех коней.
Нарвских ворот наверхше,
повод к триумфу, взлёт!
Питер ночной, зловещий,
впаянный в синий лёд.
Барышня, что там дальше,
сказывай, коль взялась,
не отражаясь даже
в бездне семитских глаз.
Медленно, по старинке
прясть убери со лба.
Опера в Мариинке
да в кабаках гульба?
Город обетованный,
русская злая жизнь.
Будешь у Иоанна,
к рученьке приложись,
выплачься у собора,
было? Скажи, не трусь.
Встретимся – тут же споры,
а разбежимся – грусть.
Снятся штыки, кокарды,
маузеры, вода.

Колюшка и блокада,
синего льда слюда.
Город сожжённый, феникс,
сколько его ни жги,
невские воды, пенясь,
перетекут в шаги
барышни да еврея,
где-то часам к восьми.
Быстро же мы стареем,
Господи... чёрт возьми.



ЯБЛОЧНЫЙ МУСС

Извини, стынет яблочный мусс,
да и лампочка подслеповата,
эх, добавить бы с полкиловатта.
Вот поем, а потом уж займусь
и поставлю другую в патрон,
чтоб немного светлее и ярче.
Ну, чего тебе надобно, старче?
мне прокаркает стая ворон,
за окном, будто в сказочном сне.
Мусс в креманке дрожит и трясётся.
Что по радио... Вроде, Высоцкий.
Вот погромче бы. Стало б ясней.
Ну да ладно, до сказок ли нам,
что желать государыне-рыбке.
Как поют океанские скрипки,
как барашки бегут по волнам.
Оторвёшься от книги – зима,
чай и мусс – только память о лете,
за окном виноградные плети,
да беззвёздного неба сурьма.
Не заметил, как стало темно,
все вороны исчезли куда-то
и зелёный ночник-соглядатай
посылает сигналы в окно,
как маяк. Для чего, для кого?
Мусс доеден и чашка допита.
Но земля не меняет орбиту
в этот сказочный час роковой.
Извини, дорогая, горит
свет в окошке. Есть парочка яблок.
Что ещё? Захудалый кораблик
и навалом бесхозных корыт.



Хочешь яблоко? Только с огня.
Мусс в креманке, на блюде пастилки,
целый мир у тебя на посылках.
Что ты хочешь ещё от меня?

СПОЛНА

Кого приручим – за тех ответим,
кого не сможем, опять отпустим.
Привыкнем к тем, не привыкнем к этим,
всплеснём руками да скажем – пусть им
ночного неба и вволю воя,
таким свободным, ещё чего им.
Неодомашненное живое
когда припомнится – сами взвоем.
И в полнолуние пьём и плачем,
ручных и преданных обнимая.
Пугая обликом вурдалачьим,
косится в окна луна немая.
Звереем, злобствуем, проклинаям
воспоминания и печали...
А ревность шепчет – воздай сполна им
за то, что вырвались, одичали.
За то, что диким судьба иная,
ловцам назло и назло владыкам.
Что спят, о прошлом не вспоминая,
и жмутся ночью к таким же диким.

СКУКА

вот и всё, даже скука имеет предел,
а потом пустота, ни печали, ни боли.
ничего не растёт на пустующем поле,
был какой-то участок, и тот поредел
продержался немного – спасал самосев,
но подобный подход выхолащивал семя,
и всходили растения, только не все,
да и те, что взошли, опылялись не всеми.
как же память двудомна, ей нужен второй,
а иначе она вырождается напрочь,
и какую себе посевную ни строй,
не взойдёт ничего, не бывает иначе.
и бредёшь вдоль межи, а вокруг пустота,
даже нет сорняков, ни червя, ни мокрицы,
только скука одна, ни цветка, ни листа,
и ничто не вернётся и не повторится.

КРИК

Этот радостный крик – удалось, удалось,
понимаешь, он тоже улика.

Хоть в себе подави музыкальную злость,
хоть на струнке последней пиликай,
но звучания нет, столько фальши в игре,
что не бросят на бедность монету.

Это просто февраль, сколько руки ни грей –
всё, что хочешь, но только не это
совмещение... нет – совпадение слов
с колебанием вправо и влево.

Так уносит смычок свой нехитрый улов,
так ласкает струну-королеву
в переходе, где хлюпает жидкая грязь,
где прохожие присно и ныне,
и во веки веков на гроши разорясь,
подают скрипачу Паганини.

Он играет и злится – какой идиот
говорил, что испорчена скрипка.

На одной доиграю, и так подойдёт,
дозвучит и дозреет до крика –
удалось. И попробуй ещё повтори
эту милость, а может быть кару,
ради мелкой монеты, осевшей внутри
на истерзанный бархат футляра.

КОНЕЧНАЯ СКОРО

А мимо – составы. Вагоны, вагоны...
Дорога, что жизнь, поворотов полно.
Случайные лица в проёмах оконных,
и утро под солнцем, и ночь под луной
привычны живущему возле вокзала –
приезды, отъезды, встречающий люд.

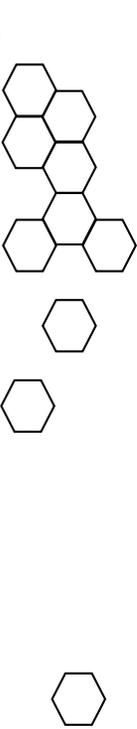
И ждёшь февралей, чтоб вода подмерзала –
её в ноябрях небеса разольют,
а высушить некому чёрную жижу
и топчутся люди по жидкой грязи.

Посмотришь, и мысленно скажешь – дружище,
постой, погоди, никуда не скользи.

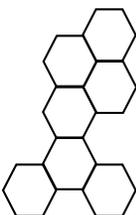
Эй, дамочка, что же ты туфли надела,
форсить бы не надо, колготки порвёшь.

Уходят составы, проходит неделя,
но время – оно ненасытно, как вошь.

Впивается жадно и немилосердно



и старит проезжих, встречающих, всех.
Задержишься – и не узнаешь соседа,
отстанешь – соседка всплакнёт о красе
из прошлых маршрутов. Конечная скоро,
тупик, за которым уже ничего.
Останется кучка словесного сора
на память о жизни твоей кочевой.
И домики, словно пустынные соты –
ни мёда, ни пчёл там уже не найти.
И щебень отвалов, и вонь креозота,
и вехи судьбы – февраль на пути.



НАПОЛНЕННОЕ*Татьяна НЕКРАСОВА*

наклонись над ведром придержи его мокрую грудь
отражение выпьет тебя ледяными губами
а до дна ещё есть ещё можно на миг оттянуть
то что к нам подступает

отраженье молчит изумлённо тарашит глаза
столько выпито а ничего-то не убыло значит
можно выпить ещё и последнюю каплю слизать
не умеешь иначе

и оно подступает оно уже горлом идёт
то ли жизнь то ли смерть то ли просто взаимное что-то
от чего бытиё говорят или небытиё
заполняя пустоты

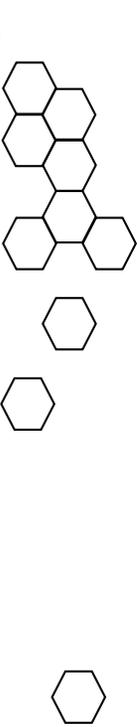
ВЫПАДЕНИЯ

медленно качается вода
край ведёрный холодом обводит
жестяная рама нетверда
смята отражений половодьем

там комар и яблоко вот-вот
упадёт и небо опустеет
а потом наполнится листвой
дождевой и снежной канителью

миг спустя затянется ледком
поскользнёшься будто бы очнувшись
как легко всё как вдруг далеко
так за что падение и ужас

тащишь в дом неполное ведро
отражая словно обнажая
сквозь поверхность светится нутро
словно в прошлом окна продышали



ПОКА ТОЛЬКО ТАК

как жизнь сегодня медленно течёт
ошибки и нелепости не в счёт
срывается и падает листва
покачиваясь нехотя едва
но так и не коснувшись мёрзлых щёк
земли в щетине инея ещё

светает
и темнеет миг спустя
а листья так же медленно летят
как будто не бывает будних дней
и воскресенье отпуска длинней
с той стороны упавшего листа
алеют полумесяц и звезда

светает
и коснувшийся земли
погасший лист мгновенья не продлит

а значит понедельник понеслось
ускорило до вздыбленных волос
до ледяной заржавленной иглы
царапающей руки и стволы

ПРИГОВОРЁННОЕ

*один в поле не воин,
а путник (пословица)*

ну поставили в поле пугать ворон
будет пашня пухом сорняк пером
неподвижной фигуры пугаться грех
и вороны безгрешней всех

свет его обтекает со всех сторон
стадом солнечных зайцев и слышен гром
золотит солому и треплет лён
ослепителен ослеплён

тьма его обступает со всех сторон
по карманам шарит и под ведром
и от всякой звезды у него ключи
а поди ещё отыщи

дождь его размывает со всех сторон
он и так в окружающем растворён
все дороги сольются у борозды
над которой навек застыл

снег его обнимает со всех сторон
все поля обнимает и всех ворон
человек ли семечко в борозде
не всегда взойдёт не везде

ЗАБУДЕШЬ ПРОСНУВШИСЬ

опять во сне гудит под веками
наружу вырваться желая
такая горькая и светлая
что будто бы и не живая

сияет осень как на выданье
любыми красками богата
и все цыплята пересчитаны
и позолота на заплатках

плывут в тумане тени тусклые
вот по руке хлестнула ветка
и в грудь ударило отсутствие
давно чужого человека

вокруг спокойно и обыденно
течёт звучит листва рябая
и плачешь словно бы обидели
и осень всё же наступает

СПЛОШЬ АНГЕЛЫ

живёшь и любишь спишь и любишь
умрёшь а любишь как-то так
что прочие живые люди
прекрасны в мыслимых чертах

упала любишь встала любишь
бежишь и любишь чёрт возьми
прекрасные живые люди
уже не кажутся людьми



не потому что любишь мало
а оглянись и никого
с кем мёд пила и соль глотала
чей признавала приговор

ау же люди где вы люди
кому теперь наперекор
смеёшься любишь плачешь любишь
по-человечески легко

ПОДСОЛНЕЧНОЕ

золотая звезда подсолнуха потускнела,
почернела, осыпалась, стала пустой и белой,
пустой и жёлтой, пустой и ржавой, сухой и ломкой,
после – пылью на прядях сена, витках золотой соломки.

золотая звезда подсолнуха днём и ночью
смотрит в меня, глядится, стихи бормочет,
а никому не видно, а ничего не слышно,
только скворец кукует на старой вишне.

золотая звезда подсолнуха, что ты, где ты?
если тревожит, волнует – значит, сиять не время?
если ты – свет, как долго за краем света
можно стоять? до весны? до лета? до повторенья
старой истории новичками, по всем приметам.
если проходит всё, то пройдёт и это,
и повторится это.

СЕДОЕ УХО

от пуха пухнет ухо лопуха
мясистое огромное тугое
и ветер выдувает впопыхах
что может сколько может
беспокоит

и тугоухо морщится лопух
щекотно же и что-то слышно плохо
как рядом распускается сквозь пух
репейная звезда чертополоха

да он и сам репейник и звезда
но при щекотке внешней зуд подкожный
досадно и смешно а не достать
и сколько можно боги сколько можно

УМОЛЧАНИЕ

что со мной доктор вдруг до того легко
что ничего не болит и нигде не тянет
это всё ваше топлёное молоко
финики фиги белый изюм горстями

это всё воздух волны песок полынь
лёгкие облачка комары да мошки
а по ночам от ветра скрипят стволы
напоминая о том чего быть не может

да и не надо пока мне с собой легко
в полном согласии с медленным белым светом
различаю сквозь воду прошлое сквозь огонь
будущее но здесь и сейчас не хочу об этом

ТУТОШНЕЕ

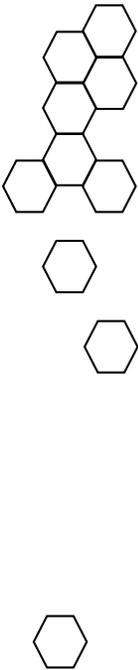
так трогательно что не по нутру
так трогательно что сейчас умру
и не успею ничего понять
и это так похоже на меня

всё это беспокойное нытьё
и если тьме теней не достаёт
то потому что медленная я
подсвечиваю купол бытия

и нас неповторимых тьмы и тьмы
незаменимы незаметны мы
и это трогательно так условно так
что мимо рук похоже мимо рта

а между тем спасибо и на том
что белый свет руками или ртом



Юрий СМИРНОВ**ИНДЕЙЦЫ**

Полтора года разбирал вещи отца.
Медленно.
Файлы.
Старые фильмы из диких мест.
Книги, похищенные у меня.
Тонны спецификаций и смет.
Снасти.
Папа был мастер охоты на щуку,
А на меня все виды добычи добычи
Наводили смертную скуку.
Папа видел рыбу сквозь муть и хрусталь реки.
Помню, мне семь,
Я читаю Фрззера Золотую Ветвь
Или Формэна Сила Правой Руки.
Днепр.
Речище.
Идолище поганое
Белое
Будто брюхо гигантского сома
На подводных крыльях летит
Само.
Местный лымарь цыгаркой пыхтит.
Песок на зубах цикадой скрипит.
Папа мне говорит
Иди и лови рыб
Я говорю нет
Иди и поймай леща
Леща я уважал.
Встал и поймал леща.
Папа умел видеть рыбу сквозь толщу вод.
Папа умел, как индеец, читать небосвод.
Папа умел, как индеец, сплести узор из следов.
Папа умел, как индеец, избегать больших городов.
А я, как индеец,
Всю жизнь ношу волосы ниже плеча.
И всю жизнь прислушиваюсь —
Барабаны ли не застучат,
Сексоты ли не поймут меня, как леща.
И все, что у меня из индейского, —
Злая медвежья душа.
А впрочем, у меня есть хобби.
Я учу индейские диалекты.
Когда Маниту будет столь добр,
Что впустит меня из долины смерти
В долину охоты,

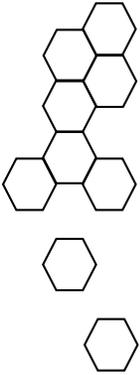
Я смогу сказать на языке лакота
 Добрый вечер
 И поинтересоваться здешней вечной погодой
 На языке сиу.
 Во-первых, отец, это вежливо.
 Во-вторых — просто звучит красиво.

ТАТЬ

У меня здесь нет дешевых икон
 Он хвастает
 Третий час нам хвастает он
 Третий час на нас смотрит Он
 Его мать
 Его мученики-ученики
 У них румянец коричный
 У него дом совсем новый
 Отличный
 Между замом генпрокурора
 И реликтовым куреневским
 Наполовину покойным вором
 Его социальный лифт
 Причалил в царстве декора
 В бассейне красные карпы
 Если бы не пахло дерьмом
 Ветер со станции азрации
 Чистые Капри

Он слушал рацию
 Перехват
 Ждал
 Пока угомонится
 Эфирный кавказский треск
 Он еще днем высмотрел в облаках
 Этот крест
 Низкое небо высокий лоб купола
 Перекрестился
 Нервничал
 Отжимался на кулаках
 Ну да блять
 Веры его здесь убыло
 Практически до нуля
 Как соляра в баке — ушла в минус
 Осталось одно
 Чувство, что за ним следят
 Святые.
 Кретины.





Сбил замки.
Фонари-обманки включил
Не зажигать же свечу
Посмотрел на иконостас
Он говорил
Я отсюда уходить не хочу
Мать шептала
Может там будет лучше?
Может там наш небесный град?
Святые жалкие сбились в кучу
И поглядывали на автомат
Он таскал в джип доску за доской
Храм пустел светом
Наполнялся тоской
Пока в рацию Веталь
Не крикнул атас



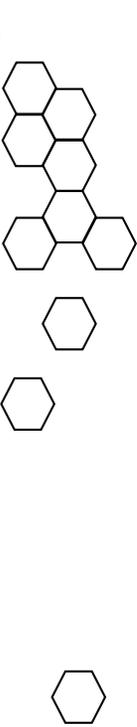
Продал золото
Продал десяток машин
Святых продавать не спешил
Днем гордился боялся ночью
И кошмар
Разрезающий мочеточник
Почки
Спину
Звериной болью
Это сука святой Георгий
Протыкает его спину копьём

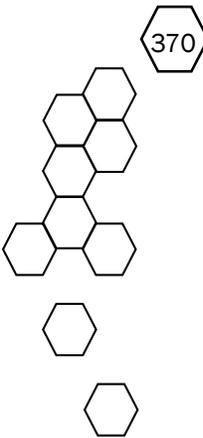
Доктор говорит
Это швейцарское две недели попьём
Израильское потом поколем
Держите себя в тепле и покое

Святой Георгий знает его маршруты
Думает
Лучше взорвать
Это справедливо и круто

ГОСТЬ

Их унесло что-то неявное.
Не огненный хвост
Дракона войны.
Не грязные цепкие пальцы оспы.
Не черные кольца чумы.
Это случилось осенью.
Он уехал на шахту
За минеральными красками
К мастеру Отто.
Когда вернулся,
В доме гуляла радость отчаянья.
Никто не знал,
Куда подевались его домочадцы.
Жена,
Две девочки,
И мальчик, только рожденный.
Он пил и не ел
Два месяца,
Изможденный, как виселица,
Лишь скелет и веревка взгляда.
Подумал однажды,
Какого льда,
Жизнь — это жажда
И всё продолжается.
Птички поют,
Курфюст сражается,
Бургеры размножаются
Делением брюха и сундука.
Проверил руку.
В порядке рука.
Он решил так:
Если они живы, то сейчас в хижине
В лесу, у подошвы Белой горы.
Но не той, что в Богемии,
И не той, что в Тироле,
И не той, что в Татрах.
Нарисуй безвременье,
Нарисуй снежное поле,
Вставшее на дыбы.
Нарисуй свою Марту
С охапкой валежника
Или след твоей Марты
От опушки и до избы.





И нарисовал.
Хорошо, детально, мятежно.
В манере этих проклятых голландцев.
Бросил пить.
Стал учетчиком
Очень надежным, прилежным,
При карьере горючих сланцев.
Завел служанку, чтобы рубаха
И тело свежее.
На картину смотрел вечерами,
Теряя надежду,
По мере того, как заживала рана
Его полного краха.



Вечером вторника, возвратившись из кирхи,
Он ел что-то приторно-мерзкое
Пальцами липкими,
И пил приторно-крепкое
В рамках приличествующего отчаянья,
Когда внутри картины
Радостно закричали.
Его Марта выбежала навстречу всаднику,
Черный конь, и ездок черный, маленький,
Из седла словно кубарем покатился,
Отряхнулся.
Надо бить себя по щекам,
Протрезветь,
Проснуться.
Всадник тянется острой губой
К пряно-сдобному рту любимой.
Гнусит заплеванной мятой трубой
«Я тут так, проезжал мимо».

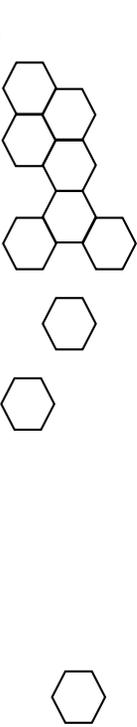
Тонкая кисть.
Капелька киновари.
Укол в камзол.
Черный хрипит.
Черного вносят в дом.
Раздевают.
Кладут на стол.
Долго рыдают.
Потом тишина.
Хижина.
Ночь.
Мрак.
Белая, наверно, гора.

БАЛЕТ

Осень тысяча девятьсот сорок
третьего
К проходной Большого подъезжает
автомобиль ретро
Выходит красивый не военный
военный
Наркомфин, охрана
Всем врет, что рвется на фронт
Когда пьет, врет, что был ранен
Назову его Павел
У Павла записная книжка от
тридцать девятого
У Павла большое желание ласкать
распятую
На простынях люкса Националя
Оральню и генитально

— Скажите, была в кордебалете
такая Валя.
— Ушла в диверсионный отряд, в
сорок первом пропала
Мрачно листает свою книжку
— А вот еще из кордебалета —
Нина?
— Была в ополчении, окопы рыла,
авианалет, убили
В книжице подходят к концу
страницы
— А помните, такая из Минска,
Милица?
— Закончила авиашколу, летает,
бомбит фрица.
Смеется старушка злая.
— А что же делать?

Дрочить, брат, ждать не этого мая,
Война не вечна, как утверждает
товарищ Молотов,
А после победы, такие, как я и ты,
конечно,
Будут у баб на вес золота.



ГОСПЕЛ

Моя первая женщина
Была, как положено,
Несколько старше меня.
Взяла меня за руку
Не хочешь поехать ко мне?
Я не хотел.
Я пел в компании женщин
Несколько старше себя,
И все они были лучше
Той,
Что взяла меня за руку.
Но в конце концов,
Мне шестнадцать через два месяца.
Жизнь практически кончена.
Точечно еще может быть радость,
Но сколько там мне осталось.

Отвлекаясь.
У меня была фобия
В возрасте двенадцати лет.
Я с ужасом думал —
В двухтысячном мне будет
Двадцать семь.
Зачем.
Зачем мне жить в двадцать семь.
Ходить на работу?
Потом отпустило.
Две штуки семнадцать
Я хочу на работу.
Еще больше — ходить.
Все постыло.
Вернемся.

Мы жили словно в духовном Вермонте.
Много читали.
Она работала в вычислительном центре,
Приносила романы в свитках
Дырявой бумаги
Мы пили вермут
И водку
В парке при летном училище.
Мимо бродили ситхи
С лазерными ножами,
Но нас не трогали,
Уважали

Но как женщину я ее не рассматривал.
Узкая вся, будто дверь в подвал,
Глаза оленьи, кожа бледно-матовая,
Не схожая с девами местных пород,
Сделанных словно под карнавал.
Я был не урод.
Не красавец.
Ходил в гимнастерке времен Первой Конной.
Пел неплохо.
Знойные
Бросали взоры повышенной влажности.
Но мне это было абсолютно не важно.

Первая ночь в жизни мужчины
Имеет обычно негативный оттенок.
А у нас все получилось
Настолько отлично,
Что дрожали стены.
Потом, через год, она мне призналась,
Что меня выбрала
Из десятка мужчин, юношей, мальчиков
Этого вечера,
Из-за почти полной пачки Мальборо.

Мы курили после каждого раунда
Этого секс-слэшера.
И это было не хуже любви.
Когда рассвело, она сказала,
Пора.
Иди.
Я жил в нескольких километрах.
Я шагал
И чувствовал себя ветром,
Тигром,
И танковым соединением.
Я, конечно, влюбился.
Никаких сомнений.

Знаете, за что я люблю женщин?
На следующий день
В нашем кафе
В центре города
Она сидела с двумя программистами,
Один был похож на льва,
Другой — двойник Михаила Бутова.
Она не сказала мне
Доброе утро.



Я ревновал так неистово,
Кофе пил, жег губы, как смолу в
преисподней,
А она мило болтала.
Королева.
Красавица.
Неожиданно модная
В невиданном джинсовом сарафане.
Именно в этой точке мальчик становится
мужчиной.
Мальчик плачет над горьким стаканом.
Мужчина подходит.
Говорит
Извините.
Берет за руку

Солнце в зените.
Мы на крыше девятиэтажки.
Любим друг друга
Круто и
Страшно.
Нас все видят.
Бог,
Парочка на соседней крыше,
Он — курсант рыжий,
Она — словно плод сладкий,
Еще — случайная сойка.
Ну и пилоты Як-40,
Заходящего на посадку.



Я ЗДЕСЬ

Ирина РЕМИЗОВА



БЕСОГОН

Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.

... Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он родился. Вонючей тиной заросли мешки – в них матери, сыночки их и дони. Им хорошо. Они на дне реки. А он один, в сыром подземном схроне.

Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери лишь да птицы: там у ворот – его лохматый брат, а на поляне – рыжие сестрицы. Они резвятся весело – увы, его к себе ничуть не ожидая, и только мама смотрит из травы глаза в глаза – такая молодая...

Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте от болячек, ровесники – соседские щенки – гоняют впятером тряпичный мячик, и так им хорошо от суеты и воли, одурительной и сладкой, что даже многомудрые коты на крышах улыбаются украдкой.

Он знает, что особенный – его оберегают, как зеницу ока, затем, чтоб никакое колдовство его не изничтожило до срока, не придушила намертво петля, не отравила сорная мучица – вокруг него поставлена земля, и борона ощерилась волчицей.

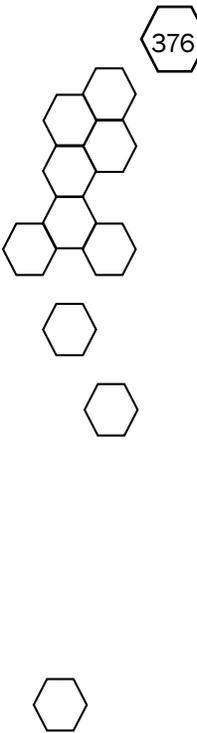
Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то плача, что с каждым часом всё сильнее связь с необъяснимым чем-то несобачьим, и хочет затаиться и пропасть, и чувствует: как черти в табакерке, чужие зубы заполняют пасть – опасные, стальные, не по мерке.

Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать – к Макару и телятам. Но чей-то ненавистный жёлтый глаз следит за ним, от самого заката – и, позабыв о том, что глух и нем подлунный мир, бездельник и прокуда, ярчук поёт – от ненависти к тем, из-за кого рождён и жив покуда.

ОРЕХ

Бывало, посадишь поближе к теплу, чтоб рос высоким и сладким, под солнечный самый бок – идет себе к небу вразвалочку, как матрос, и лист его кожист, и корень его глубок.





Лелеешь и холишь, нашёптываешь слова,
заводишь кукушку, считающую до ста, –
и не замечаешь: вокруг не растёт трава
и нет по соседству ни деревца, ни куста...

Внутри его море, и чувствуешь, как в груди
все больше простора – какое гнездо ни вей:
обрызглые тучи в кошелках несут дожди,
и сорные бабочки вьются среди ветвей,
и весело так, будто в кровь подмешали свет,
и ласточки смотрят из-под голубых застрех...

... Приходит, садится за стол, говорит: привет!
и ты раскрываешь ладони: смотри, орех!
Две лёгкие лодки – неточеные борта,
сорвали по осени – будто бы век спустя:
внутри лишь иссохшая горькая чернота,
да полуистлевшее бабочкино дитя.

Я ЗДЕСЬ

мартовские потёмки –
не перейдёшь.
где-то у неба тонкий
синичий нож
режет наполовину
краюху дня...

если Ты ищешь глину –
возьми меня,

и в грозовой каплице
среди степи
всё, что устало биться,
перелепи,
выноси в подсердечье
детей иных –
птичьих и человеческих
и зверяных.

вырастут понемножку –
не чужа лет,
будешь в узорных площадках
баюкать свет,
на белоснежной ткани
растить шитьё...

не береги дыханье –
возьми моё.

не доходя до края
едва-едва,
по тишине петляют
следы-слова,
ветреные, синичьи –
наперебой...

дай мне в любом обличье
побыть Тобой.

БЕРТА

спится не спится – прикинься спящим,
если получится – не дыши:
тащат собаки скрипучий ящик
для ротозейки живой души.

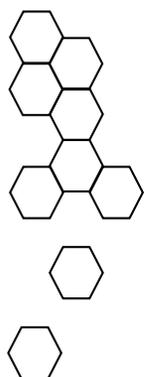
в наспех накошенном снежном сене
к миру протоптан незримый брод...
Берта на черном лесном олене
мимо оглохших летит ворот.

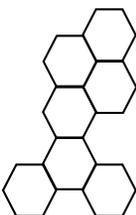
что ей за дело до вас, домашних,
светом спелёнутых и теплом?
ветер в печных колобродит башнях,
будто охотникам бьет челом.

псам её, тихим и быстроногим,
слышно из-за ледяной лузги:
в гулкий пустынный кампан дороги
чьи-то неверные бьют шаги...

вот и подходят, замороженно
смотрят – не веря, сходя с ума:
Берта из бархата и картона
делает кукольные дома,

чтобы жилось им, фигуркам хрупким –
то ли из олова, то ль из льда...
Берта увозит в седельной сумке
их осторожно – и навсегда.





ЕЩЁ ГРОЗА

Внезапно выскочив из-за
зелёных землбитных зданий,
несётся юная гроза,
как Саломея, над садами.

Её крылатый бубен глух,
но разговорчив непомерно,
пугая набожных старух
и молодаек суеверных.

Свистящий слышится мотив –
и плачет небо пожилое,
в её ладони опустив
лицо прекрасное и злое,
услышав: баюшки-баю –
в биенье капель на подносе...

За пляску детскую свою
чью голову она попросит?

ПРО УГЛИ

отступает зной,
прячется в кусты.
шиты тишиной
туфли темноты.

лает наугад
время на цепи:
ангелы не спят –
вот и ты не спи,

ножницами правь
реку полотна,
надставляя явь
лоскутами сна.

на твою ли выть –
негасимый свет?
не тебе ли быть
там, где ночи нет?

не к тебе ль вот-вот,
загасив угли,
темнота взойдёт
из сухой земли?

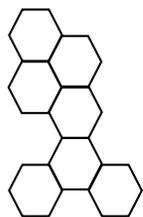
ХАВРОШЕЧКА

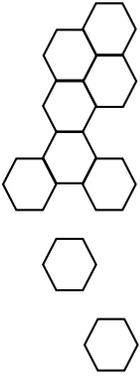
Холодная к шутихам и потехам,
к шампанской и бенгальской трескотне,
земля под волчьим ледяным доспехом
почти не дышит, лёжа на спине, –
и костяки садов, понуриив плечи,
ждут часа, по колено стоя в ней,
когда она с покорностью овечьей
подставит жилы под клыки корней.

А ты гуляешь – неприметной мышью,
таишься за дворовой кутерьмой,
чтоб только ненароком не услышать,
как хватятся и позовут домой.
«Ещё немножко, ну, ещё немножко», –
канючишь, опустив глаза, а сам,
не глядя, видишь силуэт в окошке
и тихий взор, направленный к часам...

На лавочке нахохлившись вороной,
чтоб меньше стать на миг, а может, на
десяток лет, ты слушаешь: с балконов
чужие выкликают имена, –
и смотришь, как расходятся понуро,
и сам идёшь куда-то, одинок,
не зная: ледяная волчья шкура
вот-вот оскалит пасть – и свалит с ног,

и унесёт, под птичью ахинею,
и приготовит свежее мясо,
затем, чтоб стало слаще и жирнее
сырое земляное молоко,
и сад расцвёл, каких и не бывало,
(а если и бывали, то давно),
и яблонька-коровушка бодала
цветами на заре твоё окно.





ПРЕДГРОЗОВОЕ

Смётаны тучи зарницей,
Звук затаился в траве.
Я – потаённая птица,
как подобает сове.

Молния-лучница с юга
целится в мутный зрачок...
Я – непростая зверюга,
может быть, даже волчок.

Миг тишины – и кого-то,
воя, свистя, вереща,
выгонит в поле охота –
рвать и глотать до хряща.

Ходит телёнок по краю
белой качельной доски...
Я по складам собираю
речи людской черепки –

пахнут они посторонним,
полузабытым дразня,
будто бы хлебом с ладони
кто-то кормил и меня.



НАЧАЛО

Сергей ПАГЫН

1.

Птица взлетает – и остается тьма,
ветка пустая, подтаявшая зима.
Вот и сидишь, вот и живёшь во тьме,
будто немой светляк в холстяной суме,
Богом забытой, висящей, как на гвозде,
на золотой, на ледяной звезде.

2.

Небо уходит и музыка вместе с ним.
И тишина, словно большой налим,
пучит глаза и открывает рот –
будто вот-вот и схватит, и унесёт
в ил безъязычья,
где лишь дурёха-смерть
будет тебя любить, будет тебя жалеть.

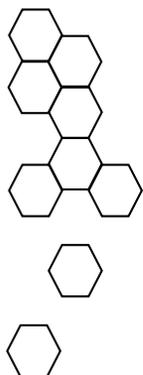
3.

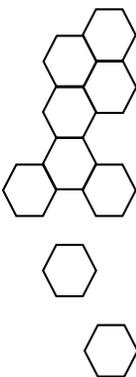
Это начало – близость вещам ночным
и в темноте снов горьковатый дым,
ветка пустая, снега живая сеть...
Небу другому мягко в тебе болеть.
И в тишине музыке быть другой,
и не смолкать,
и говорить с тобой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Домой вернулся из больницы...
Скрипя подгнившей половицей,
всё ходит, ходит вдоль стены.
Его безумия лишили –
как будто зренье отключили,
в объяття бросив тишины.

Молчат обиженные боги –
давно погасли на пороге
огнём горящие следы.
Мертва вода, глухи деревья,
и ни приметы, ни поверья,
и сны безлюдны и пусты.





Кого спасать, по ком в удушье
бить в тёмный колокол воздушный,
и в страхе свечи зажигать?
Звезды нейтронной шевеленье
уже не чует в средостенье,
уже не ходит, словно тать,

в ночи по улицам окраин,
сухим терновником изранен,
шепча неясные слова...
И мир теперь – застывший пламень,
и непреложен, будто камень,
и нем, как небо и трава.

* * *

Т. Н.

Ну что сказать мне в тишине?
Безумный снег кружит в окне,
держа в горсти синицу.
Какой мне дать тебе ответ?
Надломишь веточку – и свет
из трещины сочится.

Дрова внесёшь – влетит она,
на кружку сядет у окна –
напуганная птица.
У печки станешь и глядишь,
и сам всецело состоишь
из радости и страха.

И в этот миг другого нет!
Где снег юродивый, где свет,
где тьма дрожит живая?
И сам не знал бы ничего,
из смерти в тёплый сон Его
вслепую залетая.



* * *

Такая во сне уязвимость,
как будто бы сняли с меня
ладони Божественной милость
среди бесконечного дня,

в котором ни ветки, ни птицы,
ни тёмного дома вдали...
Но можно и здесь заручиться
угрюмой поддержкой земли.

Но можно и здесь надышаться
игольчатым воздухом впрок,
на гиблом ветру удержаться
за светлый репейный комок,

его золотые ресницы
в руке шевельнулись моей,
чтоб в линию жизни вцепиться,
не дав улетучиться ей.

ГОЛЕМ

...А на лбу у него светится слово «ЖИЗНЬ»,
в голове – стекляшка, в груди – лоза.
– Вот слеблю, и будет он нам служить, –
говорит мне сын, тревожны его глаза.

– Будет нас спасать от любой войны,
будет гнать подальше от нас беду.

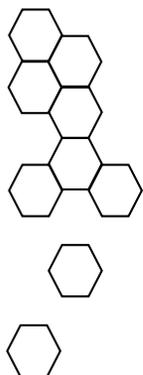
– Саша, сколько света и тишины
вон в апрельском облаке и в саду.

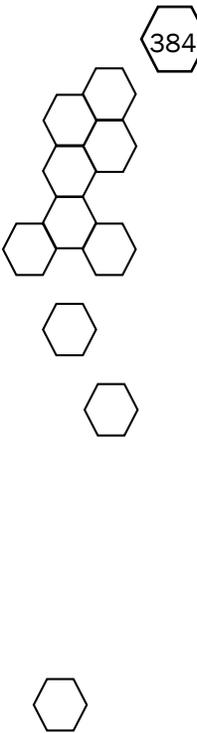
Дался тебе этот глиняный истукан!
Вон перо спускается по лучу...

Ухожу.

Наливаю вина в стакан.

И курю, и думаю, и молчу.



СКАЗОЧКА ПРО ПУЛЮ

Пулю, в сердце выпущенную из ствола,
озарило вдруг, что она – пчела,
что лететь назначено ей Творцом,
а не тем, кто форму залил свинцом,
кто спустил, не дрогнув, тугой курок...
И летит она, потому что срок
сквозь тишайший воздух,
домашний дым
ей нестись к подсолнухам золотым,
пить нектар, возиться в сухой пыльце,
и затихнуть вечером на крыльце –
на летке родимом в косых лучах,
чуя запах мыла, сырых рубах
со двора, где после дневных сует
все за стол садятся,
и смерти нет.

* * *

Мы ждали снега, а его все нет.
Вокруг такой непроходимый свет,
что белого за ним не видно света:
деревьев, огородов и домов,
над крышами изогнутых дымов,
собак в листве, которым снится лето.

И нет мне утешения ни в чем!
И, раздвигая медленно плечом
хрустящее сиянье сухостоя,
я все пытаюсь разглядеть за ним
печальный сумрак с кругом золотым
домашней лампы и лицо родное.

И плачет тонкокожая душа,
оберткою конфетною шурша –
из детства – с незабвенным Гулливером.
И хочет беспризорная она
не знания, где свет и тишина,
а бестолковой жалостливой веры.

ВЕТЕР**1.**

Мягко ветер, как будто из близкого рая
он наплыл на меня, потихоньку сметая
прошлогодний репей, что распался в ладони.
Все умершее выдул из памяти, кроме –
в паутине заборной капустницы пыльной
да сухого кузнечика в щели горбыльной.

2.

Как душа в эту пору, мерцающая, теплела,
от восторга пичугой заморской галдела!
И качались над ней голубые деревья,
пахнул воздух разнеженный добрым поверьем,
райским яблоком, белой с веревки одеждой
и водой, и надеждой – безмерной надеждой.

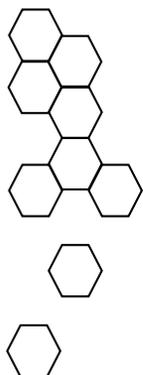
3.

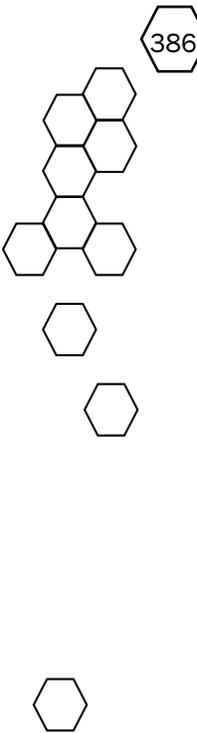
Вот и жизнь, словно воздух бездонный, безбрежный,
столько даст на ходу обещаний небрежных!
А потом ты стоишь в придорожном бурьяне,
зажигалку пустую сжимая в кармане,
только памятью жив, где во тьме кривобокой
ходит ветер в холщовой рубахе широкой,
озаренный огромной не гаснущей свечкой,
с неисполненным счастьем в котомке заплечной..

* * *

Возьму ль туда свою печаль
и свой несытый страх,
когда защёлкает свеча
в остывших руках?

Как ларь тяжелую слезу
в заботе и тоске
в простор я смежный понесу
иль буду налегке





нестись, что тонкая стрела,
качаться на ветрах,
крушить слепые зеркала
в твоих неверных снах,

и плакать в ярости немой
в усохшей тишине...
И все же рваться на постой
к темнеющей земле,

где остро пахнут резеда
и копоты щепоть,
и ржа, и прошлая беда,
и прах земной, и плоть,

где тянет песнь свою сверчок
в сухой траве, незрим,
и мир еще неизречен
и неисповедим.

* * *

А здесь и смерть не трудно продумать:
похмельной ночью, матюгнувшись, встать,
глотнуть воды, качнувшись полусонно,
и, стукнув кружкой, не услышать звона.
Коснуться лбом невымытого окна:
все та же ночь – без Бога и без дна.
И снова лечь на жесткую кровать...
И с тяжким изумленьем осознать,
что петел твой к шести не пропоет
и квелый день стернею не придет
к двери глухой...
И изгнанный взашей
из твердолобой памяти вещей,
ты не найдешь ни уголка, ни щели
в простых словах – они перегорели
спиралью чуткой лампочки стоваттной,
истаяли горошиною мятной
на языке не снящегося детства...
И остается не спеша одеться
и ручку двери в темноте найти,
чтоб смерть свою, как поле, перейти.
И по дороге, растерявши в прах
последний разум и последний страх,
в себе учуять робкое свеченье,
не ведая,
что это очищенье.

НОЯБРЬСКОЕ

Ничего не меняется в мире Твоём.
Та же осень как вечность назад.
Те же люди у рынка с нехитрым добром,
ожидая автобус, стоят.

И в руках у них мётлы, корзины, тазы,
а в пакетах – конфеты и мёд.
Вон две вазы – две синих огромных слезы –
в сумку девушка нежно кладёт,

и старик молодильное яблоко ест,
черенок от лопаты неся.
Он не станет моложе и радостней здесь,
а туда ещё, видно, нельзя,

где жена режет хлеб, где за белым столом
неподвижна печальница-дочь...
Ничего не меняется в мире Твоём,
только ветер проносится прочь,

только птицы летят в незнакомую даль
в небесах, где ни сада, ни дна.

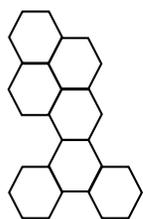
Сохранить бы мне, Господи, эту печаль,
только так, чтоб светилась она.

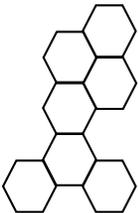
* * *

Однажды пространство смилуется –
и в награду за твое огромное ожидание
прилетит и сядет на подоконник
синичка.

* * *

С годами всё больше горечи.
Сегодня я задался вопросом:
а стареют ли птицы?





* * *

...И умирал я во сне,
скорчившись
на бесконечной земле.



Господи,
дай мне любви.



* * *

Сколько рецептов грусти
в поваренной книге
осени!



* * *

Ходил вчера по грибы.

Сын в траве обнаружил
синичье гнёздышко,
дочка нашла лесной орешек.

Лишь для меня не припас подарков
сентябрьский лес.

КРЁСТНЫЙ

Мой крёстный
чистил в селе колодцы.

Однажды он мне сказал:
«Случается так, что у злых людей
со временем вода пропадает,
и тут уже ничем не можешь –
ни колдовством, ни молитвами,
чисть – не чисть,
а вода от этого не появится.

Поэтому
постарайся быть добрым».

Лет десять назад крёстный умер.
Но я думаю,

что где-то он и сейчас
продолжает чистить колодцы,
если в них
перевёлся свет.

ПЧЁЛЫ МОЕГО ОТЦА

Они гудят на летке,
потом – исчезают...

Спустя годы я вижу их в тёплых снах,
где, как прозрачные соты,
они конструируют воздух детства,
и все, что к нему прилагается –
день и мамину постирушку,
папу в халате белом
и с дымарём в руке,
брата, жующего яблоко.

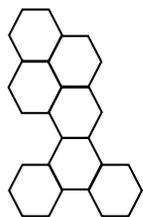
Они не мёртвые, не сухие,
из них не сделаешь ожерелье
и не подаришь возлюбленной.

Я знаю, они бессмертны –
пчёлы моего отца.

ЧИСТАЯ РАДОСТЬ

Она говорит мне:
– Послушай,
в мире нет ничего материального,
и все есть энергия.

И я склонен ей верить
здесь и сейчас,
в этот апрельский вечер,
наблюдая как в свете
заходящего солнца
луковая шелуха на столе
становится
чистой радостью.



* * *

Перед сном поцеловала дочка.

«Живи – говорю я себе –
живи»!

* * *

Сколько совершаешь ошибок!
Иногда ты холоден и
несправедлив,
любящих тебя порой обижаешь,
а нелюбящим – льстишь.

Но бывает
напишешь стихотворенье –
словно в пустой церквушке
постоишь
со свечой.



СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД ПОД КОРКОЙ ГРАНАТА

Ольга АНДРЕЕВА

* * *

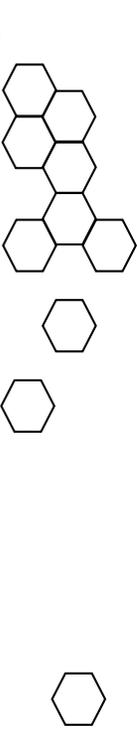
Там, волнуя траву, мягко стелются овцы,
сами – волны, опаловы, пеги, черны,
и невинны... Их суть – из бесчисленных опций –
там, где стелются овцы – нам не до войны.
Где в зените акации отяжелели
знойным маревом, и опоили июнь,
воздух гуще, и овцы плывут еле-еле
по летейским волнам, и неслышно поют,
в серебре встань-травы, в сонмах ласковых духов,
с детским сонным доверьем левкои звенят,
отголоски беды не касаются слуха
и не тронут тринадцатидневных ягнят.

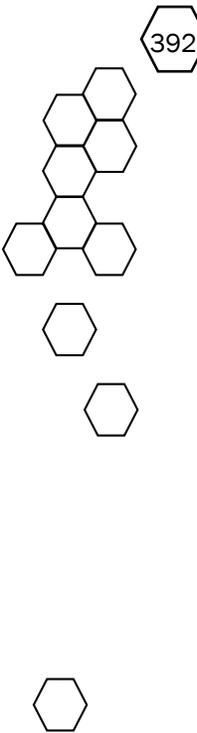
Над равнинной рекой – к водопою – склониться
и протечь вдоль неё чуть повыше – туда,
где не так безнадежно чернеет вода
и ещё пробивается свет сквозь ресницы...

* * *

Лес рубят – щепкой улетаю,
полёт – прекраснейшее время,
короткое – но сколько смыслов –
когда подхватит щепку ветер,
когда очнётся в ней Скиталец,
эгрегор срубленных деревьев,
туман подсвечен коромыслом –
расслабься и лови просветы

сквозь вавилоны революций.
Что вы хотите от блондинки?
Везёт нас под Червону руту
шофёр с георгиевской лентой,
поскольку неисповедимы
пути миграции оленей,
и ассирийцы в медных шлемах
склоняются низко над суглинком





чуть выше верхнечетвертичных
делювиальных отложений,
и, не учтя мой опыт личный,
меня назначат первой жертвой.

УТКИ

...отражая, нести молчаливый
невербальный утиный восторг,
осознание прилива, отлива,
томный запад и нежный восток
узнавая, тянуться над морем
на уютных послушных волнах,
по транзитной ликующей флоре
различая места, времена
года, века, сличать очертанья
берегов с джи-пи-эсом в крови,
пренатально и перинатально
чуять древнее эхо любви...

их немислимый дар –
возвращаться
на знакомые с детства моря.

...вот теперь начинается счастье –
приготовься и сразу ныряй!
Там, наверное, пахнет озоном,
дышат свежестью поры земли.

...Ничего, кроме сердца и зова,
пары крыльев и тысячи ли...

* * *

Дальнобойщики слышат в пути дальний бой –
но они огибают войну стороной,
есть дороги в объезд этой спорной земли,
удлинились маршруты, границы легли –
через рожь и овёс след мазута в пыли.

Колосится, спешит, осыпается жизнь,
горькой думой исходит зерно, запершись,
но разрушен уют, всех в потоки сольют,
а просыпанных попусту – птицы склюют,

жизнь решается всеми, не так уж сложна,
нахлебаешься всласть, исчерпаешь до дна,
и спохватишься, трезвый, с тревогой в груди,
– разве ж только для этого ты приходил?

Вор гордится пылающей шапкой своей,
в одичавшей земле лагеря дикарей,
расходящийся раструбом арочный свод
вывел прямо и просто в семнадцатый год.

Так нелепо-условна прямая стрела,
как морщина на глади мужского чела,
Дальнобойщик увидит все грани земли
и паром, уводящий в моря корабли.
Захлебнувшийся жизнями в ближнем бою –
под колёса Истории бросит свою.

СКРИПАЧ

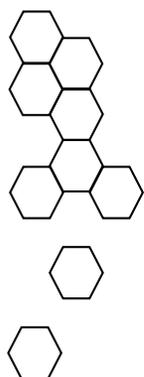
Всё рушится, как планы ГОЭЛРО.
Болит затылок и сгорает горло.
Но – шаг за шагом – в мир семи ветров,
в привычном рабстве у семи глаголов.

А как иначе перейти в полёт?
Не подходи. Не тронь. Не нарывайся.
Светло и зло над городом плывёт
мелодия цыганского романса.

В толстовке серой на сыром ветру,
неистово, вульгарно, балаганно
худой скрипач играет поутру –
нисколько не похожий на цыгана.

Мелькают лица, сапоги, пальто,
молчат угрюмо, сонно, дышат паром,
и джинсы-клёш русалочьим хвостом
метут сухую кожу тротуаров.

Природа крепко держит на крючке.
рвёт струны отголоском урагана
студент с дешёвой скрипочкой в руке,
нисколько не похожий на цыгана.



В нелепой жажде вечного тепла
открыв – такой кефир не всем полезен,
отраву хлещет прямо из горла
сквозь ледяной сарказм рублей
железных.

Вокруг спешат – подальше от греха.
Что воду резать – утешать
влюблённых...
(Вольфрамовая ниточка стиха
уже дрожит в гортани воспалённой.)

В осенний лес умчался вольный бес.
Со всеми соглашаясь – в знак протеста
–
упрямо продолжает свой ликбез
худой скрипач – ревнивый гений
места.

...Я это утро сохранить хочу –
как слабое капризное растение.
Укрыть от ветра тонкую свечу
и Вербного дожждаться воскресенья.

* * *

Пусти меня погреться, Диоген!
(Э. Леончик)

мой зонт –
мой надёжный и маленький дом
потом
будут стены и дверь, а пока –
кап – кап
японской эстетики «просто цветка»
не стоит менять
всё равно не понять
излишества юрты, вигвама, дворца
зачем? Я сегодня не прячу лица
входи!
бомжи?
бездомности как состоянья души
в нас нет... почти
мы храним постоянство пути
мой зонт –
батискаф, уплывающий в мир (иной?)
смотри –

в нём по кругу одно
окно
и слегка
сыроваты полы
из веток, песка
и сосновой иглы
циновка из клёна
и хокку Басё
и всё...
улитка?
не хлопать калиткой,
не щёлкать замком...
в мой дом для счастья
немного
озона возьму и часть
притяженья земного...

* * *

Такси! –
дермисту закажи мою
фигуру ню а ля мадам Тюссо.
А время убегает сквозь песок
водой –
вода, увы, не друг огню.

Перевернуть песочные часы
и пожалеть уснувшего бомжа.
Потом, покрепче карандаш зажав...
Да ты смеёшься?
Если это – цирк,
обиду я, как шпагу, проглочу.
И выпью леденящий душу квас.
Не стоит зря проветривать слова –
ты знаешь всё, что я сказать хочу.

У вас четверг? А у меня шаббат.
Сижу фанза, пью чай
и жгу мосты.
Игра не стоит свеч. Сгорят листы
пожаром аллергии на губах.

Там, в переулке, дерево-змея.
Там каждый вечер падает звезда.
Её найдёт тинейджер, а не я,
и скажет восхищённо: «тема, да?!»



* * *

*Ты можешь подвести коня к реке,
но ты не можешь заставить его пить.
Восточная мудрость.*

Воскресение. Чайно-ореховый омут
глаз напротив. Как редко играем мы с ней!
Наши шахматы можно назвать по-другому,
потому что Алёнка жалеет коней –
и своих, и моих. Отдаёт, не колеблясь,
и красавца ферзя, и тупую ладью,
но четыре лошадки, изящных, как лебеди,
неизменно должны оставаться в строю.

От волнения у пешки затылок искусан,
в каждой партии странные строим миры.
Я иду вслед за ней в этом важном искусстве,
я учусь выходить за пределы игры.
Надо выдержать паузу, выдержать спину
и подробно прожить откровения дня.
Эта партия сыграна наполовину.
В ферзи я не хочу. Отыграю коня.

Торжество справедливости – странная помесь
пустоты и досады – сквозь пальцы улов.
Выхожу на спираль – если вовремя вспомню,
что великий квадрат не имеет углов*
Ни корон, ни дворцов, ни слонов, ни пехоты,
перейду чёрно-белых границ череду,
распущу свою армию за поворотом
и коня вороного к реке поведу.

НОВЫЙ АФОН, ПЕЩЕРА

Там солнце рыщет спаниелем рыжим,
но непрямоугольные миры
и первобытный хаос неподвижны
внутри курчавой Иверской горы,
лишь факельных огней протуберанцы.
Не обернусь, но знаю наизусть –
такой организацией пространства
теперь я никогда не надышусь.

* Из «Дао-де-цзин».

Под трещинами каменного неба
неровный серый грубый известняк,
зелёные отметки наводнений,
подземные овраги – и сквозняк
там, где неверной левой я ступала
на твой ребристый серебристый спуск,
в колонию кальцитовых кристаллов,
не раскрывая створок, как моллюск,

от рукокрылых прячась в нишах скользких,
в меандрах холодея на ходу.
Мне скажет Персефона – ты не бойся,
иди, не так уж страшно здесь, в аду.
В энергию застывших водопадов,
в холодный бунт мерцающих озёр,
клыков известняковых эскапады
ты обратишь свой страх и свой позор.

Прошу – «Приятель, убери свой Nikon» –
уже одной из местных Персефон, –
как в храме – ну нельзя на фоне ликов! –
так здесь – нельзя, здесь сам ты – только фон!
Нет воли разозлиться, крикнуть – «тише!»,
их болтовня пуста – да неспроста.
Они галдят – чтобы себя не слышать –
и всё же их спасает красота,

по капле, не спеша, как сталактиты
растут в веках – так в нас растёт душа
Вселенной, так тысячелетья слиты
в спартанский твой космический ландшафт.
А поклониться каменной Медузе
лишь избранным дано – так за алтарь
не каждого пускают. Разве – музы
по кружевным полам, да пара стай

нетопырей. А в карстовых глазницах
звучит орган. Не поросли бы мхом!
И как бы мне в сердцах не разразиться
наивно-назидательным стихом...



* * *

И кризис, и холодная зима –
но есть БГ. Семь бед – за все отвечу.
Наушники не стоит вынимать –
без них так страшно. Нелогичен вечер,
негармоничен – этот лязг и визг
недружественный, слякоть, оригами
двумерных ёлок, плоских, грузовик
наполнивших рядами, штабелями,

и радио в маршрутке. Стёб да стёб
кругом. И кризис бродит по Европе.
Бьёт склянку колокол. И музыка растёт
в наушниках. Свободна от оброка
произнести, не применяя ямб
тот монолог, что сам в меня вселился.
Мороз крепчал – надёжный старый штамп,
мороз крепчал – и Чехов веселился.

Её материал – сплошной бетон,
а ты в него вгрызаешься зубами,
пока не разглядишь, что небосклон
не над тобой уже, а под ногами,
вокруг, везде... И призраки мостов
встают в тумане. Встречных глаз унынье.
Звезда над филармонией. Ростов –
сверхперенаселённая пустыня.

По мне звонит в кармане телефон.
Спасибо. Доживём до новых вёсен.
Я принимаю, узнаю, и звон
мобильника приветствует – прорвёмся.

* * *

Я глазами люблю. Ты мне на уши вешай-не вешай
серпантин и спагетти – тебя я не вижу пока.
(Посмотри «Аватар»!) Я приму этот вечер на веру
и безопасно сгорю в травоядном огне языка.

Я волнуюсь всегда. У меня волновая природа,
не прими на свой счёт. Я почти не бываю собой,
я ведь многое знаю о страхе. Тапёр, не юродствуй,
постыдись, приглуши, лучше вовсе по-русски не пой.

Ты красиво хрипишь – хоть фальшиво, зато неритмично,
и не мне тут камнями кидаться – я, что ли, не вру?
Я смирюсь с негативной модальностью этого китча,
Устаканится наше цунами, отпустит к утру.

Взгляд направлен на юг, как китайского компаса стрелка.
Там сейчас водопады и крокусы – глубже дыши!
Я глупею на солнце – до искренней радости мелкой,
до песчаного дна непрактичной славянской души.

Всё идёт под откос – хоть замешено серо и прочно.
Мир причешет беззубой гребёнкой, стремясь к простоте.
Только я ну никак не впишусь в пищевую цепочку.
Всё идёт под откос, но пока... Говори, что хотел.

* * *

Диктат языка начинается с табула расы
и школьной привычки обгрызть то, что держишь в руках,
с невнятной, крылатой, едва оперившейся фразы, –
стряхнув твои вздохи, эпитеты, блёстки и стразы,
лучом неподкупным и строгим ложится строка.

Симфония звуков, оттенков и запахов лета,
тебе одному предназначенный смайлик луны...
На лживый вопрос не бывает правдивых ответов,
и снова вернётся с жужжащим нытьём рикошета
унылая правда твоей нищеанской страны.

В глубинах фрактальной мозаики листьев каштана
проступит на миг – что сумею, в себе сохраню,
увидю, где хуже – да видимо, там и останусь.
Сбегу – мир не выдаст однажды открытую тайну,
она не случайно доверена мне – и огню.

Но сколько ни лей эталонную мёртвую воду,
ничто не срастётся – и дальше пойдём налегке.
Ни Чёрная речка, ни Припять, ни Калка, ни Волга
нас не научили – что ж толку в той музыке колкой,
тревожным рефреном пружинящей в каждой строке?

Порталы закрыты, здесь каждый в своей параллели,
– но слабенький звон несквозной переключки имён...
Со скрипом немазанным тронется жизни телега,
востребован стих некрещёным моим поколеньем,
как тонкая ниточка рвущейся связи времён...



Диктует язык – и уже раскрываются створки
моллюска души – ну, дыши, будь живее, чем ртуть,
и выпусти джинна пружину из тесной подкорки,-
я знаю, как надо, я здесь ничего не испорчу!
...Забудь о свободе. Придумай другую мечту.

Откуда свобода у тех, в чьём роду крепостные?
Дурная генетика в нас – и бессильны волхвы.
Безмолвствуют гроздя акации предгрозовые,
всё тише пасутся стада на просторах России,
планета Саракш разместилась внутри головы.

Язычество многим даётся само, от природы,
а для христианства не вызрели свет да любовь.
Подняться над собственным опытом робкие пробы –
и есть твой полёт, твоё поле, твой вектор – за строгий
диктат языка, и что это случилось с тобой.

* * *

Что ни осень – болдинская. В тучах
что-то стонет, просится наружу,
в слово. Я каштана шар колючий
расколю – но тайны не нарушу,
унесу в руке... И полнолуний
непечатый край – в свою воронку
тянет море, мысли, слёзы, струны,
врёт альтернативно-благородно,
вынимает душу графоманью
и творит фальшивого кумира...
привожу в порядок мирозданье
в меру сил и смелости. И с миром
засыпаю. Но ему не спится,
мир вершит свою слепую волю,
кормит птиц с руки духовной пищей,
а меня духовным алкоголем
спаивает – за упрямство, дикость
и за аморальные издержки.
...Сапоги облезли, прохудились,
ни дождя, ни критики не держат.
Сквозь плотину ручейком – привычка
расколоть каштан, поймать на спуске.
Веселит народ косноязычно
надпись «тише едешь – меньше русский»
на капоте. Но спешить? По хляби,
по листве, которой надышаться

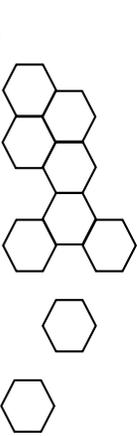
невозможно. Золотой октябрь
с варварскою роскошью ветшает.
Человек, зомбированный степью –
застегну на молнии все чакры –
холодно. Восточный ветер треплет
обещанья чад и домочадцев.
Ты в аптеку? Принеси мне яду!
Надо же к зиме готовить душу.
Лягушачья кожа авокадо
и хрустальный вкус китайской груши –
до весны дотянем. Лёд облезлый,
злобная метель в пустых аллеях...
Мало не покажется им, если
Ты ко мне глобально потеплеешь.

* * *

Это февральский Ростов. Это Кафка.
Серое мутное жидкое небо.
Город бессилён, контакт оборвался
оста и веста, и севера с югом.
Мерзко, но цельно зияет подсказка
в грязных бинтах ноздреватого снега:
всё завершится сведённым балансом –
жадность и страх уничтожат друг друга.

Не соскользнуть бы в иллюзию. Скользко.
Под сапогом мостовая в движенье
кобры шипучей. Портовые краны
кромку заката изрезали в раны.
Тот, кто взошёл на Голгофу – нисколько
не нарушает закон притяженья.
Можно об этом поспорить с Ньютоном
запанибродским таким тоном.

Почерк врача неразборчив – подделай
всё, от анамнеза до эпикриза:
может, дозиметры и не зашкалят,
только повсюду – приметы распада.
Выпить цикуту? Уйти в декаденты?
В партию «Яблоко?» В творческий кризис?
Я ухожу – я нашла, что искала –
в сказочный город под коркой граната.



* * *

Сколько звёздочек-листьев нападало!
 Спи, дворняга, успеешь набегаться.
 Так хозяев никто не обкрадывал –
 видишь, солнышка нету, и деревца
 золотого. Не лай вслед за утками –
 высоко... Не догонишь, умаешься...
 Им – за долгими лунными сутками
 в антимир зазеркалья, за Манычем.

Воздух лакомый, терпкий, отчаянный,
 тучи ластятся, шитые гарусом,
 где-то в них наши взгляды встречаются,
 преломляются и разбегаются.
 Листьев нет – у деревьев каникулы.
 Бисер ягод да прутья зелёные –
 весь боярышник. Будь, что бы ни было –
 толерантность к неопределённости.

Город смотрит в глаза кошкой палевой –
 чуть надменно, но в целом доверчиво,
 как подросток. Листва между шпалами –
 однозначно к зиме, гуттаперчевый,
 осторожный намёк, откровение.
 Но душа, в эйфории беспочвенной
 не вкусившая лотос забвения,
 не отпустит фантомного поручня.

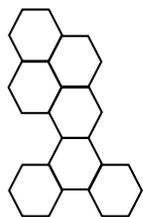
В странный цвет небеса загрунтованы –
 ненадёжности, бренности, табора,
 с подкупающей трезвостью тоники
 и воды, как древнейшей метафоры.
 Мысли спутаны тонкими нитями,
 льётся прана из пряного воздуха,
 где старательно, неукоснительно
 догорают кленовые звёздочки



ЛЁТЧИЦА**Олег СЕШКО**

Тесно собаке в комнате, в старом промозглом хосписе.
Голуби в лунном омуте песни поют о космосе,
Мухи влетают в форточку: «Хай» тебе от поклонников!»
Ангелы чешут мордочки, сидя на подоконниках.
Смотрит на всех растеряно, зависть во взгляде вышита.
Кажется – не растение, а не взлетишь повыше-то!
В ухе свербит высотами, хочется в небо коршуном.
Пчёлкой жужжать над сотами тоже ей не положено.
«Кто он великий выдумщик, «Главный над эскадрильями?»
В хоспис его бы вытащить, вдруг нарисует крылья мне.
Боль заберёт нечаянно (счастье когда-то было ведь).
Ноги вернёт хозяину, дело за малым – выловить!
Значит, прорваться к выходу, лапы в пути изнашивать.
Ангелы с жиру пыхают, вот бы хлебнули с нашего –
Толстыми стали, ленными! Эх, проморгали прошлое...
Нынче-то здесь, за стенами, служба им стоит дешёво.
Чёрт с вами, спите, толстые. Вам не поднять хозяина.
Помню, бежала вёрстами, в небо смеялась, лаяла...
Таял хозяин куполом, белой снежинкой ласковой;
В зиму летели кубарем, резали снег салазками,
Падали в реку буйную, шторм побеждали аховый,
Пели под шестиструнную, чай разбавляя сахаром.
Ангелам было весело, резвыми были, жаркими.
Двадцать второго вечером в пух разодрались ангелы,
Сгнули той же полночью. Не было двое суток их.
Скоро пять лет исполнится случаю с парашютами...
Спят, не летают год уже. Крылья примерить хочется.
В самую пору, то-то же! Станет собака лётчицей.
Тссс, погодите, что-то здесь... что-то не очень правильно...
Спите, не будьте жмотами. Ноги бы для хозяина».

Над перелеском, хатами, над одинокой хижинкой
Выла стихи хвостатая, верная, тёмно-рыжая.
Жалась к больному, гордому, грела крылами пыльными.
Сказку слагал за городом «Главный над эскадрильями».



В САМЫЙ РАЗ

Для войны провожала Родина,
Вслед печально ключами звякала.
– То, что в жизни тобою пройдено,
Порастает пустыми злаками.
Мне из них – ни хлебов, ни шанежек!
Разобьётся о голод армия.
Для тебя придорожный камешек –
Полстакана да стойка барная.
В белом поле твои товарищи –
Верстовые столбы для памяти.
Где твоё родовое капище?
Где твои вековые наледи,
Языки под земными плахами,
Наднебесные взгляды-выстрелы?
Всё, что в жизни тобою вспахано,
Безответной любовью выспело.

Города, пересадки, станции,
От потерь до потерь – околлицей.
– Можно быть черепахой в панцире,
Но под панцирем тоже колется.
Чёрт-те с кем, на забытой пристани,
Разбазаривал дни бездарно я,
Чтобы рифмами, снами, мыслями
Золотая питалась армия.
Там с такими, как я, скитальцами,
Разделяли мы жизнь по-честному:
Принимая, встречали танцами,
Провожая, крестили песнями.
Безответные стали верными,
Бесполезные стали звёздными
В тесноте, за тройными стенами,
За бесценными сердцу вёснами.
Где разлукой любовь воссоздана
До последнего стога, выплеска...

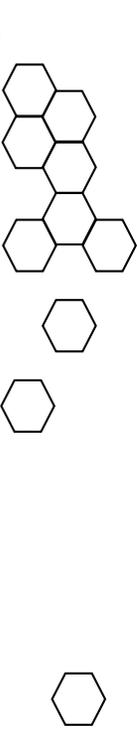
«Не такой ты, – кивнула Родина,-
В самый раз «не такой» для Витебска».

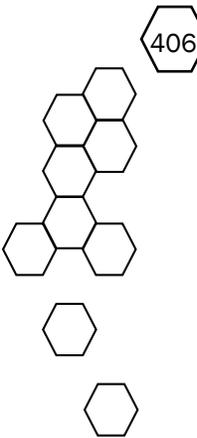
ЧЁРНО-БЕЛОЕ

Выцвели Покрова над берёзами,
Вылились облака в землю временем,
Что-то кричали мне, что-то пели мне
Чёрные соловьи в небе бронзовом.
Как же я не узнал, в чём их цель была?
Бедные соловьи к Пасхе вымерли.
Песни отдав свои псам без имени,
Чтобы росли они каждый в цербера,
Чтобы несли в зубах мудрость полночи,
Годы в себя вобрав, месяц к месяцу.
Не утонуть теперь, не повеситься,
Вечно бросать в окно сны невольничьи.
Годы в ручей вплетать меж погостами,
Надписи обновлять над потерями:
Это любовь твоя в светлом тереме,
Это судьба твоя – зимы с вёснами.
Это друзья твои – кто, не спрашивай.
Сколько их? К четвергу будет – семеро.
Ночью приснился мне запах клевера,
Я упаду в него нынче заживо.
Нужно вернуть себе счастья видимость,
Рифм отыскать пяток под оскоминой,
И на последний слог, сэкономленный,
Белого соловья в небе выдумать.

ВИЗАНТИЯ

Он готовит чертовски смачно,
Ароматами плавит ноздри,
Шутит он о хазарах остро,
Головой задевая мачты.
Пьёт горячий (покрепче) кофе,
Смотрит, будто стреляет в тире.
Он зовёт тебя Византией:
Утону мол в твоей «любофи».
Мол, сорвусь со стены и – мордой,
Красотой обожгусь вовеки.
«Раньше видел ты свет сквозь веки,
Свет, по нашему, третьесортный.
Да куда нам с эдемским садом?
(Отбивные вон, с пылу с жару)
Это, брат, тебе не хазары,
Сдохнешь заживо, ляжем рядом.
Жизнь ясна, если смерти густо,





Идеально чиста у гроба!
Не любил так и, слышь, не пробуй,
Есть мужские похлеще чувства.
Не за то мы судьбой платили,
День за днём проходя сквозь сито.
Жаль из дома тебя, паразита,
Отпускать к твоей Византии.
Не спасу, не осудишь строго
Апосля, как сойдёшь в граните?
От земного я, брат, хранитель,
Византия, она – от Бога.
Бог же вертит и так, и эдак,
Режиссирует, морда рыба...



Он плюёт, поправляя крылья,
Мой далёкий славянский предок.
Он взлетает, упёртый рогом,
Вечный бой для него – порядок,
И сверкают двенадцать радуг
Над ведущей к тебе дорогой.

УСТАЛОСТЬ

Усталость обварилась в кипятке,
От сердца отслоилась пузырями.
Взрываясь, матерясь и изнуряя,
Шёл новый день с молвой накоротке.
Хлестало солнце кожаным лучом,
Сбивая капли медные на паперть.
Финал не поздно было бы поправить,
Но зал ревел, сюжетом обольщён.
И я оставил так, как написал,
До запятой себя рассеял в зале.
А после по центральному сказали
О том, что богом проклят старый зал.
Что мой спектакль, не шествие картин,
А подлинная жизнь в четыре акта,
Где старость умирает от инфаркта,
Где молодость сгорает до седин.

Когда пришли за автором с утра,
Ты испугалась: «Господи, прости мя!»
Но с губ моих своё срывая имя,
Вдруг выдохнула гордая: «Пора!»

МОЛЧАНИЯ

Усталость брюзжала дождями осенними,
Плела из ночей гипостазы страдания,
Напротив, в окне, погибала Молчания –
Пустая страница без роду, без семени.
Кровили безбожные церкви молебнами,
Сгорали в секунду гнилыми колодами.
Давили самцы сапогами голодными
Котлетные мякиши, корочки хлебные,
Глушили спиртягой остаток сознания,
Блевали салатом из перца и гордости.
Гуляли в обнимку с печалью и горести.
Крошила судьба возведённое ранее:

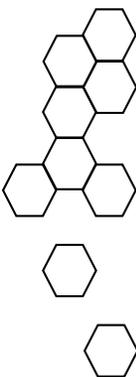
Когда прорастали бульвары каштанами,
Мечтами цвели городские окраины,
Где жизни писались задорно и правильно,
В семье появляясь детьми долгожданнами.
Сорили сороки счастливыми песнями,
Купцы раздавали кошерные ценности:
Бульонный набор из надежды и верности,
Три грамма любви между судьбами пресными.
Отваги и чести ещё, не хотите ли?
Окрепшая вера – отменного качества.

Сменили родное предложенным, начисто,
Ненужными стали друзья и родители.
Пропали купцы с дорогими подарками,
Завяли мечты вслед за песнями звонкими,
Заполнили улицы шмары с подонками,
Воронами тучи над небом закаркали.
Смеялась война громогласная, гордая
Роняя в песок ожидания, чаянья.
Напротив, в окне, погибала Молчания –
Забятая правда отдельного города.

ПЫЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Пыльные стены комнат вокруг щелей,
Люди сошли под землю, с ума и в мат.
Крутит баранку жизни военкомат,
Хлеб возложи на рюмку – возьмёшь целей.
Спиртом сердечным ангелов не криви,
В нём твой земной могильник, источник бед.





Брат на горе (полковник и крововед)
Чертит тебе отличия на крови.
Слово стекает правдами, слово-желчь.
Пахнет былой семейностью из-под шей.
Пуля – набор косметики от прыщей,
К свадьбе поможет выдавить и прижечь.
Пуля – ярлык на царство и виза в ад,
Вырвет из веры верность за полчаса.
Брат разделяет землю на свет и за,
Он в поцелуях создан, в любви зачат.
Верен горе и небу, в молитвах – чёрт,
Может быть ветром, снегом, началом дней,
Нет никого под солнцем тебе родней,
Ты это знаешь точно, как то, что мёртв...

ТРОЕ

В начале света под старой вежей
Сидели трое, друг другу внемля.
Делили на три слова и земли,
Глотали воду и воздух свежий.
Поодаль копья точил Георгий,
Поил дракона вином плодовым.
Тащили бабы мужей в подолах –
Сгодятся после для месс и оргий.
Направо, к лесу, стекали жизни
Туда, где правда сильнее смерти.
Дрожало в небе отцово сердце,
На светлый подвиг толкая «слизней».
Под белым снегом пшеница прела,
Кричали дети, съезжая с горки.
Цвели кроваво кнуты для порки:
«Отдай нам, Маша, сыновье тело!»
Ревела Маша, роняя мирру,
Несла маслины святым пророкам...
Сидели трое к народу Богом.
Быть может, всеу явившись миру?

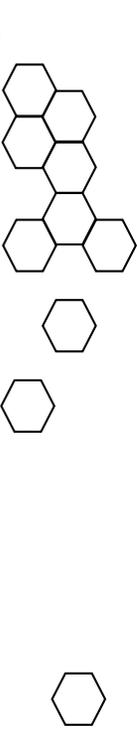


БЕСХОРДНОСТЬ

Шатёр Якуба пришёл в негодность,
Порвались крылья соседской дочки,
Альберт Михеев косил от срочки,
Являя миру свою бесхордность.
Коптило солнце кастрюлю с супом,
Любовь кармилась из рук разлуки...
Отняли крылья, пришили руки,
Пустив на нитки шатёр с Якубом.
Продав цыганам гнилые крылья,
Сосед записся и стал медведем,
В сердцах мочился на дверь соседям,
Кричал, что сказка сбежала с былью.
К зиме иссякнув, уснул в прихожей,
И в этой жизни не рыскал боле.
Альберт Михеев ушёл в подполье,
Вернулся Алей, служить негожей.
Над нами въехал апостол Фёдор,
Речами – тихий, глазами – жадный.
Соседской дочке зашили жабры,
А с ними душу промежду бёдер.
К восьмому марта пришли цыгане,
Играли в нервы, просили «штонить».
Апостол Фёдор раздал им совесть,
На всё истратив пять бурь в стакане.
Остаток рифмы разбавил грубо,
Где Алькин старший – в горячей точке.
И хвост поправил соседской дочке,
Соткавшей за ночь шатёр Якубу.

КОНЯЧЕЕ

На заборе человечество
Расписало кто есть кто.
На воротах конь повесился,
Сняв калоши и пальто.
Там, где ёлки держат лапами
Мир с залапанной луной,
Там, где в землю звёзды капают,
Будто слёзы, по одной,
Где не сеяно, не пахано,
Ни кобыл, ни жеребят,
Он висел, а люди ахали:
Здесь, мол, кони не висят.
Здесь, мол, место не конячее,



Шёл бы, вон, за огород,
 А конина на горячее
 Хороша в холодный год.
 Под огурчик да под водочку,
 Да под шумный разговор...
 Кто смелее, полз на корточках
 Под покойником во двор.
 Собирал (обмыть покойного)
 Дождевую воду с крыш.
 «Хорошо бы в лёд зимой его,
 Нынче вряд ли сохранишь».
 День клонился да откланялся,
 Следом выйдешь – не найдёшь,
 Понесли коня на кладбище,
 Без пальто и без калаш.
 Песни пели, кровью харкали,
 Пили чай за упокой.
 Кто есть кто писали ангелы
 Красной тушью над рекой.

КАПИТАН

По слухам, он сразу родился военным,
 Из пены морской проявился на суше,
 Сражал наповал королев и простушек
 Могучей фигурой, натурой степенной.
 Посмотрит, бывало, и вышибет душу...
 Визжали девицы, прошитые взглядом,
 Теряли рассудок, текли виноградом.
 Хотя он совсем не стремился на сушу.
 Стихия сидела в его подреберье,
 Ломала, крушила года о форштевень.
 Шептались: «Фортуне он брат или деверь?
 Красиво беду оставляет за дверью».
 Роптали пираты обеих Америк:
 «Отважная сволочь, везучий, зараза!»
 Но старость пришла, высочайшим указом
 Начальником штаба списала на берег.
 Расставила стулья в раю кабинетном,
 Углы затянула седой паутиной,
 Посыпались будни овсянкой рутинной.
 Скрывая глаза золочёным лорнетом,
 Он как-то крепился. Дожив до заката,
 Ночами разбрасывал пьяную пену...
 Однажды его пригласили в геенну,
 Где приняли в штат капитаном фрегата.



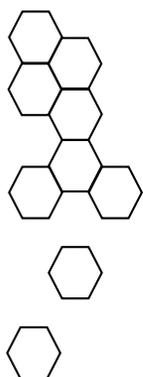
ОЧНУТЬСЯ В СВЕРКАЮЩЕМ*Наталья НОВОХАТНЯЯ**** * ***

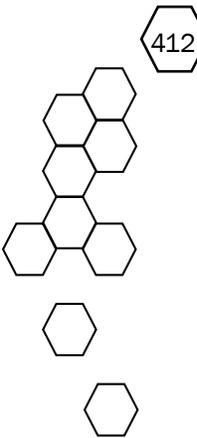
а жизнь глядит в окно
порханьем воробьиным
и веткой, что в грозу
тук-тукает:
впусти!
натруженным мячом
что, слава богу, мимо
и парочкой фигур –
столкнулись по пути
а жизнь трезвонит в дверь
сутулым почтальоном
соседкой, что пьяна
по праздникам и так
заботами друзей
и королём червонным,
что любит или нет,
всё не решит никак
настанет ночь, и сны
помчатся вереницей
и сманивать начнут
в заоблачную высь
успеется.
и вот
дрожа в руках синицей,
пульсирует, пестрит
непрожитая жизнь

*** * ***

очнуться в сверкающем, сонном и снежном
видать, наверху распродажа одежды
и вот безупречен в сияюще-белом
всегда ненадолго: по белому смело

тропинки следов, эти росчерки судеб
что было неважно, важнее что будет
и в общем, не новость, что много отличий
давай же, как в детстве, кто больше отыщет





победа частенько сродни пораженью
январского снега круженье, вторженье
очнуться в сверкающем – снова родиться?
и длиться, и длиться, и длиться...

* * *

*Не всматривайся...
Тёмный дивный град
Одновременно далеко и близко.*

Лора Трин

Когда бы заблудиться – только здесь.
Загадкой манят полукружья арок.
Темны следы средневековых пьес,
Страницы до сих пор пылают жаром.



Печальный ангел замер в тупике.
Возле собора вдруг по-русски «гули-гули»...
В ответ ворчание на мёртвом языке
Туристами встревоженных горгулий.

Здесь дивных замков строгие черты
Река в дремотной неге размывает,
А выгнутые спинами мосты –
Ключи к тобой придуманному раю.

КОШКА

Мы с ней повстречались однажды под вечер,
Смущённые обе нежданною встречей.
Не я, но другая оправилась первой.
О, взгляд тот янтарный, о, стать королевы!
Кривилась усатым презрительным ртом,
Асфальт, как невольника, била хвостом.

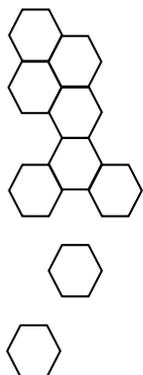
Затих, распластавшись под лапами, ветер.
Во взгляде её проплывали столетья.
Неспешные волны далёкого Нила
Меня за собою манили, манили...
К подножию жёлтых немых пирамид,
Чья мудрость на солнце, как слиток, горит.

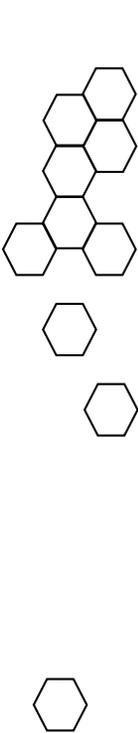
И мнилось мне, встреча отнюдь не случайна.
Вот-вот разгадаю я древнюю тайну,
Вот-вот расколдую чужое величье,
Что бродит по свету в кошачьем обличье,
И мягкая поступь тревожит века.
Печаль притаилась в границах зрачка.

Но мне ли тягаться с заклатьем древним?
И сумрак ночной был, конечно же, первым:
На мир навалился, не видно ни зги.
Беги от него, сквозь столетья, беги...

* * *

Что комната притихшая таит?
Надменный шкаф стоит, как монолит.
Но робок, но растерян вид дивана:
потёртости на ткани, будто раны.
Тетрадный лист белеет на столе.
Кудрявое растение на окне...
За зеленью пейзаж в оконной раме
глядит совсем осенними глазами.
Живое... но чего-то словно ждёт.
Кто в этой тишине к столу идёт,
на стул садится – как первооснову,
на белизне листа выводит слово?
Обычный выбор букв, от «а» до «я».
И вот оно, начало бытия.





Бах АХМЕДОВ

ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЗ

* * *

Каждый из нас однажды бывает
незавершенною строчкой весны.
Кто-то промчится в небесном трамвае,
кто-то напишет портрет тишины...

Мир умирает, творится, уходит
в вечном потоке изменчивых дней.
Кто-то тоскуют всю жизнь по свободе,
кто-то спокойно беседует с ней.

Каждый из нас с изумленьем однажды
в зеркале видит чужие глаза.
Можно войти в это зеркало дважды,
выйти – нельзя.

* * *

Стоит бродяга перед входом в осень
и смотрит отрешенно в небеса.
Он ничего у времени не просит,
но временем полны его глаза.

В его пустых карманах крохи лета.
И что ему свободы ветерок?
Он сам себе источник сна и света.
Он сам себе и жизнь, и смерть, и Бог.

А мы судьбой проскальзываем мимо,
боясь чужую боль задеть своей.
И вдруг увидеть дно пустого мира
в обломках затонувших наших дней...

* * *

Птицы – сегодня птицы.
Завтра – быть может, небо.
То, что сегодня снится,
время укроет снегом.

Осень – сегодня осень.
Завтра – к зиме движенье.
То, что сегодня просим,
сделает время тенью.

Город плывет прозрачный,
сны собирая тихо.
Тот, кто сегодня плачет,
завтра увидит выход.

Строчка – сегодня строчка.
Завтра – всего лишь слово.
Птица растает точкой.
Небо начнется снова.

* * *

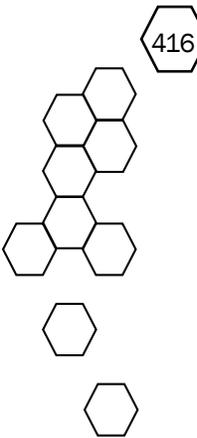
Как все расплывчато и резко...
Неужто я опять влюблен?
И с нежным звоном смс-ка
Упала с неба в телефон.

Открыл, а там: «Вы не забыли,
Что надо заплатить налог?»
О жизнь, какое чувство стиля!
Как ты умеешь между строк...

ПОСВЯЩЕНИЕ МОДИЛЬЯНИ

Уйти от грусти своевольной.
Себя в случайном находить
и вновь терять уже не больно,
уже привычно, может быть.





И нить, оборванная ветром,
летит навстречу снегу ввысь.
Навстречу ангельскому свету,
что он искал в себе всю жизнь.

Январь звенит монеткой медной
в морозном воздухе ночном.
В его лице такая бледность,
такая хрупкость дышит в нем...

Так умирают на пределе
своей любви и высоты.
И тихо ангели запели,
завесив вечностью холсты.

* * *



Подойди к зеркалу, закрой глаза.
Скажи себе тихо, что так нельзя.
Проведи рукой по холоду дня.
Скажи ему тихо: «Оставь меня».

Но день зажимает тебя в тиски,
и трудно дожить до конца строки.
А из щелей стены выбегают сны,
которым мы вечно что-то должны.

Подойди к зеркалу, открой глаза.
Один будет против, второй будет за.
И руку спокойно поднимет вверх,
пряча в кармане маленький смех.

Размер неточен, и ритм сбит.
Скажет мне критик, и будет сыт
своей правотою, почти святой.
Выйди из зеркала, глаза открой.

* * *

Осень уклонилась от попытки
смыслом наделить ее навек.
И летели строчки, словно нитки,
и мечтали превратиться в снег.

Но, увы, для снега они были
слишком тяжелы, и потому
превращались в дождь, и без усилия
прошивали призрачную тьму.

И казалось, музыкою бредил
этот бесконечный дождь ночной.
Словно в чей-то дом неспящий метил.
Думал, в чей-то...
Оказалось – в мой.

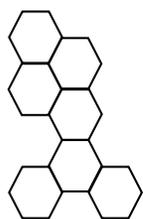
* * *

Трепет метафоры,
ускользнувшей из сна
все еще отзывается
в памяти пустотою...

Долгая ночь
обернулась в дождь,
а он обернулся снегом.
Мир на рассвете
становится черно-белым,
как старая фотография
с царапинами судьбы.

Зима тиражом
в девяносто экземпляров,
и в каждом – пустые страницы.

И странное ощущение,
что жизнь – вокруг.



* * *

скажи словам скажи устали
скажи словам скажи уснули
скажи себе скажи едва ли
ты усидишь на этом стуле

он уменьшается шагренью
скажи еще скажи уже
беги скорей беги за тенью
живи на скользком вираже

скажи словам скажи отстали
скажи часам скажи стоять
скажи мерцанию печали
так сиротливо не мерцать

скажи что мир подобен бреду
нет ничего не говори
скажи что жизнь начнется в среду
скажи воскресни
и замри

ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЗ

Жить сегодняшним сном
и жить сегодняшним днем –
ведь это практически одно и то же.
Время – всего лишь вена под кожей.
И по ней текут годы, быстрее, чем вода,
в прекрасное Никогда.

Сон обрывается на повороте,
за несколько шагов до открытой двери.
На самой предельной и точной ноте,
но мы по-прежнему верим – не верим.

Стучим по барометру,
улыбаемся снисходительно,
Облачно, ясно...
Завтра – гроза.
И только безумие всегда убедительно,
потому что в нем можно
все то, что нельзя.

* * *

Трудно остаться и трудно расстаться.
Трудно простить, но труднее принять.
Как виртуозно умеют прощаться
те, кто других не умеют прощать.

Время, наверное, всех нас рассудит,
но не осудит оно никого.
Кто-то отчаянно грезит о чуде...
Кто-то сквозь боль прорастает в него.

* * *

Аквариум залов музейных...
Немеешь как рыба, плывешь,
На тихую вечность глаза
И жабрами чувствуя дрожь.

О эти живые портреты!
Как всё они знают про нас...
Мерцание темного света
И взгляд снисходительных глаз.

А после так страшно наружу
Из этих глубин выплывать...
И думать устало про ужас,
Где время начнется опять.



Олег ЗАЙЦЕВ

ОКТАБРЬ ЗАЛИЗЫВАЕТ РАНЫ

* * *

Родина малиновым кустом
Поманила в дальние пределы.
Молча осенью себя крестом,
В чашу зашагаю шагом смелым.

Затеряюсь в тропках наугад,
И вдыхая запах спелых ягод,
Вдруг пойму, насколько я богат,
Избежав чужбины дальней тягот.

Тиньканье ли пташечки лесной,
Или попрыгунчика в ложбине
Я воспринимаю, как чумной:
Ими грезил, брежу и поныне.

Выйдя на полянку в солнцепёк,
С перьевыми закружу я в танце...
Да хранит мой край родимый Бог,
Не порабощают иностранцы.

В чашу опускается закат,
Комариный звон лелеет душу:
Я безмерно, сказочно богат
Тем, что эту сказку не нарушу!

* * *

У каштановых свеч мотыльками кружится весна,
Обжигает рассвет раскалённо-малиновый диск,
И ложится мазком первый луч, раскаляясь докрасна,
Предъявляя природе энергозатратный иск;
И разлив акварель, тихо шепчется дождь по дворам,
Наступая на пятки сонливо бредущей жаре,
Размешала природа вино человеческих драм
И приправила лёгкостью, той, что сродни мишуре.
В ожидании вновь занавески стыдливо дрожат,
И скрипит второпях кем-то настезь открытая дверь...
В конусах фонарей мотыльки белым пухом кружат,
Сумрак лижет клубком жёлтым в небе свернувшийся зверь.

* * *

Стучит и пульс, стучит и клюва бронь,
Он кардинал: он в кардинальской шляпке.
И если вдруг на промысле, не тронь
Его, не тронь пернатой лапки.

Повсюду стук, и эхо бередит
Чужую душу, скрывавшуюся в соснах.
Он платит щедро, но живёт в кредит:
Природе независимость несносна.

Не глаз – алмаз: не спрячутся нигде
Ни гусеница и ни жук, ни мошка –
Стучать рождённый, держит он в узде
Тех, кто природу точит понемножку.

Он мессу монотонную с утра
Зарядит, и почудится в округе,
Что жизнь не однозначна, а мудра,
Что кроны не податливы, упруги.

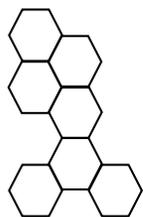
Рябит в глазах прекрасная пора,
Всё создано для наслажденья вроде,
Как жаль, что принцип «горе – от ума»
Срабатывает в точности в природе.

* * *

И иней серебрит поляны,
И красный лист деревья жжёт —
Октябрь зализывает раны,
Диск лунный, как монета, жёлт.

В молочном мареве кварталы,
Хватив простуды через край,
Вдруг заблестели, стали алы —
Мелькнул луч солнца, как искра.

И заморозкам наступая
На пятки, в Минск спешит рассвет.
И в шарф закутавшись, любая
Синоптик здесь и краевед.



Вновь клёкот стай, летящих к югу,
Вновь запах выпревшей травы:
Природа мечется по кругу,
И увядает всё, увы...

Осенний холод, отрезвляя,
Подсказывает нам уже,
Что скоротечна жизнь. И зла я
За это не держу в душе.



ЗАПИСКИ СЕЛЬСКОГО ЕВРЕЯ (ОТРЫВКИ)

Вячеслав ШНАЙДЕР

**ЗАПИСКА ПЕРВАЯ.
ЗНАКОМСТВО**

Не без опасений приступаю я к описанию своего сельского «вчителювання». Не был я, понятное дело, отличником народного образования, не награждался медалями и грамотами. Да не о том мои переживания! Начиная это повествование, автор скромно мечтает об одном – не вляпаться в историю, где будут задействованы районы и разъяренные учителя. О-о-о! Я очень, очень ясно вижу какую-то заслуженную учительницу, ее выпученные глаза и гневно раскрытый рот с золотым зубом, поставленным на льготных условиях. А там и до облоно дойдет! Только этого мне не хватало! Или меня мало тягали по разным «коврикам»? Или мной еще не досыта занимались, или меня еще не вдосталь поимели эти откормленные дяди и тети?!

А ведь я хочу открыть украинский провинциальный космос! Дайте мне свежее украинское язычество, давайте сюда купальских дивчат, заговоры, ведьму мне дайте, дайте домовика!

Я вам открою украинский провинциальный космос! Туда, туда, где проворные школярики зажимают одноклассниц, которые в ответ пронзительно и довольно верещат. Туда, где восьмидесятилетние бабы провоцируют на изнасилование!

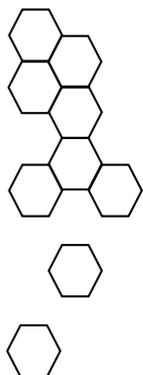
Автор, кажется, видит сельскую Украину несколько односторонне...

– Ну, жидюра, ты дограешься, б..! – выныривает морда с патриотически стилизованными козацкими усами.

Доиграюсь, конечно! Но в самом-самом конце меня спасет украинский провинциальный космос!

В год короткого царствования Андропова я ступил на порог средней школы села Бычки. Ого-го-го! – не вчера эта было! Юность моя, ко мне!

Директору было лет тридцать, он встретил меня дружеским пожатием руки и теплой улыбкой. Теплой?! Куда там! – в его глазах прямо-таки горел восторг, а рот то и дело раскрывался, словно директору от радости не хватало воздуха. Увидев перед собою такого потрясающе широкого и дружелюбного начальника я тут же согласился вдобавок к русскому преподавать в Бычках украинский и немецкий языки, физику и физкультуру. Да и вообще я пообещал директору по первому же зову преподавать в



Бычках все предметы, кроме традиционно противопоказанных советскому еврею уроков труда.

Как только директор получил мое согласие в нем тут же произошли неприятные изменения. Его улыбка стала кислее, а через несколько часов перешла в гримасу откровенной гадливости.

Я ничего не понимал – себя я считал «приятным во всех отношениях» молодым человеком.

Чиновничья тварь! Если ты читаешь эти строки, постарайся понять, кто ты. Ты – скотина! В земной жизни ты непобедим и все последующие годы это полностью подтвердили. Но где то там, в небе, у господ, есть, думаю, какой-то специальный ад для чиновников. Там, там из тебя сделают человека!

Моя первая зауч не была, быть может, идеальной красавицей, но для меня она была и секс-бомбой, и полесской ведьмой. Когда знакомишься с молодой сельской украинкой, то сразу чувствуешь, что вскочил в лес, полный очаровательной нечисти. Я тут же ощутил знакомое страстное томление и восторженно впился в воинственно выступающие под блузкой упругие молодые груди и в гордо поднятый чуть вздернутый носик – носики такого рода я всегда предпочитал часто более утонченным восточным носам моих соплеменниц. Что же до ее ног, о! – тут преимущества украинок были еще более очевидными! Да и вообще она была «мой тип» женщины – так я тогда называл особ, которые через два часа знакомства превращали меня в тряпку.

– Вы будете житы в сели чи йиздыты?

– Я хотел бы жить в селе... (так я буду ближе к тебе, моя мавочка*)

– Тоди пидем, попытаемо, може хто визьме.

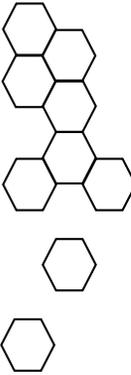
И мы шли, и я смотрел на ее груди и ноги. И мы пришли к первой хате и из нее вышла баба и сказала, что «не визьму його, бо живу одна» И я ничего не понял, и мы пошли ко второй хате и вторая баба сказал, что не «визьму його, бо одна». И третья баба сказала, что «взяла б, взяла б, но одна я». И я понял – бабы боятся, что село припишет им горячую любовную жизнь с молодым учителем. И тогда мы пошли к деду и он взял меня на квартиру не боясь сплетен, потому что украинские села даже в конце двадцатого века ничего не слыхали о гомосексуализме.

ЗАПИСКА ТРЕТЬЯ. ВОСЬМОЙ КЛАСС

Доныне мне снится тот восьмой класс. В этом сне я обычно вижу себя в поединке с Мыколой. В руке у меня молоток, Мыкола обороняется коротким поленом. Финал этого кошмара разный – иногда я вырубая Мыколу, иногда он неотразимо лупит меня по голове.

В школу после педагогического я шел внешне строя из себя циника, но в душе не сомневался, что как только войду в класс и скажу: «Ребята, сейчас мы с вами войдем в неповторимый мир русской литературы», как целый конвейер Пушкиных, Шекспиров и Лесь Украинок заработает в школе благословенного села Бычки. Одного я не мог понять – почему этого до сих пор до не сделали мои предшественники?!

* Мавка – образ украинской мифологии, прекрасная лесовичка. Героиня одного из лучших произведений украинской литературы – "Лесной песни" (автор – Леся Украинка).



Учебный год начался с того, что всю школу отправили на уборку хмеля и там меня поджидали первые неприятные впечатления. Дело в том, что сельский ребенок может часами рвать хмель, втупившись в одну точку, при этом на лице его не отражается ни единой мысли, что никак не совпадало с моими грандиозными планами о беспредельном интеллектуальном развитии учеников. Сам я, как всегда, очень быстро почувствовал, что больше получаса физической работы в день не выдерживаю и привычно переключился в сферу духа. Вскоре я нашел яркие исключения среди всеобщего однообразия. Это были восьмиклассники Степа и Мыкола. Мыкола был костлявый, задиристый парень с вечно наглым и вызывающим выражением лица. Физически он был слабоват, зато дух... Уже потом, когда он съел все мои нервы, я стал замечать в его лице что-то от Керка Дугласа в роли Спартака. Мыкола так же задирает нижнюю губу, а когда Мыкола задирает губу все методы педагогики можно было засунуть в одно место.

Степа был маленький шатен, с большими губами и зубами и узкими злобными глазками – такой себе колхозный чингизханчик. Итак, я обнаружил две демонические личности и вскоре появился на поле с томиком Байрона, надеясь всколыхнуть столетиями нетронутые глубины.

Я прочитал во время обеда несколько стихотворений, которые понравились девочкам, но кто их заинтересовал – Байрон или молодой учитель сказать было непросто. Вскоре к нам подошли Степа и Мыкола.

Девочки от моего чтения постепенно начали скучать, но на лице Степы я неожиданно увидел живое выражение. Он думал!

Я счастлив, пери Запада, что вдвое
Тебя я старше, что могу мечтать,
Бесстрастно глядя на лицо такое...

с большим подъемом прочитал я.

В этот момент Степа неожиданно громко отрыгнул. Я мысленно искренне посочувствовал такому публичному позору и, не подавая виду, прочитал еще две прекрасных строки :

Что суждена мне жизнью благодать
Не видеть, как ты будешь увядать...

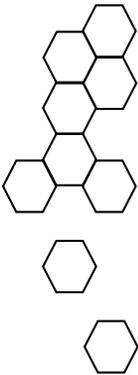
С этого момента отрыжка Степы стала непрерывной и виртуозной, он владел ею, как курский соловей пением и я вскоре понял, что это – своеобразный вид художественной отрыжки. Я сказал: « Вы познакомились сегодня с творчеством великого Байрона » и хлопнул Чайльд-Гарольда.

Но демонические стихии уже пробудились и в душах, и в природе – надвинулась гроза.

Из всех народных примет самая надежная – примета о низком предгрозовом полете ласточек. И они таки появились. Причем летали настолько низко, что вызвали большой интерес Степы, который сбросил пиджак и сделал несколько попыток сбить ласточку прямо на лету. Мыкола готовился присоединиться к нему. Я собрал в себе остатки педагога: – Степа, ласточка все-таки живое существо...

Степа взглянул на меня, как на жабу, и, схватив камень, швырнул его в ласточку, но, к счастью для себя, не попал. Сухомлинский, который был непримиримым врагом телесных наказаний, вмиг выветрился из меня и остался один Макаренко, который такие наказания, в принципе, признавал. Через секунду я уже был рядом с неординарной





личностью и изо всех сил с огромным наслаждением тянул ее за ухо. Степа заверещал, как-то особенно противно раскрыв свой большой рот. Но при этом он сумел свободной рукой стащить с меня берет и провыл, переходя на «ты»:

- Пусты! Кину!
- Только...попробуй... паскуда!
- Кидаю! Кидаю!



Мой берет на глазах у восьмого класса плавно опустился в грязь.



Так мы и стояли со Степой некоторое время, образовав своеобразную скульптурную группу, которую можно было бы назвать, допустим, так :

«Учитель, который тянет за ухо ученика, который только что бросил берет этого учителя в лужу».

ЗАПИСКА ПЯТАЯ.

ДЕД



Прозвище деда, у которого я жил на квартире, было Миттеран. Бычки были наполнены прозвищами весьма масштабными и амбициозными. Тут жили Менделеев (крупный местный самогонщик), Пеле, Одиссей, Капица, Геракл, Изаура и многие другие известные личности.

Прозвище было удачным – дед очень увлекался политикой, более того – он был политиком в самих глубинах своего сердца.

Первое впечатление от деда было огромным.

Устраиваясь на квартиру, я спросил его об оплате. Дед несколько секунд с какой-то невыразимой нежностью смотрел на меня и вдруг решительно воскликнул :

– Грошей – нэ визьму!

«Простой человек!» – подумал я, млея от восхищения, и с большим трудом всунул старому десять рублей.

Дед был разведен, много лет жил одиноко и это выработало у него привычку разговаривать с домашними животными. Наши комнаты были рядом и я часто слышал разнообразные монологи и диалоги:

– Мяу! Мяу! Мяу! – обращался к деду голодный кот.

– Подождеш! – сурово обрывал его дед, – та подождеш! Ни х.. нэ робиш!

Дед, по его словам, только раз в жизни имел контакт с людьми с высшим образованием. Это было пятнадцать лет тому, когда два заезжих пьяных райцентровских журналиста ночевали у него и «пообсцикали постель».

Несколько недель мы жили с дедом душа в душу, но вскоре в воздухе начало витать что-то непонятное. Я поинтересовался, – не следует ли мне платить за квартиру больше денег? Дед приоткрыл мне свой замысел.

– Еврейчики люблять поистинэ багатэнько, але гарнэнько. Ви пойисте и я коло вас пойем.

Но поесть около меня деду не было суждено. В то время я увлекся радикальным сыроедением – я ел крапиву, листья смородины, весенние листья березы, а о мясе и речи быть не могло. Потрясенный дед некоторое время по инерции все еще восклицал: «От, я так и знав! – еврейчики любят поистинэ багатэнько, але гарнэнько!» но вскоре понял, что взлелеянную в мечтах дорогую колбасу он при мне не попробует. Да и как я мог предложить яд своему дорогому хозяину?!

Когда же я посоветовал деду пророщенные зерна пшеницы в качестве средства борьбы с лысиной он воскликнул :

– Я що – пташка?!

И на некоторое время перестал со мной разговаривать. Если же я пробовал заговорить с ним о его любимой политике дед холодно молчал или отвечал одной и той же фразой:

– Моя политика – в тарилци!

Без сомнения, старый плут ни на секунду не верил, что я питаюсь так для здоровья, но, ненавидя меня, возможно и восхищался «хитрою жидивською экономией».

Однажды я проснулся от голоса деда. Дверь в его комнату была открыта и я увидел, что дед сидит на постели и разговаривает сам с собой:

– Не по адресу попав, та не по адресу попав! Вин знае полежать, почитать книжку... вин хоче и квартиру иметь, и денежки зберэгы ?!

И, энергично рубнув воздух ладонью, дед резюмировал :

– Так нэ буде! Та так не будэ!

Вечером я попробовал всучить деду двадцать пять рублей.

– Грошей – не визьму!

Но спустя некоторое время дед взял деньги, ласково посмотрел на меня и сказал:

– Нэ переживайтэ. Изменений в поведении нэ будэ.

Это была любопытная тайна его души. У деда была странная и испорченная натура, чем-то очень похожая на натуру политиков. Он никогда не вел себя открыто, а играл в серьезную дипломатическую игру. Денег из рук он у меня не брал – для него это было бы слишком просто. Я должен был оставлять деньги на столе и просить забрать их. Некоторое время они лежали на виду и дед то и дело спрашивал:

– Цэ ваши гроши?

– Мои. Прошу вас, заберите их.

Миттеран отрицательно покачивал головой, но потом деньги исчезали и я несколько дней плавал в садомазохистской любви деда. Но вскоре изменения в поведении повторялись и все начиналось сначала.

Такие же маневры дед проводил со своими знакомыми и даже с домашними животными. Как-то мы сидели при свечке и со двора донесся вой нашего пса Бельчика.

– Бельчик вые – многозначительно сказал дед.

– Почему?

– Як бы цэ вам, як образованному человеку объяснить...Ну, знаетэ.. весна.. она воздействует на його организм... и вызывает в нем разные потребности...Таково повеление природы...

– О-о-о! Так давайте выпустим его погулять!

– С одной стороны вы правы...а с другой – чога я должен потакать його слабости?!

Бывшая супруга деда жила рядом. Дед ненавидел ее и все время повторял, что у нее, в отличие от него, «до х-ща грошей». Но когда баба поехала в город и попросила его постеречь хату, дед согласился – частная собственность была для него священной. Вечером около бабиной хаты появилась компания хлопцев-алкашей, которые всегда не прочь что-нибудь спереть. Дед взял вилы и всю ночь дежурил под хатой. Баба вернулась из города, сказала «спасибо», но не выставила даже самогонки. Через некоторое время ей нужно было написать письмо в город и она обратилась к деду, который считался в селе большим грамотеем. Дед с улыбкой счастья согласился, но пожаловался на боль в глазах, потом

откладывал и откладывал написание письма и, наконец, написал неправильный адрес на конверте.

Постепенно я пришел к выводу, что Миттеран день и ночь следит за поступками односельчан, анализирует их и постоянно стремится быть «политически адекватным» по отношению к их «положительным» и «отрицательным» действиям. Приятели его постоянно менялись, он то и дело «приближал» и «удалял» их, то ласково улыбался, то делался как кремень, давал в порядке стимула какую-то лопату, а потом, вводя санкции, забирал ее и так до бесконечности.

Видя, что я не перехожу на «людську» еду, дед сосредоточил свою политику на том, чтобы я обеспечил его дровами, которые учителям доставалось бесплатно. Естественно, сказать об этом прямо для него было совершенно невыносимо. Через некоторое время я понял, к чему неутомимый интриган стремится на этот раз, пообещал привезти дрова, но тут же забыл о таких мелочах. Дед в ответ перестал топить печь, мы не готовили и сидели при четырех-пяти градусах тепла, что несколько не беспокоило мою бомжеватую-философскую душу. Я за своим чтением даже не замечал, что в квартире нет вареной еды и можно врезать дуба от холода.

С того времени дедовы утренние монологи стали однообразными:

– Вин що, цей хвилолог, озвирив?!!

До меня, в конце концов, дошло, я привез дрова, но было уже поздно. Мы стремительно наполнялись ненавистью и презрением друг к другу. Дед, очевидно, понимал банальную простоту моей натуры – все-таки он был человеком деятельным и демоничным, сельским Миттераном, а я – всего лишь школьным учителем, который имел какие-то никому не нужные книжные знания. В сельской хате книги ничего не значат, да и почти везде они значат очень мало. У деда были свои духовные ценности – ненависть к бабе, интриги с односельчанами, мечты стать сельским богачом. Дед понимал свой огород, дом и вещи своего дома, а во мне было что-то, что легко обходилось без огорода, вещей и дома и даже было против них. Кроме того дед был немалым садомазохистом – ему хотелось отомстить мне и понести дальше свои оскорбленные мечты. Не знаю, что сделало деда таким – то, что он не стал главой дипломатической миссии или какой-нибудь Эдипов комплекс, но я, увы, тоже чувствовал немалую злобу к старому, сумасшедшему сельскому иезуиту.

Получив дрова, дед через несколько дней со сдержанным торжеством сказал мне:

– Вам доведеться шукать иншу квартиру!

ЗАПИСКА ШЕСТАЯ.

БАБА

Баба, у которой я жил на квартире после деда Миттерана, не умела ни читать, ни писать и никогда не была замужем.

Когда живешь на квартире вдвоем с женщиной, то не переспать с ней почти невозможно. Осмотрев бабу, я решил, что на сей раз вариант бесперспективный – ей перевалило за семьдесят, у нее была желтая кожа и хриплое дыхание. Впрочем, выглядела она довольно стройной и почему-то всегда ходила по селу в спортивном костюме и кедах.

Эта баба уже умерла и я не хотел бы, чтобы ее дух пострадал от той иронии, с которой я теперь к ней отношусь, но...ведь и мне с ней было не до смеха!

Когда я собирался к бабе на квартиру, мне говорили, что «в нэи зверский характер». Такие предупреждения от селян, которые не придают особого значения изысканным манерам, значили немало, но, на беду, я не почувствовал опасности.

– Хороший хлопец! – осмотрев меня, сказала баба. – Буде робыть так, шо аж ноги будуть пидлитать!

Эта довольно странное для квартирной хозяйки заявление ничуть не смутило меня. Я только внутренне улыбнулся – заставить меня работать физически еще никому не удалось!

Первый вечер прошел спокойно, меня только иногда удивлял голос бабы – то он напоминал далекий гром, то в нем ощущались интонации тигра.

Утро началось с крика бабы над моим ухом. Но нет, это был не крик, а рев могучего зверя.

– Вставай! Вставай!!! – ревела баба.

Я не шевелился, сразу почувствовав, что меня ожидает долгая и нелегкая борьба.

– Вставай, бо получиш! – ревнула баба еще раз.

– А что..? Что случилось? – бормотал я будто бы сквозь сон и пытаюсь каким-то образом сохранить достоинство.

– «Что?!» «Что?!» – передразнила меня баба. – Гавно! Бигом до Дурня! Возьмы у нього мешок! Картоплю перэбырать будем! Вставай, й-п твою мать!

– Куда идти?

Я тогда еще не знал, что в селе есть Дурень.

– Да пошов ты к е-ной матери! – обижено гаркнул тигр и, махнув рукой, вышел из комнаты.

С восьми утра до двенадцати я перебирал картошку – таким образом четыре часа находился в непрерывной работе. Когда картошка была перебрана, баба, мощно дохнув мне в лицо, прохрипела :

– Тепер бижы в Колодне – там в магазине гречку дають! Та будь трохи смилиший – може в очереди кого надо пхнуть! Бигом!!!

Бегом не бегом, но я голодным поперся в Колодное и вернулся к вечеру, нагуляв километров пятнадцать. Обеда в хате не было, более того – баба приказала приготовить картошку для нас обоих.

Я варил картошку и мне казалось, что я брежу. Я, который и самому себе ни черта не готовил, теперь варил картошку вполне трудоспособной сельской бабе, которая, вдобавок, ревела, как дикий зверь. Но если бы я в первый же день распрощался с бабой, то заработал бы в селе такую репутацию, что черта с два кто-то вообще взял бы меня на квартиру.

Я внес картошку в бабину комнату.

– Ты не розимяв картоплю! – гаркнула баба.

Услышав такое я чуть не пожелал, чтобы это была последняя картошка, которую баба ест в своей жизни. Гордый статус сельского учителя стремительно выветривался, я размял картошку и, с ужасом ощущая себя кем-то совершенно немыслимым – советским сельским пажом, снова вошел в комнату. Баба возлежала в постели, важно ожидая. Думаю, что такого случая в ее жизни отродясь не было и в этот момент она чувствовала себя необыкновенно высокопоставленной особой. Исполненным неимоверного величия движением она взяла картофелину, надкусила хлеб и...

– Ты не подогрив мени хлеб! – заревела старая идиотка. – Ты не учитель, а г–но!

Не знаю, какое в этот момент у меня было выражение лица, но то, что какие-то внутренние глаза души вылезли наружу и чуть не лопнули – это точно! Если бы мои мысли материализовались, – тут бы бабе и мученический конец.

А как мне хотелось пролить в село свет образования! Готов я был его нести и своим квартирным хозяевам! Да куда там! Если Миттеран видел во мне загадочного еврея – Ротшильда, который должен был накормить его сказочными яствами, то баба мечтала о деншике, казачке, паже. Себя видела царицей, княгиней или еще кем-то в этом роде. А о чем ей было мечтать в селе?! Да уж наверное не об образовании!

Хозяйством баба почти не занималась. У нее не было ни коровы, ни свиней, – только куры и огород, на котором работал ее пятидесятилетний племянник – баба называла его Сцикуном. Она любила смотреть «кино про багату жизнь» – фильмы, в которых были выезды на тройках лошадей, балы, красиво одетые герои. Когда баба смотрела такой фильм могучий темперамент заставлял ее принимать в нем деятельное личное участие.

– Чего вы от меня хотите?! – восклицал какой –то слабохарактерный русский «лишний» человек, преследованный решительной героиней.

– Чего?! Чего?! – передразнивала баба, вступая в диалог. – Тэбэ!

Я с юных лет имел неприятный дар высвобождать в садистах их склонности, а потом долго и героически бороться. И теперь старая дьяволица старалась ежедневно показать мне свою невероятную силу и ярость. Я пожаловался на свою нелегкую долю некоторым селянам. В селе баба считалась целочкой и мне советовали помочь ей в этом вопросе, но предупреждали, что «там, наверно, и дрель не возьме».

Врожденная ярость бабы усугублялась еще и тем, что я не нравился ей как мужчина – для нее я был слишком слабохарактерным. Думаю, если бы я действительно повел себя «смильвише» – хорошо выматерил бы ее, или сделал еще что-то в этом роде, то баба вела бы себя спокойнее. И все же совсем не обращать на меня внимания баба почему-то не могла и часто появлялась в моей комнате именно тогда, когда я начинал раздеваться. Я выразил ей свое недовольство.

– Ой-ой! – злобно буркнула баба. – Оно мени надо!

Но заходить в комнату продолжала, что навело меня на некоторые мысли. Надумав решить бабины сексуальные проблемы я пригласил в нашу хату Дурня.

Дурень был в некотором смысле эффектной особой. В качестве большого любителя футбола он приходил во двор нашей школы играть с учениками. Это был один из тех хлопцев-алкашей, которые не выехали в город, потому что самогон дешевле водки и бродили по селу, как не привязанные бычки. Играл он очень своеобразно – ему, например, ничего не стоило на полном ходу врезаться головой в штангу – казалось, он даже к этому стремился. Врезавшись лицом или головой, Дурень несколько минут лежал неподвижно, закрыв лицо руками, а потом еще с большей энергией бросался в игру – бил по ногам, снова врезался головой в штангу, бил головой в чью-то голову или лицо. В общем, создавалось впечатление, что голова для него ровно ничего не значит. Постоянным соперником Дурня был еще один, такого же типа, хлопец. На полном ходу они врезались друг в друга, проверяя первобытную каменную крепость своих черепов.

Дурень был алкашом в свои двадцать два года, обладал сильным телосложением и, как я заметил, нравился бабе, которая иногда почти даром продавала ему самогон.

В селе и городе связь молодого алкаша со старой бабой – обычное дело. Традиционным сельским вариантом является также изнасилование старых баб молодыми

хлопцами. Само собой, настоящее ли это изнасилование, или организованное бабами мероприятие надо очень серьезно выяснять.

Я не сомневался в том, что Дурень, если его хорошо подпоить, может клюнуть на бабу. После этого сексуальные проблемы старой девы должны были смягчиться, она стала бы добрее, была бы благодарна и мне.

Итак, я пригласил Дурню к себе, мы сидели в моей комнате и пили. Баба не появлялась, хотя я не сомневался, что она видела через окно, как мы вошли в хату.

Дурню я не объяснял, чего от него жду, – такие мысли в селе понятны без слов.

Мы выпили приблизительно по стакану, когда дверь открылась. На пороге стояла баба. На этот раз она была не в спортивном костюме, а в ночной рубашке и неизменных кедах. Гнев и гордость пылали на ее лице, в каком-то смысле она была даже прекрасной. Она все поняла.

Дурень, который хорошо знал о симпатиях бабы к нему, окинул ее мужественным взглядом сельского питекантропа, словно говоря :

– Если ты хочешь, то я могу тебе кое-что сделать!

Я же не нашел ничего лучшего, чем ляпнуть стандартное:

– О! Я вижу, что у вас, Ганна Степановна, прекрасная фигура!

Не говоря ни слова старая весталка бросилась на меня, расставив руки и ища мое горло, словно панночка-ведьма, которая сгубила Хому Брута.

Руки были немощными, но сила ее духа вновь поразила меня. Ей нравился Дурень, может быть она даже была влюблена в него, но не унизилась, попыталась отстоять достоинство, самовыразиться, а самовыразиться она могла только в бою!

Боролась баба настолько самозабвенно, что я был вынужден положить ее на кровать, и она продолжала борьбу лежа на спине, причем из под ночной рубашки выглянули спортивного типа синие трусы.

Для села это, конечно, было крутой эротикой, но стало ясно, что любовь бабы с Дурнем сегодня не состоится. Дурень сказал:

– Ну вас, баба Ганя, на ...! и ушел.

Из иезуитского чада Миттерана я попал в адский огонь сатанинской бабы и будущее казалось мне беспросветным. Правда именно в этот момент загадочные силы, которые всегда отводили от меня любую физическую работу нежданно повернулись лицом к своему любимцу. Я ощущал их незримое действие еще с юности, когда работал на производстве и прораб уже с утра требовал, чтобы я бросал работу и шел домой. Теперь баба на себе испытала их могущество. Вскоре у нее совершенно отпала всякая охота чего-то от меня требовать, я же сам нашел себе работу по дому – играть с цуциком, которого баба завела.

И все же близкий финал наших отношений ощущался во всем. Баба уже не требовала трудов, но ела меня поедом. У нее была астма и когда она чувствовала себя хорошо, то ревела, как исполненный силы зверь, когда же ей становилось плохо, то молча шла в спальню, сраженная несоответствием между своим могучим духом и немощной плотью.

В конце моего пребывания на квартире баба взяла за правило обращаться ко мне нарочно тихим голосом и на вопрос «Что?» отвечать коротким и громовым : «Говно!»

Наш последняя схватка была короткой. Однажды утром я увидел в коридоре большой бидон, источавший запах классического ядерного первака. Самогонщиков в те времена еще штрафовали.

Баба, проходя мимо меня, что – то пробормотала под нос :

– Что? – спросил я, чувствуя приближение бури и заклиная ее.

- Говно! – торжествующе заревела баба. – Ты – говно вср–е!
– Ах ты, старэ падло! – сказал я, надвигаясь на бабу. – Я – учитель. А ты кто?
Баба испуганно попятилась к своему бачку.
– Ты знаешь, хто ты! – резюмировал я – Ты – г-но!

Никогда в своей жизни я не смел так разговаривать с простыми людьми, которых, в общем-то уважаю в чем-то больше, чем «не простых». Но теперь все стало на свои места и на лице бабы появились страх и уважение. На этом надо было поставить точку, но я уже закусил удила и пообещал бабе милицию и штраф за самогоноварение.

Это был неэстетичный и неверный ход. Правда, если бы я выполнил обещанное, то, может быть, и начал выглядеть в глазах бабы «сурьезным человеком», но что такое квартирные проблемы в сравнении с нечистой совестью?!

Через несколько дней баба выпроводила меня.

Уйдя с квартиры я мстил бабе, рассказывая о ее гадком характере, она же утверждала, что я бегал перед ней голый.

Вспоминая своих квартирных хозяев я думаю, что и баба, и дед Миттеран были сильными личностями, которые весь жар своих душ растратили в стиснутом пространстве украинского сельского космоса. Одному судьба приносит корону, Аустерлиц, миллиард, другому – сельскую хату, но натура человеческая всюду одна и та же, всюду она ищет смысл жизни и борется за него. Какая, в некотором смысле, разница – ешь ты поедом своего ближнего или грабишь и сотрясаешь народы?

Баба уже умерла, дед, думаю, еще жив. Их жизнь была по-своему насыщенной, искренней. Эти сельские демоны боролись, ненавидели, проигрывали, по-идиотски, но пытались проявить себя.

ЗАПИСКА СЕДЬМАЯ. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.

В детях Бычковской средней школы чувствовалась незаурядная антисемитская подготовка.

Приезжаю зимним утром в школу. Учителей еще нет, учеников тоже не видно. Захожу в учительскую, собираясь подремать.

За дверью шепот.

– В школи хто е?

– Е.

– Хто?

– Жид.

Я вышел из учительской и, направившись вслед за стремительным топотом детских ног, вошел в восьмой класс, где сидел запыхавшийся Васыль, изо всех сил изображая из себя овечку, которая мирно дремлет.

– Як справы, Васылю? – ласково спросил я (школа быстро превращала меня в иезуита).

– Ничого... – подозрительно впиваясь в меня вякнул Васыль.

– Цэ добрэ... – и я изо всех сил наступил ему на ногу.

Васыль завыл.

– За що – знаеш?

– Знаю – с библейской простотой ответил он.

Стоило нам выехать на уборку хмеля, как на все поле слышалось:

– Жи-и-ид!

И из копны то появлялась, то исчезала голова Богдана.

Катя Василенко, встретив меня на перемене, начинала тихонько напевать:

– Зид! Зид! – она считала, что поменяв «ж» на «з» выдерживает какую-то норму и обещивает себе алиби – дети – невероятные формалисты, когда им это выгодно.

Даже Сергей Коваль – самый безнадежный двоечник восьмого класса получил у меня три балла за четверть выстрадано и мужественно изрек:

– Жид е жид!

И вид у него был такой, словно он всю жизнь промучился с жидами, между тем как он их – кроме меня – и в глаза не видел!

Мыкола, этот божий бич школы, как ни странно, не употреблял слово «жид» – его ему заменяло невесть где приобретенное «нацмен». Подумать только – сельский троечник, не знавший ни одной кавказской столицы уверенно и постоянно употреблял слово «нацмен». Я был потрясен такой подкованностью в национальном вопросе при полной темноте во всем остальном.

Окончательно я обалдел, когда во дворе школы трехлетний пацан пролепетал мне:

– Зыдочок ты! Зыдочок!

Постепенно у меня сложилось впечатление, что «папка», «мама» и «жид» – три первых слова, которые усваивает украинский ребенок. Как ни странно, я не был всем этим слишком огорчен, потому что настоящего антисемитизма в детях не было, не считая, может быть, Мыколы, Степы и Богдана, да и их антисемитизм был просто продолжением врожденных садистских наклонностей. Со взрослыми мои отношения в национальном плане складывались даже как-то уж слишком хорошо. Евреи, как известно, в селах не водятся, поэтому обитатели села Бычки встретили меня с тем огромным интересом, который сопровождает любую особу моей национальности, которая неизвестно как залетела в село. Думаю, что учительство еврейчика навсегда вошло в историю Бычков и в местные предания и мифы.

Помню, как я собирался на первый звонок. Выяснилось, что старые туфли уже не годятся для выдающихся событий, а новые немилосердно жмут. Я одеваю старые туфли, а новые кладу в портфель. Автобус подъезжает к школе. Снимаю старые туфли и, скрипя зубами, обуваю новые.

В автобусе со мной ехала учительница, которая и так всю дорогу ела меня глазами, а тут прямо-таки молния сверкнула у нее под очками. Объяснить это явление я не смог, но, немного погодя, проходя мимо учительской услышал взволнованный голос моей подруги .

– Що то значить еврей! Всю дорогу йхав в старых туфлях, а пидкинець одивае нови и йде !

– Экономна нация! – поддакнул басок географа.

– О-о-о! Ну вищо – еврейчики! – прокудкудахтал женский голос.

Я ожидал традиционного : «Ну, жиди!» – но этого не случилось, украинцы – эстеты и не любят резких дисгармоничных переходов.

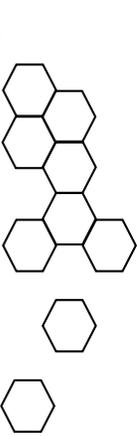
Сельский украинец с детства слышит экзотические легенды о евреях, а потом всю жизнь не может понять, где правда, а где вымысел.

Любопытство взрослых бычковцев было неумным.

– Знаете ... я хотила вас спытаты... е ризни нации...

– И что?

– Ну, так у вас тоже е своя нация..



– Допустим...

– Ну, а вы можете сказать як ця нация называется... я дуже добре отношусь до вашей нации...

– Спасибо... Этот народ можете называть «евреи».

– От-от, евреи! – восклицала потрясенная моей откровенностью собеседница. – Вы не обижаетесь на це слово, а кажуть, що багато хто з вашей нации обижается...

– Обижаются на слово жид..., – говорил я, чувствуя очевидно вошедшее в гены утомление от этой многовековой беседы евреев с аборигенами всех стран мира.

– От-от – жид! А вы не скажете, чога ваши обижаются на це слово?

Бесконечное число раз я слышал фразу о том, что мой очередной собеседник «лежав в больнице з евреем – и ничего! – цэ була хороша, спокойна людина».

Некоторые сельские украинцы, которые поработали в городе, говорили мне, что:

– Я лучше буду маты дело з еврейчиком, чем з мужиком.

Часто я слышал также успокаивающее:

– Ну, чеснэ слово, вы зовсим не похожий...

А наиболее откровенным и простым обращением удивил меня один механизатор, который несколько минут смотрел на меня с непередаваемым выражением лица, в котором соединялись ужас и восторг и выдохнул:

– Я чув, шо вы – еврейчик, или, если вам так приятнише – жидок!

ЗАПИСКА ДЕВЯТАЯ. СЕЛЬСКИЙ ЭРОС

Теперь я хочу коснуться такой вечнозеленой темы, как украинский сельский эрос.

В реальной жизни сексуальное ханжество не присуще сельским украинкам. Думаю, мало кто из них упустит свой шанс и «не удержит ее никакая сила на свете» – как сказал бы, думаю, Гоголь. Но поистине нет в селе дураков рассказывать о своих счастливых минутах – болтовня учительниц на опасные темы была нестерпимо ханжеской – каждая клялась, что «в жизни б не изменила чоловіку».

Между тем, по некоторым полным языческой силы и энергии высказываниям, а также по тонким и точным замечаниям можно было, без всякого сомнения, убедиться в том, что дела идут совсем не так плохо. Но такими были лишь отдельные, редкие замечания учительниц, а в основном я был буквально задолбан сельским учительским морализаторством типа : «Я б цю суку, схопыла б за ноги и роздерла б пополам!» (по поводу очередной гулящей ученицы). Настоящей чумой школы была 40-летняя математичка. Вот уж чья наблюдательность и любознательность были неистощимыми и все это направлялось исключительно на мужской пол. У одного учителя она замечала расстегнутую ширинку, другой много пил, третий ничего не ел, а автор этих строк «учив дитей нэвидомо чому». Я в каком-то смысле действительно учил детей неизвестно чему, но разве не были такими все духовные революционеры?!

Ханжество математички было беспредельным. На всех переменах в стенах учительской, подымаясь до самых верхних нот звучал ее противный голос, который от критики мужчин – этого «негативного примера» по всем правилам педагогики переходил к примеру позитивному – подвигам ее и мужа на семейной ниве. Этот же голос нудно вещал об идеальном состоянии ее гусей, уток и кур. Что до мужа, то он был воплощенным совершенством – день и ночь работал на огороде, пил мало, ходил все время вымазанным в гное и т. д.

Понятное дело, мужская часть школы ненавидела математичку за ее язык, женская недолюбливала за образцового мужа.

– Я б цэ чорноротэ падло своїмы рукамі б задушив, – говорил мне учитель физики Петр Семенович – тихий, незлобивый алкоголик.

В эротических вопросах математичка была предельно бескомпромиссной – она прямо таки боролась против величайшего дара небес – любви и заслуживала божественного наказания. И оно пришло – учительнице математики изменил муж.

Как только мужская часть школы узнала эту приятную новость, во всех сердцах поселилось тихое блаженство. Несколько дней подряд мужчины ходили в прекрасном настроении и ожидали интересных и колоритных подробностей.

Измена в селе – событие вселенского масштаба. Три дня подряд каждый входящий в учительскую замирал, не в силах оторвать глаз от феерического зрелища. Бедная математичка молча сидела в углу, закутавшись в черный платок, из под которого блестели трагически торжественные глаза. Три дня вела себя как на настоящих похоронах. На четвертый все рассказала.

– Вин не думав, шо я так рано прыиду з Житомира. Захожу в хату – нэма. Чую – хто-то на чердаку шепчэцца. Беру лестницу, вылизую, бачу – вин обнимае голу Савченчиху, а та уже, падло, розкинулася... Я говорю: «Мыкола, шо ти робыш?!» Вин як стрыбне з чердака прямо на мене, мы так и впали в огород! У мэнэ до сих пор позвончик болить! От такой позор! Шо делать, як отомстыць йому, людоньки?!

– Цэ горе! – простонала биологичка, цэ – велике горе!

– Вин став, як звер, – продолжила математичка. – А через день каже: «Вона мене опоила. Я не знав, шо делаю». А я йому кажу: «Так чога ты не зализ на корову?!»

В мужчинах-бычковцах я не замечал ханжества, скорее их высказываниям был свойственен грубый физиологизм и какое-то производственно – техническое отношение к эротике. Как-то во время чисто мужской пьянки я взялся просветить их в сексуальном плане. Некоторое время учителя без всякого интереса слушали мои рассуждения о Камасутре, садизме, мазохизме и эрогенных зонах.

– Кстати, Танька Марченко сама лизэ на чоловика, – сказал преподаватель гражданской обороны.

Учителя оживились.

– Як – сама?

– Не лягае на мужика, а вылизает на нього.

– Хто бачив?

– Витька Михайленко заходыв до ных у хату.

Пораженный такой теоретической наивностью я с удвоенным рвением продолжил свой просветительский монолог. В ответ – равнодушное молчание. Когда же я дошел до темы «скотоложство» физик поддержал меня :

– А от таке точно есть!

– Вы бачили? – спросил преподаватель труда

– Бачив.

– Кого?

– Нашого голову колгоспу.?

– Та вы шо!

– Ты дывысь, яка гадость!

– Та не того, шо зараз, а того, шо був зразу после войны. Иду я раз з охоты и захожу на ферму. У мэнэ в руках ще й винтовка була. Бачу – голова пэче.

– Что? – поинтересовался я

– Корову. Я молодой був, идейный. Вера була! Навожу винтовку и кричу: «Прекратить немедленно!». Вин бросае корову и до мэнэ:

– «Коля, ты ничего не бачив!»

А я ему:

– Да шо это такое?! Цэ мы до чого так прийдэмо??!!

А вин:

– Коля, мы мужчины!».

– Ну и шо?!» – кажу.

– Всьо, ты ничего нэ бачив!

– Кстати, цэ запрещено законом, – сказал историк. – Можэ получиться наполовину людина, наполовину корова.

ЗАПИСКА ДЕСЯТАЯ. УКРАИНКИ

Дивчата моей юности! Это семидесятые годы, слава богу! Вы одеты во все советское, вы краситесь отечественной косметикой, у вас не такие длинные ноги, какие в моде сейчас, но у вас неплохие ноги, черт побери! Где, где вы, мои райцентровские девчонки, где ваши юные груди, где ваши поцелуи? Вас сменили эти бездушные триперные горожанки и ничего лучшего не предвидится!

В микроскоме моей души, в Эдеме моей памяти я сберег вас, дивчата и хлопцы моей юности, наивные и естественные, как сама жизнь. Через года я слышу доносящийся из кустов ваш счастливый шепот:

– Ну, ще палочку!

– Не, Коля, на сьогодніхарош, – пора додому!

О, моя юность! Я согласен на все, чтобы вернуть тебя. И я буду бегать трусцой, прыгать в холодную воду и частично верну себе юность, но девчонок моей юности я не верну никогда.

И, однако, сознаюсь, во мне живет идиотическая вера в счастливое и сладострастное воскрешение – когда-нибудь, в следующих рожденьях, я всех вас перекохаю, я перетрахаю вас всех!

Думая о главном эротическом конфликте моей жизни я с грустью вспоминаю, что имел в юности весьма смазливую мордочку и девчонки постоянно влюблялись в меня и поодиночке, и целыми стайками. Но так как вместо того, чтобы гладить штаны и держать в порядке волосы я все больше и больше тянулся к чтению Гегеля и трансцендентальным медитациям, то вскоре около меня вместо моих божественно свежих селючек остались только житомирские интеллигентки – нестерпимо нудные, с вечными разговорами о Цветаевой.

Перед простыми, сельскими (а стало быть демоническими, языческими дивчатами) я неизменно стою на коленях, более того, в их лице я, в некотором смысле, склоняюсь перед Украиной.

За что я так влюбился в эту персонифицированную мистическую Украину не трудно догадаться. Раздраженный некоторыми антиромантическими качествами сельских украинок – в первую очередь их слишком земной натурой, я никогда не был равнодушным к их эротике. Тут-то Украина одержала надо мной полную и окончательную победу – за много лет я не помнил случая, когда провел ночь с настоящей классической сельской украинкой – у моих девушек обычно явно преобладала польская кровь. Если я и мог время от времени затуманить головы гордым, страстным дочерям Польши разговорами о латиноамериканской прозе или немецкой философии, то сельским украинкам это, как правило было до...

Анализируя свой конфликтный роман с Украиной я замечаю, что никогда не считал ее матерью. Я был неудачливым любовником Украины – в этом есть, если хотите, определенное трагическое величие – таким образом Украина должна искупить передо мной свою вину – но как и когда – бог знает. С сельскими украинками я, к превеликому сожалению, переживал не телесные, а духовные приключения. Одно из таких приключений случилось с казалась бы обычной сельской бабой.

Украинская сельская баба – это настоящая дикая кошка любви! Ох, бабы, бабы! Слышал я как-то ваше пение на Купала и многое понял... Ох, и мучится без любви и страсти ваша языческая душа!

Это был своего рода хор-парад семидесяти-восьмидесятилетних баб со свечками в руках. Их дикие голоса пронизывали летний воздух и я уже тогда почувствовал, что эдакая баба, быть может, вполне могла бы легко разделаться с душой и телом такого горячего поклонника украинского эроса, как я.

Набоков в «Лолите» высказывает мысль, что девочки – подростки излучают демоническую сексуальную энергию, я хочу высказать дополнительную гипотезу – такую же энергию излучают бабы – особенно худощавые, жилистые, старые, как мир.

Когда-то мой приятель – Казанова Житомира Игорь Д. сказал мне, что в селах повторяется один и тот же сюжет – изнасилование старых баб молодыми парнями.

– Это ясно, – ответил я, самодовольно считая себя знатоком села. – Девки переехали в город, хлопцы ходят, как не привязанные бугаи.

– Так-то оно так, но есть и еще одна причина – главная.

– Какая?

– Старые ведьмы провоцируют на изнасилование.

Как-то я в очередной раз искал квартиру. Мне посоветовали обратиться к бабе, которая работала в селе почтальоном. Я встретился с ней и мы пошли смотреть жилище. Ей было за шестьдесят, она носила валенки с галошами, была небольшого роста, худощавой и подвижной.

– От в ций компати можэтэ й жить, если пондравилось, – сказала баба.

В комнате стоял собачий холод.

– У вас всегда так холодно?

– Як буде холодно, я натоплю, ми ляжемо на пичь и нагриемось .

Ее голос был юным, горячим и в нем был темный призыв. Неожиданное желание ударило мне в голову – я почему-то сразу представил ее без сорочки и баба, видимо чувствуя это, усмехаясь, выпрямилась, выставив груди.

Воцарилась тишина, пошла тихая вечность. Что-то излучала ее сорочка, но что? Ее сорочка излучала ее свободу, ее энергию и смелость, а еще – Украину! Украину излучала ее сорочка и эта Украина желала и знала, что ее стоит желать!

Я стоял, втупившись в наше любовное ложе – высокую и широкую печь. Если я с этой дьяволицей, с этой бабой в галошах окажусь на печи, то нас ожидает много горячих и адски сладких ночей. Если я сниму ей сорочку, то эти впалые груди окажутся, вероятно, вовсе не впалыми, если...

В какой-то мере я торжествовал. Наконец-то, наконец-то Украина пожелала меня – впрочем, может быть, у нее не было другого выбора!

И, однако, страх перед связью молодого парня с бабой в галошах победил – я сбежал от этого романа.

Не год и не два я боролся за то, чтобы увлечь Украину в свою постель – точнее, залезть в постель к ней. Я воспитывал демоническую волю, менял свою индивидуальность, надеялся и проклинал. С годами я поставил крест на своем эротическом романе с Украиной.

И тогда появилась она. Была она учительницей, ее муж работал на Севере и она не любила его. Мы все чаще болтали с ней и вскоре она оказалась в моей холостяцкой квартире. Там я прочитал посвященные ей стихи, она же сказала, что я нравлюсь ей тем, что со мной «можно по-людски поговорить».

Присмотревшись к ней, я с удивлением заметил, что она буквально дрожит от желания, а, может быть, и влюбленности. И вот мы уже лежали на диване и я настойчиво стягивал с нее свитер, преодолевая традиционное сельское противление. До отъезда ее поезда оставалось не так много и мы оба посмотрели на большие часы, которые висели у меня на стене.

– Без пятнадцати чотыры – сказала она. – Через пятнадцать хвылын ты мене роздянеш.

Когда же я раздел ее, то увидел тело прекрасной юной статуи с грудью и ногами из металла и был поражен. Если бы горожанка имела такие совершенные формы, то обязательно демонстрировала бы их, но эта девушка одевалась, как и все девушки моей юности, во все советское.

Я смотрел на нее и думал. С ее рук, плеч, груди и бедер текли энергия и свежесть, которые все ее прабабки вдохнули за столетия сельского труда. Она отдавалась мне, шепча слова любви и страсти и вместе с ней меня целовала и ласкала вся сельская Украина. Я спросил, нет ли в ней польской крови. Она ответила, что «не в курсе». Я решил, что на этот раз меня любит настоящая украинка и мой пессимизм касательно эроса с Украиной не совсем оправдан. А, может быть, она была просто оригиналкой, ну и я, понятное дело, в ее глазах был оригиналом...



МАСЛЕНИЦА-МОКРОХВОСТКА*Евгения ДЕРИЗЕМЛЯ*

*Масленица к нам идет –
Смех и радость принесет,
Угостит она блинами,
Всех накормит пирогами,
На санях с горы прокатит
И за нос морозом схватит.
Веселится люд честной,
Пиво пенится рекой,
Песней Маслену встречают,
Дома сладким привечают,
В ожидании весны
Все нарядны и красны.
Потешается народ –
Масленая ведь раз в год!
Карусели, балаганы,
Где-то слышатся баяны –
Вмиг неделя пролетит,
В пляске голову вскружит,
Угощения прихватит
И людей на пост посадит!*

Близится уж к концу мясопустное воскресенье. В последний раз перед Масленой люд тешил себя мясными кушаньями. Люди наносили друг другу визиты, чтобы пригласить на Масленицу. Радовалась приближению праздника и Аграфена:

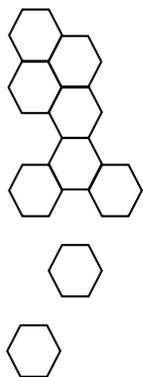
– Во как сегодня все хорошо сложилось!

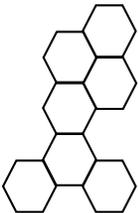
Вся семья была в сборе. Все веселились, смеялись, позабыв о постоянной вражде. Даже тесть в этот день, не смотря на все обиды, ездил звать зятя «доедать барана». Казалось, что семейным склокам из-за дележа наследства пришел конец. Но это была только видимость.

А ведь когда-то семья Пекарчуков считалась самой дружной во всей округе. Жили, что называется, душа в душу. Дед Степан со своим сыном Петром, невесткой Аграфеной и внучкой Манефой в одном доме жили.

Подошла пора Манефу замуж отдать, так и жених быстро сыскался – кузнец местный Кондратий Гаркуша. А как свадьбу сыграли – тут и разлад среди родни начался. Муженёк девке уж больно склочный попался. То – то ему не то, то это. Знай только – всех уму-разуму учит. Часто из-за этого он с Петром ссорился. А как дед Степан помер, так и вовсе отношения в семье испортились.

Уж очень жадным Кондрат до чужого добра оказался. Хотя делить в семье Пекарчуков было особо и нечего. Вот и собачились, что называется из-за мелочей.





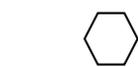
Только сейчас, накануне Масленицы, всё спокойно было. Мужики сидели за щедро накрытым столом и уплетали стоящие на столе яства за обе щеки. А женщины хлопотали по хозяйству.

Вот уж звезды появились на вечернем небе.

– Пора! – улыбнулась Аграфена и незаметно вышла за порог.



Она встала возле колодца и, глядя на светящийся в тёмном небе серп молодого месяца, стала просить небесное светило помочь ей. У неё, как и у любой хозяйки, был свой секрет приготовления блинов, который она держала в тайне:



– Месяц ты месяц, – пробормотала Аграфена не отводя взгляд от луны, – золотые рожки!

Выглянь в окошко,

Подуй на опару!

С этими словами она проворно вытащила из колодца полное ведро воды и быстро, чтоб никто не увидел, засемила к дому.



Настал понедельник, или, как его в народе называли, – «Встреча». С самого утра деревенские собрались на окраине села. Шумно галдя и смеясь, люди сооружали из соломы чучело Масленицы. Нарядили его в женскую одежду, повязали цветастым платком и насадили на шест.

– Ох, и хороша наша Дуня получилась! – причмокнув толстыми губами, нараспев протянул здоровый рослый детина в заячьем тулупе, разглядывая разодетое в яркую одежду чучело и щипля себя за моржовый ус.

– Хороша!

– Хороша! Подхватили раскрасневшиеся на морозе девчата.

Недолго думая, молодежь водрузила «Сударыню-Масленицу» на сани и повезла её по всей деревне, чтобы каждый смог полюбоваться Авдотьей Изотьевной.

– Дорогая наша Масленица! – разносилась по округе развесёлая величальная песня,

– Авдотьюшка Изотьевна!

– Дуня белая, Дуня румяная! – звучал многоголосый хор.

– Коса длинная, трёхаршинная:

Лента алая, двуполтинная! – подпевали все от старого до малого, радуясь приходу Масленицы.

– Платок беленький, новомодненький,

Брови чёрные, наведённые, – веселились гуляющие, провозя Масленицу мимо дома Пекарчуков.

– Ох, и ладная в этом году Авдотьюшка получилась! – приближаясь к своей жене и игриво ущипнув её за пухлый бок пробасил Пётр. – А наш платок в алую розу так славно смотрится! Правильно сделала, что отдала! – провозжая взглядом праздничный кортеж, мужик присвистнул.

– Платок? – переспросил Кондрат, встряв в разговор родителей жены, – это тот, что дед Степан перед кончиной купил? – глаза Гаркуши налились кровью. – Да как же вы могли без моего разрешения такую вещь отдать? – чуть не с кулаками бросился к Аграфене зять, попрекая тещу в излишней расточительности.

– Да какую вещь? – округил глаза от неожиданных нападок, пробормотала женщина. – Платок-то ведь уже ношенный, да и протёрся он местами.

Пыталась оправдаться теща, но Кондрату будто уши заложило. Он не желал ничего слышать.

– Этот платочек Манефа бы носила, а там и дочери нашей по наследству вещаца перешла бы! – не на шутку разбушевался Кондратий, – вот теперь идите, мамаша, и вертайте косынку как хотите!

– Да ты что, зятёк, – вмешался в разборку Петр, – с ума что ли спятил? Это ж стыд-то какой! Сами отдали, а теперь забирать? – мужчина встал перед женой, заградив её своей тучной статурой.

– Стыдно хорошую вещь вот так запросто чужим людям отдать, а своё забрать незорно! – с этими словами зять кинулся вслед за скрывшимися за поворотом санями, разукрашенными цветастыми лентами.

Бежал-спотыкался, хватая ртом воздух:

– Эй, стойте! – кричал Гаркуша, пытаясь догнать дровни, запряжённые лохматой рыжей лошадкой. – Стойте, окаянные!

Скользя по заледеневшей просёлочной дороге, мужчина всё же умудрился догнать кортеж и вцепиться толстыми мозолистыми пальцами в задний борт саней. От неожиданности гуляющие умолкли, застыв на месте с раскрытым ртом. «Масленичный поезд» остановился.

Тут же, не теряя времени, Кондратий проворно сорвал с головы «Масленицы-Мокрохвостки» цветной платок и на глазах у оторопевших зевак сунул его себе за пазуху:

– Чего смотрите? – недовольно буркнул он, обращаясь к гуляющим. – Моя это вещаца!

С этими словами мужик хотел уж было уйти прочь, но задержал взгляд на соломенном лице чучела. Приветливая улыбка «Дуни Красной» искривилась в злобном оскале. Нарисованные вразлёт углем чёрные брови гневно сошлись на переносице:

– Верни! – зло прошипело чучело. – А не то хуже будет!

От происходящего Гаркуша ошалело захлопал ресницами, но поняв, что, кроме него этого больше никто не видел, взял себя в руки. Под людское улюлюканье он быстро удалился прочь, отгоняя от себя непонятное видение.

Вторник открыл праздничные гуляния катанием на санках, шумными песнями, танцами. На кривых сельских улочках часто попадались большие группы ряженных, маскированных. Гуляющие ходили по знакомым домам, где экспромтом, на радость хозяевам, устраивали весёлые домашние концерты. Недаром второй день Масленой недели называли «Заигрыш».

С самого утра в доме Гаркуши раздался громкий стук в дверь.

– Кого там ещё черти спозаранку принесли? – гаркнул Кондратий, недовольно потирая слипшиеся ото сна глаза.

Мужчина лениво зевнул, но всё же слез с печи, чтобы отворить двери. На пороге появилась честная компания. Лица пришедших закрывали разноцветные маски причудливых форм. У кого-то маска была с птичьим клювом, у кого-то с витыми рогами.

– Мороз, красный нос, – прогудел скороговоркой крепкий широкоплечий парень.

На его голове красовался искусно сделанный красный гребень, а нос был спрятан в самодельный клюв, загнутый книзу:

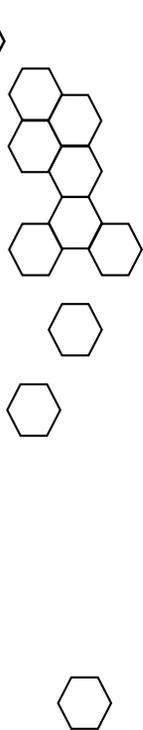
– Вот тебе хлеб и овёс,

А теперь убирайся,

Подобру-поздорову! – маскированный хлопнул в ладоши и стал кричать кочетом.

Так началось театрализованное представление. Тут же со двора в дом забежала стайка деревенской ребятни:

– Жаворонки, прилетите,



Студёну зиму унесите, – запели тонкими голосами вразнобой запыхавшиеся от бега детишки. – Теплу весну принесите, – подхватили нарядные девицы, окружавшие ряженого в петуха. – Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела! – звонкими голосами выводили девчата, пускаясь в безудержный пляс.

Ввалившаяся без спросу в дом компания мигом окружила заспанного хозяина дома. Девки с хлопцами взялись за руки и закружились в неистовом хороводе, срывая с себя маски.

– Что такое? – в ужасе округлил глаза Гаркуша, уставившись на молодежь.

Под красивыми цветными масками диковинных птиц и невиданных зверей оказались рогатые черти со свиными пятаками. Истошный вопль вырвался из груди Кондрата.

– Нельзя таким жадным быть! – приговаривала, приплясывая и выстукивая по деревянному полу копытами рогатая компания.

Кондратий взвыл от страха и набычившись бросился в дверной проем, пытаясь сбежать от незваных гостей. Прорвав кольцо хороводников, мужчина оказался на улице. В его лицо ударил морозный ветер. Снежинки, кружась на студеном ветру плавно, словно невесомые пушинки садились на покрытое липкой испариной лицо Гаркуши.

– Что с тобой?

Услышал Кондрат за своей спиной испуганный голос Манефы. Он обернулся к жене и застыл с раскрытым ртом. Никаких чертей в доме не было. Только местные хлопцы с девками сбились в перепуганную стайку и с любопытством смотрели на спятившего Кондратия.

Гаркуша размашисто перекрестился:

– Почудится же такое!

Он зачерпнул в ладони побольше снега и обтёр вспотевшее лицо.

В среду в доме Гаркуши накрывали стол. Манефа с самого утра пекла блины. Ей так хотелось побаловать дорогих гостей вкусными наедками! «Лакомка» ведь настала.

– Может, хоть семейное застолье родных сплотит?! – надеялась она.

Но ошиблась Манефа. Кондратий только и делал, что в рот родне заглядывал:

– Мамаша твоя, – прошипел жене на ухо Гаркуша, – уже пятый блин за щеку кладёт, – недовольно разглядывая тещу, бурчал он. – И как только не лопнет утроба ненасытная? А папаша, – мужчина перевел взгляд на тестя, – все пьёт и пьёт, пьёт и пьёт. Между прочим, второй литр пива уже!

При этих словах Кондратий отставил подальше от Петра сосуд с хмельным напитком и потянулся рукой к блюду с блинами.

– Нельзя таким жадным быть? – услышал Гаркуша непонятный голос и тут же отдернул руку от большого тареля. – Нельзя! – хитро протянул верхний румяный блин и подмигнул Кондрату масляным глазом.

Кондратий испуганно завертел головой поочередно переводя взгляд с одного родственника на другого. Семья сидела как ни в чём не бывало. А блин тем временем погрозил жаристым кулаком и тут же был съеден Аграфеной со словами:

– Ох, и хороши же блины у тебя, дочка, вышли!

Настал четверг. Пришло время «Разгула». Именно в этот день проходили жаркие масленичные кулачные бои. Собрался и Кондратий с тестем в «кулачки» позабавиться.

На заледеневшей реке собрались все сельские мужики. Разбившись на два противостоящих лагеря, игроки ожидали сигнал для начала боя.

– А что это у вас, батько? – полюбопытствовал Гаркуша, с завистью воззрившись на нарядные синие рукавицы тестя.

– Так это мне от моего отца по наследству достались, – одарив собеседника белоснежной улыбкой, простодушно ответил Петр.

– А отчего же это вам по наследству? – вспылил зять, с жадностью глядя на приглянувшуюся ему вещицу. – Дед Степан и мне их мог оставить.

С этими словами кузнец вцепился в руки Петра, пытаясь сорвать с него варежки. Тесть не выдержал и с размаху ударил Кондрата увесистым кулачищем в нос. На снег упали капли крови. Так, без сигнала, начался масленичный мордобой. Мужики постарше поддерживали Пекарчука, а более молодые хлопцы – Кондратия. С руганью и перебранкой мужики мяли друг другу бока.

В суматохе Гаркуше всё же удалось сорвать одну рукавицу с руки тестя. Но тут же коварная синяя варежка свернулась в могучий кулак и стала щедро отвешивать тумачи Кондрату.

– Ой! Больно! – взвыл оторопевший мужчина, пытаясь спрятаться от неожиданного врага, но ему все никак не удавалось этого сделать.

В воздухе разносился заливистый хохот Сударыни-Масленицы, который слышал лишь один Гаркуша. Каждый удар сопровождался новой репликой:

– Это тебе за платок! – удар рукавицы пришелся в затылок. – Это за блины! – тут же последовал тяжелый удар по макушке. – А это за пиво! – рукавица целилась прямо в нос.

– Нельзя таким жадным быть!

В пятницу, залечивая ушибы и ссадины, полученные на «кулачках», Кондрат собирался к теще на блины. Хоть и не хотелось ему никуда идти, но на то они и «тёщины вечера», чтобы в гости наведаться.

– Ну, ничего, – пробасил кузнец, трогая ушибленный нос, – вот тут-то я и отыграюсь! – Гаркуша потёр руки. – Эй, Манефа, – позвал он жену, – сколько там твоя мамаша блинов съела, когда в гостях у нас была?

Но ответа не последовало. Манефа удивлённо подняла чёрную, изогнутую коромыслищем, бровь и неопределённо пожала плечами.

– Так вот я вдвое больше блинов съем, – хохотнул Кондратий.

Откладывая исполнение задуманного не стал. Оказавшись за тёщиным столом, мужчина без разбора поглощал всё, что видел. Вначале он уплетал за обе щеки пирог с квашеной капустой, затем по очереди испарились оладьи, лежащие горкой на большом блюде. Следом за оладьями скрылись во рту ненасытного Кондрата и вареники с разными начинками.

От переедания лоб мужчины покрылся густой испариной. К горлу подступила тошнота. Поняв, что больше в него не влезет, кузнец, не стесняясь родственников, начал сгребать со стола в торбу калёные орехи, пряники медовые, сочные кулебяки.

– Ты что делаешь? – в ужасе пискнула Манефа, глядя, как муж собирает в большой куль всё, что попадает ему под руку. Но на Гаркушу словно затмение нашло:

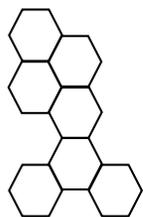
– Тут всё моё! – судорожно сглотив слюну, приговаривал он.

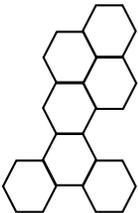
Хотел Кондратий ещё и бубликов с маком в торбу припрятать, вот только баранки в змей превратились. Зашипели, свились клубком:

– Нельзя таким жадным быть! – послышалось из мешка.

Опустил Гаркуша глаза в куль, глянул на содержимое, а там ни пряники, ни орехи, а змеи извиваются. Отпрянул кузнец от торбы и, будто, ошпаренный выскочил из дома.

Спозаранку в субботу все местные хлопцы и девки собрались на берегу реки, где была выстроена изо льда и снега «потешная крепость». Так начиналась игра «взятие снежного





городка». Участвующие в забаве вооружились палками и метлами и разделились на две противостоящие стороны. Одни защищали город, а другие нападали на него.

Вдруг от играющих отделилась небольшая группа парней. Молодые люди, запыхавшись от бега, приблизились к дому Гаркуши, который находился аккуратно возле реки и стали усердно работать лопатами, сгребая со двора Кондратия снег на тележку.

– Эй вы, окаянные, вы что делаете? – видя происходящее, Кондратий выбежал во двор.

– Так нам, Кондратий, снега на укрепление потешного города не хватает! – просто-душно ответили хлопцы, кивнув на берег реки.

Действительно, снега в этом году выпало мало, так что весь берег был тщательно очищен. Объяснив ситуацию, играющие продолжили собирать снег.

– А ну, лопаты положь! – злобно прорычал Гаркуша, гневно приближаясь к непрошеным гостям. – Мой снег! Не дам никому! – набычившись, прогудел он.

Хлопцы удивленно уставились на ополоумевшего мужчину.

– Нельзя таким жадным быть! – сказал один из парней и бросил в хозяина дома большим снежком.

– Нельзя!

– Нельзя! – подхватили остальные.

Тут же налетела туча, почернело небо и повалил снег на землю.

– Твой снег? – слышался знакомый голос Масленицы. – Так держи!

С этими словами в мгновение ока засыпало дом Гаркуши снежным заносом до самой крыши. Тут же и парни пропали. Только лопата в руках Кондратия осталась.

Вот и подошла к концу Масленая неделя. Настали «Проводы». Долго думал Гаркуша, разгребая всю ночь снежный занос. Как только в дом попал, так сразу и взял из сундука жены цветастый платок. Тот самый, что у Масленицы отобрал и пошёл, понурился головой к ледяной горе – именно туда прибыл «праздничный поезд». Там и чучело «Сударыни-Масленой» установили. Приблизился к Авдотье Изотьевной Кондрат:

– Прости меня, пожалуйста! – пробасил он, повязав на соломенную голову косынку.

– Бог тебе простит! – расплылась в улыбке Масленица-Мокрохвостка и под всеобщее улюлюканье вспыхнула ярким огнём и сгорела дотла.

ДУХОВ ДЕНЬ

– По древнему преданию, весной, как только луга и поля зазеленеют, а воздух наполнится птичьими трелями, из рек и озёр на бережок выходят русалки! – седой старик из-под косматых, нависших на самые глаза бровей, строго посмотрел на собравшихся вокруг него девчат.

Девичьи расселись на душистой траве, внимая каждому слову седобородого рассказчика. Убедившись, что все слушают его раскрыв рты, старик продолжил:

– Так вот, выходят, значит, русалки из воды и бегают по полям и лесам, аж до самого Петрова дня, – сказатель поучительно поднял вверх указательный палец.

– Дед Серафим, – звонкий девичий голосок перебил рассказ старика. – А правда, что русалки – это утопленницы?

Рассказчик обратил взор на Оксанку, которая так бесцеремонно перебила его. Старик недовольно крякнул, но все же ответил:

– Да-а-а, – медленно, нараспев, протянул он, – русалки – это утопшие девки! – дедок утвердительно закивал головой. – Их также мавками величают. Что правда мавки, – дед Серафим почесал седой затылок, будто вспоминая чего, – это не только утопленницы. Мне еще моя бабка сказывала, что это также души детей, женского полу, что до крещения померли.

Старец тяжело вздохнул и украдкой взглянул на Марьяну. Жаль ему стало бедную девку. Совсем недавно дитяtko она потеряла, дочку. Как раз за два дня до крещения малютка сгнула.

– Таких детей еще потерчатами зовут, – заключил он.

– Потерчатами?! – переспросила Марьяна, глядя на старца Серафима полными слез глазами.

– Значит испорченными, – пояснила подруге Оксанка, обняв Марью за плечи.

Старик кивнул, подтверждая сказанное:

– Злые духи похищают души этих младенцев! – прошамкал дедок беззубым ртом.

– А что ж делать? Как душу такую освободить? – с мольбой в голосе спросила Марья, надеясь, что местный знахарь помочь сможет. «Раз на этом свете кровинушку свою не уберегла, то, хоть может, смогу помочь ей покой обрести в мире ином.»

Старец с пониманием воззрился на убитую горем девку:

– Освобождают такие души в Зеленые Святки, – хриплым, словно каркающим голосом, молвил рассказчик. Сразу было видно, что знахарь не доволен, ведь совсем про другое рассказать собирался. Но ответ дал:

– Тогда-то, души эти уносятся на воздух и просят себе крещение три раза. Коли их услышит кто-нибудь и подаст крещение, говоря «Я тебя крещаяю!», тогда ангелы подхватывают душу младенца и возносят в небо.

– На Зеленые Святки? – ахнули девки.

– Это ж сегодня! – встrepенулась Марья. – А как же услышать зов такой души?

Старец Серафим горько вздохнул. Не хотел он давать ответ, но увидя в ясных очах девицы отчаяние, сжалился. «Может, хоть это девичье сердце успокоит?»

– Тебе, милая, к водяному гроту ночью прийти надобно, – дедок пригладил морщинистой рукой растрепавшуюся на ветру бороду, – как раз, там все русалки да мавки и собираются. Хороводы водят, песни поют и качаются на ветвях деревьев! – глаза старика зловеще блеснули. – Вот, только не захотят они одну из своих отпускать. Скорее тебя к себе заберут – до смерти зашекочут и заташат на дно.

С этими словами знахарь тяжело поднялся с земли и, прихрамывая, удалился прочь, оставив позади себя стайку напуганных девчат.

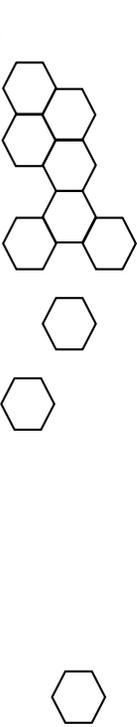
Еле дождавшись ночи, Марьяна тихонько, чтобы не разбудить домочадцев, вышла со двора и направилась к потаенному гроту. Девица сильно волновалась. Страшно было, но от задуманного она не отступала. Тем более, что Марья к этой ночи очень хорошо подготовилась.

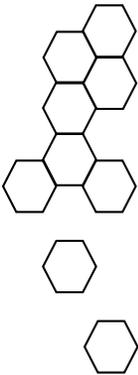
Девка покрепче сжала в руках тряпичный узел, в который собрала рубашки, нитки, пряжу – гостинцы для речных обитательниц. Ведь всем известно, что мавки, чтобы не ходить раздетыми, просят их одеть.

Приближаясь к водному гроту, Марьяна услышала мерный плеск воды, тихий шелест деревьев. Ничто не указывало на то, что в этой звенящей ночной тиши может происходить нечто таинственное. Вдруг до ушей девицы донеслось:

– Ио, ио, березынька – слышались слова народной песни.

«Почудилось!» – решила Марья, но тут же по воздуху разнеслось:





– Ио, ио кудрявая!

Девца удивленно приподняла черные, изогнутые коромыслицами брови и уверенным шагом направилась на чарующий звук:

– Семик Честной

– Да Троица, – искусно выводили прекрасными голосами нагие девы слова незамысловатой песни.

– Только, только

У нас, у девушек,

И праздничек.

Марья мелко перекрестилась и сорвала пучок полыни, растущей возле ее ног. «И как это я забыла, ведь полынь – лучшая защита от русалок и ведьм!» С этими мыслями девка, словно зачарованная дивным пением, вышла на залитую лунным светом поляну. Ее взору предстали красивые бледные девушки с распущенными волосами зеленого цвета. Месяц, одиноко светивший в темном небе, играя бликами на юных обнаженных телах.

Голову каждой русалки украшал веночек из осоки. Только у одной из речных обитательниц, видимо самой главной, веночек был из водяных лилий.



Завидя незваную гостью, девы затихли. Вперед вышла главная из них, царевна. Та, у которой веночек был самый красивый из белоснежных лилий. Она сверлила пристальным взглядом пришедшую. В глубоких синих, как ночной водоем, глазах мелькнули озорные искорки.

Глядя на пучок полыни, русалка с нескрываемым любопытством спросила:

– Что это у тебя?

Словно плывя по воздуху, мавка приблизилась вплотную к застывшей на месте от увиденного Марьяне.

– Полынь, али петрушка? – пронизывающий до глубины души голос вывел Марью из оцепенения. – Если петрушка, – весело продолжила русалка, – то ты – наша душка!

Худые белые руки с хрупкими изящными пальцами потянулись к шее пришедшей.

Марьяна отшатнулась:

– Полынь! – выкрикнула она, поднимая пучок горькой травы повыше, к бледному тонкому лицу обнаженной девы, подтверждая свои слова.

Услышав про полынь, мавка зашипела и отпрянула назад:

– Сама ты изгынь! – с ненавистью выпалила она, кривясь словно от боли. Отступив назад, на комфортное от незваной гостьи расстояние, мавка встала в кругу своих подруг. Дева гневно смотрела на Марью, словно пыталась испепелить ее взглядом:

– Зачем к нам пришла? – раздраженно бросила она, капризно надув чувственные губки.

Марья, завидя недовольство на лицах речных обитательниц, немного осмелела. Она покрепче сжала в кулачке пучок полыни и уже без опаски смотрела на прекрасных дев. Ей казалось, что какая-то невидимая сила оберегает ее:

– Я хочу душу доченьки своей освободить, чтобы она не мучилась на этом свете, а наконец-то покой обрела! – слезинка скатилась по раскрасневшейся щеке. Вспомнила девка родную кровинушку.

Царевна русалок весело рассмеялась, глядя на слезы пришедшей. Она, словно нежась в лунном свете, лениво присела на поляне, среди душистых лесных трав:

– Ты оглядись вокруг! – мавка провела вокруг бледной, сияющей в ночной мгле рукой, – разве похоже, что мы мучаемся?

При этих словах лес наполнился звонким, словно серебряный колокольчик, смехом сказочных существ. Но увидя, что ей так и не удалось обмануть Марию, русалка спросила:

– Что у тебя в узелке?

С любопытством множество пар глаз воззрились на тряпичный узел. Незваная гостья встрепенулась. Она совсем позабыла про подарки, которые из дома прихватила. «Может, хоть это поможет?»

– Я вам одежду принесла! – бросила девка большой узел к ногам речных красавиц.

Тут же, словно вспомнив про свою наготу, девы бросились разбирать сорочки да юбки, при этом весело треща и радуясь обновкам, будто и не утопленницы вовсе, а живые.

– За гостинцы спасибо! – так и сдвинувшись с места тихо прошелестела главная мавка.

Толи принесенные дары подействовали, то ли задумала чего лесная красавица, но сердце ее смягчилось. Она быстро поднялась с земли и паря по воздуху, плавно приблизилась к Марьяне:

– Иди за мной, – поманила она рукой и тут же унеслась прочь с дивной паляны.

Марьяна, не теряя ни минуты, бросилась со всех ног вдогонку за мерцающим в ночной тьме силуэтом. Она спотыкалась о корни деревьев, разбивая босые ноги в кровь, но не останавливалась. Ветки деревьев, то и дело, хватили ее за руки и волосы, словно пытались остановить, не дать идти на встречу гибели. В суматохе девица не заметила, как выронила пучок полыни.

Пошло совсем немного времени и Мария оказалась в глубине леса. Здесь, в лесной чаще, ее окружили светящиеся прозрачные блики. Послышался детский плач.

– Что это? – разглядывая мечущиеся по воздуху загадочные круги, спросила девка.

– Наши потерчата! – услышала Мария за своей спиной ответ. – Здесь у нас ясли, – пояснила водная повелительница, – тут они растут, резвятся!

Русалка встала посреди опушки и тут же светящиеся круги, словно стая светлячков, окружили мавку и замерли на месте. Воцарилась гробовая тишина.

– Где-то здесь и дочка твоя! – хитрая улыбка заиграла на лице русалки.

Марьяна судорожным взглядом всматривалась в блики. «Как же понять, где моя дочь?» Словно прочитав мысли непрошеной гостьи, дева протянула нараспев:

– Я скажу тебе, которая твоя. Но-о-о... – мавка сделала длинную паузу и смерила девку презрительным взглядом, – но прежде, ты должна разгадать три загадки! – она таинственно усмехнулась. – Разгадаешь – получишь то, за чем пришла.

– А если не разгадаю? – тень сомнения мелькнула на девичьем лице. «А вдруг обманет?» Ведь всем известно о коварстве и хитрости мавок.

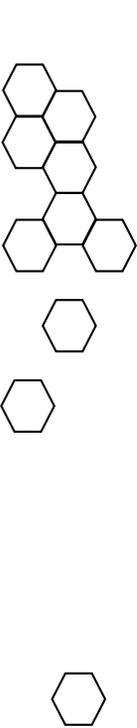
– Коли не отгадаешь – станешь одной из нас! – русалка ленно зевнула и провела маленькой ручкой по вьющимся длинным волосам.

– Загадывай! – голос Марьяны был полон решимости.

Обрадованная тем, что ей все-таки удалось заманить незваную гостью в ловушку, русалка молвила:

– Что растет без кореня? – таинственным шепотом спросила она и тут же, не дожидаясь ответа, продолжила, – что бежит без повода? – уверенная в том, что на ее загадки ответа не найдется, загадала последнюю, третью загадку, – что цветет без всякого цветущу?

Марья заливисто рассмеялась, ведь загадки она давно знает, да и загадки сильно простыми оказались:



– Камень растет без кореня; вода бежит без повода; папороть цветет без всякого цвету! – даже не задумываясь, выпалила Марья и застыла в ожидании, уверенная в правильности своих ответов.

– Не угадала! – словно гром среди ясного неба, раздался голос русалки и, тут же, с визгом она вцепилась в волосы оторопевшей от неожиданности Марьяне.

Со всех сторон на девку набросились остальные мавки и начали щекотать до слез. Девка пыталась отбиться, но вырваться из цепких пальцев оказалась ох как не просто! «Вот и конец мой пришел!» – пронеслось в голове девицы.

Как вдруг, среди темного ночного леса, раздался хриплый старческий голос:

– Ах, ты ж нечисть речная! – прогудел из мрака некто невидимый, – а ну, прочь пошли! – громогласно рявкнул все тот же голос.

И из тени деревьев, на середину опушки ступил дед Серафим:

– Ау, ау, шихарда, кавда! – произнес он непонятное заклинание.

Мигом сказочные девы отпустили свою жертву. Словно замороженные, они взирали на грозного старца с развивающейся на ветру длинной седой бородой, – шивда, вноза, митта, миногам, – продолжил знахарь, приближаясь к упавшей на траву Марьяне.

Мавки зашипели и попятнулись назад, отступая подальше от пришедшего.

– Каланди, инди, якуташма, биташ,

Окутоми нуффан зидима.

При этих словах, русалок словно ветром сдуло, только яркие мерцающие в ночи огоньки судорожно кружили над кронами деревьев.

– Ну, чего ждешь? – обратился старик к Марье, помогая подняться ей с травы, – отпущай дитячко свое, разве ты не слышишь зов ее?

И действительно, в воздухе разносился тихий, еле слышный плач, словно мольба о помощи.

– Я тебя крещаю! – прокричала Марьяна трижды, освобождая от вечных мучений заблудшую душу.

СУМЕРКИ ГОДА

– Да-а-а, – медленно протянула Глафира, разглядывая незамысловатую обстановку в доме подруги.

Ничего особенного – печь, лавки, стол, сундук кованный у дальней стены, да икона Матери Божьей в красном углу. «И вправду продать нечего!»

– Может из одежды чего найдется?

– Да какая одежда? – махнула рукой Соломия. – Уж седьмой год в одной и той же юбке хожу. Так и сорочка шитая-перешитая, – в подтверждение своих слов женщина продемонстрировала собеседнице ровный шов на рукаве. – Сама ж знаешь каким Федот при жизни был, – Солоха тяжело вздохнула, вспомнив мужа-покойника, – всю жизнь он мне испортил, ирод окаянный! – от досады она стукнула острым кулаком по столу. – Над каждой копеейкой трясса.

И вправду, Федот при жизни был очень скупым, лишний раз мошну не открывал. Хотя все на селе знали, что деньги у мужика в заводе имелись. Ну а как же, ведь хорошим работником Федот был. Лучше него печных дел мастера во всей округе не сыщешь. А за хорошую печь и платили исправно. Да только куда он деньги девал? – неведомо.

Глафира грустно покачала головой, слушая сетования соседки. Жаль ей было Соломию, вот только помочь ей женщина никак не могла.

– И что теперь делать? – запрочитала Солоха, обхватив руками голову. – Как с долгами быть?

Как жив был Федот – жилось тяжело, а как помер – так еще тяжче стало. Даже перед кончиной не открыл он жене тайну, где деньги прячет. Вот и мыкалась бедная Соломия уже второй год – без мужа, без денег. Еще и долгов нажила. А долг, как известно, платежом красен. А чем отдавать? Уж все, что ценное в доме было – все продала, а долгов меньше не стало.

– А может еще раз в доме поискать? – пожалала плечами Глашка, – того глядишь и тайник Федотов найдется!

– Да я уж за два года все перерыла, – горько вздохнула Солоха, – и на чердаке, и под полом, даже в сарае искала, – по-бабьи запрочитала Соломия, – нигде нет!

– Вот так дела! – ахнула Глаша. – А ты тзнаешь что, подруга, ты не грусти. Лучше на стол вечером накрывай. Ведь как-никак Дмитров день грядет – родных поминать нужно!

– Не буду, – отрезала хозяйка дома, – да и кого поминать? Родителей, что ли? – хмыкнула она. – Так ведь это они, родненькие, меня за Федота замуж выдали. А знали, что не хочу. Все одно силой отдали. Молодость мою сгубили! – слезы брызнули из темных карих глаз рассказчицы. – Или, может, муженька моего помянуть за то, что он жизнь мне испортил. Во всем отказывал. Я десять лет за ним прожила – недоедала. А теперь, значит, пир горой ему устраивай!? – женщина грозно сдвинула черные, словно смоль брови. – Э-э-э нет! – твердо решила она. – Так и нечего на стол ставить. Во-о-о – последний рубль остался, – Солоха потрясла рублем перед носом гостыи, и тут же бережно припрятала его за пазуху.

– А ты, Солоха, не горячись, а лучше послушай сперва. Сегодня день не простой. Этой ночью за накрытым столом весь твой род соберется, и деды, и прадеды, и родители, и Федот твой, само собой разумеется. Так что ты уж постарайся, – Глафира хитро прищурилась, поучая соседку уму-разуму. – Как соберутся все покойнички с твоего рода, наедятся досыта, напьются допьяна, довольными останутся, вот тут-то ты и поспрашай их, где деньги припрятаны. Уж они-то, покойнички, про все знают! – Глашка довольно крикнула.

– И то дело! – обрадовалась хозяйка дома.

Не мешкая ни минуты, побежала она на базар и скупилась на последний рубль. К вечеру стол ломился от яств. Тут были и сочные кулебяки, и пироги с разными начинками. В общем, всего, как и положено, поставила Солоха на стол двенадцать блюд из зерен и мяса. Еще и графинчик водки не забыла, ведь отец уж больно охоч до нее при жизни был. «Надо же старика уважить!»

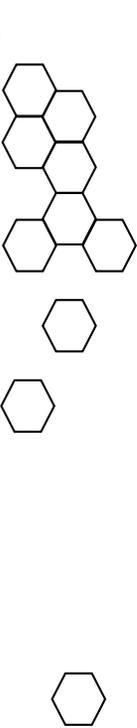
Накрыла на стол Соломия и села во главе. Сидит, значит, гостей поджидает. Ровно в двенадцать послышался тихий стук в дверь.

– Кто там? – удивилась женщина, направляясь к выходу, но на пороге никого не оказалось. Только сильный холодный ветер ворвался в дом, словно смерч, кружа по комнате опавшую рыжую листву, будто в дикой пляске. Солоха еле успела закрыть дверь, чтобы еще больше сора со двора не нанесло.

– Ну и где же они? – хозяйка недовольно насупила брови.

«Зря только рубль последний извела!»

– Что ж ты, дочка, мешкаешь? – услышала она хриплый отцовский голос. Солоха вздрогнула.



– Мы тебя уж заждались! Негоже хозяйке гостей одних за столом держать! – с укором произнесла мать.

Как и при жизни, женщина взялась поучать дочку. Соломия обернулась к столу и застыла от увиденного. Вокруг щедро накрытого стола по лавкам расселись все покойные родственники. Вот и дед Григорий. Совсем как живой, только горло у него разодрано. «Это его волки в лесу загрызли!» А вот и баба Маруся. Все в том же зеленом платочке. «Совсем не изменилась!» Маленькая сухонькая старушка. Вот только при жизни она розовощекая была, а тут кожа у нее синяя, губы, будто инеем покрыты. «Но это и не удивительно, ведь замерзла старушка насмерть!» А вот и батька с мамкой. Сидят за столом, улыбаются. «Угощениям, стало быть, рады!»

Кого тут только не было. Солоха видела знакомые и не знакомые лица. «А это что за мужик, с петлей на шее?» – задумалась женщина, разглядывая здоровяка, сидящего по левую руку от отца. «Наверно, это дядька Анфим. Совсем его не помню. Только говаривали, что повесился он, бедный!»

Женщина судорожно переводила взгляд с одного родственника на другого. Кого тут только не было – и тетки, и дядьки, даже прапрадеда у себя в гостях Солоха узрела. А как его не узнать, он ведь один в роду священником был. Одного только Федота Соломия не увидела.

Взяв себя в руки, женщина неуверенной походкой направилась к гостям, все еще не веря в происходящее. Она села на свободное место и стала чествовать родных. Собравшиеся с удовольствием поглощали все, что лежало на тарелках. Ели, пили, а еды меньше не становилось. Вроде и плеснул себе отец в стакан беленькой, а графин все одно полный.

– А где же муженек мой? – наконец-то решила заговорить с покойниками женщина. – Где ж он, мой соколик? – вымучено улыбнулась она.

– Так, не захотел идти! – уплетая куриную ножку, прошамкал беззубым ртом дед Григорий.

– От чего же? – удивилась хозяйка застолья. – Я ж так старалась всем угодить!

– Да ты ж сама, дочка, знаешь, – встряла в разговор мать, – у муженька твоего и при жизни нрав скверный был, – хохотнула покойница, – а после смерти лучше не стал.

Комната тут же наполнилась залиvistым смехом. У Солохи по коже мурашки побежали.

– Ну так что, Соломия, – утерев кулаком пышные усы, пробасил отец, – ты нас уважила, а теперь спрашивай чего хотела?

– Я, – неуверенно начала хозяйка дома, – я спросить хотела. Помощь нужна ваша. Мочи больше нет... – разрыдалась женщина, всхлипывая и причитая. – Вы ж знаете, что Федот помер и ничего мне не оставил, – заголосила она, – если ведомо вам, где он, окаанный, деньги припрятал, ведь были они у него, точно знаю, – Соломия шмыгнула носом, утирая слезы, – так скажите где искать. Подскажите, где его тайник? – с мольбой смотрела Солоха в лица собравшихся.

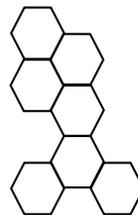
– Этого, дочка, мы не ведаем! – словно гром среди ясного неба прозвучал ответ.

Солоха тяжело вздохнула, уронив голову на руки. «Все было зря!» Ее плечи содрогались от рыданий.

– Но-о-о, – медленно нараспев протянул отец, – можем подсказать, где найти того, кто тебе поможет.

– Где? – встрепенулась Солоха, в нетерпении заерзав на лавке.

– Это тебе, милая, – неторопливо продолжил дух, – нужно этой ночью пойти к церкви, да на церковной паперти сесть, глядя на дорогу! – тяжелая отеческая рука легла дочери



на плечо, но Соломия не почувствовала этого прикосновения, только легкое дуновение коснулось ее кожи.

– И что? – хозяйка дома удивленно захлопала ресницами.

– А то, – перебила говорившего мат, поучительно подняв вверх указательный палец, – тот, кого на дороге увидишь – знает, как тебе деньги мужа отыскать.

Оказавшись возле небольшой сельской церквушки, Солоха осторожно заозиралась по сторонам. Ночь-полночь на дворе, вокруг ни души. Только звезды ярко светят в морозном ноябрьском небе. Женщина зябко обхватила себя руками за плечи, по сильнее кутаясь в шерстяной платок и, уселась на паперти лицом к дороге. Соломия напряженно всматривалась в непроглядную мглу.

В какой-то момент ей показалось, что она видит вдали черную точку. Солоха тряхнула головой, чтобы отогнать непонятное видение, но точка не пропала. Она стремительно разрасталась, превращаясь в темный силуэт, приближаясь все быстрее и быстрее к оторопевшей женщине. Незнакомец совсем близко подошел к ожидающей. Лунный свет скользнул по его лицу.

– Архип, – ахнула Соломия, пытаясь схватить друга своего покойного мужа за руки, – неужто ты? – она не могла поверить своим глазам.

Ведь ожидала духа встретить, или нечисть какую. А тут – живой человек. Но как только Солоха взяла за руки пришедшего, вмиг отшатнулась. От Архипа веяло ледяным холодом, будто мертвец перед ней предстал. Подняла она на Архипа глаза, а у него кровь из головы сочится.

– Чего хотела? – грубый голос мужика вывел ее из оцепенения.

– Я, – неуверенно начала Солоха, еле сдерживая крик ужаса, – я узнать хотела, где Федот деньги спрятал? – она отвела взгляд в сторону, чтобы не видеть окровавленной головы собеседника. – Говорят, ты знаешь!

– Деньги! – повторил за Соломией Архип. – Деньги! – его глаза хищно блеснули и мужик зашелся диким хохотом. – С собой в могилу твой муженек денежки забрал.

У Солохи от неожиданности, что называется, глаза на лоб вылезли:

– То есть как в могилу? – непонимающе пробормотала она.

– А так, – Архип вплотную приблизился к супруге своего покойного приятеля. В лицо женщины ударил затхлый могильный дух. – Зашиты деньги в кафтане. В том, что на покойничке одет!

«И правда!» – вспомнила Солоха, как муж ее постоянно в одном и том же кафтане ходил. Сам стирал его, сам заштопывал. Никому к нему дотронуться не давал. В том кафтане и схоронен был.

– Ах ты ж, сволочь! – топнула ногой рассвирепевшая бабенка, ругая на чем свет стоит муженька-покойника.

Она яростно сжала кулаки и стремглав бросилась на кладбище. Пробегая по селу, словно буря снося все на своем пути, услышала Соломия голос Архипа:

– Куда спешишь, кума?

Женщина на мгновение остановилась, завидя мужика. Никакой разбитой головы, никакого могильного холода. Она в недоумении захлопала глазами:

– Живой! – только и смогла вымолвить.

Ничего не понимая, Солоха мелко перекрестилась и со всех ног кинулась прочь. Бежала, спотыкалась, хватая ртом воздух. Остановилась только возле могилы Федота.

– Ах ты, сволочь! – взревела она, обращаясь к покойнику.

– С собой решил деньги забрать, а меня ни с чем оставил?! – Соломия рухнула на колени и руками стала разгребать могильный холм. – Э-э-э нет, ирод ты окаянный, не выйдет!» – женщина зло отшвыривала подальше от себя пригоршни сырой земли, – я этого так не оставляю, – злобно шипела она, зарываясь все глубже в могилу. – Ах вот, значит, почему ты сегодня ко мне в гости не пришел! – приговаривало Солоха, выясняя отношения с мужем.

Шло время, яма становилась все глубже, а горы земли вокруг могилы все выше. Вот еще несколько жменей земли и женщина наткнулась на дощатую крышку:

– Теперь ты от меня никуда не уйдешь! – размазывая по лицу грязь, расплылась она в радостной ухмылке.

Но как только ее ногти подцепили первую доску, сверху, над самым ухом, прогремел голос Федота:

– Что, женушка, денег моих захотела?

Солоха от неожиданности вздрогнула, подняв наверх взгляд. Над разрытой могилкой, в воздухе, парил потревоженный дух:

– Оставь меня в покое! – прорычал он, свирепо сдвинув брови. – А не то хуже будет!

Но Солоха даже и не подумала останавливаться. Она покрепче вцепилась в гробовую доску и с треском потянула ее на себя. В это самое мгновение все вокруг задрожало, разрытая земля лавиной обрушилась в могилу, скрыв в своих недрах разбушевавшуюся женщину.

Прошло полгода. Следом за Соломией не стало и Архипа. Ведь правду в народе говорят – кого в ночь на Дмитров день на церковной паперти встретишь, того скоро не станет.



ПРОГУЛЯНКИ І ЇХ ВРАЖЕННЯ (ФРАГМЕНТ КНИГИ)

Дана ПИНЧЕВСКАЯ

ЛИПЕНЬ

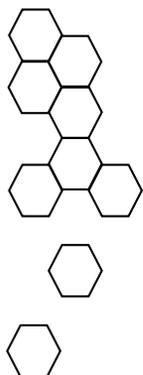
...а світ тим часом потребує захопленого погляду. Захопленого чи зацікавленого; закоханого; простіше – уважного, кожен предмет, на який ми не звернули увагу, – загублений, кожна річ, яка заслуговує на радість чи захват і не отримує радості чи захвату, – впадають комусь іншому в око набутою самотністю, випадково заподіяною сиротливістю.

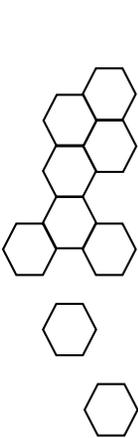
Я не знаю, як пояснити це відчуття докладніше. Ймовірно, простіше звернуся, скажімо, до рослини: істоти м'якої, нерухомої, беззахисної, – взагалі беззахисної перед усіма нами, тому що позбавленої здатності рятувати своє життя втечею. Їх реакція на увагу сонця і дощу неймовірна; їх вдячність людям, що доглядають їх самотність, неймовірна, і всі ці квіти і плоди, що бувають у доглянутих садах, говорять у весь голос про те ж, що і я нині: вдячність частки світу, на яку звернули пильну увагу доброзичливі істоти, несумісна з будь-яким сумнівом щодо наявності цієї вдячності.

Захоплення не обов'язкове, – та й мало хто з дорослих на нього здатний: з часом ми, – ну, більшість з нас, – втрачаємо цілісність почуттів, а природа захоплення потребує такої цілісності. А ось на увагу здатен будь-хто, з увагою можна знайти спільну мову у будь-якому, навіть у дуже дорослому віці; увага – це форма любові, форма захвату, захоплення дорослих, їх уже обтяжених усіма правилами почуття обов'язку і власне обов'язками, що на них – ними? З ними? завдяки їм? – тримається будь-яке, однаково, маленьке чи велике, людське суспільство.

Краса полягає в деталях, і їх чужий перебільшений рух, надмірний ентузіазм, завеликі вимоги: краса проступає у гладеньких плитках щойно зробленої доріжки не менш очевидно, ніж у павутинні тріщин старенького асфальту, і гра світлотіні, листя чи квіти, зоряні малюнки маленьких предметів, – скажімо, кольорових кришечок для пляшок, – виокремлюють її повсюдно, особливо уважно ставлячись до маршрутів, якими ми повертаємось додому або у місця, що їх трапилося любити, – чи часто навідувати (а це часто одне і те ж).

Пильна і доброзичлива увага наділяє високим світлом неповторності будь-яку, навіть не дуже гарну відносно інших, річ; вручає, ніби бентежний подарунок, власну





гідність істоти, створеної тому, що без неї цей світ не міг би обійтися, будь-чому, будь-кому з тих, хто не вмiє чи не має підстав думати про такі речі.

Закоханість – це увага; увага і закоханість – найближчі родичі, і мені лишається сподіватись, що хтось якщо не зрозуміє, то відчує їх спорідненість тепер, коли мені трапилось відкрити цю закономірність всесвіту. Чи можна закликати людей бути закоханими? Звісно, ні; такі речі погано регулюються навіть найбільш дисциплінованими з нас. А ось бути уважними – скільки завгодно, це нікому не зашкодить, це не завадить, – і на це гаряче, відчайдушно, з неймовірною внутрішньою напругою чекає весь білий світ, однаково, довколишній чи тільки домашній, і всі ці речі, я вже не кажу, – люди, повертатимуть її назад як умiють, цвістимуть кожен у свій спiсiб, так, щоб не помітити це було просто неможливо, навіть істотам щерть розгубленим чи легковажним.

ЖОВТЕНЬ



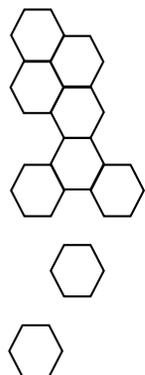
Це взагалі гарне місто, але саме восени в нього можна закохатися, і закохатися до нестями. Саме в таку осiнь, як ця, – повiльну, вiрну, з усіма академічними змінами спершу відтiнкiв, згодом кольорiв i температур, що поступово пiдпускають все ближче i ближче глибокі сутiнки, щерть забризкані повiльними ж, обережними дощами.

Останні осiнні квіти мружаться у мiських клумбах, стискаючи в задерев'янілих, твердiших від лiтніх, стеблах кулачки суцвітi, що саме у сутiнках пахнуть сильніше, ніж будь-коли, – і, здається, свiтяться своїм запахом, розганяючи м'яку жовтневу темряву ласкавим ствердженням знаку рiвності між ніжністю i впертістю спротиву думці про те, що все, все минає.

Тримаючись парашутної ручки компактного равликового будиночка власної парасолки, вдивляєшся у жовтневi сутiнки з виразом здивованим до розчуленості; до розгубленості. Жовто-зелене листя за два дні вкрило суцiльним килимом всі бетонні плити i всі асфальти, i йти ним гарно i небезпечно, – рiвно гарно i небезпечно, тому що прекрасно; тому, що слизько.

Оминаючи блискучі від води завали колишньої зелені, чи вправно, з дитячим задоволенням йдучи по колiно сухими заметами кленових витинанок, розумiєш неповторність внутрiшнього руху цього мiста на мапi як можливість любити будь-яку істоту, будь-яку рiч за химерну домiшку печалi в усе, що вона робить; в усе, що її оточує; в те, чим є її сутність. Восени ця якiсть особливо прикметна, i її не оминати ані поглядом, ані почуттями, – так само, як не пояснити тим пластмасовим лялькам, які через надмірну активність, зокрема соціальну, та антропоморфні обриси чомусь також вважаються людьми, попри їх цiлковиту нездатність переживати людяні, м'якші i спокiйніші від суто кар'єрних, почуття.

Людина, її неповторність між інших людей – це, серед iншого, її слабкість; її здатність бути кимось iще, окрім додаткiв до власних механiчних, електронних i суспiльних речей i функцій. Восени відчуваєш, як це, – жити, очiкуючи, сподiваючись i замислюючись, як це – переживати знахідки i втрати, не вiдриваючи закоханого погляду від неповторності освiтлення, непоправно неповторного окресу краси свiту, його внутрiшнього свiтла, яке завжди, мов вправно написана акварель, розмите ледь вiдчутною нотою печалi. Освiтлення, на вiдмiну від нас, ніколи не повторюється i ніколи не виходить за межі правила не повторюватись; а що ми легше, ніж завжди, впадаємо в тугу саме восени, коли свiтло, лякаючись зими, меншає, то i кожна зустрiч з ним приносить бiльше радості, ніж тоді, в залиті сонцем, трiскучі від власної щедрості, теплі пори року.



В такі дні простіше розібратись в собі, в своїх стосунках з людьми; все спрощується, тому що печаль розчиняє здатність як сердитись, так і захоплюватись всім тим, що не жовто-зелене листя на мокрому чорному асфальті чи срібних плитах бетонних доріжок. Все дійсно просто: негідникам потрібна жертва, щоб завдяки вияву насильства чи власній підлості ще раз переконати себе у власній силі; жалюгідним людям взагалі потрібно по-всякчас переконуватись у своїй владі над кимось іншим, зокрема тому, що ефекту від кожного факту самоствердження вистачає зазвичай ненадовго. Людям, спраглим чогось більшого від соціальної суєти, наприклад, котрогось з мистецтв, навпаки, потрібні ідеали, і вони іноді роблять традиційну для цієї породи помилку, намагаючись побачити вищий образ в живій людині, з її обов'язковими слабкостями чи недоліками. Всі інші коливаються між першим і другим полюсом, балансуючи на нескінченній линві самовдосконалення, вигадуючи якості, які слід було б наслідувати, щоб не дратувати, не змушувати хворіти власні дух і душу, щоб не перетворитися на потвору або просто жити легше чи щасливіше.

І розуміння цього досить, щоб спокійно повернутись до своїх обов'язків, родинних чи суспільних, чи тих і інших – з тим виразом, що ти його набуваєш, довго дивлячись крізь залите дощем скло міського транспорту на жовто-зелений килим довгих парків, які поступово готуються до зими, випускаючи своє листя, ніби птахів, на волю, – туди, де всі, навіть наймолодші пасажери автівок великих міст зачаровано ловлять будь-які вияви світла, вбачаючи в ньому пережите літо, котре, дивись, саме зараз, коли маленькі щіточки двірників зупинились, більше за все нагадує салюти святкових днів.

Наразі більше нічого; нині цього досить.

ЧЕРВЕНЬ

Щоб краще зрозуміти природу людських стосунків, досить виїхати за місто. Краще поїхати з чистими вікнами, — таким, що повільно тягнеться невідомими кутками країни, часто зупиняючись у маленьких селищах, щоб потім, густо зітхаючи, знову рушити вперед, у призначену йому керівництвом точку “Б”, яка, якщо вірити прадавнім підручникам, обов'язково слідує за точкою “А”.

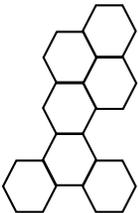
Густі і не дуже ліси, галявини і озера, буреломи і ріки краще за все ілюструють істоту походження життя, його несамовиту таємницю на ім'я “нізвідки”. В певному кутку лісу дерева через один похилились і впали від потужного весняного вітру; поряд, за тридцять метрів, той же ліс з таких же порід дерев залишається собою, тим, яким був до чергового весняного урагану, — хіба дві-три дерев'яні істоти похилились і так і не змогли підвестись, щоб знову стояти рівно.

Чому пляма фіолетового цвітіння на одній галявині змінилась яскраво-жовтим на сусідній? Чому на третій, цілковито схожій на ці, не росте взагалі нічого, окрім трави? Звідки взяли ці квіти і що їх змушує розташовувати свої тендітні тіла на зелених мапах у саме такому порядку?

Людські стосунки, з усіма їх поворотами і знаками “стоп”, недвозначністю і зваженістю, ретроспективами і проєкціями, ніби кролики, вийняті кимось з нас з капелюха колективного підсвідомого, піддаються усім можливим впливам лабораторії людського суспільства, і щастя тому, хто вміє зберегти своїх тваринок від передчасної загибелі внаслідок чергового невдалого експерименту.

Вміння поступово виходити за межі завеликого тиску — мистецтво лишатись собою, що йому простіше слідувати у тому випадку, коли ти вмієш розрізняти людей, які досі





цьому не навчилися. Пригнічені істоти говорять гучніше за інших; їх тексти, а частіше інтонації нагадують роботу відбійних молотків, що вриваються у нижній шар свідомості воєнізованим маршем агресії, спровокованої агресією, тим внутрішнім тиском, котрому безліч пояснень, але нема ради, доки людина не навчиться розрізняти власні наміри і бажання від нав'язаних іззовні.



Будь-хто, хто є твоїм “Ти”, – істота, людина чи тварина, місто чи предмет, чи вулиця, що ти їх любиш — вчать тебе вчасно зупинитись, щоб відійти на мить від заданого чужими керунку. Зупинитись і видихнути, зупинитись і повернутись до обраного шляху вільнішим, і, отже, здоровішим; кращим.

Хто б не керував твоїми помислами, зайві навантаження, на зразок страху, дадуть про себе знати некерованою експресією, що несе тебе на своїй хвилі туди, де ти уже не відповідаєш за свої слова, за свої дії.



Мистецтво, — і навіть література, — також вчать зупинитись, але їм потрібно насамперед спіймати коштовність твоєї уваги так, щоб бути почутими. І однаково, що початково тобі здавалось, скажімо, що всі письменники врешті-решт розповідають або про те, що вони люблять, або про тих, кого вони ненавидять, і третього їм не дано; що люди складніші, що їх можна назвати також мислителями, здатні виокремити з першого і другого те, що їм здається, по-перше, цікавим і закономірним, а по-друге, корисним. Усе байдуже: рано чи пізно образ чи інтонація торкнуться якогось глибшого шару твоєї душі, тих небес, що відповідають за ніжність і спокій, доброту і її слабкість, словом, до тих відчуттів і станів, переживання котрих єдино по-справжньому відрізняє нас одне від одного.

Нізвідки, з нікуди, невідому чому розташовані так, а не інакше, дерева, гілки дерев, квіти, ріки і озера винаймають твій погляд з полуди міського пороку, повертаючи тобі невимушеність, що про неї все відомо поетам, дітям і ось, тваринам, — так, щоб після глибоко сну, де твоя внутрішня музика потрапляла в такт химерним малюнкам природи з того боку скла, разом з тобою прокинулось внутрішнє розуміння відсутності логіки у подієвості, що її легко сплутати зі злісними чи навпаки, цілковито хорошими намірами. Настрої можуть видавати себе за думки, зокрема інтенсивно пережиті, але цілковито чужі настрої, і про це кожного разу думаєш зі здивуванням, гідним кращого призначення, спускаючись металевими східцями потяга на тверду землю іншого міста, за котрим, можливо, тобі вже випадало, наприклад, сумувати, котре дивиться тобі всіма своїми привокзальними вікнами з давно забутим виразом спокою або вмінням радіти, скажімо, незмінності існування.

ТРАВЕНЬ

В такі дні добре розумієш природу експресіонізму, — в тому розумінні, в якому йому приписують в якості початкової інтенції добре відчутий, тонко відрефлексований, такий людський, — чи, перепошую, людяний за своєю природою — страх війни.

Час підганяє тебе вперед, не дає тобі зупинитись, змушуючи пришвидшувати темп сприйняття нової інформації, відповідей на нагальні питання зсудомленого близькою війною суспільства, і тобі нічого йому закинути, нічого протиставити, фактично нічого додати до його вимог: ти слухаєшся, тому що в такі періоди відчуття самотності і залежності від соціуму сплітаються в такий крутий вузол, що його не під силу розплутати жодному генератору сенсів.

Нічого так не втомлює, як ці постійні спроби втрапити в ритм тривожного і нервового періоду, від котрого місто лихоманить страшна узалежненість від новин з фронту, взагалі новин; коли кожен, — чи майже кожен, окрім хіба фронтовиків, — відкрито чи потай від себе тривожиться з приводу того, що можна вчинити тут і тепер для того, щоб змінити ситуацію на краще. Хоч в чомусь. Хоч як.

Напруга зростає, і вміння вчасно позбавитись від неї — частіше генетичний, аніж набутий дарунок долі. Я, здається, ніколи не вміла самостійно позбавлятися від неї, але світ відчуває її, як тварини чи діти відчувають правдиву щирість. Чи, наприклад, ницість. Наелектризовані думки створюють те поле напруги, що в ньому, ніби в акваріумі з кольоровими рибками, блискають твої спроби переосмислити цей жах, вийти за його межі.

Цікаво, — зазвичай саме тоді тобі назустріч кидаються птахи і тварини, намагаючись торкнутись руки чи зазирнути в очі, зачепити твій слух, силоміць повернути тебе назад, до простіших, цілковито земних в своїй конкретності переживань. Абстрактні поняття, — ось, наприклад, імпровізації з приводу природи експресіонізму, його густих чорних ліній, що обгортають тоненькі чи грубі фігури переобтяженою конкретністю відокремленості однієї істоти від іншої, її цілковиту, фатальну відокремленість від всіх на світі речей і явищ, — відволікають не гірш, але зовсім інакше, — зрештою, по суті, вкотре нагадуючи тобі про те, що на світі не існує таких страждань, які не були б описані і пережиті такими, як ти, а також зовсім, взагалі відмінними від тебе людьми, і немає нічого нового під сонцем.

В такі дні добре відвідати ті місця, де тобі траплялось переживати щастя, бувати в дитинстві, лишатись наодинці з світлом своєї долі.

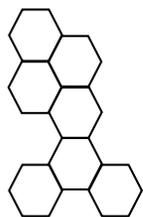
Музика, що завжди супроводжує такі прогулянки, чи тиша, що в такі дні, — варто лише змусити себе прислухатись, — вміє звучати не менш виразно, — змивають зайві звуки зсудомлених днів, розгладжуючи мімічні викривлення стриманої тривоги, і повільні хвилі несуть тебе далі, — до полицок, заставлених різним дріб'язком, сонячного світла, просіяного крізь торшери каштанів, ласкавих чи просто звиклих батьківських реплік, що застигають в пам'яті бурштиновими коштовностями найменших і, певне, найірідніших з можливих спогадів.

Зупинившись десь в самому центрі цієї композиції, під стіною морського запаху лаванди, в зоні запаху квітучих яблунь, за дві хвилини ходу до виходу в повсякденність — вслухаєшся в розмірені звуки позачасового блюзу травня, його струнних і його саксофонів, і довго, цілих кілька хвилин взагалі ні про що не думаєш; відпочиваєш — попри те, що море далеко, попри те, що пірнути і вийти назовні кимось іншим тепер не можна, попри те, що навіть найменшої подорожі і тієї ще слід дочекатись, і нема ради тому, що допомогти всім, хто постраждав на війні, ти наразі не можеш.

Здається, що такі зупинки можуть тривати вічність, — і, в певному сенсі, так воно і є з огляду на те, що кожен наш вчинок і кожне важливе переживання записуються в простір і час неповторним малюнком, властивим лише нам, лише тобі, і більше нікому, і згодом повернуться чимось іншим, — запахом, звуком, настроєм, — до тих, хто буватиме тут пізніше, коли нас тут уже не буде.

Травневі блюзи, повільні речення тварин, дерев і речей, мистецтво жити в якості вміння не поспішати, не нервуватися, вправно переживати будь-які видані дійсністю події, — ось і все, що тобі треба, щоб призупинити несамовиту гонку внутрішніх озброєнь перед обличчям правдивої небезпеки.

Врешті, всі яскравіші подразники, — на зразок людських фільмів чи дійсних книг — повертають тобі саме це: дитячу безпосередність сприйняття, в котрому доволі місця і травневим блюзам також, а можливо, насамперед саме їм, — так, щоб туга корона головного



болю відпустила скроні, і можна було б, перебуваючи у натовпі, чиї настрої нагадують кольорові речі різних фактур, створені з дерева, з каменю, з більш чи менш коштовних металів, з ламкого пінопласту чи нетривалого пластика, чи паперу — перетворились на продовження почуті музики, повертаючи тобі світло неспішного повернення до себе, додому, до спокою, що з нього складається будь-яка, навіть жіноча, мужність.

* * *

Експресіонізм чітко викреслив все, що можна було сказати про страх живої людини перед обличчям невблаганної машини смерті, — тієї, що вивільняє інстинкти, перетворюючи нас на додатки до власних фізіологічних чи, в меншій мірі, соціальних функцій.

Мені було б простіше намалювати його, якби я це вміла, — але я не вмю, тож тримаю під рукою кількнадцять альбомів з репродукціями європейців 1930-х років, а також найсвітліші казки, створені приблизно тоді ж, під тиском того ж жаху, — і думаю — блюз змінила тиша, і я знову мушу думати, — що все мине, і немає нічого нового під сонцем, заради чого варто було б втрачати людське обличчя. Обличчя, що йому властиво бути схвильованим чи радісним, печальним чи зацікавленим, зосередженим абощо, вільним від кам'яної маски спокою, що нею прикрашає наші сні і ні, сні і дні цей неспокій, про котрий, дивись, виявляється, стільки знали ті, хто мешкав неподалік у першій чверті минулого, — і не тільки його, — століття.

ЛЮТИЙ

Скільки речей проходять повз твою увагу через непомітні форми страху, кожна з котрих претендує на твій подих і зір, на твою зосередженість, твою душу.

Зупиняючись серед маловідомої чи взагалі незнайомої вулиці міста, — а страх часто виганяє нас назовні, де інстинкт підказує триматись інших людей, байдуже яких (не зважаючи на те, що зустрічі, відбуті завдяки страху, радше посилюють, аніж вбивають його), — поступово відділяєш уявлення страху від власної уяви, — як завжди, перебільшеної; як завжди, схильної добре ставитись до людей та світу.

В такі дні добре нагадувати собі, де ти є. Що ти є — вдома, в розумінні: в своєму будинку, в своєму місті, в своїй країні. Тут страх обмежують нажиті колись давно виблиски довіри, підсвідома радість передбачуваності добре знайомої мапи, впевненість в тому, що ти зайдеш спільну мову з будь-ким, тому що ти є носієм мови цієї місцевості.

І тобі нескладно пояснити своєму страхові, що його присутність десь там, далеко, далі напевне була б значно більш відчутною, більш суттєвою; сильнішою.

Я ніколи не звикну до манери страху виганяти мене на прогулянки, в котрих немає жодного сенсу, з наміром заблукати, змерзнути, втомитись, промочити ноги у котрійсь калюжі тощо. Ніколи не звикну, але слухняно виходжу з дому, коли чую його присутність, і блукаю щоразу новим лабіринтом вулиць, що повторюють плутану геометрію думок нажаханої людини, — так, щоб потім, коли стемніє, повернутись додому, де чекає щось не те, — наприклад, чергова стрічка новин з холодним описом військових дій, що точаться зовсім неподалік, у місті, розташованому на відстані однієї ночі у звичайному потязі.

В такі дні добре нагадувати собі, ким ти є; що ти вмєш робити краще від інших; дійсно добре. Власна справа, на відміну від неймовірної кількості інших обставин так

званого дорослого світу, ніколи не підводить, і вона непогано захищає дорослих людей від неймовірної кількості малих страхів і значної частини страхів великих.

В такі дні добре зайвий раз впевнюватись в тому, що розмаїтий, кольоровий світ не має жодних підстав для того, щоб ненавидіти тебе особисто, взагалі ненавидіти, і слухняно, – рано чи пізно слухняно, – змінюється згідно твоїм вчинкам, часто при тому ігноруючи наміри і декларації.

В такі дні, врешті-решт, добре втомитись від плутанини прогулянок і повернутись туди, де страх неохоче відпустить тебе, повертаючи тобі людську подобу, – тому, що на нього немає часу, бо домашні справи завжди вимагають зусиль і зосередженості, яких ніколи не вистачить на страх і водночас щось інше.

Врешті, у будь-які дні передчуття будь-якої події, – окрім смерті близьких істот, – значно страшніше від власне події, в котрих ми чомусь майже завжди відступаємо на крок від власної участі в тому, що відбувається, набуваючи внутрішньої відстороненості того, кому слід добре розуміти, як чинити далі, а отже, потрібно економити сили.

Живучи тут з дитинства, ми знаємо про страх більше, ніж могли б; більше, ніж відомо людям, які походять із більш захищених суспільств. Ми знаємо його в обличчя, нам відомі його симптоми і його звички, ми вміємо заговорювати його, примушуючи засинати чи розчинятись; ми надто довго жили з ним поряд.

Це не добре і не погано; так є – і ми мусимо з цим миритись, вчергове загортаючись з куртку, закриваючи шию шаликом, шукаючи в кишені цигарки і мобільний, щоб за кілька хвилин підставити обличчя дощу, чи вітру, чи сонцю, котрі за хвилю мусять перетворити страх на щось цілковито інше.

Я багато думаю про це останніми днями, блукаючи вулицями міста свого дитинства. Про це, і ні про що більше.



Владислав КУРАШ

ОСОБО ОПАСНЫЙ*Poszukiwany groźny przestępca...*

В Варшаву я приехал поздней осенью, когда уже начались морозы и выпал первый снег. Позади был год мытарств и злоключений, позади были Силезия, Поморье, Балтика и Татры. Самое страшное было позади. Впереди была полная неизвестность.

Прямо с вокзала я направился к Олегу. Он снимал комнату в двух шагах от центра, на Иерусалимских Аллеях. Олег разрешил пожить у него первое время, пока не устроюсь, и обещал помочь с жильём и работой. По дороге я зашёл в Carrefour и купил бутылку виски.

Олег обрадовался встрече. Мы поужинали. Потом ещё недолго поболтали, выпили виски и легли спать. Рюкзак с деньгами и пистолетом я положил под подушку. Виски сделало своё дело, освободив мозг от постоянного нервного напряжения, и я уснул с надеждой, что, может быть, этой ночью мне всё-таки удастся выспаться и отдохнуть.

Но выспаться снова не удалось. Мне снова приснился опиумный притон. Валерка в окровавленных бинтах. И Марлена с перекошенным от ужаса лицом. Я проснулся в холодном поту и до утра уже больше не уснул.

Сквозь зашторенное окно в комнату пробивался бледно-жёлтый свет уличных фонарей. Тошнотворной волной нахлынули воспоминания. Олег тихонько посапывал во сне. Я лежал, таращился в темноту и старался не думать о Марлене и Валерке. Но дурные мысли сами лезли в голову, воспаляя и без того воспалённое сознание.

Утром Олег ушёл на работу, и я остался один. Начинало светать. Я открыл шторы, и какое-то время смотрел в окно на серый, погружённый в утреннюю полудрёму город. Со всем рядом в окружении ультрасовременных красавцев небоскрёбов угрюмо возвышался сорока двухэтажный сталинский Дворец Культуры. Город незаметно просыпался и оживал.

Ужасно болела голова. Я принял три таблетки etopiryna и запил их виски прямо из бутылки, сделав несколько больших глотков. Спиртное приятно обожгло горло и весь пищевод, огненным потоком устремляясь в желудок. Я тут же опьянел. Боль ушла куда-то в сторону, на второй план, а со временем и вовсе исчезла.

Не расставаясь с бутылкой виски, я принял душ, позавтракал и завалился перед телевизором на диван. Когда с виски было покончено, я ненадолго уснул, соскользнув в чёрную бездну забытья. Проснувшись, некоторое время

я ещё лежал на диване и смотрел телек. Голова больше не болела, и чувствовал я себя намного лучше. Это меня радовало. Появилось желание прогуляться по свежему воздуху.

Я прошёлся по комнате, надел брюки и свитер, и вспомнил, что собирался позвонить Алёне. Длинные гудки раздражающе резали ухо. Трубку никто не взял. Тогда я вынул из рюкзака планшет и написал ей очередное безответное письмо о том, как люблю её и детей и скучаю по ним.

Потом меня вдруг посетила мысль, что если бы в Голливуде сняли обо мне фильм, то получился бы крутой зрелищный увлекательный остросюжетный блокбастер. И тут же я подумал о том, что это была дурацкая мысль, что ничего крутого и увлекательного в моей жизни нет.

А вот, если бы написать книгу, было бы намного интересней и увлекательней. Пусть даже не книгу. Пусть даже небольшой рассказ на несколько листов. И я подумал о том, что вот уже больше года ничего не писал. И что нужно как-то заставить себя сесть и что-нибудь написать. Например, о горах, или о море, или даже хотя бы просто о Кракове или Варшаве. Моя голова начала работать и вдруг как-то неожиданно появилась первая мысль.

Я быстро достал из рюкзака блокнот и ручку, открыл блокнот на чистой странице, оставил пустое место для названия и написал первое предложение: «В Варшаву я приехал поздней осенью, когда уже начались морозы и выпал первый снег». Несколько раз перечитал написанное предложение. Посидел немного, подумал, погружаясь в воспоминания, внутренне настраиваясь и сосредотачиваясь на написанном. И тут же, уцепившись за мысль, добавил: «Позади был год мытарств и злоключений, позади были Силезия, Поморье, Балтика и Татры. Самое страшное было позади. Впереди была полная неизвестность». Ещё раз перечитал написанное и остался доволен. Мой взгляд упал на пустое место сверху страницы, оставленное для названия. Я снова погрузился в размышления и спустя несколько минут написал там: «Особо опасный».

После этого я ещё несколько раз перечитал написанное, внутренне сосредотачиваясь и концентрируясь на тексте, пропуская через себя каждое слово, стараясь прочувствовать и ощутить каждой своей нервной клеточкой интонацию и звучание отрывка. Мысль больше не работала, но для начала и этого было достаточно.

У меня появилось настроение и желание перекусить и выпить чего-то крепкого. Я обулся, надел куртку, взял рюкзак (пистолет, на всякий случай, переложил в карман куртки) и вышел на улицу. Было около десяти утра. Город уже проснулся. На Иерусалимских Аллеях царило оживление и хаос. Проезжая часть была запружена транспортом. Оглядевшись по сторонам, я, не спеша, двинулся в направлении центра. На пути мне попалась Biedronka. Там я купил бутылку джина, маленькую бутылку минералки и колу. На стоянке возле супермаркета я вылил минералку на асфальт, перелил джин в бутылку из-под минералки, сделал несколько глотков джина, положил джин и колу в рюкзак и пошёл дальше.

На улице было холодно и пасмурно. Серую унылую зимнюю картину города оживлял беспрестанно сыпавший снег. Настроение было хорошее. Сквозь призму лёгкого опьянения всё вокруг казалось не таким уж серым и унылым.

На перекрёстке Иерусалимских Аллей и Маршалковской, возле станции метро, я купил кебаб и с удовольствием съел его. Утолив голод, я зашёл, в первое попавшееся отделение, какого уже не помню, банка и сделал Алёне денежный перевод по Western Union на сумму 500 долларов. Выйдя из банка, я без особой надежды набрал Алёну по телефону и после того, как она не ответила, отправил ей sms-ку с номером перевода.



Потом пару часиков я пошатался по Złotyч Tarasach, позаглядывал по магазинам и бутикам, в Сторре купил себе новые перчатки и шарф, ещё раз перекусил в каком-то кафе на четвёртом этаже Złotyч Tarasów под огромным стеклянным куполом, на который с разверзшихся небес падал снег, и пошёл гулять дальше.

Проходя мимо Дворца Культуры, по площади Дефилад, я остановился возле афиш Драматического Театра. Моё внимание привлек вечерний спектакль. Это был спектакль по мотивам комедии Карло Гольдони «Śluga dwóch panów» в постановке знаменитейшего польского актёра и театрального режиссера Тадеуша Брадецкого, которого я очень хорошо знал и чьи спектакли с удовольствием посещал в театре «Śląski», когда жил в Катовице. Я зашёл в кассы и купил себе билет на «Ślugę dwóch panów» в бельэтаже. Начало спектакля было в девятнадцать ноль ноль. До спектакля оставалось ещё много времени.

После поражения Варшавского восстания в тысяча девятьсот сорок четвёртом году все здания и сооружения на Иерусалимских Аллеях были взорваны фашистами и превращены в руины. И только лишь спустя десять лет, в пятидесятых годах прошлого века, конечно же, не без помощи Советского Союза, были отстроены заново и восстановлены с учётом исторических архитектурных особенностей. И теперь, в наше время, Иерусалимские Аллеи стали одной из наиболее представительных и дорогих частей города с фешенебельными отелями, огромными торговыми центрами и престижными современными офисными зданиями.

Возле пальмы Иоанны Райковской я свернул на улицу Новый Свет, ведущую к Замковой площади и площади Рынок. По мере приближения к Старому городу стало появляться всё больше и больше туристов. Они ходили большими группами, с экскурсоводами, рассматривая и фотографируя достопримечательности города.

Появилось желание выпить кофе с каким-нибудь изысканным десертом. Глотнув джина, я зашёл в кафе Blikle, славящееся на всю Варшаву своими блинами, мороженым и пончиками. Внутри было по-домашнему уютно и комфортно. Я сел за столик возле окна, так, чтобы было видно улицу и прохожих, и заказал себе кофе с tartaletką żurawinową.

Пришло банковское sms-сообщение, что Алёна забрала перевод. Я сам себе улыбнулся и подумал о ней и о детях. И мне так захотелось к ним, домой, прямо сейчас, в этот момент. И глаза тут же стали влажными, и сердце сжалось в груди от обиды и бессилия что-либо сделать.

Я набрал Яцека, и, когда тот ответил, поинтересовался, что у него нового по моему вопросу.

– Falszywy paszport z wizą ja ci jutro zrobię (фальшивый паспорт с визой я тебе хоть завтра сделаю (пол.)), – словно оправдываясь, ответил Яцек. – Ale skąd pewność, że twoja gęba nie wydaje im się podejrzana, i oni nie zaszczą dokładnie sprawdzać (но откуда уверенность, что твоя рожа не покажется им подозрительной и они не начнут тебя тщательно проверять (пол.))?

– Trzeba ryzykować (нужно рискнуть (пол.)), – резко сказал я.

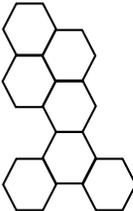
– Nie chciałbym ryzykować. Jeśli cię aresztują, ani woli, ani rodziny ci długo nie widać (не хотел бы рисковать, если тебя арестуют, ни воли, ни семьи тебе долго не видать (пол.)).

– Nie mogę już dłużej czekać. I nerwy mam już na granicy. No i znudziło mi się już biegać i chować się (не могу больше ждать, и нервы у меня уже на пределе, да и надоело мне бегать и прятаться (пол.)).

– Proszę cię, poczekaj jeszcze trochę (прошу тебя, подожди ещё немного (пол.)).

– Trochę, to ile (немного, это сколько (пол.))?

– No od siły miesiąc, nie więcej (ну от силы месяц, не больше (пол.)).



– A co będzie za miesiąc (а что будет через месяц (пол.))?
– Mam jednego zaufanego człowieka. On poprowadzi cię przez granicę i przekaże cię tam innemu człowiekowi, który zabierze cię tam, gdzie trzeba. (у меня есть один надёжный человек, он проведёт тебя через границу и передаст там другому человеку, который отвезёт тебя туда, куда тебе надо (пол.)).

– A dlaczego przez miesiąc, a nie teraz (а почему через месяц, а не сейчас (пол.))?
– Teraz nie można (сейчас нельзя (пол.)), – категорично отрезал Яцек.
– Ile to będzie kosztować (сколько это будет стоить (пол.))?
– O szczegółach nie przez telefon (о подробностях не по телефону (пол.)).
– Kiedy lepiej zadzwonić następnym razem (когда тебе лучше позвонить в следующий раз (пол.))?

– Zadzwoń do mnie za kilka tygodni. Na pewno, że to już będzie jasne (позвони через пару неделек, наверняка, что-то уже будет понятно (пол.)).

– Dobra, na razie (ладно, пока (пол.)).

– Na razie. Tylko z tego numeru telefonu więcej do mnie nie dzwoń. Swój nowy numer telefonu ja ci wyślę na maila (пока, только с этого номера больше мне не звони, свой новый номер я тебе вышлю по емайлу (пол.)).

После этого разговора я позвонил Олегу и предупредил его, что вернусь поздно, потому что решил сходить в театр на вечерний спектакль. Принесли кофе с пирожным. Ароматный кофе приятно взбудрил меня и согрел.

Я ещё долго сидел в кафе, бездумно наблюдая за падающим снегом и прохожими, рассматривая фасады зданий на противоположной стороне улицы и проезжающие мимо автомобили.

Расплатившись, я вышел из кафе на улицу и меня словно током шарахнуло. Мне показалось, что в толпе прохожих, я увидел Марлен. Я бросился вслед за ней. Но, когда догнал её, оказалось, что это незнакомая девушка.

– Przepraszam. Ja romyliłem się (прошу прощения, я обознался (пол.)), – сконфуженно пробормотал я себе под нос, потом ещё раз принёс свои извинения и быстро ретировался.

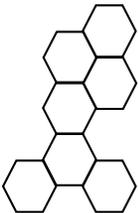
Мне было не по себе. Воспоминания снова нахлынули на меня сокрушительной волной, и я ничего не мог с собой сделать. Я шёл по улице и думал о Марлен. Я вспоминал её огромные небесно-голубые глаза, глубокий пронзительный взгляд, ласковые и нежные руки и пухлые одуряюще головокружительные губы.

Я вспомнил, как мы познакомились с ней, когда плыли на прогулочном катере из Гданьска в Сопот. И как встречались потом тайком от её мужа на набережной в Гданьске. Вспомнил наши свидания в Кракове, прогулки по Вавельскому замку и Плашуву, встречи на улице Рекавки, возле аптеки Pod Orłem Тадеуша Панкевича на площади Героев Гетто и около Грюнвальдского моста. Вспомнил, как мы занимались с ней любовью в её автомобиле на набережной Вислы, вспомнил её роскошное обнажённое тело, и возбуждение лёгким электрическим разрядом содрогнуло меня. Потом вспомнил, как мы ограбили её мужа, и вместе сбежали во Вроцлав. И как роскошествовали там полгода, не отказывая себе ни в чём. Это было незабываемое время.

Я думал о Марлен и понимал, что такой женщины, как она, у меня никогда больше не будет. Я понимал, что только с ней мне было по-настоящему хорошо и комфортно, только с ней я чувствовал себя по-настоящему уверенно и твёрдо. Я не знал, где она. Это меня сильно мучило и терзало всё последнее время. Мне очень не хватало Марлен.

Так, думая о Марлен, я дошёл до улицы Краковское Предместье. Посидел немного на скамейке Фредерика Шопена возле Дворца Сташица и памятника Николаю Копернику,





послушал Траурный марш из его Сонаты b-moll, рассматривая окна здания на противоположной стороне улицы, в котором в позапрошлом веке жила сестра Шопена, пытаюсь угадать из какого окна казаки вышвырнули на мостовую рояль Шопена.



Сидеть было холодно, и я пошёл дальше. Мимо базилики Святого Креста, где в одной из колонн замурована урна с сердцем Шопена, тайно привезённым из Парижа в Варшаву после его смерти в банке с формалином и прежде чем попасть в базилику пролежавшим тридцать лет в шкафу в квартире его сестры. Мимо Дворца Чапских-Красинских, в котором сейчас находится Академия Художеств. Мимо ворот университетского двора. Мимо неоклассического Дворца Тышкевичей-Потоцких, балкон над главным входом в который держат четыре античных атланта. Мимо костёла Визиток, костёла святого Юзефа и костёла посещения пресвятой Девы Марии. Мимо памятников Болеславу Прусу и Адаму Мицкевичу. Мимо несуразного Дома без углов. Мимо отеля «Бристоль». Мимо Дворца Радзивилов, где располагается резиденция президента Польши, во дворе которого стоит памятник князю Юзефу Понятовскому, сделанный по образу статуи императора Марка Аврелия в римском Капитолии.



Когда я дошёл до Замковой площади, начало смеркаться. Зажглось уличное освещение. Вдалеке ярким огненным факелом вспыхнул Stadion Narodowy. Я прошёл через площадь и по улице Святоянской направился к площади Рынок. Там, возле памятника *Warszawską Syrenkę*, были установлены искусственный каток и киоски, где продавали спиртное и закуску. Я взял себе дымящейся *gulašová rolevkę*, бутерброд со смальцем и солёным огурцом и чашку горячего *grzanego wina*.

Ярко освещённый каток был битком набит катающимися на коньках людьми. Играла музыка. На катке было много детей. Сердце снова болезненно сжалось в груди от тоски и обиды. И я подумал о Бодике с Русей. Всё на свете отдал бы за то, чтобы сейчас быть с ними. А потом я подумал о том, что если бы можно было вычеркнуть из жизни несколько последних лет, стереть память об этом времени, отмотать жизнь назад и перезапустить по новой, не задумываясь, сделал бы это. И чтобы всё стало по-прежнему. И чтобы не было никакой Польши, и чтобы не было ничего. Только я, Алёна и дети.

Я доел суп, выпил вино, допил джин и пошёл в театр по улице Королевской, которая вела напрямиком от Старого города до Маршалковской и Дворца Культуры. По дороге, в *Żabce*, я купил бутылку тёмного рома. И перелил ром в бутылку из-под коллы, чтобы было, что пить в театре.

В театральном гардеробе я подошёл к зеркалу и с ужасом заметил, что за последний год сильно сдал и постарел. Лицо стало одутловатым и серым от постоянного пьянства, нервов и усталости, появились глубокие морщины на лбу и мешки под глазами, волосы на голове поседели.

Я подумал о том, что мне уже сороковник и, что в свои сорок я ничего не имею, ни кола, ни двора, а то, что имел, всё растрывнял по-глупому, по-дурацки, бездумно. И ничего не добился, если не считать публикаций в литературных журналах. Зато умудрился натворить такого, что теперь самому страшно за свои поступки. А скольким людям я жизнь перековеркал и испортил. Алёна меня до конца дней моих ненавидеть будет и никогда уже не простит. Марлена... Очень хотелось бы знать, где она, и верить, что с ней всё в порядке. О Валерке я и думать боялся. Во всём я винил одного лишь себя и понимал, насколько далеко всё зашло и насколько всё безнадежно плохо.

Из театра я вышел с хорошим настроением. Спектакль доставил мне неопишемое удовольствие и на время отвлёк от гнетущих проблем. Отличная постановка, безупречная игра актёров, красивые декорации и яркие костюмы – в спектакле всё было очень

цельно и гармонично. На два с половиной часа я с головой окунулся в яркий чарующий мир красочного искусства, которое всегда привлекало меня и притягивало, и забыл обо всём на свете.

Возле станции метро я на минуту остановился у столба с объявлениями. Среди прочих объявлений на пожелтевшем листе под надписью «Poszukiwany groźny przestępca (разыскивается особо опасный преступник (пол.))» я увидел свой портрет, ужасный неузнаваемый фоторобот, под фотороботом:

Władysław Luty (Владислав Февраль (пол.))

Płeć: męczyzna (пол: мужской (пол.))

Miejsce urodzenia: Kijów (место рождения: Киев (пол.))

Data urodzenia (дата рождения (пол.)): 10.07.1974

Pseudonim: Wilk (кличка: Волк (пол.))

Ostatnie miejsce zameldowania (последнее место прописки (пол.)): Gliwice, ul. Niedbalskiego 10/6

Obywatelstwo: Ukraina (гражданство: Украина (пол.))

Podstawy poszukiwań (основание для розыска (пол.)):

Art. 217a Uderzenie człowieka (покушение на жизнь человека (пол.))

Art. 258 § 1 Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (участие в организованной преступной группе (пол.))

Art. 279 § 1 Kradzież z włamaniem (кража со взломом (пол.))

Art. 280 § 2 Rozbój (ограбление (пол.))

Art. 282 Wymuszenie rozbójnicze (разбойное вымогательство (пол.))

Art. 286 § 1 Oszustwo (мошенничество (пол.))

Poszukujące jednostki policji (розыск проводит (пол.)):

BK KMP Gliwice Wydział Kryminalny, 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12, telefon: (032) 3369255, email: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

Cechy rysopisowe (особые приметы (пол.))

Wzrost: 184 cm (рост: 184 см (пол.))

Sylwetka: krępa, muskularna (фигура: крепкая, мускулистая (пол.))

Ramiona: mocne, tatuaż (плечи: крепкие, татуировка (пол.))

Nogi: długie (ноги: длинные (пол.))

Twarz: owalna (лицо: овальное (пол.))

Włosy: proste, krótkie, uczesanie z przedziałkiem, ciemnoblond (волосы: прямые, короткие, причёска с пробором, шатен (пол.))

Czoło: średnie (лоб: средний (пол.))

Uszy: normalne (уши: нормальные (пол.))

Szyja: krępa (шея: крепкая (пол.))

Wargi: średnie (губы: средние (пол.))

Nos: średni, prostolinijny (нос: средний, прямолинейный (пол.))

Kolor oczu: jasne (цвет глаз: светлые (пол.))

Я внимательно всё прочитал, потом постоял ещё какое-то время у столба, почитал другие объявления, потом достал из рюкзака бутылку с ромом и сделал несколько глотков. Рома оставалось на дне. Я подумал, что нужно зайти в какой-нибудь ночник и пополнить запасы спиртного.

Непонятно откуда появились полицейские. Их было двое. Поверх тёмно-синих форменных курток на них были надеты яркие едко-светло-салатные жилеты со светоотражательными полосами и надписями «Policja». Они подошли ко мне и попросили предъявить

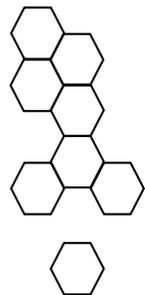
документы. Я весь сжался и протянул свой паспорт одному из них, стараясь не выдавать внутреннего напряжения. Пока они рассматривали мой фальшивый паспорт с поддельной визой, я сосредоточенно исподлобья изучал их, и отметил для себя, что у каждого на боку была кобура с боевым пистолетом.

– Proszę z nami (прошу пройти с нами (пол.)), – сказал тот, что держал в руке мой паспорт.

Повисла секундная пауза. Времени на раздумья не было. Сознание само отключилось, уступая место инстинктам и интуиции, которые никогда меня ещё не подводили. Напряжение тут же ушло. Дыхание выровнялось и стало глубоким.

Не поворачивая головы, периферийным взглядом я изучил обстановку вокруг: сквер, подземный переход, дома на противоположной стороне улицы, и сунул руку в карман с пистолетом. Холодная сталь приятно обожгла ладонь и слилась с рукой в одно единое целое. Указательный палец лёг на спусковой крючок, большой привычным движением плавно опустил флажок предохранителя вниз.





ОБ АВТОРАХ

Семен Абрамович – поет, доктор філологічних наук, професор, визначний фахівець у галузі філології, богослов'я, культурознавства, українознавства, риторики, автор біля 370 наукових праць, керівник наукової школи «Літературний текст у контексті культури: проблеми рецепції та інтерпретації». Займається він також живописом і графікою. Автор низки мемуарно-сатиричних оповідань, вміщених у збірках «Consecutio temporum» («Узгодження часів») та «Fecit» («Зробив»).

Татьяна Аинова родилась и живёт в Киеве. По образованию математик. Автор пяти книг стихов. Стихи и проза публиковались в журналах, альманахах Украины, России, США, Германии.

Ольга Андреева — поэт. Родилась в 1963 году в г. Николаеве. Член Союза российских писателей, Южнорусского Союза писателей и Союза писателей XXI века. Автор поэтических сборников «В случайной точке» (2003), «Эволюция ветра» (2003), «Аритмия» (2003), «Вещь не в себе» (2007), «Оставаясь водой» (2010), «Равноденствие» (2012), «Лестница тавров» (2013), «На глобусе Ростова» (2016). Публиковалась в альманахе «Паровозъ», в журналах «Дети Ра», «Нева», «Новая Юность», «Крещатик», «Зинзивер», «Аргамак», «Южное сияние», «Ковчег», «День и ночь» и др. Лауреат конкурса «45 калибр» (2013, 2015). Дипломант Тютчевского конкурса (2013). Финалист Прокошинской премии (2014). Член жюри конкурсов «Провинция у моря» (2016) и «45 калибр» (2017). Живет и работает в Ростове-на-Дону.

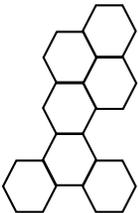
Бах Ахмедов родился в 1967 году в Узбекистане, в Ташкенте. В 1990 году закончил физфак Московского Государственного Университета им.М.В.Ломоносова, в 1994 г. – аспирантуру физфака МГУ. Кандидат физико-математических наук. Публиковался в периодических изданиях и альманахах Узбекистана, России, Молдавии, Эстонии, Казахстана, Великобритании. Занял 1-е место на Международном поэтическом конкурсе «Пушкин в Британии» (2007). В 2011 году вошел в шорт-лист конкурса «Литературная Вена». Автор сборников стихов «Молчание шара» (2010), «Облако вероятности» (2015).

Евгения Джен Баранова – поэт, прозаик, журналист. Родилась 26 марта 1987 года. Родной город – Ялта. Произведения публиковали «Юность», «Дальний Восток», «Плавучий мост», «Кольцо А», «Зинзивер», «Новая реальность», «Дети Ра», «Зарубежные задворки», «Литература», «Журнал Поэтов», «Южное сияние», «45-параллель» и другие издания. Участник 19-го Международного Форума издателей во Львове. Участник Совещания молодых писателей при Союзе писателей Москвы (2015). Член Союза писателей Москвы, Южнорусского Союза Писателей, Союза писателей XXI века. Проживает в Москве.

Юлия Белохвостова. Поэт, филолог. Член союза писателей Москвы. Окончила МГУ им. Ломоносова, филологический факультет, специализация – древнерусская литература. Публиковалась в коллективных поэтических сборниках, антологиях, альманахах, журналах «Плавучий мост», «Новый берег», «Арион», «Интерпоэзия», «Урал», «Кольцо А», «Аврора», «Крещатик», «Книголюб», «Литературной газете», «Учительской газете», «НГ Экслибрис», альманахе-навигаторе Союза Российских писателей «Паровозъ», № 6 за 2016 г. Автор двух поэтических сборников: «Мне не идет весна» (2012) и «Ближний круг» (2015). Организатор цикла поэтических вечеров «У Красного рояля» в Третьяковской галерее (2009-2012). Дипломант Международного Волошинского конкурса 2015 г. Призер конкурса им.Гумилева «Заблудившийся трамвай» 2016 г. Победитель конкурса «Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» 2017 г.

Ефим Бершин. Поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 году. Живёт в Москве. Автор пяти книг стихов, двух романов и документальной повести о войне в





Приднестровье «Дикое поле». Произведения опубликованы в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Стрелец», «Юность», антологии русской поэзии «Строфы века» и проч.; многие его стихи переведены на иностранные языки. Ефим Бершин работал в «Литературной газете», вёл поэтическую страницу в газете «Советский цирк», где впервые были опубликованы многие неофициальные поэты.



Елена Бувеч живет в Черкассах. Журналист, литератор, переводчик. Родилась в г. Смела. Окончила Черкасское музыкальное училище (преподаватель фортепиано) и Московский литературный институт им. А.М. Горького (поэзия). Автор пяти поэтических книг. Стихотворения публиковались в журналах, альманахах и антологиях в России, Украине, Белоруссии, в переводах – в Сербии, Болгарии, США. Член Союза писателей России (СПР) и Ассоциации украинских писателей (АУП). Переводит поэзию с сербского, польского и украинского языков.

Дмитрий Бурого – поэт, лауреат литературной премии им. Леонида Вышеславского «Планета поэта», премии им. Николая Ушакова, Международной премии Арсения и Андрея Тарковских. Автор семи поэтических книг и многочисленных публикаций в журнальном мире. Кандидат филологических наук, член НСПУ, издатель. Живет и работает в Киеве.



Мария Ватутина родилась в 1968 в Москве. Окончила Московский юридический институт (1992), Литературный институт им. Горького, факультет «Поэзия», семинар Игоря Волгина (2000). Училась в аспирантуре юридического института. Член Союза писателей России с 1997 года, в 2012 году перешла в Союз писателей Москвы. В настоящее время выпускающий редактор журнала. Первые публикации в журналах «Молодая гвардия» (1995) и «Русское эхо» (1997). Стихи печатались в Украине, во Франции, в Америке и Польше. Постоянный участник Совещаний молодых писателей и Форума молодых писателей (СЭИП (Фонд Филатова)) – ведущий мастер-классов. Живет в Москве.

Игорь Винов родился в 1952 году. В пятом поколении киевлянин. Образование Институт культуры – Киев, Литературный институт – Москва, МООСРС – Германия-Россия-Украина и пр. Работал в Литературном музее – Киев, институт Костюка – Киев и пр. Издавался периодической печати и сборники.

Владимир Васильев родился в Харькове в 1948 г. Окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт, работал инженером-конструктором. Автор шести книг стихов и двух книг прозы. Публиковался в журналах, альманахах, антологиях. Член Союза писателей Москвы.

Герман Власов – поэт, переводчик. Родился в Москве в 1966 г. Закончил МГУ им. Ломоносова (филологический факультет, отделение РКИ). Лауреат (поэзия (2009), фото (2015)) и дипломант Волошинского конкурса (перевод, (2011)). Первое место, в фестивале Синани-фест, Ялта (2010). Автор поэтических книг "Просто лирика" (2006), "Музыка по проводам" (2009), "Определение снега" (2011) и др. Публиковался в периодике в журналах "Знамя", "Новый мир", "Волга", "Крещатик", "Интерпоэзия", "Новый берег" и др. Переводил стихи и прозу с украинского, белорусского, татарского, грузинского, узбекского и английского языков. Живет и работает в Москве.

Татьяна Вольская родилась и живет в Петербурге. Поэт, эссеист, автор девяти сборников стихов. Лауреат Пушкинской стипендии (Германия) и премии журнала «Звезда» (Санкт-Петербург). Печатается в литературных журналах «Звезда», «Новый мир», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Этажи» и др. Работает корреспондентом радио «Свобода/Свободная Европа».

Александр Габриэль — минчанин, с 1997 г. живёт с семьёй в пригороде Бостона (США). В России издано пять книг стихов, имеются многочисленные журнальные публикации. Дважды лауреат конкурса им Н. Гумилева (Ст.-Петербург, 2007 и 2009 гг.), лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига, 2014 г.), обладатель премии "Золотое Перо Руси" (Москва, 2008 г.)

Владимир Гандельсман родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кофегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т. д. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге) – поэт и переводчик, автор двадцати сборников стихотворений; многочисленных публикаций в журналах «Октябрь», «Огонек», «Знамя», «Новый мир», «Новая юность», «Звезда», «Урал», «Волга» и т. д.; переводов из Шекспира (сонеты и «Макбет»), Льюиса Кэрролла, Уоллеса Стивенса, Джеймса Меррилла, Ричарда Уилбера, Имона Греннана, Энтони Хекта, Томаса Венцловы и др.

Марина Гарбер. Поэт, эссеист. Родилась в Киеве, Украина. Эмигрировала в 1989 году. Магистр искусств, преподаватель английского, итальянского и русского языков. Автор четырех книг стихотворений (последняя – «Каждый в своем раю», М.: Водолей, 2015). Публикации в журналах «День и ночь», «Звезда», «Знамя», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Литература», «Нева», «Новый журнал», «Плавучий мост», «Слово/Word», «Стороны света», «Урал», «Шо», «Эмигрантская лира», «НомoLeggens» и других. Живёт в США, штат Невада.

Сергей Главацкий родился в Одессе в 1983 году. С 2002 г. – председатель Южнорусского союза писателей, с 2006 г. – председатель Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины, с 2009 по 2012 гг. – член руководства Конгресса литераторов Украины. Выпускающий редактор литературного журнала «Южное сияние» (с 2011 г.), главный редактор литературного интернет-проекта «Авророполис», председатель оргкомитета международного арт-фестиваля «Провинция у моря», член жюри ряда литературных конкурсов и фестивалей. Автор более 600 публикаций в изданиях Украины, России и дальнего зарубежья, в т.ч. в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Зинзивер», «Октябрь» и др. Автор книг «Неоновые пожары» (2006), «Апокалипсис Улыбки Джоконды» (2008), «Падение в небесах» (2016). Живёт в Одессе.

Сергій Грабар народився в Києві. Закінчив українське відділення філологічного факультету Державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Писати почав ще зі школи, але друкуватися тільки з 1988 року. Автор трьох поетичних збірок, книжки есеїстики «Метаморфози» та одинадцяти книжок малої прози (новел). Перекладений п'ятнадцятьма мовами світу. В шести країнах твори вийшли окремими збірками. Захоплений джазом. Генеральний продюсер Міжнародного джазового фестивалю «Єдність» та Голова Президії «Всеукраїнської асоціації джазу».

Амирам Григоров родился в 1969 году на Украине. С 4-х до 24-х лет проживал в городе Баку (Азербайджан). С 1993-го проживает в Москве. По образованию – врач. Работает преподавателем анатомии человека в медицинском училище, в летний период – экскурсоводом на речном флоте. Стихи Амирама Григорова переводились на кавказские языки, иврит. Член Союза писателей Иерусалима.

Евгения Дериземля живет в городе Кременчуг на Украине. Имеет высшее экономическое образование. По профессии менеджер. Финалистка и лауреат многочисленных литературных конкурсов. Публиковалась литературных журналах Украины и России.

Андрей Дмитриев. 1976 года рождения. Живет в Нижнем Новгороде. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Журналист областной



газеты «Земля нижегородская». Публиковал стихи и прозу в журналах «Нева», «Дружба народов», «Бельские просторы», «Нижний Новгород» и других.

Михаил Дынкин. Родился в 1966 году в Ленинграде. Живет в городе Ашдод, Израиль. Работает картографом. Публиковался в "Знамени", "Арионе", "Волге", "Зарубежных записках" и других журналах. Автор двух поэтических книг.



Ирина Евса родилась в Харькове. В 1987 году окончила в Москве Литературный институт им. А.М. Горького. С 1979 года – член Национального союза писателей Украины. Член международного Пен-клуба. Поэт, переводчик, составитель множества книг и антологий. Автор тринадцати поэтических книг. Лауреат премии Международного фонда памяти Б. Чичибабина, премии «Народное признание», конкурса «Литературный герой», премии журнала «Звезда», премии Н. Ушакова. За книгу стихотворений «Трофейный пейзаж» награждена Международной литературной премией имени Великого князя Юрия Долгорукого. Сборник стихотворений «Юго-Восток» (изд-во «Арт Хаус медиа») в 2016-м году стал победителем конкурсов «Русская Премия» и «Волошинская Премия».

Евгений Евтушенко (18.07.1932 – 01.04.2017) – советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, чтец-оратор и актёр. Член Союза писателей СССР. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.



Наталья Емельянова. Родилась в 1981 году в Нижнем Новгороде. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина. В настоящее время работает преподавателем церковнославянского языка и инструктором по фитнесу. Литературным творчеством начала заниматься в девятилетнем возрасте. Является автором поэтических и прозаических текстов. Публиковалась в альманахе «Земляки» и журналах «Нижний Новгород», «Зарубежные Задворки», «ЛиФФт». Лауреат конкурса «Мой город», проводимого журналом «Нижний Новгород» в номинации «Проза» с повестью «Почтальон» (2015). Дипломант XVII конкурса-фестиваля «Решетовские встречи» (2017), лонг-лист II международного литературного фестиваля «Русский Гофман» (2017). Живет в Нижнем Новгороде.

Олег Зайцев родился в 1968 году в г. Новополоцке Витебской области. Закончил факультет журналистики Белгосуниверситета и полугодовые Литературные курсы. Председатель Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь». Председатель Ревизионной комиссии Международного сообщества писательских союзов (бывший СП СССР), член Международной федерации русскоязычных писателей, Российского союза профессиональных литераторов. Является действительным членом Крымской литературной академии. Автор книг поэзии «Рифмованные девиации», «Наитие», «Координаты смысла», «Завязь Вселенной», книги литературной критики и литературоведения «Авторский знак». Участник около тридцати коллективных сборников поэзии, прозы, критики и литературоведения, альманахов и переводов, антологий в России, Беларуси, Украины, Казахстана, Австралии. Публиковался со стихами и прозой, литературной критикой и литературоведческими статьями в ряде литературных журналов и ряде альманахов. Стихи автора переводились на английский, итальянский, украинский, белорусский, казахский языки. Один из теоретиков и сторонник литературного направления «катарсизм». Награжден Международными литературными премиями имени Молодой Гвардии, Симеона Полоцкого, Леонида Матусовского, фестиваля «Славянские традиции», почетными грамотами российских и украинских писательских союзов, Международного сообщества писательских союзов, Российско-итальянской Академии Феррони. Живет в Минске.

Алексей Зарахович – поэт, художник. Родился в 1968 году в Киеве. Автор книг: «Машины и озера», «Табукатура», «Река весеннего завета», «Чехонь». Стихотворения

публиковались в Украине, России, Белоруссии, Азербайджане, Германии, Сербии. Лауреат премии Планета Поэта им. Л.Н. Вышеславского, медаль «Н.В. Гоголь» (за гуманизм в творчестве). Работал учителем, тележурналистом, сценаристом. В данный момент – ведущий авторских программ на радио «Вести».

Елена Игнатова – поэт, прозаик, родилась в Ленинграде. С 1975 года постоянно публиковалась в самиздате и в изданиях русского зарубежья. Автор шести книг стихов и двух книг прозы («Записки о Петербурге» и «Обернувшись»). Стихи многократно переводились, включены в российские и зарубежные антологии русской поэзии XX века. С 1990 года живет в Иерусалиме.

Александр Кабанов. Родился в г. Херсон (1968). Украинский поэт, живущий и работающий в Киеве, пишущий на русском языке. Автор 10-ти книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Дружба народов», «Арион», «Новая газета», «Литературная газета» и др. Лауреат «Русской премии», премии «Antologia» за высшие достижения в современной поэзии, премии журнала «Новый мир», Международной Волошинской премии и др. Главный редактор журнала о современной культуре «ШО», координатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры», один из основателей украинского слэма.

Игорь Караулов родился в 1966 году в городе Москве, где проживает и по сей день. Окончил географический факультет МГУ. Женат, двое детей. Автор четырех поэтических книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Арион», «Новый берег», «ШО», «Воздух», «Критическая масса» и др. Лауреат Григорьевской поэтической премии (2011 г.), лауреат Волошинского конкурса (2017 г.).

Светлана Кекова родилась в 1951 в Александровске-Сахалинском. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета. Доктор наук. Автор четырнадцати книг стихов, в том числе: «На семи холмах» (2001), «Восточный калейдоскоп: Стихотворения 1980-х – 1990-х годов» (2001), «У подножия Жёлтой горы» (2006), «Плач о Дереве жизни» (2006), «На пути в Эммаус» (2007), «Потаённый хор» (2008), «Стихи о людях и ангелах» (2009); «Сто стихотворений» (2012), «Урокикаллиграфии» (2012), «Нездешний гость» 2016; трех литературоведческих книг. Лауреат премий журналов «Знамя» (1995), «Новый мир» (2003), Премии им. Аполлона Григорьева (1999), Большой премии «Москва – Транзит» (2001), Премии им. Арсения и Андрея Тарковских (Киев, 2009), Поэтической премии «Anthologia» (2012), Новой Пушкинской премии (2014), Специальной премии «Московский счёт» (2014), Международной Волошинской премии (2017). Живёт в Саратове.

Владислав Кураш родился в 1974 г. на Украине. Современный украинский писатель. Его рассказы входили в лонг-лист фестиваля-конкурса «Бумажный Ранет-2014», второго Международного литературного форума «Славянская лира-2015», литературного конкурса "Молекулярное кафе", литературного конкурса «Пишущая Украина-2009», литературного конкурса журнала «Млечный Путь», IV-го Международного конкурса на лучший короткий рассказ «Zeitglas-2015», в шорт-лист литературного конкурса "Птица-Счастье", в десятку самых читаемых произведений журнала «Новая Литература» и десятку победителей фестиваля-конкурса «Русский Stil-2014», литературного конкурса «Малая проза», литературного конкурса «Нарисуем портрет», литературного конкурса «Мирные выси», литературного конкурса «По обе стороны зеркала», в число победителей литературного конкурса "Два вагона лета - 2011", литературных конкурсов "Пути героя - тур 1", "Пути героя - тур 4", литературного конкурса "Ночные магнолии", литературного конкурса «Размышления о прожитом», литературного конкурса "Два вагона лета - 2014",

Международного многоуровневого конкурсного проекта имени де Ришелье 2015. Лауреат Международного Фонда «Великий Странник – Молодым» (2013).

Игорь Лапинский – киевский поэт, журналист. Автор поэтических книг: «Огни Святого Эльма» (СПб., 1992 г.), «LUDI» (Киев, 2000 г.), «Утро бессонных крыш» (Киев, 2002 г.), «3 невидимого космосу» (Київ, 2005 р.), «Избранное» (Киев, 2009 г.), книги для детей «Дотепно і незвично про інструмент музичний» (Київ, 2002 р.), а также многочисленных публикаций в отечественных и зарубежных антологиях, литературной периодике. Лауреат литературных премий: «Планета поэта» имени Леонида Вышеславского (Киев, 2007.), Международной премии имени Арсения и Андрея Тарковских (Киев, 2010 г.).

Лев Либолев. Одессит, 58 лет, с 2001-го года проживает в Германии. Пишет стихи с 2008 года. Есть публикации в различных сетевых журналах. В настоящее время готовится 5-й сборник стихов.

Анна Маркина родилась в 1989 г., живет в Люберцах. Окончила Литературный институт им. Горького, семинар детской литературы. Публикации стихов – в «Дружбе Народов», «Зинзивере», «Юности», «Белом Вороне», «Авроре», «Слове/Word», «Кольце А», «Южном Сиянии», журнале «Плавучий мост», «Литгазете» и др. Автор книг стихов «Слон» (2015), «Кисточка из пони» (2016).

Анатолій Мойсієнко — український поет, мовознавець і перекладач. Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Татьяна Некрасова родилась и живет в Молдавии. Публикации: «Арион», «Литературная газета», «Москва», «Белый ворон», «Зарубежные задворки», «Зарубежные записки», «Новая реальность», «Этажи», «Европейская словесность», «Южное сияние», «Северная Аврора», «Русское поле», «Русское слово», «Книголюб». Вошла в шорт-лист конкурса «Заблудившийся трамвай» (2016). Автор книги стихотворений «Трудовая книжка».

Олеся Николаева – поэт, прозаик, эссеист. Автор 16 книг стихов, 24 книг прозы и 5 книг эссеистики. Профессор Литературного института. Лауреат литературных премий, как российских, так и зарубежных; Стихи, проза и эссеистика переводились на многие языки народов мира. Живет в Москве.

Наталья Новохатняя – поэт, прозаик. Родилась и живёт в Кишинёве. Автор поэтических сборников «И вечный блюз», «Об авторах и героях» и сборника прозы «Побывать в тишине». Член Ассоциации русских писателей РМ. Бронзовый лауреат немецкого международного конкурса «Лучшая книга года» в номинации «Малая проза» (Берлин-Франкфурт, 2016). Публикации: «Русское поле» (Кишинёв), «Русское Слово» (Кишинёв), «Юность» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Дон» (Ростов-на Дону), «Южное сияние» (Одесса), «Зарубежные задворки» (Германия), «Веси» (Екатеринбург), «Союз писателей» (Новокузнецк), «45 параллель», «Зарубежные записки», «Кольцо А», альманахи и коллективные сборники Беларуси, Германии, Молдовы, России и др.

Наталья Пасічник. Народилася 1984 року в місті Теревовля Тернопільської області. За освітою – філолог-германіст, кандидат філологічних наук, викладач кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Нагороджена преміями конкурсу «Поетичні Майстерні» (2003), конкурсу видавництва «Смолоскип» (2005, 2008, 2009), конкурсу ім. Б-І Антонича «Привітання життя» (2005), літерфесту «Неосфера» (2007), міжнародного конкурсу «Гранослов» (2008), часопису «Захід-Схід» (2008), часопису «Мистецька сторінка» (2008), фестивалю «Просто так» (2009), конкурсу «Рукомесло» (2009), журналу «Дніпро» (2009),

конкурсу «Витоки» (2009), порталу «Буквоїд» за «Найкращу поетичну збірку» (2009), конкурсу оповідань «Прекрасне поруч» (2009, 2010), конкурсу «Коронація слова» (2011), конкурсу ім. святого Альфонса де Лігурі (2011), всеукраїнського фестивалю поезії «Ватерлінія» (2012), конкурсу «Урба-перехрестя» (2013), премією «Благовіст» (2013), премією ім. Богдана Лепкого (2013), Міжнародною поетичною слов'янською премією (2014, 2015). Стипендіат Міжнародного дому письменника і перекладача «Ventspilshouse» (2012). Член Національної спілки письменників України (з 2009). Член Національної спілки журналістів України (з 2011). Засновник видавництва «Слон».

Сергей Пагын. Живет в городе Единцы (Молдова). Редактор регионального периодического издания «Норд-инфо». Автор пяти книг стихов: «Обретения» (2002), «Прогулка в ноябре» (2005), «Сверчок в радиоприёмнике» (2008), «Перед снегом» (2012), «Просто жизнь» (2017). Финалист и дипломант Международного поэтического конкурса имени Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2010). Лауреат премии «Молодой Петербург» (2011). Победитель Международного поэтического конкурса «Эмигрантская лира» в номинации «Неоставленная страна» (Бельгия, 2012/2013). Член Ассоциации русских писателей Республики Молдова.

Дана Пінчевська, поет, перекладачка, письменниця, публіцистка. Народилася у Києві (1977). Закінчила факультет теорії та історії мистецтва НАОМА, згодом – аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського АН України. Стипендіантка програм “Gaude Polonia” (2005, 2011), “Ashnav” (2005, 2014), Programu Rządu Polskiego dla młodych naukowców (2006/2007) тощо. Вірші, переклади, проза та рецензії публікувались у часописах "Четвер", "Потяг-76", "Всесвіт", "Квартали", "Союз Писателей", "Критика", на території електронних видань "Буквоїд" та "Літакцент" etc. Авторка книги прози "На околицях присутності" (Бібліотека журналу "Четвер", "Лілея-НВ", 2007) та мистецтвознавчої монографії "Творчість єврейських художників Східної Галичини 1900-1939 рр." (Корсунь-Шевченківський видавничий дім "Всесвіт", 2013).

Ирина Ремизова родилась в Кишинёве. Окончила филологический факультет Молдавского государственного университета, работает там же, на кафедре русской филологии. Автор книг стихов "Серебряное зеркало" (2000), "Прикосновения" (2003), "Неловкий ангел" (2010), "Вёрсты дождевные" (2017).

Олеся Рудягина родилась в 1963 г. в Кишинёве. С 2005 г. — председатель Ассоциации русских писателей Республики Молдова. Член Союза писателей Молдовы и Союза писателей России, Исполкома МСПС. Стихи, проза и публицистика печатались: в журнале СП Молдовы «Кодры», «Литературной газете», в журналах «Московский вестник», «Юность», «Москва», «Новая Юность», «День и Ночь», «Аврора», «Дети Ра», «Зарубежные Записки», «Балтика» (Эстония), «Эмигрантская лира» (Бельгия), «Новая Немига литературная» (Республика Беларусь) альманахах «Братина» (Москва), «Оклик» (Сан-Франциско), в Антологии «Современное русское зарубежье» и др. Автор шести поэтических книг, публицистических статей, ряда телевизионных передач, документального фильма. Обладательница специального приза Международного литературного конкурса «Русская премия»: «За вклад в сбережение и развитие традиций русской культуры за пределами Российской Федерации» (2010).

Олег Сешко. Член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь», председатель Витебского отделения Союза. Художественный руководитель литературного клуба «ЛитКофейник» на базе Культурно-исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина». Член жюри международных литературных конкурсов, лауреат

белорусских и международных литературных премий. Автор сборников стихов «Чистая сила любви. Сказки» (2014), «Рождение» (2017).

Элина Свенцицкая – поэт, писатель, лауреат литературных премий, доктор филологических наук, профессор.

Юрий Смирнов родился в 1973 году в Кировограде. Пишет сценарии телесериалов. Стихи печатались в "Новом Мире", "Литературе", альманахах "Конец Эпохи" и "Перекресток". Победитель поэтической Григорьевской премии 2015 года.

Феликс Чечик родился в г. Пинске (Белоруссия). Закончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических книг, изданных в Москве, Екатеринбурге и Иерусалиме. Лауреат "Русской премии"(2011). Живёт в Израиле.

Борис Чичибабин (9 января 1923, г. Кременчуг – 15 декабря 1994, г. Харьков). Всю жизнь прожил на Харьковщине (Чугуев, Харьков). Поэт сложной и богатой стиховой культуры, в произведениях которого органично переплелись философская, гражданская, любовная и пейзажная лирика. С 1963 по 1968 гг. вышли четыре поэтических сборника, сильно изуродованные цензурой. С 1964 по 1966 гг. руководил литературной студией при ДК связи (ныне Центр культуры Киевского района, при котором в 2001г. организован «Чичибабин – центр»). В 1966 году принят в Союз писателей, а в 1973 исключен за «написання антирадянських віршів». Не печатался около 20 лет. Перестройка вызволила поэта из забвения. В 1987 восстановлен в СП. За книгу стихов «Колокол» Чичибабин в 1990 г. удостоен Государственной премии СССР. В последний период жизни поэта опубликованы книги: «Мои шестидесятые» (Киев: Дніпро, 1990), «Колокол» (Москва: Известия, 1989 и Советский писатель, 1991), «82 сонета и 28 стихотворений о любви» (М.: РАН, 1994), «Цветение картошки» (М.: Московский рабочий, 1994). В 1993 стал лауреатом премии имени академика А.Д. Сахарова «За гражданское мужество писателя» литературно-общественного движения «Апрель».

Елена Шелкова. Родилась в Киеве в 1986 году. Член редакционного совета литературного альманаха «Соты». Член оргкомитета Международного арт-фестиваля «Провинция у моря». Лауреат премии им. Катерины Квитницкой, победитель Турнира поэзии-2011 (Писатель в интернет пространстве), международного конкурса «Созвездие духовности»-2017 . Член Южнорусского Союза Писателей (2015), Союза писателей 21 века, член ЛИТО «Каштановый дом». Публикации: журналы и альманахи «Дети Ра», «Южное сияние», «45-я параллель», «Золотое руно», «Каштановый дом», «Дерибасовская-Ришельевская», «Поэтоград» и др., Автор поэтических сборников «Чайники» (2012), «Побег арбузов» (2017).

Вячеслав Шнайдер. Житомирянин. Поэт и прозаик. По образованию – русский филолог. Пишет на русском и украинском языках. Работал дорожным рабочим, преподавателем, психологом, журналистом. Ныне – научный сотрудник Житомирского областного литературного музея. Поэтические сборники – "Лимфа нимф", "Тен-клуб". Стихи и проза печатались в областной и центральной прессе, в частности, в "Літературній Україні", "Українській літературній газеті", "Кур'єрі Кривбасу".

Сергей Шестаков родился в 1962 г. и живет в Москве. Автор шести книг стихотворений. Заместитель главного редактора литературно-общественного журнала "Новый берег" (Копенгаген). Стихотворения публиковались в журналах "Звезда", "Знамя", "Нева", "Новый журнал", "Урал", "ШО", других периодических изданиях и альманахах, переводились на английский, белорусский, венгерский, украинский, французский языки.

Санджар Янышев — поэт, переводчик, композитор. Родился в 1972 году. В 1995 году окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского университета и сразу уехал в Москву; работал курьером, коммивояжером, уличным музыкантом, рекламным менеджером, редактором, частным преподавателем, писал статьи для детской энциклопедии... Лауреат независимой поощрительной премии «Триумф» (2001), премии журнала «Октябрь» (2003), четырежды дипломант премии за лучшую поэтическую книгу года «Московский счет». Стихи переводились на немецкий, английский, итальянский, французский, узбекский, украинский, азербайджанский, венгерский языки. Автор книг: «Червь» (2000), «Офорты Орфея» (2003), «Регулярный сад» (2005), «Природа» (2007), «Стихотворения» (2010), «Умр. Новая книга обращений» (2017).





Книги **Издательского дома Дмитрия Бурого**
можно приобрести в **Киевском доме книги**
(ул. Льва Толстого, 11/61) или заказать на сайте
www.burago.com.ua

По вопросам издания книг
обращаться по тел.: **+38 (044) 227 38 86**,
e-mail: **burago@list.ru**